

Евгений Кутузов

голубые  
поезда

Евгений Кутузов



голубые  
поезда







**Е**вгений **Кутузов**  
голубые  
поезда

ПОВЕСТИ

ЛЕНИЗДАТ  
1986

**Кутузов Е. В.**  
К95 Голубые поезда: Повести. — Л.: Лениздат,  
1986. — 464 с.

В новой книге ленинградского писателя рассказывается о наших современниках — людях различных профессий, которых объединяет убежденность, нравственная чистота, честное служение профессиональному и человеческому долгу.

К 4702010200—212  
М171(03)—86 187—86

84.3(2)7

## СОДЕРЖАНИЕ

Юркины окна . . . . .	5
Цветы любимым . . . . .	42
Голубые поезда . . . . .	116
С утра до вечера . . . . .	187
Последний порог . . . . .	235
Дорога в Угорск . . . . .	347
Сразу после войны . . . . .	408

**Евгений Васильевич Кутузов**

## ГОЛУБЫЕ ПОЕЗДА

Зав. редакцией *А. И. Белинский*. Редактор *А. А. Девель*. Мл. редактор *Н. С. Елисеєва*. Художник *М. Л. Шретер*. Художественный редактор *Б. Г. Смирнов*. Технический редактор *И. Г. Сидорова*. Корректор *Т. П. Гуренкова*

ИБ № 3241

Славо в набор 19.05.86. Подписано к печати 26.11.86. М-36720. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага тип. № 2. Гарн. школьная. Печать высокая. Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,36. Уч.-изд. л. 25,87. Тираж 65 000 экз. Заказ № 453. Цена 1 р. 90 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

© Лениздат, 1986



**П**ахло снегом.

Степанов, конечно, знал, что снег не имеет запаха, а все-таки пахло именно снегом, и это противоречие нисколько не мешало Степанову, не раздражало его, как обычно раздражало все, что не укладывалось в систему ясных, точных доказательств, в систему знания, а требовало многословных объяснений. Истина, как считал Степанов, всегда говорит сама за себя и без труда переводится на лаконичный и общепонятный язык формул. В другой раз, едва подумав о том, что пахнет снегом, он сказал бы себе, что этого не может быть, как не может пролиться дождь с ясного неба,

хотя иногда и кажется, что так бывает, как не может вода потечь в гору, если ей не помочь, но сейчас ему даже нравился этот тонкий несуществующий запах, и он с удовольствием втягивал морозный воздух. Иногда Степанову казалось, что к запаху снега примешивается чуть различимый запах то ли дыма, то ли чего-то еще жилого, домашнего и теплого, и тогда он останавливался и, медленно поворачивая голову, пытался угадать направление, откуда потянуло дымком или еще чем-то жилым.

Но нет, пахло по-прежнему только снегом, больше ничем.

Тришка, приبلудный пес дворянских кровей, отчето он, наверно, и не ел сырое мясо, с хвостом-обрубком, за что его и прозвали Тришкой, семенил рядом, преодолевая, должно быть, очень сильную боль: свежий, еще не слежавшийся снег к ночи схватило морозом, и затвердевшая игольчатая корочка ранила до крови подушечки лап.

Степанов жалел Тришку, ругал себя за то, что взял его с собой, однако и понимал, что без него было бы совсем худо. Как-никак, а живая душа. Сам не скажет ничего, зато выслушает.

— Потерпи немного, — ласково говорил Степанов, наклоняясь над собакой. — Осталась ерунда, километров десять, не больше. Это нам с тобой раз плюнуть, верно?..

Тришка вилял хвостом-обрубком. Ему хотелось подать голос, хотелось подпрыгнуть и лизнуть человека в белые усы, в белую бороду, хотелось тоже пожалеть человека, ободрить его, но не было сил.

Они шли уже почти семь часов.

От точки, где Степанов оставил отряд, до ближайшего поселка было, если верить карте, около восьмидесяти километров. Степанов считал, что проходит в час примерно десять. Вышел он налегке, взял с собой только спички и «мелкаш», так что скорость десять километров в час вполне доступная. Наст умеренно твердый, лыжи не проваливались, скользили легко (немножко, правда, разъезжались), и особенной усталости Степанов не чувствовал. Поэтому и не заметил, как они поднялись на взгорок.

Внизу лежало большое открытое пространство — болото, покрытое снегом, и Степанов понял, что все же ошибся в своих прикидках: от гнилого болота (оно действительно было гнилым, так что там не росло ни-

него, никакого кустика) до поселка оставалось не десять, а двадцать километров.

— Ну что ж, пусть двадцать, — сказал он, потрепав Тришке загривок. — Прорвемся.

Спуск на болото был некрутой, длинный. Степанов присел низко и расслабился. Вот так бы и проехать эти двадцать верст, подумал он, и еще подумал, что Тришка вряд ли тогда поспел бы за ним, а на руки его не возьмешь, тяжелый — помесь овчарки с ездовой лайкой, и вдруг левая лыжа пошла почему-то в сторону, он мгновенно выпрямился, перенося тяжесть тела на правую ногу, но опоздал на какое-то мгновение. Его развернуло поперек, под правой ногой хрустнуло, и он увидел, падая уже, обломок лыжи, катящийся далеко впереди. В памяти вовсе неуместно мелькнула такая картина: артиллерийская часть, где служил Степанов, выехала на полевые учения, колонна машин растянута тоже на длинном спуске, на «газике» начальника штаба почему-то свалилось левое переднее колесо и покатилося вперед. Тогда было смешно смотреть, как впереди колонны катилось одинокое колесо, и только это — комичность ситуации — спасло, наверное, водителя от наказания. Начальник штаба, вообще-то строгий полковник, тоже смеялся.

Сейчас Степанову было не до смеха.

Он долго барахтался в снегу, прежде чем поднялся на ноги. Он стоял на середине спуска, не думая, что ждет его впереди, чувствуя страшную усталость. Да, только теперь на него навалилась усталость, когда он понял, что двадцать километров без лыж и по пояс в снегу ему просто-напросто не пройти. Не хватит сил. Но если бы и хватило сил, все равно не пройти: идти через гнилое болото без лыж — чистейшее безумие, потому что оно никогда не промерзает, и дорога у него одна — по гриве, в обход болота (наверху и снег не такой глубокий, успокаивал себя Степанов, его хоть немножко сдувает ветром), а это лишних километров пятнадцать.

— Такие, брат Трифон, получают пироги с капустой. Придется идти на одной лыже. Получится, а? Как ты считаешь?

Тришка тоскливо, жалобно заскулил.

— Считаешь, что не получится? Надо, чтоб получилось. Надо.

Может быть, в этот самый момент Степанов впервые подумал о том, что положение его безнадежно. Но,



подумав, отогнал эту мысль. Уж он-то, опытный по-исковик, хорошо знал, что с такими мыслями нельзя справиться в путь. Даже за сухостоем для костра. Тут — тайга.

— Двинулись? — сказал он Тришке.

\* \* \*

Начальник геофизической партии Юрий Владимирович Степанов находился в тайге, «на профиле», когда получил радиограмму, что тяжело больна мать. На эту отдаленную точку он забрался, чтобы помочь молодому начальнику отряда. Не ладились в отряде дела, начальник не мог найти общего языка с подчиненными, и постепенно между ним и рабочими сложились натянутые отношения. Слишком буквально начальник понимал свои права, не учитывал, что все — и он, и подчиненные — не просто вместе работают, но и вместе живут, едят из одного котла, что это не контора где-нибудь на Литейном проспекте или на Фонтанке, но тайга, ему нравилось командовать, он по делу и без дела демонстрировал свою власть, а рабочие ему попались опытные, всего повидавшие в жизни, умеющие, если захотят, ничего не нарушая, ничего и не делать. То есть делать только то, что им приказывают, а это все равно что не делать ничего. Вот и получилось, что начальник демонстрировал свою власть, а работники, посмеиваясь, демонстрировали такое свое умение.

Степанов разобрался в этом сразу, когда-то ведь и он пережил период упоения властью, когда-то и ему нравилось приказывать, хотя чаще надо сказать или даже попросить, а иногда вообще ничего не надо, потому что опытный рабочий и сам знает, что и когда делать. Он по душам поговорил с начальником отряда, популярно объяснил ему, что в полевых условиях без крайней нужды к приказам прибегать не рекомендуется, что не нужно стыдиться спрашивать совета у людей, хотя бы и у подчиненных, — это ничуть не вредит авторитету, скорее, наоборот, и вообще лучше бывает на время забыть, что ты начальник.

— Тут все просто, — сказал он. — У каждого свои обязанности, своя работа, только и всего. Твоя работа ответственнее, зато тебе и денег платят больше, зато тебя и учили. Используй свои знания для общего дела, а желающих приказывать и без тебя навалом.

— Вы предлагаете их совсем распустить?

— А ты не бойся, они не распустятся. Они ведь

здесь сидят не для того, чтобы поиграть в романтику и побренчать на гитаре возле костра, — усмехнулся Степанов. — Они здесь для того, чтобы заработать. И больше заработать. А для этого надо выполнять план. Какой же им смысл распускаться?

— Панибратство развести?

— Не надо, — сказал Степанов. — Этого-то как раз более всего и не любят работяги. Это унижает их. Они прекрасно знают, что ты — начальник, поэтому никогда не назовут тебя Ванькой. Но и все. В остальном вы товарищи, коллеги.

— Но должен же я держать какую-то дистанцию! — вспыхнул начальник отряда.

— Не беспокойся, твои ребята сами знают, когда и какую именно дистанцию нужно держать. Ты поверь им, а они поверят тебе. Это главное — чтобы поверили тебе. Иначе в поле нечего делать.

Поговорил Степанов и с рабочими. Это-то было совсем просто — его любили и уважали.

Он пробыл в отряде неделю, и дела помаленьку стали исправляться. Повеселели работяги, повеселел и начальник. Степанов понимал, что наступил тот самый решающий момент, когда молодой начальник либо поверит в свои силы и в силу коллектива, либо... Либо он никогда не станет поисковиком, и тогда лучше ему найти работу в конторе.

В сущности, ему больше нечего было делать в отряде, но вертолет за ним должен был прилететь еще через два дня. Можно было, конечно, связаться с начальством экспедиции, попросить, чтобы заказали вертолет прямо сейчас, однако это слишком сложно и дорого. Сейчас вертолет полетел бы только за ним, потому что наверняка не подготовлен к отправке груз. Степанов знал, что все готовится в последний момент. Да ведь может и не быть свободного вертолета.

Он вертел в руках наушники и думал.

Взять в отряде трактор, чтобы на нем добраться до базы, — значит задержать работу на двое суток. А задерживать никак нельзя. Именно теперь нельзя, когда положение начало выправляться.

А матери, конечно, совсем худо, если она решилась дать такую телеграмму. Она никогда не была паникершей, не лелеяла свое здоровье, даже шутила, что здоровье беречь — абсурд, потому что нелепо, когда умирает здоровый человек. А телеграмма заверена врачом.

— Юрий Владимирович, готовить трактор? — спросил настороженно начальник отряда.

Степанов положил наушники.

— Знаешь, старина, у тебя подобрались отличные мужики! — сказал он. — Вы закончите этот профиль за милую душу. Только не пережимай. Ты с ними еще поработаешь, потом вместе будете смеяться.

— Спасибо, что прилетели, Юрий Владимирович.

— Это моя обязанность. А трактор не нужен. Сколько до Ярцева?

— Если через гнилое, около восьмидесяти. А вокруг — все сто.

— Значит, через гнилое и пойду.

— Опасно. Оно еще не промерзло как следует.

— Оно никогда не промерзает. На лыжах пройду, снег глубокий.

— А может, все-таки на тракторе? — с сомнением в голосе сказал начальник отряда.

Степанов понимал, как не хочется ему отпустить трактор, но и знал также, что он искренне советует взять трактор.

— Не надо. Пораньше выйду, к вечеру доберусь до Ярцева, а там достану какой-нибудь транспорт. Подбросят на базу. Послезавтра буду в Ленинграде, все отлично сходится. Лишь бы погода не подвела. Так у вас еще проще застрять.

— Вот я и говорю...

— Всё, всё. Давай спать, надо как следует отдохнуть.

Степанов вышел из отряда в шесть утра. За ним увязался Тришка. Не хотел его брать, однако Тришка отходил немного назад, пережидал, пока Степанов не двинется дальше, и снова бежал за ним. Скорее всего, ребята послали его. И Степанов махнул рукой, пусть сопровождает, веселее даже будет, решил он.

Теперь жалел обессилевшего Тришку.

Всего каких-то несколько минут назад Степанов был уверен, что не ошибся особенно в расчетах, что все-таки к вечеру будет в Ярцеве, а там все просто, разве что погода испортится, но, судя по всему, в ближайшие дни погода будет летная. Значит, завтра он прилетит в Ленинград и прямо из аэропорта поедет в больницу. Впрочем, он не знал, в больнице ли мать. Скорее всего, она лежит дома, потому что очень уж она не любит больниц. Ее даже в аптеке тошнит от запаха лекарств. Если обязательно надо, чтоб пахло,

частенько говорила она, то пусть пахнет розами. Она вообще любит цветы. У них в доме всегда было много цветов.

Спуск к болоту был некрутой и длинный, а вот подъем на гриву почему-то оказался длинным, но крутым. Идти было трудно. Степанов пытался помогать себе обломком лыжи, однако из этого ничего не получилось. Обломок свободно уходил в снег. На одной лыже подниматься тоже неудобно, и он карабкался кверху, буквально пробивая дорогу грудью. Он успокаивал себя тем, что важно подняться на гриву, потом будет значительно легче. Потом они будут просто идти. Не прогулка, конечно, тридцать пять километров по тайге пешком, особенно когда шестьдесят остались за спиной, однако не так страшен черт. Бывало и похуже.

Но в том-то и дело, что похуже не бывало.

Они выбрались наконец на гриву. Степанов прислонился спиной к сосне и закрыл глаза.

— Пятнадцать минут отдохнем и — вперед, — пробормотал он.

Тришка растянулся у его ног. Может, он думал о том, что скоро мужики вернутся с профиля и сядут обедать. А на обед, наверно, вкусный концентрат «рисовая каша со свиной». Если в него добавить еще тушенки, просто обедение.

— Всё, двинулись, — сказал Степанов, отрывая отжелевшее, непослушное тело от сосны.

Некоторое время он ехал на одной лыже, поджимая вторую ногу, отталкиваясь где обломком второй лыжи, где от стволов, но скоро понял, что это не лучший способ передвижения. Тогда попробовал идти, перенося центр тяжести на левую ногу, надеясь, что все же не так глубоко будет проваливаться, однако и это оказалось тяжело и неудобно. Он снял и вторую лыжу. Здесь действительно было поменьше снега и не было опасности провалиться в болото.

Степанов всегда знал, что во всяком деле и вообще в жизни главное — цель. Выбор цели и, как следствие, выбор наиболее рационального пути. Если выбор сделан правильно, тогда побочные трудности, встречающиеся по дороге, легче преодолевать. Когда цель очень уж отдалена во времени или в пространстве, путь к ней целесообразно поделить на отрезки. В сущности, одну большую, главную цель надо разделить на несколько маленьких, промежуточных. Сейчас у Степанова была цель дойти до Ярцева (дальнейший

путь до Ленинграда от него почти не зависел). В его положении это непросто, совсем даже непросто. И он ползая себе от передышки до передышки проходить пятьсот шагов.

Примерно на половине пути будет вырубка. Когда-то на этом месте, по слухам, жил какой-то отшельник. Неба его сгорела, и вырубка мало-помалу зарастала снова. Вот здесь, сказал себе Степанов, сделаем большой привал, отдохнем как следует.

Он делал шестьсот шагов без отдыха. Потом пятьсот пятьдесят, пятьсот, четыреста пятьдесят, четыреста...

Надо было отвлекаться, и Степанов думал о матери. Что же с ней могло случиться? Если она и боялась заболеть, то только раком. Ну, этого боятся все, хотя от других болезней умирают не реже, а чаще. То есть все другие болезни, взятые вместе, отнимают в сумме гораздо больше человеческих жизней. Почему же люди боятся именно рака? Ага, вдруг догадался он, всеми болезнями сразу заболеть нельзя, а каждая в отдельности все-таки менее опасна для жизни. Эта наивная, элементарная мысль показалась ему даже глупой, заслуживающей внимания.

Двести двадцать шагов, двести десять...

А до вырубки еще далеко.

Когда Степанов уезжал последний раз из дому, мать особенно настойчиво просила его, чтобы он остался в Ленинграде, доказывала, что он свое отбродил, есть помоложе и что пора бы ему подумать о семье, да и о ней тоже. Он мог бы остаться, его звали работать в НИИ, и он понимал, что кто-то должен обрабатывать материалы экспедиций, кто-то должен заниматься собственно наукой. Ведь практика, что бы там ни говорили, сильна теорией. И наоборот — тоже. В сущности, размышлял Степанов, народные приметы — та же наука, та же теория, ибо в основе любой приметы лежит длительное наблюдение, обобщение. Суть знание, подкрепленное статистикой. Для того чтобы сделать вывод, необходимо увидеть и понять причинную связь между различными явлениями и обработать количественные данные. А это и есть научный подход к решению проблемы. Просто-напросто со временем, после очень длительных наблюдений, сопоставлений, после безусловного внесения многочисленных поправок и уточнений, решение проблемы в целом сделалось общедоступным, как таблица умножения, им пользуют-

ся и те, кто самостоятельно никогда бы не догадался соотнести ломоту в суставах с переменной погоды. Вот поэтому и бытует широко распространенное и ошибочное мнение, будто бы достаточно обыкновенной наблюдательности, чтобы стать мудрецом. Конечно, конечно, наблюдательность прежде всего, однако за ней-то — опыт поколений...

Уже не пахло ничем, дышать было трудно, в носу слиплись волосинки, ноги не слушались — их буквально приходилось вытаскивать, чтобы сделать еще один, следующий шаг.

Сто восемьдесят, сто семьдесят, сто пятьдесят шагов. На большее не хватало сил.

На тракторе он, пожалуй, уже был бы в Ярцеве.

Однажды Степанов расстался с «полем». После института он работал на Сахалине. Ему, ленинградцу, привыкшему к повседневным удобствам, к театрам и музеям, к шумной и суетливой городской жизни, три года показались вечностью. И он, как только истек положенный срок, вернулся домой. Однако так и не устроился нигде, не успел, — потянуло назад в «поле». И он осел здесь, в тайге, лишь в отпуск наезжая в Ленинград. Мать по-своему права. Она не так молода, чтобы рассчитывать на свои только силы. К тому же она буквально отдала ему всю жизнь, даже замуж не вышла вторично после неожиданной, ранней смерти мужа, и теперь вправе надеяться, что в старости сын будет рядом с ней. Она мечтала, что Юрочка, ее Юрочка, женится наконец, заведет детей — девочку и мальчика, именно в таком порядке — сначала девочку, а потом мальчика, и она станет нянчиться с внуками, как это и положено бабушке, заодно продлевая и свою жизнь, потому что человек жив, покуда он нужен жизни, а одинокие старики никому не нужны, и они обманывают себя, считая, что живут. В действительности просто продолжают биологическое существование, и, может быть, во вред другим, в том числе неродившимся. У матери и невесты были наготове для Степанова. Именно невесты, ибо в таком деле она не признавала никаких случайностей и не верила в счастливые браки, заключенные в порыве внезапной любви, спонтанно, как говорила она. Должен быть выбор. Но не выбор вообще (такой-то выбор есть, — слава богу, желающих выйти замуж за красивого и образованного мужчину хоть отбавляй), а выбор, предварительно сделанный ею. Она предлагала невест, каждая из которых

была достойна ее Юрочки. Тут важно все: социальное положение семьи, наследственность, характер, отношение к детям, образованность (но не образование!), воспитание...

— Жениться легко, — говорила мать, — разжениваться трудно. Да и несостоящее это дело — разжениваться.

Увы, оказалось, что и жениться не так-то легко. И даже трудно. Иначе почему бы ее Юрочка не женился до тридцати пяти лет?..

А кто его знает, Степанова. Вполне возможно, что он потому и не женился, что этого очень хотела мать.

— Ты столько всего знаешь про мою будущую жену, — смеялся Степанов, — что на мою долю ничего не остается. Это скучно. В женщине должна быть тайна.

— В женщине достаточно тайн, чтобы их не узнать никогда, — парировала мать.

— Зачем же ты предлагаешь мне готовый перечень достоинств и недостатков?

— Не жениться же на первой попавшейся!

— Разумеется, нет, — соглашался Степанов. — Вот я и ищу.

— В этой своей тайге?

— А что ж, в тайге, может быть, как раз лучшие невесты.

— И где же она, твоя лучшая?

— Двигается встречным курсом, — смеялся Степанов. — Ищет лучшего жениха.

Разговоры эти велись давно, мать начинала их всякий раз, когда Степанов приезжал домой, но конца им не было видно. Пожалуй, мать все-таки же ни л а бы его, когда бы он жил вместе с нею или хотя бы почаще бывал в Ленинграде. А так... Он являлся, мелькал, впрочем, охотно знакомился с претендентками на роль его жены и снова уезжал, чаще всего еще на вокзале либо в аэропорту забывая имена невест.

Шаг. Второй... Пятый...

Мало кто знает, что настоящая тайга прекрасна именно зимой, когда нет гнуса, когда ее величие раскрывается с наибольшей полнотой.

Вытягивались тени, уходил свет. Степанова обступала глухая таежная темнота, наполненная подозрительными шорохами, которых почему-то не бывает при свете дня, сухим коротким треском промерзших деревьев. Мороз набирал силу, и уже было ясно Степа-

нову, что к ночи ему не дойти до Ярцева, дай-то бог выйти к вырубке. Пожалуй, разумнее всего, покуда еще есть немного сил, насобирать сучьев, еловых лап, соорудить «вигвам» и развести костер. Однако Степанов отверг эту здравую мысль, зная, что она здравая. Он не хотел сдаваться, не хотел для себя послаблений, надеясь, что пусть не к вечеру, но к ночи доберется до Ярцева. Или боялся остановиться, также зная, что, поддавшись этому желанию, потом легко поддаться и другому: сидеть и ждать помощи. А помощь, реальная и самая близкая помощь, может прийти только из партии на тракторе. Кой же черт было отказываться от трактора, если все равно его придется гнать за ним?..

Он до крови кусал губы, чтобы не заснуть на ходу, и шел, шел, уже не вытаскивая ноги из снега, но пробивая его коленями, оставляя за собой не отдельные следы, а сплошную колею. Он останавливался лишь затем, чтобы перевести дыхание, но не позволял себе присесть, понимая, что это будет конец...

И злился на себя, на свою работу, на молодого начальника отряда, который возомнил о себе, словно он, по крайней мере, десятый сезон работает в тайге, а вот элементарных вещей не захотел понять, отчего и пришлось за него Степанову расхлебывать кашу. Хватит, уговаривал себя Степанов. Дотяну этот сезон — и basta. Я тоже, как все нормальные люди, как большинство нормальных людей, хочу жить спокойно, удобно хочу жить, я имею на это право, заслужил. Я буду утром уходить на службу, думал он, тараня коленками тяжелый снег, а вечером возвращаться домой. И даже не пешком, а на троллейбусе, хотя до института, куда его давно зовут, всего-то две остановки. Мать, а может, и жена, будет готовить на завтрак глазунью с ветчиной и с поджаренными кусочками черного хлеба. И чашка кофе. По вечерам можно ходить в театры — это пешком, благо лучшие ленинградские театры совсем близко от дома, можно смотреть по телевизору детективы, читать хорошие книги, если, конечно, хорошие выходят, можно пить чай с вареньем, которое мать всю жизнь запасает в изобилии, да мало ли, черт возьми, чем можно заниматься в свободное от службы время, живя в Ленинграде! К тому же в самом центре. Вышел из дому — тут тебе и Литейный, и Невский, тут тебе и Русский музей, и Эрмитаж...

Кто-то рассказывал, что пятнадцать лет прожил в Москве под землей. Не буквально, конечно. Просто ут-



рем у самого дома нырял в медро, возле «контеры», сделав две пересадки, выныривал на поверхность, и так все пятнадцать лет, изо дня в день. Это смешно.

Последняя девица, назначенная матерью в жены Степанову (Людмила, кажется?), в общем-то была вполне, даже очень вполне. Как говорят мужики, «всё при всем». Неглупа, симпатична, по-хорошему современна, то есть без излишних, мешающих нормальной жизни предрассудков и комплексов, но и без рекламно-вызывающей экстравагантности. Вот только она очень уж громко смеется, отчего Степанов в ее присутствии чувствовал себя как-то неловко и старался хотя бы сам не шутить, и боялся, когда шутили другие. Ибо и самая плоская, самая заурядная шутка, типа «муж пришел домой, а у жены любовник», вызывала непозволительно громкий, почти истерический хохот Людмилы. Однажды она расхохоталась, когда они занимались любовью, и тогда Степанов понял, что просто она противна ему.

— Господи, Юрочка, способность так смеяться — это признак хорошего здоровья, искренности, как ты не понимаешь! — убеждала его мать.

— Скорее, наоборот, — сказал он, вспомнив, как она заливалась в постели.

— Что ты имеешь в виду? — насторожилась мать.

— Признак нездоровья. Кстати, ты не выясняла, она не состоит на учете?

— На каком учете, Юрочка? Что ты такое говоришь...

— В психдиспансере, — сказал он.

— Ну, это уж слишком! Я, наконец, категорически отказываюсь помогать тебе в поисках приличной жены.

— А жаль, — улыбнулся он. — Осталось совсем немного.

— Именно, что немного. Всего пять лет до сорока, — ведохнула мать.

— О, пять лет надо еще прожить!

Вот сейчас, вспоминая этот разговор — именно этот, — он подумал, что шуточка-то получилась злоедей. Что там с матерью?.. Ведь врачи так просто не заверяют телеграммы подписью и круглой печатью. Обычно это делается, когда человек близок к смерти. Дают возможность родным и... близким проститься с умирающим. Степанову всегда казалось нелепым это сочетание — родные и близкие, ибо родные — это и

есть близкие, но сейчас ему пришла в голову мысль, что далеко не всегда, увы, родные бывают близкими. И наоборот.

Чепуха какая-то, нашел о чем думать.

Степанов скинул «мелкаш» и раз за разом сделал несколько выстрелов. Тришка удивленно смотрел на него. Звук выстрелов был едва слышен, словно под ногой хрустнула сухая ветка. Вместо этой «лукалки» нужно было прихватить ракетницу. Хотя кто бы в этой-то глухомани увидел ракеты? Ерунда все. Нужно идти, и они дойдут. Мать ждет его приезда. Чувствует скорый конец и боится не увидеть его. Тоже, если разобраться, человеческая странность. Какая разница, увидишь перед собственной смертью родного человека или не увидишь?.. Именно: родной человек. Вот когда говорят так, то имеют в виду одновременно и близкого человека. Как точно-то! А у Тришки, похоже, появилось «второе дыхание». Или он успеваешь отдышаться при такой скорости движения, а к боли привык. Собаки народ терпеливый. Наверно, у них тоже есть свои проблемы. И чувства есть. Не должно быть, чтобы у этих умниц был только инстинкт. Это придумали люди — так нам удобнее и совесть не болит. Не зовем себя «другом собаки», зовем собаку своим другом, и принимаем ее в друзья и думаем, что оказываем ей честь, поступаем хорошо. А если копнуть, не так-то и хорошо человек относится к собаке, потребительски относится, извлекает из «дружбы» пользу для себя.

— Трифон, а Трифон, — позвал Степанов, однако нагибаться, чтобы погладить Тришку, не стал. — Ты ступай обратно, Трифон, не тащись за мной. Что тебе я?.. У тебя, брат, своя жизнь, у меня...

Друг к другу люди тоже относятся потребительски. В особенности к женщинам. Уж если действительно выбирают жен, то обязательно удобных для себя. Никто не хочет быть удобным для жены. Правда, оставляют это потребительство разными высокими словами вроде любви и психологической совместимости. Чуть все это, никакой совместимости быть не может. Женщина, нормальная женщина, вьет гнездо, а мужик, он ищет готовое гнездо. Нельзя совместить несовместимое, иначе либо женщина превращается в мужика, либо мужчина — в бабу. То, что мы называем совместимостью, на самом деле проявление слабости, ибо подразумевает готовность отступить от своей природы. Просто социальные, общественные условности оказа-

лись сильнее человеческой сущности. Потому и не получается семьи у тех, кто пока еще оказывает сопротивление этим условностям, мнению окружающих. А может, и не надо оказывать сопротивление?.. Человечество не зря же пришло именно к такой организации общества. Значит, это удобнее и нужнее человечеству в целом. Вот эта, как ее?.. Такая свеженькая блондинка с изящной фигуркой, словно дипломная работа выпускницы Мухинского училища... Ага, Галя, кажется. Все-таки нет, все-таки не Галя, а Лариса. Почему она не понравилась мне? Красивая и на мордашку, и глаза выразительные, в меру задумчивые, чтобы не казаться глупышкой, но и чтобы не принимали за слишком умную. Да, прическа у нее была какая-то дурацкая. А скорее всего, у нее был парик, и, значит, никакая она не свеженькая блондинка. Возможно, она выглядит красивой только потому, что носит идеально подобранный парик. А когда снимет парик?.. Кстати, ведь и мать наверняка подбирает не столько жену для меня, сколько удобную для себя невестку. Или сноху? Все равно. Главное — удобную, то есть прежде всего послушную, для себя. В том-то и дело, что, желая счастья другим, мы ищем чего-то для себя. Совсем не обязательно конкретной, очевидной выгоды, это было бы заметно и примитивно. Но что-то же ищем. «Ты роди мне сына Ваню...» — вспомнил Степанов стихи кого-то из «геологических» поэтов, но кто это — вспомнить не сумел. Всем от всех и каждому от каждого что-то нужно...

— Дойду вон до той кривой сосны и отдохну немного, — пробормотал Степанов. — Сколько до нее?.. Шагов тридцать.

Шаг — раз, шаг — два...

Кажется, потеплело?.. Явно потеплело. Становится даже жарко. А этот начальник... Этот новоиспеченный специалист с самого начала повел себя не так, как нужно. Я должен бы был обратить на это внимание раньше. А ребята у него в партии подобрались... Каждый из них умнее... и опытнее его... в десять раз... Нюх у них есть... А у него... диплом... А у матери... нет диплома, хотя... она работала до пенсии... экономистом... Что там диплом... Я бы не выдавал дипломы сразу... сразу после института... Сначала надо... отработать положенные... три года... Обязательно напишу... в министерство или... в газету... Во рауха... Диплом... это... Чайку бы сейчас, чефиру... Заметно стало теп-

лее... А идти... труднее... Ага, снег подтаивает... и все больше... тяжелеет... Еще чуть-чуть... Осталось шагов... десять... Или даже восемь...

Степанов сел и привалился спиной к сосне. Ему было хорошо и тепло, а мороз подбирался к пятидесяти. Он немножко заблудился, взял правее вырубки, обошел ее и поэтому не знал, что до Ярцева осталось всего четыре километра.

— Трифон, — засыпая, сказал он. — Ты приляг на минутку, Трифон. — Он и улыбнулся еще, вспомнив, что мать, когда сильно устанет, просила не будить ее, гсворя при этом, что она скоро встанет сама, подремлет минуточек шестьсот и встанет.

Тришка скулил тоскливо, он звал Степанова идти, он уже слышал запах жилья, запах людей...

\* \* \*

Хорошо было Степанову и уютно. А Тришка никак не унимался, все скулил и скулил и тянул Степанова за рукав.

— Вот банный лист, — борясь со сном, сказал Степанов.

Ужасно хотелось спать. Пожалуй, никогда ему так не хотелось спать. Он, в общем-то, еще понимал, что спать нельзя, но уже не было сил бороться со сном.

Пошел снег. Он падал медленно, большими редкими хлопьями.

Первый, самый сладкий сон унес Степанова в счастливые детсадовские времена. В детском саду он впервые и влюбился. Девочку звали очень красиво — Маша, Машенька. И сама она была красивая. Такая кудрявая куколка с пышным бантом в волосах. Юра собирался жениться на Машеньке, когда станет «совсем большим». Пока он был большой, но не совсем. Взрослые смеялись, взрослым было весело, как бывает всегда, когда дети говорят милые глупости, а он-то твердо знал, что они обязательно поженятся. Только бы скорее вырасти, уж как-то слишком медленно он рос.

— Почему грибы на даче растут быстро, — спрашивал он мать, — а я не быстро?

— Потому что люди вообще растут медленно.

— А я хочу, чтобы быстро.

— На всякое хотенье нужно иметь терпенье.

Пустьяковый разговор, о котором мать и забыла тот-

час. А он не забыл. К четвертому классу он всесторонне проанализировал проблему и однажды заявил матери, что знает, почему на самом деле люди растут медленно. Он самостоятельно пришел к выводу, что человек в своем развитии повторяет — почти в точности — развитие человечества в целом, проживает как бы миллионы лет, спрессованные до одной человеческой жизни, но туже спрессовать нельзя, наступил предел, вот поэтому человек и растет медленно.

Мать внимательно его выслушала, удивленно показала головой и посоветовала «не забивать голову ерундой».

Ставши взрослым, он всегда стремился до чего-нибудь доискаться самостоятельно, постоянно что-то «открывал» и никогда не разочаровывался, узнавая, что очередное его открытие давно известная банальность.

А вот девочку Машу он скоро разлюбил, — она пришла в детсадик в слишком длинных, купленных на вырост, и оттого сморщенных чулках.

Вторая и последняя любовь Степанова также окончилась без развития, как сам он и говорил. Ее звали Наташа, она училась в институте на Моховой и была очень красивая. Степанов любил Наташу преданно и отчаянно, как, наверное, любят один раз в жизни. Она могла обмануть его, не прийти на свидание, сославшись на занятость, на болезнь, на что угодно, а он, зная, что это неправда, прощал, хотя и страдал при этом жестоко; она называла его «мой дурачок», не пытаясь даже скрыть своего иронически-покровительственного тона (как же, ведь, учась в столь престижном институте, можно позволить себе и такое), а ему нравилось быть «дурачком», лишь бы она была рядом; она вела себя на людях, в общественных местах несколько развязно, слишком уж свободно, как бы демонстрируя свое превосходство над окружающими, чего Степанов вообще-то терпеть не мог, и он заставлял себя не замечать этого, убеждал себя, что Наташе такое поведение идет, потому что она — будущая и непременно замечательная актриса, а как известно, актеры, в особенности хорошие актеры, всю жизнь играют какую-нибудь роль, с этим надо считаться, но когда однажды увидел ее в метро с каким-то парнем, все было кончено. Предательства он никогда и никому не прощал, хотя прощал людям многие недостатки и пережки. Они — Наташа с парнем — поднимались на

эскалаторе (он спускался навстречу им) и, обнявшись, целовались, ничуть не стесняясь людей. Степанову тогда показалось, что Наташа заметила его, и он отвернулся. А спустя несколько дней встретил ее на улице, возле кондитерской на углу Литейного и Пестеля, Наташа вышла оттуда вместе с подругами. Увидав его, она попрощалась с подругами и подошла к нему.

— Привет, дурачок, — весело сказала она. — Куда это ты исчез? Не появляешься, не звонишь...

— Да так, некогда.

— О-о, какие мы важные персоны! Скоро к тебе на прием придется записываться. — И подхватила его под руку. — Ладно, хватит дуться, дурачок ты мой хороший. Это был мой партнер по фильму. Меня утвердили на роль главной героини. Представляешь? Давай отметим это событие.

— В другой раз, — сказал он. — У меня нет времени сегодня...

Тришка не хотел, чтобы Степанов спал. Он отбежал в сторону, лаял на Степанова, бросался на него, хватал за унты, но все, все уже было бесполезно — Степанов погружался в благостный, уютный покой, и никакая сила не смогла бы сейчас поднять его на ноги и заставить сделать хотя бы один шаг.

...Совсем недавно он увидел Наташу в кино. Она была еще красивее, чем прежде, в пору их знакомства и его влюбленности, но играла отвратительно, недостоверно, так что даже вполне обыденные реплики звучали фальшиво, неестественно, и Степанову снова сделалось стыдно за Наташу, как было стыдно тогда, на эскалаторе, и он ушел из клуба, не досмотрев фильм до конца. А мужики после кино восторгались Наташей и, конечно же, говорили о ней всякие пошлости. Степанов, слушая эту привычную болтовню, не испытывал ничего, кроме горечи, и думал, что вот не о каждой женщине говорят такое, значит, есть в ней что-то, что дает мужикам право смотреть на нее глазами самцов. То есть она сама как бы раздевается перед мужиками, вызывая в них не уважение и не восхищение ее действительной красотой, а лишь желание уложить ее в постель. Грустно было Степанову понимать это, потому что он-то всегда знал, что Наташа именно такая, однако знал он и другое — что по-прежнему любит ее.

Но теперь все это было в прошлом. Степанов крепко спал, так что даже Тришка отчаялся разбудить его и улегся рядом с ним...

Мы с Юркой учились в одном классе и жили в одном дворе. А еще раньше вместе ходили в детский сад. Сколько я помню, Юрка всегда жил с матерью. То есть он жил только с матерью. Ее звали Варвара Антоновна, она курила «Беломорканал», любила кошек, цветы и пекла отличные пирожки. В ней была какая-то природная, врожденная строгость, отчего она походила на учительницу, ее побаивались наши сверстники, однако Юрку она ни в чем не ущемляла, давала ему полную свободу, доверяла ему во всем, и, как я понимаю теперь, поэтому он и был послушен и уважал мать. Это редкое, в общем-то, умение — быть матерью и не быть опекуном. Я думаю, что Варвара Антоновна никогда не наказывала Юрку. Впрочем, его и не за что было наказывать.

Он всегда и во всем был первым. Он знал столько, что нам, его товарищам, и не снилось. Что там товарищам, что там одноклассникам! Он наверняка знал больше иных учителей, однако не кичился своими знаниями, не задавался, не выпячивал своего исключительного положения (его открыто называли гордостью школы), и не было такого случая, чтобы Юрка не дал, например, списать задачку или чтобы не помог в чем-то, если кому-то нужна была его помощь. А мси контрольные работы по математике и физике он делал раньше, чем свои.

Мы дружили с ним с детсадовских времен и сидели в школе за одной партой. С первого класса и до окончания школы.

Юрку любили все: учителя, соседи, дворники, мы и наши родители, а недругов у него просто не было, хотя, наверно, кто-то и завидовал ему. Но завидовали по-хорошему, без озлобления, безоговорочно признавая его превосходство. Его даже не дразнили никак — ни во дворе, ни в школе, — хотя его рыжие волосы и лицо, сплошь усеянное веснушками, никому другому не прошли бы даром. Он был замечательно создан для насмешек, тем более еще и слабоват физически, так что вряд ли в драке смог бы постоять за себя. Но в том-то и дело, что Юрка не дрался, у него не было необходимости драться, потому что никто и не задирали его. Но если бы вдруг к нему пристал бы кто-нибудь из другой школы или с другого двора, мы все дружно поднялись бы за Юрку Степанова,

Может быть, он был не только гордостью школы, но и нашей гордостью.

Юрке прочили блестящее будущее. Научное будущее. Почему-то все считали, что он станет выдающимся физиком, хотя он любил и географию, и историю, много читал и неплохо играл на рояле. У них дома был старый, дореволюционный рояль. По-моему, «Стейнвейн». Но может, я и ошибаюсь. Варвара Антонова также любила музицировать, а ее мать, Юркина бабушка, была профессиональной пианисткой.

— Музыка, дети мои, облагораживает людей, делает их чище, светлее и добрее, — говорила Варвара Антоновна, отыграв для нас, друзей Юрки (мы часто собирались у него, нам было здесь интересно), какой-нибудь ноктюрн. — Без музыки невозможна сама жизнь. Разумеется, я имею в виду настоящую музыку, — непременно уточняла она, — а не эти современные шлугеры-шлагеры. — Она даже морщилась, произнося эти слова.

По правде сказать, Юрка не меньше серьезной, классической музыки любил и эстрадную, но скрывал это от матери, чтобы не огорчать ее своим дурным вкусом. Заблуждения и ошибки, философствовал он, когда мы уже учились в старших классах, также необходимы людям, как утвержденные временем истины, а музыка — в частности, музыка — тем и прекрасна, что каждый находит в ней свою истину.

Но было у Юрки одно увлечение, возможно самое сильное, о котором знали очень немногие (уж во всяком случае, не Варвара Антоновна) — Конан Дойл. А вернее, Шерлок Холмс. То есть Юрка вообще увлекался детективной литературой, высоко ставил Эдгара По, с некоторыми оговорками (длинно пишет в отличие от того же Эдгара По, не говоря уже о Конан Дойле) признавал Агату Кристи (он читал ее и в подлинниках), однако Шерлок Холмс был его кумиром, и я никогда больше не встречал человека, для которого книжный герой значил бы так много. Привязанность, любовь Юрки к Шерлоку Холмсу была какой-то безудержной, фанатичной, почти маниакальной, и он не расставался с томиком Конан Дойла ни в школе, ни во дворе. Наша старенькая учительница литературы, каких нынче можно встретить только в старых районах города, в старых же школах, знавшая наизусть едва ли не всего Пушкина, Лермонтова, Блока, влюбленная в



каждую фразу Гоголя и Платонова, не раз пеняла Юрке за его увлечение детективами, доказывала ему, а заодно и всем нам, что это «литература низкого пошиба», что любовь к такого рода литературе не делает чести образованному, интеллигентному человеку, однако и ей ничуть не удалось поколебать привязанности Юрки к детективам. И однажды — это было классе в седьмом — он признался мне по секрету, что собирается в будущем стать следователем.

— Ты знаешь, какое это дело?! — горячился Юрка, как если бы я отрицал замечательность или важность этого дела. — Это... у-ух! Смотри. Вот, например, совершено убийство, свидетелей нет. На месте преступления найдена одна-единственная обгоревшая спичка, больше ничего, никаких следов. По этой единственной спичке нужно опознать и разоблачить убийцу. А?.. Что ты скажешь теперь? Тут надо напрячь извилины.

— Как же ты найдешь? — недоверчиво спросил я.

— Это смотря по обстоятельствам, смотря кого убили и почему. Например, богатого коллекционера, который не впускал в дом незнакомых людей. Значит, надо искать среди знакомых, верно?

— Верно, — согласился я.

— А спичка, между прочим, воткнута в горшок с кактусом. Не каждый имеет такую привычку — втыкать обгорелые спички в горшки с цветами, верно? Плюс не у каждого в доме есть цветы... Это, конечно, простой случай, но вообще-то всегда можно найти зацепку, как бы тщательно преступник ни маскировал преступление. Тут есть еще и парадокс: чем тщательнее что-то прячешь, тем скорее проворонишь какую-нибудь мелочь. Вот ты побывал в чужой квартире и хочешь сделать так, чтобы этого не заметили. И почти наверняка сделаешь наоборот, потому что, заметая следы, будешь сомневаться, здесь ли стояла какая-то вещь или в другом месте... Эх, если бы не мама! — вздыхал Юрка. — Понимаешь, мама сойдет с ума, если я пойду в следователи или вообще пойду работать в милицию. Но это предрассудки, верно? Почему-то все не любят милицию, а чуть что случилось — бегут туда за помощью. А вот чтобы сын пошел работать в милицию или чтобы отдать дочку замуж за милиционера — ни-ни, что ты! Но это же чепуха какая-то.

В другой раз, когда я зашел к нему проконсультироваться по тригонометрии, он разочарованно сказал, что все-таки из него не получится хороший следователь.

Он был какой-то всклокоченный весь, растерянный, как после драки.

— Вот, послушай.— Он усадил меня на оттоманку, схватил книгу и принялся читать «Союз рыжих». Я покорно сидел и слушал, хотя тоже знал этот рассказ почти наизусть. Но также знал, что Юрку нельзя прерывать, да и бесполезно. Если он читал или пересказывал Конан Дойла, для него не существовало ничего вокруг. Он слышал и понимал только себя.

Прочитав рассказ, он отложил книгу, взглянул на меня и спросил потерянно:

— Ну, понял?

— А что я должен был понять?

— Ты понял, что у Шерлока Холмса, по существу, не было ни одной зацепки?

— Но ты сам доказывал,— напомнил я,— что преступник всегда оставляет следы, что зацепка...

— А!— воскликнул он и вскочил.— В том-то и дело, что преступления еще не было! Вот что значит дедукционный метод. Какая логика, какой анализ случайного факта!.. Нет, мне такое не по зубам.

— Узнал же ты, кто запустил лягушку в портфель географички.

За несколько дней до этого в нашем классе случилось ЧП. Географичка, как обычно, занесла в класс портфель, а сама ушла в учительскую за журналом. А когда пришла на урок и открыла портфель, оттуда вылезла здоровенная лягушка. Географичка едва не упала в обморок, она хоть и преподавала географию, хоть и была как бы ближе к природе, чем другие учителя, но страшно боялась всего живого, особенно мышей и лягушек.

Пришел директор и объявил, что если виновный «в этом хулиганском поступке» не будет найден к следующей перемене и не явится к нему, весь класс получит двойку по поведению, а виновного, которого все равно найдут с помощью органов милиции, сказал директор, исключат из школы.

— Такого в нашей школе еще не бывало,— закончил свою речь директор,— и мы не имеем права оставить это без внимания. Поразмыслите об этом. Хочу предупредить, что чистосердечное признание облегчит участь виновного.

Нас оставили одних. Географичка ушла вместе с директором, заявив, уходя, что ее ноги больше не будут здесь. Мы стали спорить, кричать, кто-то защищал

виновника случившегося, кто-то — географичку, молчал один Юрка. Ближе к концу урока он встал и сказал:

— Пусть девчонки выйдут из класса.

Девчонки, конечно, запротестовали, однако мы вывели их, а сами столпились возле Юрки.

— Я знаю,— продолжал Юрка,— кто это сделал. Лучше, если он сам пойдет к директору и во всем признается. Иначе пойду я. Девчонкам можно не говорить, а то разнесут своими языками.

Тогда поднялся Васька Полещук.

— Я схожу,— сказал он.— Только ты объясни, как догадался, что это я.

— Это ерунда. Ты сам, во-первых, хвастался, что вчера ездил с отцом на рыбалку. Значит, запросто мог притащить из-за города лягушку, в центре Ленинграда они не водятся, верно?

— Ну...— пробормотал Васька.

— Во-вторых, Люська Бирюлева обратила внимание, что ты дольше всех не выходил из класса на перемену, и решила, что ты хотел оставить записку Галке.

Тут Васька густо покраснел.

— И в-третьих, именно ты на прошлом уроке получил двойку, а всем известно, что родители платят тебе за пятерки и четверки, а за тройки и двойки высчитывают потом из этих денег...

— Ладно, хватит,— сказал Васька.— Черт ты рыжий, вот ты кто.

— За «рыжего», между прочим, можно и схлопотать,— пригрозил ему Гусев, каратист.

— Цепочка замкнулась,— завершил свои построения Юрка.

Обычно по утрам мы с ним вместе выходили во двор. Жили мы в разных парадных. Варвара Антоновна обязательно смотрела в окно и махала нам рукой на прощанье. Юрка тоже махал ей. Два окна их комнаты выходили во двор и были всегда идеально чистые, с веселыми занавесками, а на подоконниках даже зимой расцветали цветы. Иногда Варвара Антоновна присылала мне с Юркой свежие пирожки. А пирожки у нее получались очень вкусные.

Не знаю, кем был его отец и отчего он умер совсем еще молодым, Юрка никогда не говорил об этом. А я не выпрашивал. Думаю, что им с матерью жилось нелегко, но жили они дружно, с полуслова понимали друг друга. Одевался Юрка не хуже всех остальных, у

него бывали карманные деньги, а его библиотеке просто завидовали все, хотя, собственно, художественную литературу он и не собирал.

\* \* \*

Для всех, кто знал Юрку Степанова, а в особенности для Варвары Антоновны, было полной неожиданностью, когда он объявил, что поступает в Горный. Кем угодно можно было представить Юрку — конструктором, музыкантом, учителем, в том числе и следователем или даже инспектором уголовного розыска, но только не геологом. И не моряком, конечно, и не летчиком. То есть он нормально вписывался в любую городскую профессию. Его место, так думали все, за кульманом или за канцелярским столом, в лаборатории или на сцене, у доски или на кафедре, в операционной или в тихой лаборатории, но обязательно в городе, рядом с домом и рядом с матерью, которая бы всю его жизнь заботилась о нем, пекла бы ему вкусные пирожки и провожала бы по утрам, когда он уходил бы на службу. Я так и вижу: Варвара Антоновна смотрит в окно и машет ему рукой, а он машет ей со двора, скрываясь под длинной аркой. И тем не менее Юрка выбрал бродячую профессию, требующую от человека самоотреченности, умения обходиться самым необходимым, хорошей физической подготовки и еще много всего такого, без чего городской житель вполне спокойно живет на свете. Да просто невозможно было представить Юрку с рюкзаком, в накомарнике, в высоких болотных сапогах и, может быть, с ружьем.

Я был свидетелем одного их разговора с матерью и потому знаю, как расстроилась Варвара Антоновна.

— Уж лучше бы ты пошел играть в футбол, — сказала она, вытирая глаза, — чем в эту... геологию.

— А что тебе геология, чем она тебе так не нравится?

— Там все алкоголики и бабники, — заявила Варвара Антоновна. — Они специально уезжают от семей, чтобы предаваться своим гадким порокам вдали от глаз жен.

— Но ведь ты не бывала в экспедициях, — возразил Юрка. — Ты говоришь со слов других.

— Совсем не обязательно где-то быть, чтобы что-то знать, — мудро отпарировала Варвара Антоновна. — Объясни ты ему, Боря, — обратилась она за поддерж-

кой ко мне. А что я мог объяснить? Да и к чему эти объяснения, если Юрка все равно никого бы не послушал. Насчет характера у него было все в порядке: решит что-нибудь — ни за что не отступится. — А сам-то ты куда решил поступать? — поинтересовалась она.

— На филфак, — ответил я.

— Ну да, у тебя были трудности с математикой, кажется? Вот видишь, Юра, твой товарищ выбрал настоящую интеллигентную профессию.

— У тебя, мама, странные понятия об интеллигентности.

— У меня странные понятия об интеллигентности? — удивилась она.

— Вообще о людях. Ты признаешь культурными, интеллигентными людьми только тех, кто нравится тебе, и только то, что тебе по душе. А прекрасных, интеллигентных людей гораздо больше, чем твоих друзей.

— Возможно, — согласилась Варвара Антоновна. — Но к счастью, среди моих друзей нет ни пьяниц, ни хамов.

— Обещаю тебе выбирать друзей среди порядочных, интеллигентных людей, — сказал Юрка.

— Обещать можно, но где ты их возьмешь в этой... Сибири или на севере?

— Извини, я как-то забыл, что порядочные люди проживают только в Ленинграде, да и то в старых, довоенных границах, — рассмеялся Юрка и обнял мать. — Сейчас ты говоришь глупости, мама, — сказал он, — и прекрасно понимаешь это. А хорошие, настоящие люди живут повсюду. В Сибири или на севере их не меньше, чем здесь. А может, и больше.

— Да откуда, Юра? Откуда они там возьмутся? Ведь туда ссылают уголовников, бандитов разных...

— Но ссылают-то отсюда, из Ленинграда!

— Ах, ну тебя, — отмахнулась Варвара Антоновна. — Поступай как знаешь, ты уже взрослый. Но добром это не кончится, я это чувствую.

Понятно: Варвара Антоновна никогда не выезжала из Ленинграда, она даже в Москве ни разу не бывала (Юрка сам рассказывал), так что и не представляла себе, что можно вообще нормально жить где-то. Наверное, все, что находится вне Ленинграда, в том числе и Москва, и Париж, и Рим, казалось ей одной большой-большой деревней, населенной людьми, не умеющими отличить Моцарта от Чайковского, и откуда все

стремятся сбежать, чтобы — разумеется! — поселиться в Ленинграде и «загадить» его своим бескультурьем. Не буквально, конечно, деревней, застроенной курными избами, с поскотинами и выгонами, где пасутся коровы и роются свиньи (все же Варвара Антоновна читала книги и смотрела телевизор), но деревней в том расширительном смысле, что люди там не приобщились к подлинной культуре и живут в темноте и невежестве, хотя и разъезжают на шикарных автомобилях. Да ведь и само пристрастие людей к езде на автомобилях, не говоря уже о покупке их, было для нее знаком провинциализма и серости. Если Варвара Антоновна встречалась на улице либо в магазине с хамством — она твердо знала, что это «показывают себя» приезжие, если во дворе случалась драка — опять же виновными были приезжие... Переубедить ее было невозможно. В самом крайнем случае, когда оказывалось все-таки, что продавщица-хамка — ленинградка, а драку затеял соседский подросток, родители которого коренные ленинградцы, Варвара Антоновна говорила, что в последние годы и в Ленинграде портятся нравы и что порчу эту завезли из провинции.

А на машине она никогда не ездила. Вообще предпочитала всем видам транспорта трамвай. Особенно любила довоенные, «американские» вагоны.

Теперь-то я понимаю, что все это была игра, некое самолюбование, проявление замкнутой кастовости. Ей и ее подругам-приятельницам хотелось, чтобы так было в действительности, но не могла же она не видеть, что ничего подобного нет, да и быть не может.

И все же нет, Варвара Антоновна не страдала таким квасным патриотизмом. Она просто любила Ленинград, а любовь бывает слепой не только к людям. Помотавшись по свету, я давно понял, что вот такая преданная и слепая любовь к своему городу, в общем-то, характерна именно для ленинградцев.

Хорошо помню, как Юрка уезжал на первую свою практику. Варвара Антоновна, естественно, напекла ему кучу пирожков. Перед отъездом мы пили чай (я был приглашен на проводы), и она все беспокоилась, не слишком ли мало Юрка согласился взять с собой еды.

— Хватит, мама, — успокаивал ее Юрка.

— Но там, куда ты едешь, очень возможно, что ничего есть.

— Ерунда все это.

— Ладно, ладно, сынок...— Она согласно кивала и улыбалась сквозь слезы, отчего на ее все еще красивом лице обозначались обычно невидные морщины.— Не забывай повязывать шарф, если станет прохладно, у тебя слабое горло.

— Хорошо, мама.

— И чисти зубы на ночь.

— Обязательно.

— Да, не вздумай одолжить кому-нибудь свою зубную щетку!— испуганно предупреждала она.

— Само собой разумеется.

— Вот все вы такие,— вздыхала Варвара Антонова, обращаясь уже ко мне.— Обещаете родителям одно, соглашаетесь с ними во всем, а потом делаете все наоборот, по-своему. Как будто родители желают вам худого. После, конечно, спохватываетесь, но тогда слишком часто бывает поздно. Пиши чаще, не ленись,— сказала она Юрке.— Я положила в чемодан пачку бумаги и тридцать конвертов. А как только прилетишь на место, сразу же дай мне телеграмму.

С практики Юрка вернулся каким-то другим. То есть это был все тот же Юрка — не в меру восторженный, увлекающийся, доверчивый,— однако в нем появилась рассудительность, уверенность, он даже говорил теперь неторопливо, делая большие паузы, как будто обдумывал тщательно каждую фразу, каждое слово, чтобы не ляпнуть банальность и не быть многословным. У него и голос сделался басовитее. Собственно, о работе он почти ничего не рассказывал, пожимал плечами, когда его спрашивали об этом, и говорил, что работа как работа, а о людях, с которыми встречался там, на далеком севере, выразился предельно коротко:

— Это настоящие мужики, они делают дело, а мы здесь много болтаем о деле.

Был он подтянутый, смуглый от солнца и ветра, от него, как мне казалось тогда, пахло дымом костров. И еще я заметил, что по улицам Юрка ходил как-то неуверенно, осторожно, словно боялся нечаянно толкнуть кого-то или просто задеть плечом.

— Да, — однажды признался он, — ведь могло случиться и так, что я всю жизнь прожил бы в Ленинграде и ничего не увидел бы в жизни.

Помню, что я еще возразил ему, сказав, что со всего света едут именно в Ленинград, чтобы увидеть его,

а он усмехнулся, неожиданно похлопал меня по плечу (раньше он этого не делал) и проговорил:

— Все правильно: в музей надо ходить, но жить в музеях нельзя.

Вскоре нам дали квартиру, я переехал в новый район, далеко от центра, и мы с Юркой встречались все реже и реже, каждый из нас был занят решением своих проблем. А после, когда мы закончили учебу, наши пути-дороги и вовсе разошлись. Он уехал, кажется, на Сахалин, я остался в Ленинграде. Несколько лет я ничего не знал ни о Юрке, ни о Варваре Антоновне...

\* \* \*

О его гибели я узнал случайно. Встретил на улице одну нашу общую знакомую, и она вскользь упомянула о том, что Юрка Степанов погиб.

И тогда я решил навестить Варвару Антоновну.

Дом, где я родился и где жил Юрка, хоть и находится в центре, но стоит на тихой улице. Есть еще в Ленинграде такие заветные, не посещаемые туристами и вообще приезжими места, потому что нет здесь ни дворцов бывшей российской знати, ни музеев, ни магазинов. Двор, в котором мы росли, самый дальний, третий от улицы, за двумя арками, и в тот раз я почему-то впервые обратил внимание, как гулко раздаются собственные шаги, когда идешь под этими низкими, затемненными арками. Для огромного нашего дома низкие арки были большим неудобством — под ними не проходили крытые грузовики, и когда кто-нибудь покупал новую мебель или переезжал, приходилось либо нанимать машину с открытым кузовом, либо таскать вещи с улицы через два двора.

Я стоял и смотрел на Юркины окна, и они казались мне холодными, мрачными, словно это были пустынные окна, за которыми не было никакой жизни. Такие окна бывают в домах, из которых уже выселили людей, но еще не пришли строители, чтобы начать ремонт. А может, мне именно показалось это, потому что я уже знал о смерти Юрки. Ведь мы с ним очень долго дружили. Я постоял немного посреди непривычно пустынного и тихого двора (прежде, когда мы были мальчишками, я не видел такого двора, ибо, как понял теперь, выходил во двор, когда там собирались ребята, а сейчас все были кто в школе, кто в детском саду), но войти в парадную не посмел, отчего-то подумав, что мой визит вряд ли доставит радость Варваре Антоновне. Скорее даже, подумал я, наоборот, ведь после



гибели Юрки прошло всего около года, и рана слишком свежа.

Я пошел назад, решив, что навещу ее в другой раз, и в первом дворе встретил Варвару Антоновну. Она несла сумку с овощами. Я растерялся, но разминуться с нею, оставшись незамеченным, было невозможно, и я подошел, предложил свою помощь.

— Давайте помогу, — сказал я. И почувствовал неловкость, стыд. Пожалуй, я испугался тогда, что Варвара Антоновна, узнав меня, расплатится прямо здесь, на улице, станет жаловаться на свою судьбу, а мне-то нечего было сказать ей в утешение. Или я боялся, что она не узнает меня?..

Она поставила сумку на асфальт, перевела дыхание и, взглянув мне в глаза, как-то очень просто, буднично как-то сказала:

— Здравствуй, Боря.

— Здравствуйте, Варвара Антоновна.

— Ты сильно возмужал, тебя прямо не узнать. Солидный такой... А я смотрю, как будто ты идешь навстречу... — У нее задрожали губы, и опять я подумал, что сейчас она заплачет.

Она не заплакала.

— Давайте я помогу вам, — повторил я и нагнулся, чтобы взять сумку. Мне трудно было смотреть на Варвару Антоновну.

— Помогите, Боря. Я устала. Три часа стояла в очереди за баклажанами. А старость берет свое, Боря, ничего не поделаешь.

Мне показалось, что она хотела сказать «жизнь берет свое».

Мы поднялись на третий этаж, она открыла дверь в квартиру и спросила:

— Ты не очень спешишь?

— Нет, — сказал я.

— Это хорошо, — вздохнула она. — А то мы всю жизнь куда-то спешим. Да, Боря, ты приходил сюда по делам?

— Я приходил к вам.

— И не застал меня! Вот видишь, как бывает. А я ведь еще хотела постоять и за перцем, болгарский давали. Но поняла, что все равно не донести. Могли бы и не встретиться. Ты проходи, проходи, Боренька. Правда, угостить тебя сегодня нечем, уж извини старуху. Сумку оставь здесь и проходи прямо в комнату, я сейчас. А ты помнишь, где наша комната?

Я помнил.

В их комнате все было по-прежнему, так мне показалось на первый взгляд, но все же и не хватало чего-то, и, присмотревшись, я понял, что на окнах не хватает цветов, которых раньше было много. А на комоде, покрытом, как всегда, вязаной накидкой, стояла увеличенная фотокарточка Юрки в черной рамке.

Тихо вошла Варвара Антоновна.

— Ты знаешь, да?.. — проговорила она.

Я молча кивнул.

Она села на старую оттоманку, на которой спал Юрка.

— Я думала, что не переживу, — заговорила она. — Когда мне сообщили... — Она все же не сдержалась, всхлипнула и виновато отвернулась. — А вот пережила, как видишь. Хотя... Не знаю, Боря, что будет дальше. Ничего не будет, вот что. Надо как-то скрипеть, а зачем? Нельзя, чтобы дети уходили раньше родителей. Это ужасно, это страшно...

— Ну что же делать, Варвара Антоновна, — неловко попытался успокоить я ее. — Надо привыкать...

— Я знаю, что надо. А все равно никак не могу привыкнуть. Если бы хоть как-то по-другому все случилось, если бы он просто умер... Господи, что я такое говорю!.. Ведь это я, я виновата в его смерти. — И тут она наконец разрыдалась, а я не пытался успокаивать ее, понимая, что сейчас ей лучше выплакаться, что любые мои слова прозвучали бы неубедительно и фальшиво.

Я сидел и рассматривал фотокарточку Юрки. И вдруг в голову явилась мысль, что и этот комод, на котором стояла фотокарточка, и вообще вся эта старая, громоздкая мебель, сохранившаяся еще с довоенных, должно быть, времен, сохранилась вовсе не потому, что Варвара Антоновна так любит ее, так привязана к этой в общем-то тоже безликой мебели, а потому, что купить новую она просто не могла. Она одна вырастила Юрку, он никогда и ни в чем не знал отказа, у него было все, что было у всех нас, его сверстников, а получала Варвара Антоновна совсем не много...

Она перестала плакать.

— Понимаешь, я попросила приятельницу заверить телеграмму, что тяжело больна. Мне приснилось, что я скоро умру, и я напугалась, что Юра никогда не узнает правды... Конечно, можно было написать ему или оставить письмо дома, он бы нашел, а мне, старой ду-

ре, захотелось рассказать все самой. Страшно так стало, Боренька. Наверное, умирать вообще страшно... Ты ведь знаешь, как я не хотела, чтобы он шел в эту геологию. Я чувствовала, мне все время снились сны... Может, поставить чайку?

— Не надо, — сказал я. — Спасибо.

— О чем это я?.. Да, Боря, ведь Юра мне не сын. По-моему, я даже вздрогнул, когда услышал это.

— Вот какие дела. Он сын моей сестры. Когда Надя была беременная, от нее ушел муж. Во время родов она умерла, я взяла ребенка, усыновила его, и мы переехали в этот дом — до этого я жила на Петроградской, — чтобы никто ничего не знал. Мой муж был против, и мы тоже расстались. Я не могла поступить иначе. А Юрин отец и сейчас жив. Он дал мне слово, что никогда не будет вмешиваться в нашу жизнь и напоминать о себе. И он сдержал свое слово, хотя я сначала боялась. — Она усмехнулась и покачала головой. — Зря боялась, он так сдержал свое слово, что даже не приехал на похороны. Я сообщила ему, подумала, что теперь не имеет значения, а он все-таки отец... Нет, я не переживу, чувствую, что все равно не переживу. Вот хожу, что-то делаю, но меня как будто и нет. Я и людей почти не вижу. Сама удивляюсь, как узнала тебя.

Теперь только я заметил, что старенький телевизор, стоявший незаметно в углу, накрыт пикейным покрывалом.

— Что вы, Варвара Антоновна, — сказал я. — Надо жить.

— И надо и не надо, Боря. Я всю жизнь прожила для него и сама же его погубила.

— Это несчастный случай.

— Нет, это расплата. Расплата, Боря. Я раньше считала... Ты знаешь, люди часто поступают хорошо не потому, что не могут иначе, что не могут поступать дурно, а потому, что им нравится чувствовать себя благодетельными судьями. Господи, сколько же сделано глупостей из-за тщеславного стремления к благородству!.. И не спорь, пожалуйста, я лучше знаю. Не имела я права лишать Юру отца. Я взяла на себя роль судьи, но судьи, может быть, несправедливого. Его мать была моей сестрой, понимаешь? И поэтому я во всем обвиняла ее мужа. Так всегда бывает. А откуда мне было знать, кто из них больше виновен в том, что они разошлись?.. Ведь он собирался взять ре-

бенка себе, я еле уговорила его, я упрашивала его на коленях... И вот. Нет, нет, это я убила Юру. Сначала разлучила с отцом, а теперь убила. Меня должны презирать, а меня еще жалеют. Знаешь, это самое страшное наказание, какое можно придумать. Поэтому я и живу.— Варвара Антоновна поднялась с оттоманки, подошла к комоду и, взяв в руки фотокарточку, долго рассматривала ее. Потом сказала:— Он-то простит меня, он добрый. Я сама себя не прощу. Я буду жить долго, чтобы долго мучиться. Теперь я знаю, что жить бывает страшнее, чем умереть.

Я ушел от нее подавленный. Откровенность Варвары Антоновны, ее признание ошеломили меня. Нет, я не думал, что она покончит с собой, все-таки год — достаточный срок, чтобы утихла, притупилась первая боль, которая только и способна толкнуть человека на крайний шаг, но вот как она станет жить дальше с т а к и м чувством вины... Не знаю, действительно ли в случившемся была часть ее вины или это чистая случайность, но если она решила, что виновата, ей не позавидуешь. А нужно ли было Юрке знать правду, размышлял я? Конечно, правда все-таки лучше и нужнее любой лжи, но в том-то все и дело, что никакой лжи не было. Было у молчание, и оно устраивало всех, но отчего же Варваре Антоновне вдруг захотелось открыть Юрке истину? Испугалась своей смерти или что-то другое?

Уходя от нее, я пообещал, что обязательно приду еще, но, как чаще всего бывает, тотчас и забыл о своем обещании. То есть нельзя сказать, что просто забыл. Скорее, не отнесся всерьез. Мало ли что и кому мы обещаем. Пожалуй, человечество и не в состоянии даже выполнить всех обещаний.

Сначала я откладывал визит, считал почему-то, что Варваре Антоновне нужно дать возможность успокоиться, прийти в себя, потом закрутился, а потом уже и ни к чему вроде было навещать Варвару Антоновну, потому что прошло слишком много времени, и все, казалось мне, осталось в прошлом...

\* \* \*

И вот недавно я получил приглашение на вечер в школу, где мы учились с Юркой. Вечер был посвящен двадцатипятилетнему юбилею нашего выпуска.

Мне нужно было идти мимо нашего дома, у меня оставалось в запасе около часа времени, и я свер-

ул во двор. На Юркиных окнах висели яркие, какие-то даже солнечные занавески. Створки окон были распахнуты настежь, и я увидел Варвару Антоновну: она поливала цветы.

Я поднялся к ней.

Она не сразу узнала меня, а узнав, всплеснула руками и возбужденно воскликнула:

— Боря, неужели это ты?!

— Я, Варвара Антоновна.

— Сколько же прошло, как мы виделись в последний раз?.. Лет десять?..

— Поменьше, — сказал я, и мне сделалось стыдно.

— А ты у нас теперь не просто Боря, — проговорила она, разглядывая меня. — Постой, постой, я вспомню твое отчество... Васильевич, верно?.. Нет, не Васильевич. Николаевич! — вспомнила она. — Василий Петрович жил под вами, а твоего отца зовут Николай Петрович. Он жив, Боря?

— Умер.

— Прости. А мама как?

— Жива, только болеет все.

— Ты передай ей поклон от меня и скажи, что в нашем возрасте болеть нельзя. Роскошь болеть могут позволить себе молодые. Покажись, дай я тебя как следует разгляжу. Прямо аристократ! — рассмеялась она. — Заходи.

Ее приглашение прозвучало так, словно бы она приглашала меня лишь потому, что признавала во мне «аристократа». Впрочем, меня это ничуть не обидело, не смутило, — я знал, что Варвара Антоновна любит поиграть в аристократизм. На самом же деле это означало, что человек хорошо выглядит, опрятен, что костюм его скромен и традиционен, и что вообще он ленинградец. Повторяю: я шел на вечер в школу, и на мне был костюм и галстук.

А в комнате Варвары Антоновны были перемены. На окнах, как я уже говорил, были яркие занавески — на алом фоне пышные желтые подсолнухи, — сквозь них легко проходил солнечный свет, и оттого комната была окрашена в желто-розовые тона. На месте старой оттоманки стоял современный диван, накрытый пледом в тон занавескам, на полу лежал недорогой, но какой-то изящный, мягкий ковер, а в простенке между окнами, где прежде стоял комод, теперь стояло трюмо и рядом — пуфик. Платяной шкаф, обеденный круглый стол и стулья остались те же, что и раньше.

— Ну, садись и рассказывай, — требовательно сказала Варвара Антоновна, усаживаясь в низкое кресло под торшером. И кресло, и торшер разместились там, где была кровать.

— Собственно, рассказывать нечего, — пожал я плечами. — Живу как все советские люди.

— Не скромничай, Боря! — погрозила она пальцем и закурила свой «Беломорканал». — А ты не куришь? — Нет.

— Молодец. Дурных привычек надо избегать. А знаешь, я тут случайно купила твою книжку. Мне понравилась.

— Извините, — сказал я, ругая себя за то, что не догадался захватить с собой экземпляр для Варвары Антоновны. — Забыл подарить.

— Не надо извиняться, — сказала она. — Обо всех помнить невозможно. Да ведь и денег книжка стоит. Я заплатила рубль семьдесят, не обеднею, так и другой заплатит. А тебе сколько нужно денег отдать, если дарить бесплатно всем знакомым! А вот автограф ты мне дашь. И кто бы мог подумать, что ты станешь писателем!.. Мы тут с Ниной Ефремовной вспоминали тебя. А ты ее помнишь? Она живет на втором этаже, как раз подо мной...

— Помню, — сказал я.

— У нее тоже есть твоя книжка. Я когда увидела, купила две, чтобы и у нее была. Да, ты всех удивил, Боря. Впрочем, что мы знаем сами о себе, не говоря уже о других, верно? Живем по принципу: день прошел, и ладно, задуматься некогда. Я вот только теперь иногда задумываться стала. Я ведь на пенсию вышла, так что свободного времени хватает. Вот как получается в жизни — мы начинаем думать, когда появляется свободное время. А человек должен думать всегда.

За крышу флигеля, в котором когда-то я родился и жил, опускалось скупое ленинградское солнце. Комната порозовела еще больше, и лицо Варвары Антоновны в этом розовом свете под ярко-красным абажуром торшера как бы помолодело, и не стало видно на нем морщин.

— Извини, — сказала она, поднимаясь, — я закрою окна, а то моль летит. Прямо бедствие как-то. Ты не знаешь, как ее вывести? А у вас тоже есть моль? Да, забыла спросить: ты женат?

— Женат.

— И дети есть?

— Сын.

— Это прекрасно, Боря. Одному жить нельзя. А жена у тебя хорошая, понимает тебя? Она должна быть счастливой, все-таки жена писателя. Ах, что же это я!.. — вдруг спохватилась Варвара Антоновна. — Сижу, болтаю, совсем никудышная хозяйка стала. Сейчас я угощу тебя чаем, у меня цейлонский, приятельница где-то достала и поделилась со мной. И еще что-то есть... — прошептала она, улыбаясь. — Ты ведь любишь пирожки?

— Любил.

— И что же, разлюбил? — удивилась она.

— Просто давно не ел.

— Разве жена не печет?

— Нет.

— Ну, это никуда не годится. Ты приведи ее ко мне, я научу. Да, нынешние молодые хозяйки не умеют как следует готовить, я давно заметила. Вот у Нины Ефремовны невестка ничего, кроме яичницы, не умеет. А мужчину надо кормить сытно и вкусно. Ваш брат очень любит, когда за ним ухаживают. — И она снова погрозила мне пальцем и пошла из комнаты.

Я встал и подошел к висевшей на стене книжной полке. Пушкин, Тургенев, Бунин, Флобер, Айрис Мердок, Джейн Остин, несколько книг современных авторов, в том числе и две моих. На рояле рядом с красивой хрустальной вазой лежала раскрытая книга. Я взглянул на обложку — это был Сименон.

Вернулась Варвара Антоновна с подносом, на котором стояли чашки, заварной чайник, сахарница, рюмки для варенья.

— Ты удивлен? Взяла почитать у Нины Ефремовны. И ты знаешь, мне нравится. А как его принимают в литературных кругах?

— Нормально, — сказал я.

— Хороший писатель. Садись к столу, сейчас я принесу пирожки. Кажется, сегодня мне удалось. А это не всегда бывает. Все-таки старые духовки, когда топили дровами, лучше. А с газом трудно угадать.

Пирожки в самом деле были отменно вкусные. И чай хорошо заварен. И Варвара Антоновна была довольна всем. Она рассказывала, что у нее приличная пенсия вышла, что ей разрешается работать, если она хочет, и полностью получать пенсию, так что на жизнь вполне хватает, жаловаться не на что. Она даже мог-

ла бы откладывать, но в этом нет надобности (на похороны уже отлежала), поэтому она почти не использует право работать...

— Вообще, Боря, я тебе прямо скажу, что жить сейчас можно. И неплохо жить. Лишь бы войны не было. Вот это страшно. Ты как думаешь, будет война?

— Думаю, что нет, — ответил я.

— Дай-то бог. Так хочется спокойно пожить! Ты прямо успокоил меня. А то газеты считаешь, телевизор посмотришь... Вот собираюсь купить цветной телевизор. Одни советуют, другие нет. А ты советуешь?

— Я бы не спешил.

— Вот, вот, сын Нины Ефремовны тоже говорит, что пока надо подождать. Придется, видимо, отложить. Вообще-то кино и программу «Время» и так хорошо смотреть, а вот «Клуб путешественников» и «В мире животных» по цветному все же лучше. Ты ешь, ешь пирожки. Я тебе с собой дам, угостишь жену и маму. Жена попробует моих пирожков и сама захочет печь. Ты приведи ее ко мне. Кого-нибудь встречаешь из одноклассников? — неожиданно спросила она.

И я признался, что как раз иду на вечер в школу.

— Это же очень интересно! — воскликнула Варвара Антоновна. — Увидишь своих старых товарищей. Жаль, Юра не дожил. Ему тоже было бы интересно. Ты не забывай меня, заходи.

— Зайду, — опять пообещал я.

— И подпиши свою книжку. И заодно уж Нине Ефремовне, ладно? Мы будем знакомым показывать. А то станешь говорить, что знаю тебя с детства, а люди не верят. Да я и сама не поверила, когда первый раз твою фамилию в журнале увидела. Ты не замечал, что люди вообще стали какие-то недоверчивые? А все потому, что жить легко и все боятся войны. Чтобы не было войн, все люди на земле должны хорошо жить.

В окна скользнул последний солнечный луч. Варвара Антоновна повернулась к окнам, улыбнулась и сказала:

— Скоро зацветет кактус. Приходи с женой посмотреть. Я позвоню вам, хорошо? Да, у вас есть телефон?

— Есть.

— Ты оставь номер. А твоя жена любит цветы?

— Да так, — сказал я. — Какие-то дома есть, но больше мать занимается.



— Женщина должна любить цветы. А может, ты виноват? Признайся, Боря, ты часто даришь жене цветы?

— Не особенно, но иногда дарю.

— И то молодец, другие вообще никогда не дарят. Вы пригласите меня в гости, и я подарю твоей жене редкий кактус. Ее как зовут?

— Лена.

— У вас солнечная сторона?

— Солнечная.

— А подоконники есть? Теперь строят без подоконников.

— Есть, — сказал я.

— Вот и хорошо. Ну, ступай, ступай. Я вижу, ты спешишь. Не забудь передать привет маме и жене. Да, а как вы называли сына?

— Юра.

— Вот как?.. Ступай.

Спустившись во двор, я посмотрел на ее окна. Варвара Антоновна помахала мне рукой. Я тоже помахал ей.

\* \* \*

То ли Степанов видел сон, то ли ему грезилось...

Мать склонилась над ним, гладила его голову и тихо уговаривала:

— Успокойся, глупенький, успокойся. Не надо плакать. Хочешь, я куплю тебе попугайчиков?

— Не хочу, не хочу! — кричал он и бился в истерике.

К ним на окно повадились летать два голубя, или голубь с голубкой. Так думал Юрка. Они прилетали каждое утро, когда он завтракал, и каждый вечер, когда они с матерью пили чай. Он кормил голубей пшеном и булкой. И еще они любили пирожки. Они узнавали Юрку и утробно, ласково ворковали. Тот, который был покрупнее, позволял трогать себя рукой. Юрка был счастлив. Ему было лет десять.

Так продолжалось всю весну, но однажды прилетел один голубь. Это была голубка. Она недолго посидела на карнизе, нахохлившись, и улетела. На завтра снова прилетела одна и снова не притронулась к пшену. Не стала клевать даже пирожок, зато разрешила погладить себя. Потом пропала и она. Едва проснувшись, Юрка спешил к окну, однако голубка не прилетала...

Спустя недели две Юрка нашел голубку на чердаке. Она лежала возле слухового окна кверху лапками. Он завернул ее в свою майку и тайком похоронил за помойкой. А вечером с ним случилась истерика, он вдруг понял, что голубка умерла от тоски, а ее голубя кто-то убил. Или поймала кошка.

— Ну, успокойся же, — уговаривала мать. — Если не хочешь попугайчиков, я куплю канареек, они будут петь.

— И канареек не хочу, — кричал он и плакал, плакал...

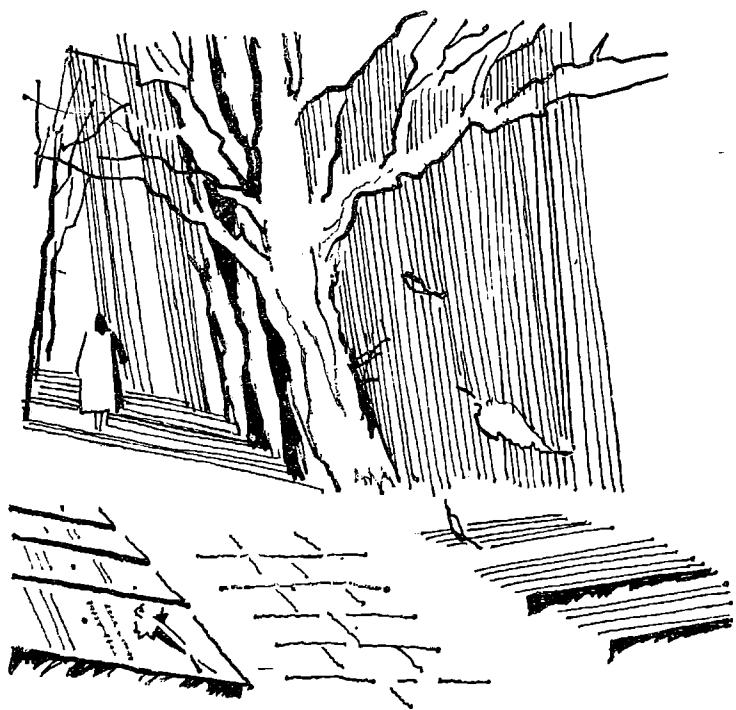
\* \* \*

Степанова нашли на третий день. Он сидел, привалившись спиной к сосне, и на лице, говорят, была улыбка.

Тришка лежал рядом

## Цветы любимым

---



---

На вокзал Надежда Викторовна приехала почти за час до отправления поезда. Посадку только что объявили, поэтому в вагоне еще никого не было, и она порадовалась немножко, что можно спокойно, без неудобств переодеться в дорожное. Она достала из небольшого клетчатого чемодана, купленного в прошлом году в Риге, полиэтиленовый мешочек с туалетными принадлежностями, фланелевый халат и, закрыв дверь на замок, быстро переделась. Чемодан убрала под полку, пальто и костюм повесила на «плечики» и, оглядев себя в зеркало, сказала вслух:

— Ну вот, теперь все в порядке.

Потом чуть приоткрыла дверь, чтобы видно было, что можно входить без стука, и села возле окна.

Надежда Викторовна любила эти несколько минут покоя, непривычного среди вокзальной суеты, и потому всегда старалась пораньше занять свое место. Она не понимала людей, которые, рискуя опоздать, являются к поезду в последнюю минуту. Впрочем, вообще не понимала тех, кто вечно спешит, вечно куда-то опаздывает, в том числе и на работу, да еще и ругается, что плохо работает транспорт. А транспорт, если задуматься, ни при чем. Не было бы ни давки, какая бывает в автобусах (в городе, где живет Надежда Викторовна, ходят только автобусы), ни беспочвенной озлобленности друг против друга, если бы люди вовремя выходили из дому, а не экономили, обманывая себя, каких-то пять или десять минут. Надежда Викторовна никогда не спешит и поэтому никогда и никуда не опаздывает. Вот именно: чтобы не опаздывать, не надо спешить. Это же так просто и так легко выполнимо.

Надежда Викторовна, например, могла бы, по крайней мере, еще целых три дня пожить здесь, у моря, тем более и погода стоит на редкость замечательная для середины октября — тепло и солнечно, однако она предпочитает вернуться из отпуска не в последний день, как это делают другие. Приехав домой, она спокойно приберется в квартире (за месяц неизвестно каким образом накапливается уйма пыли), повидает друзей и знакомых, расскажет, как провела отпуск, чтобы покончить с этим до следующего года, разузнает, что нового на работе — не случилось ли каких-нибудь неприятностей, не заболел ли кто-нибудь из детей, — так что заранее будет в курсе всех дел. Многие после возвращения из отпуска, особенно если уезжали далеко, первые дни расквашиваются, не только сами не работают, но и других отвлекают, а Надежда Викторовна включается в работу сразу, как если бы отсутствовала не месяц, но всего один выходной день.

Такой порядок давно сделался для нее привычным, чуть ли даже не ритуальным, и было бы странно, когда бы она вдруг нарушила его. Она и отпуск берет вот уже лет десять подряд всегда в одно и то же время — с 15 сентября, — хотя вполне может брать и летом. Она знает, что не всем нравится ее пунктуальность, что ее называют занудой, что будто бы из-за этого своего занудства она и живет-то одна, без семьи, счи-

тают некоторые. Все это прекрасно знает Надежда Викторовна, однако ничуть не обижается, но относится к этому спокойно и даже доброжелательно, зная также, что ее любят. Любят несмотря ни на что. А это так приятно и необходимо. Без любви окружающих тебя людей, пусть немножечко ироничной, насмешливой любви, было бы очень трудно жить.

Завтра утром она будет в Ленинграде.

С вокзала поедет к отчиму, он ждет ее, и они вместе поедут на кладбище, навестят могилу матери. Потом пообедают в ресторане, и отчим снова, как всякий раз, когда она приезжает в Ленинград, станет уговаривать ее, чтобы она переехала к нему. Это началось тотчас после смерти матери, еще в день похорон, и Надежда Викторовна, чтобы не обидеть отчима отказом, сослалась однажды на то, что ее не пропишут в Ленинграде, что она давным-давно потеряла на это право, но оказалось, что у него есть какие-то возможности устроить прописку. Законные, впрочем, возможности, уточнил отчим, зная щепетильность Надежды Викторовны. Наверное, так оно и есть. Он человек заслуженный, крупный ученый, дважды лауреат Государственной премии, почетный член нескольких иностранных академий, к тому же старый и одинокий теперь человек, так что ему необходима постоянная помощь и поддержка, а других родственников у него в Ленинграде нет. Надежда Викторовна опять, как и в прошлом, как и в позапрошлом году, пообещает подумать, и опять решение этого вопроса отложится на потом. Они погуляют по городу, посидят, если будет хорошая погода, в Летнем саду — отчим любит такие прогулки, — и завтра же вечером Надежда Викторовна сядет в поезд Ленинград — Свердловск и поедет уже домой. Правда, в Свердловске ей предстоит еще пересадка, но это уже почти совсем дома.

А самолетов она не терпит.

Провожая ее, отчим укоризненно скажет:

— Надо решаться, пора. Время не ждет, Наденька.

И может быть, на этот раз она решится. Может быть. Время действительно не ждет, оно движется по своему кругу.

Ждем мы...

\* \* \*

Вот и кончился отпуск, теперь мы увидимся через год. Но ты не очень скучай — год пролетит быстро, оглянуться не успеешь. Жди и все, ведь ожидание то-

же имеет свои радости. Кто-то давно заметил, что если бы не было разлук, не было бы и встреч. Наша жизнь сделалась бы однообразной, бесцветной, а для многих, возможно, и вовсе даже бесцельной, потому что мы лишились бы праздников. А праздники всегда приходят после будней. В жизни все устроено разумно и просто, мы сами часто, слишком часто усложняем жизнь. Только нужно это понять, понять один раз и навсегда, а не жаловаться на судьбу. По-моему, люди, которые жалуются на судьбу, не понимают самых простых и доступных вещей. Они не умеют или не хотят сравнить свои неудачи, свое горе с неудачами и горем других. Я знаю, что самая сильная боль — это моя боль, так принято считать. А когда задумаешься об этом, начинаешь понимать, что это не так. Других людей больше, их целый мир, а значит, и боль их сильнее моей, сильнее твоей, сильнее самой страшной боли одного человека...

Всякий раз, когда я еду к тебе, у меня полная голова мыслей, и собираюсь поговорить с тобой обо всем на свете, и всякий же раз забываю сказать что-нибудь важное, а после, возвращаясь домой, вспоминаю все, что нужно было бы сказать, но уже поздно. С тобой не бывает такого?..

Может, это склероз, а может, хорошо, что забываю. Пусть между нами всегда остается что-то невысказанное, тогда будет что сказать друг другу и завтра. Страшно подумать, что когда-нибудь, приехав к тебе, я пойму, что нам не о чем разговаривать. А ведь есть люди, которые так живут всю жизнь. Я бы, наверное, никогда не смогла. Это не жизнь, это как раз то, что называют сожителем. Но зачем?.. Ах, если бы можно было ответить на все «зачем», если бы можно было предвидеть свою судьбу...

Видишь, осуждаю людей, пеняющих на судьбу, а сама тоже туда же, с жалобами. Это от слабости. Просто я устала, распустилась чуть-чуть, вот и лезут в голову глупости. Или это правда, что женщины по преимуществу глупы от природы?.. Я тут случайно оказалась свидетельницей одного разговора. Отец и сын лет шестнадцати беседовали о чем-то оживленно так, заинтересованно, с ними была мать этого подростка, и она по ходу их беседы заметила что-то (я не расслышала, да это и неважно), и тогда сын, презрительно усмехнувшись, сказал, что «беда, когда женщина пытается думать, но хуже всего, когда она высказывает

свои мысли вслух». Знаешь, его отец промолчал, промолчала и мать, а мне было стыдно за них, как будто этот мальчишка оскорбил, унизил меня.

Я рассказываю тебе об этом, чтобы не думать о разлуке, хотя и знаю, что тебе-то тяжелее, чем мне. Ведь для меня еще один год ожидания — это всего только год, и все, даже чуть меньше — одиннадцать месяцев, а для тебя — вечность... Я вернусь скоро домой, окунусь в привычную жизнь, у меня есть работа, друзья, мои дети, у меня много чего есть, так что временами я вовсе забываю об одиночестве, забываю — прости! — о тебе, то есть о нас с тобой, а тебе остается только ждать. Мне каждый прожитый день приносит хоть что-то новое (не верь, что все дни похожи друг на друга, это неправда), пусть и не всегда приятное, радостное, — на то и жизнь, а у тебя...

Вот возьму и соглашусь переехать в Ленинград. Георгию Сергеевичу трудно одному — ему уже семьдесят три, и он так зовет меня к себе, так просит. И к тебе будет ближе. Я смогу приезжать каждый месяц, и даже чаще. Можно снимать здесь дачу на все лето. Понимаешь — на все лето...

\* \* \*

В купе вошли сразу трое: мужчина с женщиной лет пятидесяти и девушка лет двадцати. Девушка была очень похожа на мужчину, и Надежда Викторовна догадалась, что это ее отец. А женщина, скорее всего, мать. Она подумала удовлетворенно, что на этот раз ей повезло с соседями. А вот когда она ехала сюда — не повезло, соседями ее оказались молодые ребята, они всю дорогу от Москвы (Надежда Викторовна из дому ездит через Москву, а домой — через Ленинград) неумело брэнчали на гитаре и пели какие-то странные, незнакомые песни, да хоть бы пели еще хорошо...

— Добрый вечер, — сказал мужчина.

— Добрый, — приветливо отозвалась Надежда Викторовна.

Женщина тем временем деловито осматривала купе. Мужчина определил два объемистых чемодана в верхний багажник и проговорил:

— Порядочек.

— А там не украдут? — сказала женщина с сомнением и покосилась на Надежду Викторовну, словно именно в ней и заподозрила возможного вора.

— Перестань,— поморщился мужчина.

— Но ведь можно поставить вещи вниз, под полку. Девушка вспыхнула и отвернулась к окну.

— Внизу не наше место,— сказал мужчина.— И хватит на эту тему, надоело.

— Там ничье место,— упорствовала женщина.— Кто первый займет, того и будет...

— Мама, перестань,— сказала девушка.

Надежде Викторовне сделалось как-то неловко, стыдно сделалось за девушку, она встала, откинула свою полку и предложила:

— Поставьте, пожалуйста, мой чемодан наверх, а ваши вещи можете убрать сюда. У меня в чемодане нет ничего ценного.— Она улыбнулась девушке.— Только не знаю, поместятся ли ваши чемоданы. Здесь так тесно...

— Обойдется,— сказал мужчина и зло посмотрел на жену.

— Какое тут беспокойство, попробуйте. Мне все равно.

— А вы далеко едете? — спросила женщина.

— До Ленинграда.

— Тогда, конечно, никакого беспокойства. Давай сюда черный чемодан,— распорядилась она,— а второй можно под голову поставить...

— Ну пожалуйста, мама!..— Девушка снова вспыхнула.

— А нечего мамкать! Больно вы у меня совестливые и нежные, а как стащат все твои пожитки, тогда будешь знать. Жулья всякого шастает по поездам.

Мужчина молча опустил полку Надежды Викторовны.

— Извините,— сказал он,— бывает.— И сел.

Вздохнув, присела и его жена.

Надежда Викторовна подумала, что надо бы ей выйти из купе, оставить семейство без посторонних свидетелей (она поняла, что родители провожают дочь), им хочется поговорить, но вагон начал уже заполняться, в коридоре тесно, узко, а выходить на перрон в халате она посчитала неприличным. Да и не хотелось выходить. В конце концов, главное они наверняка сказали друг другу дома, так что теперь будут говорить о разных пустяках, а Надежда Викторовна к тому же умела слышать не слушая, то есть не вникать в смысл чужих разговоров.



Вот я и дожила до пенсии. Как-то уж очень быстро мы состарились. Кажется, совсем еще недавно были молодые, думали, что у нас все впереди... Да ведь и была впереди целая жизнь, была, а теперь чаще оглядываешься назад, живешь не будущим, как в молодости, а прошлым, потому что и жизнь, если разобраться, осталась там, и все меньше и меньше остается того, что будет, все больше и больше накапливается того, что было, а это не сложишь, как вещи, в чемодан и не возьмешь с собой. А может, и брать-то нечего?.. Однажды уйдешь, и ничего не останется после тебя, как будто ты и не жила на свете, как будто просто занимала место в жизни, и его, это место, тотчас займет другой человек, и все будет так же, как было при тебе, как было и до тебя. Словно сойдешь с поезда, а твои попутчики порадуются даже, что ты освободила удобное место — нижнюю полку например. Думать об этом не хочется, потому что тогда просыпается тщеславие, начинаешь искать в своей жизни что-то такое, что оправдало бы твое существование, и любой пустяк, любое дело, которое мог бы сделать каждый, обретает в собственных глазах важность и сама себе кажешься незаменимым человеком, растешь, заслоняя собой других, и уже хочется говорить другим, что, дескать, я скоро уйду, совсем уйду, а вы тут без меня...

Ты замечал, что многие старые люди и даже не старые, а просто люди в годах, часто говорят именно так? Интересно, они действительно верят этому или обманывают себя?.. Наверное, искренне думают все-таки, что без них если и не остановится жизнь, то станет и не совсем полноценной. Ведь себя обмануть нельзя.

Я не хандрю, не думай. Честное слово, нет. Просто иногда полезно, необходимо оглянуться и трезво взглянуть на прожитую жизнь. В том числе и нам, женщинам. А возможно, в особенности нам. Я нисколько не боюсь смерти. В этом-то мне даже повезло, потому что все старшие в нашей семье ушли раньше меня, как и предусмотрено природой. Ты ведь тоже старше меня, хоть и мало. А боюсь я одинокой старости. Как ошибаются те, что берегут свой покой, свою будто бы независимость! Мне жаль этих людей. Они на самом деле сберегают свое одиночество, не думая, что их ожидает в старости. Можно привыкнуть ко всему, в

тем числе к потере близких, но нельзя привыкнуть к одиночеству. Уж я-то хорошо это знаю. И ты знаешь. Знаем мы с тобой.

Это верно, что одиночество — слишком высокая плата за любовь, даже жестокая. Зато я поняла то, что дано понять очень немногим: любовь — это и есть счастье...

Сегодня, когда я приходила к тебе прощаться, я вдруг подумала, что до встречи с тобой прожила втрое меньше, чем после встречи. Не втрое даже, гораздо больше, потому что раньше мы были детьми. Только полюбив, человек становится по-настоящему взрослым, ибо в нем пробуждается чувство ответственности за жизнь другого человека, боязнь потерять его, готовность ради него пожертвовать собой, а это и есть признак зрелости, признак осознания себя как продолжение другого.

Наверное, это наивно и чуточку даже смешно. Но наивно-то не оттого, что глупо, а оттого, что всем известно, верно? А я сама пришла к этому, так что мне должна быть прощительна эта наивность. Женщинам вообще нужно прощать их наивность, потому что хотя бы именно их наивность очень часто позволяет сохранить любовь, а только любовь женщины делает мужчину — мужчиной. Это так, и это придумала не я. Ты сам когда-то сказал мне это. Забыл?.. А помнишь хоть, как мы встретились с тобой?..

Ко мне на улице пристали двое ваших «полосатиков» (у вас у всех были одинаковые и почему-то полосатые куртки, поэтому вас так и называли), хотели отнять муфту. Бог знает только, почему мама взяла с собой муфту, ведь мы эвакуировались из Ленинграда еще летом, и мама была уверена (многие, почти все, были уверены), что война продлится какой-нибудь месяц, много — два, то есть до зимы война закончится, и вообще мама забыла взять с собой более нужные вещи, а вот муфту взяла. Местные жители, кажется, никогда не видели муфты (теперь, между прочим, нигде их не увидишь), смотрели как на диковинку, поэтому, я думаю, ваши «полосатики» и позарились на нее. Ради баловства. Я и отдала бы ее, но там, внутри, у меня лежали карточки, я как раз шла за хлебом. Было начало месяца. Не могла же я объяснить этим парням, что у меня с собой карточки... Тогда бы они оставили мне муфту, а забрали бы карточки. Они тащили муфту к себе, я редела и цеплялась за нее, по-

нимая, что все равно ее отнимут, и мы с мамой остаемся на весь месяц без карточек, и вот тут появился ты. Я еще подумала, что, наверное, лучше по-хорошему отдать вам муфту, а то избеете (я всегда боялась боли), но ты схватил одного из «полосатиков» за шиворот и сильно толкнул, так, что он упал. Второй сам отошел, и ты сказал им, чтобы они никогда не смели подходить и близко ко мне. Потом ты молча проводил меня до магазина, подождал, пока я выкуплю хлеб, и проводил домой. Почему-то я сразу доверилась тебе, хотя уже тогда знала, что ты был у «полосатиков» атаманом — так тебя называли в поселке, и я должна была бы подумать, что просто ты решил ограбить меня сам. Я могла бы задержаться в магазине, подождать, пока кто-нибудь из взрослых пойдет в мою сторону, а я не стала ждать. Может, слово «атаман» и не означало ничего плохого? Может, это синоним нынешнего слова «лидер»? Ведь на самом-то деле вы никого не грабили, не избивали, хотя вас и боялись все, просто вы держались все вместе, заодно, а люди не понимали этого, потому что жили в постоянном страхе если и не за себя, то за своих близких. Все девчонки из нашего класса завидовали мне, когда узнали, что мы дружим, а мальчишки относились с нескрываемым уважением и даже с каким-то взрослым почтением. Мне было лестно, не стану скрывать, я гордилась нашей дружбой, пожалуй немножко и нос задирала, не замечая, как сильно переживает мама. Конечно же, она знала о наших отношениях, ей рассказали, но она умела переживать молча. Мама вообще была очень деликатная и чуткая. Всего только раз и спросила, достаточно ли хорошо я знаю тебя и не считаю ли, что мне рано встречаться с молодыми людьми. К тому же, еще заметила она, сейчас и не время для этого. Заметила так, словно не упрекала меня, не пыталась навязать свое мнение, использовать свое право матери, но как будто советовалась со мной...

Подумать только, как все мы зависим от случайностей! Ты не обращал на это внимания? Ведь если бы не муфта, которую мама неизвестно зачем (наверняка случайно) взяла с собой, если бы не твои друзья, которым ради обыкновенного озорства пришла в голову мысль отнять у меня эту муфту, если бы не я, а мама в тот вечер пошла за хлебом и если бы ты не оказался случайно поблизости, мы наверняка не по-

знакомились бы с тобой. Или все равно познакомились бы? Наверное, да. Город такой маленький, все у всех на виду... А помнишь, как я привезла тебя к нам домой и сказала маме, что мы любим друг друга? Она долго молчала, долго смотрела на нас мокрыми от слез глазами, потом пригласила тебя к чаю, но ты отказался, и я показывала тебе альбом с нашими семейными фотокарточками, объясняла, кто есть кто, а когда ты, посидев приличное время, ушел, мама обняла меня и сказала — нет, она попросила, — чтобы мы не наделали глупостей...

\* \* \*

Погруженная в свои мысли, Надежда Викторовна старалась не слушать чужой разговор, однако в этот раз ей не удавалось отключиться, и это смущало ее.

— Ты сразу, как приедешь, дай телеграмму, — настаивала женщина дочку. — Прямо с вокзала и дай, там есть почта. Поняла?

— Ладно, мама.

— А то мы с отцом будем волноваться. Напиши, как доехала и как тебя встретили.

— Напишу.

— А вдруг они не получили твою телеграмму и тебя никто не встретит?.. — встревожилась женщина. — Как же ты будешь с вещами?

— Ну что ты заладила? — сказал мужчина и покачал головой. — Вот суета сует, ей-богу! И мелешь, и мелешь... Доедет, что ей сделается. И встретят ее, и телеграмму получили. И вообще, все будет как положено. Посиди молча.

— У тебя, известно, всегда все хорошо, — недовольно проговорила женщина. — Тебе хоть и трава не расти, а у нас на работе одна сотрудница получила телеграмму, что ее мать находится при смерти, когда та уже умерла и ее даже похоронили...

Интересно, подумала Надежда Викторовна, куда они отправляют дочку? Наверное, в институт. Хотя уже поздно, занятия давно начались. Или девушка уже закончила институт и едет на работу по распределению. Тогда ей повезло — в Ленинград по распределению. А почему, собственно, именно в Ленинград? Может, в Ленинграде ей нужно делать пересадку, а едет она куда-нибудь на север. Здесь, должно быть, есть какой-нибудь рыбный институт, вот и получила

направление в Мурманск или в Архангельск. Что-то ждет ее там...

— Ты подумала бы еще, пока не поздно, — всхлинула женщина. — Успеешь замужем нажиться, не такое это уж и счастье... Все торопятся замуж, а после, посмотри-ка вокруг, локти кусают...

Значит, едет к жениху, поняла Надежда Викторовна и с интересом взглянула на девушку.

Она была не очень красивая, но какая-то милостивая, чистая, такие девушки обычно становятся хорошими женами и матерями, в них есть необходимая для жизни, особенно для семейной жизни, доброта, есть нежность, они умеют прощать, умеют терпеть, для них обязанности жены и матери, хозяйки дома и утешительницы не тяжкий труд, а радость... Ей даже к лицу, отметила Надежда Викторовна, совсем не женская одежда: тоненький, в обличку, горчичного цвета банлон и вельветовые джинсы в обтяжку. На груди скромный кулон из янтаря. Все очень красиво. Да и почему, сказала себе Надежда Викторовна, любясь девушкой, такая одежда не женская? Может, как раз наоборот. Для женщины ведь важно, чтобы фигура была на виду, чтобы одежда не скрывала, а подчеркивала ее достоинства. А у этой девушки фигура просто замечательная, этого нельзя не заметить. Говорят — тут Надежда Викторовна улыбнулась, — что мужчины смотрят сначала на фигуру, а после уже на лицо. Что ж, в этом есть свой глубокий смысл. И значит, мужчины часто обманывались раньше, пока не вошла в моду нынешняя одежда. Наверняка — она опять улыбнулась — эту моду придумали женщины, уж что-что, а когда дело касается внешности, женщины умеют быть изобретательными. А ведь она возмущалась, когда несколько лет назад одна из воспитательниц впервые пришла на работу в брюках. Ей казалось это вызывающим, чуть ли не аморальным. И не только ей. Даже в газетах писали, что неприлично женщинам ходить в брюках. А теперь очень многие носят брюки, все признали, что это удобно и красиво. Пожалуй, Надежда Викторовна и сама носила бы брюки, если бы была помоложе.

И вдруг захотелось вмешаться в семейный разговор и сказать матери, чтобы она не волновалась за дочь (как будто это возможно), чтобы не отговаривала выходить замуж. Неправда это, захотелось сказать громко, закричать, неправда это, что быть заму-

жем не такое уж счастье. Наоборот, это очень большое счастье, потому что так должно быть, так предусмотрено природой, и женщина становится собственно женщиной только замужем, то есть ставши женой и матерью, а те, которые потом, выйдя замуж, кусают локти, виноваты чаще всего сами. Не сумели, значит, построить семью и дом. В семейной жизни все или почти все зависит именно от женщины — от ее доброты, нежности, от ее любви и терпения, от ее готовности прощать других и не жалеть себя. Это не самопожертвование, не самоуничтожение, как думают некоторые, вовсе нет. Это естественное состояние настоящей женщины. Конечно, если ты постоянно будешь приносить себя в жертву, хотя бы и в жертву любимому человеку, хотя бы и в жертву собственным детям, тогда рано или поздно захочется кусать локти. Но если ты всегда будешь помнить о том, что все твои невзгоды и неприятности, без которых немислима жизнь, всего лишь скромная плата за счастье быть женщиной, матерью, ты никогда не пожалеешь, что пошла навстречу своей судьбе... Нельзя, нельзя, хотелось крикнуть Надежде Викторовне, мешать молодым, нельзя вмешиваться в любовь. Легко сломать, разбить жизнь, особенно чужую жизнь, но очень трудно склеить ее заново так, чтобы не осталось заметных трещин. Это редко кому удается, если удастся вообще.

Слишком много вокруг разбитых, искалеченных судеб, чтобы взрослые люди, родители, не понимали этого. А вот не понимают. Поэтому чаще всего как раз родители и виноваты в несчастье своих детей. Виноват их родительский деспотизм, который почему-то называют... любовью. Да какая же это любовь, если она приносит зло! Любовь существует для радости, а не для горя, для продолжения жизни, а не для ее разрушения.

Именно для продолжения жизни.

— Подумай, подумай, доченька... — повторила, всхлипывая, женщина.

— Всё, шабаш! — сказал мужчина и положил на столик тяжелую, большую руку. — Решено, — значит, решено. Лучше исполнить плохое решение, мать, чем не исполнить хорошее.

А он умница, подумала Надежда Викторовна. И похоже, хорспий, добрый человек. Такой не станет мешать дочери устраивать свою жизнь, но поможет обя-

зательно. Интересно, какой ему достался зять? Должен быть тоже хороший, пожелала мужчине Надежда Викторовна. Нельзя иначе.

Отодвинулась дверь, в купе вошел военный, майор.

— Разрешите? — спросил он. — Здравия желаю, как говорится.

— Здравствуйте, — ответил мужчина и приподнялся.

— Я не лишний? — Майор обвел всех глазами. — Вообще-то у меня десятое место, но здесь уже четверо...

— Никак нет, вы не лишний, — сказал мужчина. — Мы тут с матерью провожаем, так что располагайтесь.

— В таком случае пусть мои вещички покараулят место. — Майор улыбнулся, поставил портфель на верхнюю полку, взглянул на часы и вышел из купе.

— Интеллигентные теперь офицеры, — проговорил мужчина. — Раньше таких было мало.

Надежда Викторовна поняла, что он обращается к ней, вызывает ее на разговор, но промолчала, сделала вид, что не расслышала. Она виновато подумала, что вот не выполнила в этот раз ни одной просьбы — никому и ничего не купила, а в сумочке лежит длинный список заказов. В прошлые поездки она обязательно выкраивала два-три дня, чтобы походить по магазинам (этот город славится трикотажем, особенно детским, галантереей и вообще всякими необходимыми мелочами, которых просто не бывает там, где живет она), а в этом году безвыездно просидела за городом, так что даже хозяйка, у которой Надежда Викторовна снимает комнату каждый год уже шесть или семь лет, удивилась ее домоседству. Хозяйка, между прочим, милая, добрая женщина, и комнатка уютная, чистенькая, как теремок. Надежда Викторовна сообщает хозяйке письмом, когда именно приедет, и к ее приезду комната бывает приготовлена для нее.

Впрочем, она все же купила, уже сегодня, перед самым отъездом, «приданое» для соседской дочери Лены. Вернее, для ее будущего ребенка. Лена должна вот-вот родить. А у нее нет мужа. Она закончила в Свердловске ПТУ и там же работала на заводе. Неожиданно вернулась домой беременная. Родители все допытывались, кто отец будущего ребенка, и требовали, чтобы Лена сделала аборт. А она отказалась де-

лать аборт, заявила, что «лучше отравится», и не назвала имя будущего отца. Прибежала поздно вечером к Надежде Викторовне вся в слезах просить защиты, — мать пригрзсила, что убьет и ее, и ребенка, если она посмеет родить. Надежда Викторовна успокоила Лену, напоила чаем, и та рассказала, что очень любит «этого человека, он очень хороший», только женатый, у него двое детей, и он никак не может решиться на развод, хотя страдает и тоже любит ее... Конечно, давать советы, да еще в таких тонких, деликатных делах, затруднительно, и все же Надежда Викторовна сказала, что раз любит — пусть рождает. Иметь ребенка от любимого человека, сказала она, это уже огромное счастье. Возможно, и нельзя было этого говорить Лене, возможно, Надежда Викторовна взяла на себя слишком большую ответственность, взяла не по праву, но поступить иначе она не могла, потому что была уверена в своей правоте. В жизни случается всякое, на то и жизнь, а вырастить человека, в котором будет и твое продолжение, и продолжение твоей любви, что может быть прекраснее...

Она сумела доказать это родителям Лены, успокоила их, и те в конце концов смирились. И не просто смирились, махнули рукой, но радуются теперь, что у них будет внук или внучка. Появился как-то и отец будущего ребенка, и Лена познакомила Надежду Викторовну с ним. Это оказался никчемный, трусливый человек. Он и приехал-то только затем, чтобы узнать, не назвала ли Лена его имени, не собирается ли предъявить претензии, а узнав, что не назвала и претензий предъявлять не собирается, со спокойной душой уехал обратно.

По трансляции объявили, что до отправления поезда остается пять минут.

Родители девушки поднялись.

— Телеграмму дать не забудь, — напомнила мать.

— Дам, дам, — сказала девушка, и Надежда Викторовна с уверенностью подумала, что никакой телеграммы она не даст, и еще подумала, что нужно будет подсказать ей, чтобы все-таки послала телеграмму, не волновала лишний раз родителей.

— Ну, Танька... — сказал отец и обнял ее. — Ни пуха тебе, как говорится. Если что, сама знаешь. У тебя есть мы, так что не очень-то там... А мы прямо на свадьбу приедем. Сватам привет передавай и вообще.



— Ой, доченька, что же ты делаешь!.. — вдруг в голос запричитала мать, и Надежда Викторовна, вовсе уж смущенная, отвернулась к окну.

Теперь, когда до отправления поезда оставалось каких-то две-три минуты, на перроне все перемешалось. Кто-то прощался, кто-то бежал к своему вагону, все мешали друг другу, и в этой суете молодая женщина с огромным чемоданом пробиралась через толпу, волоча, словно на привязи, за руку ребенка лет пяти. Он плакал, упирался, она кричала на него, сама едва не плакала, и никто не уступал им дорогу, никому не было до них дела... Надежда Викторовна даже привстала от волнения. И тут появился давешний майор, сосед по купе. Он подхватил в одну руку чемодан, другой поднял ребенка, и они, теперь уже вдвоем, побежали вдоль состава. Надежда Викторовна вздохнула с облегчением.

Наконец родители девушки ушли, тотчас тронулся и поезд, и тогда в купе вошел майор.

— Приказано занять места согласно купленным билетам, — сказал он и сел рядом с Надеждой Викторовной. Его десятое место было над нею.

— Вы молодец, — не выдержала Надежда Викторовна и улыбнулась майору. — Я думала, что уже всё, не сядут они...

— Сели, их вагон рядом.

— Неужели некому проводить? — пожалла плечами девушка. Оказывается, она тоже видела все.

— Бывает, что и некому, — заметил майор, а Надежда Викторовна почему-то вспомнила Лену и еще подумала, что лучше бы у нее родилась девочка, потому что девочки больше привязаны к матерям и хотя часто тоже бывают похожими на отцов, но все-таки это не так бросается в глаза. — Жизнь — она штука многослойная, как пирог под названием «наполеон», — пошутил майор и улыбнулся Тане.

— Вы ленинградец? — неожиданно спросила Надежда Викторовна.

Ей был симпатичен майор, ей нравилась его ненавязчивая разговорчивость, веселость, нравилось его красивое, с правильными очертаниями лицо, его аккуратная подтянутость. Ему очень подходила военная форма, словно он и родился, чтобы быть именно военным.

— Угадали, — просто ответил он.

— Это нетрудно,— сказала она.— Только ленинградец мог сравнить жизнь с... «наполеоном».

— Все оно что! — Он кивнул.— Вы наблюдательны. Хотя... Сейчас «наполесн» делают везде, век массовой информации! — И снова улыбнулся.— Вы тоже ленинградка?

Надежда Викторовна хотела сказать, что да, она тоже ленинградка, но ленинградка лишь по рождению, а вот живет очень далеко от Ленинграда, так уж сложилась ее жизнь — она ведь многослойная, жизнь,— однако не успела ничего сказать. В купе, шумно отдуваясь, ввалился мужчина. Был он грузен, немолод — примерно ровесник Надежды Викторовны,— к тому же в пальто и шляпе. Он поставил на нижнюю полку чемодан из добротной желтой кожи (сразу видно, что импортный) и обыкновенную авоську, набитую свертками, снял пальто и шляпу, повесил на «плечики», делая все это по-хозяйски уверенно, не обращая ни на кого внимания, достал из кармана большой розовый платок и вытер мокрое лицо и шею.

— Уф, жарко,— прогворил он и еще обмахнулся, как веером, платком.— В прошлом году, когда я отдыхал здесь, была страшная холодина, а в этом — жара. Попробуй угадай, в чем ехать...

И в самом деле, подумала Надежда Викторовна, в прошлом году действительно сентябрь был холодный, дождливый, оттого и отдыхающих было мало.

— Представьте, чуть не опоздал на поезд,— продолжал мужчина.— Едва успел в последний вагон. Простите,— обратился он к Тане, которая сидела на одиннадцатом месте возле окна,— у вас какое место?

— У меня — верхнее,— смутилась она.

— У меня — одиннадцатое,— сказал он удовлетворенно.— А я уже подумал, что у вас тоже одиннадцатое. Я когда сюда ехал, в нашем вагоне оказалось сразу три двойника. Безобразие какое-то, честное слово! За такие вещи нужно строго наказывать виновных. Поднимитесь на минутку.

Таня с виноватым видом встала и протиснулась к двери. Мужчина убрал чемодан и авоську под полку, опустил ее и сел к окну.

— Да вы присаживайтесь, не стесняйтесь,— предложил он Тане.— Спать еще рано. У нас весь коллектив до Ленинграда?..— Никто не ответил, однако его ничуть не смутило это.— Жена, понимаете, наказала купить кожаные кошельки с национальным, понима-

ете, орнаментом, как будто не все равно, в чем носить деньги. А кошельков этих почему-то не стало, исчезли куда-то. — Он сбвел всех глазами, как бы ища сочувствия или свидетелей исчезновения кошельков. — Спасибо, один товарищ, с которым мы жили вместе в комнате, научил, что кошельки имеются на этой... как ее?.. Язык сломаешь, никак не выговорить. Пришлось тащиться через весь город к черту на кулички, такси брать, и в результате чуть не опоздал на поезд. Представляете, — он повернулся к майору, — что бы было, если бы не приехал завтра? Жена-то в курсе, что я должен приехать!

— Кошельки-то купили? — спросил майор, и Надежде Викторовне показалось, что спросил насмешливо, явно иронизируя.

— Купил, пропади они пропадом. Вечно женщины что-нибудь придумывают, а мы отдуваемся.

— Ничего, раз кошельки купили, можно было и опоздать, — снова не скрывая иронии, насмешки, сказал майор.

Мужчина встрепенулся, внимательно посмотрел на майора и, не заметив иронии, вдруг рассмеялся громко.

— А у вас, похоже, богатый опыт по этой части! Мне бы такой вариант не пришел в голову. Впрочем, все равно нельзя было воспользоваться этим вариантом. Меня срочно отозвали из отпуска, жена и сообщила, что генеральный требует завтра в одиннадцать ноль-ноль быть у него. Я был здесь в санатории, до конца срока еще неделя осталась. План под угрозой, а это, сами понимаете, чревато... — Он опять обвел всех глазами, гордясь, что без него план оказался под угрозой, и ожидая, наверно, что ему посочувствуют, а Надежда Викторовна, встретившись с ним взглядами, подумала, что где-то видела его, и видела совсем недавно.

Вместо сочувствия, на которое рассчитывал мужчина, майор сказал:

— Значит, плохо работаете, раз из отпуска досрочно отзывают.

— Мы-то работаем хорошо, стабильно работаем, — возразил мужчина. — А вот поставщики то и дело подводят. Я понимаю, у вас в армии такого не бывает и быть не может. Для армии всё в первую очередь и самого высшего качества. Это правильно, потому что защита Родины — прежде всего. Верно я говорю?

— Вы верно говорите,— сказал майор.

А Надежде Викторовне показалось (или так оно и было?), что мужчина обращался именно к ней. Он смотрел на нее пристально, с каким-то подчеркнутым вниманием, ничуть даже не смущаясь этого, и она отвернулась к окну, не выдержав его взгляда.

Уплыли назад последние городские дома. В этом городе, по крайней мере в направлении на Ленинград, нет окраин, как таковых. Или предместий, как называли окраины прежде. Город кончается — и начинается сразу, как бы вдруг. Новые красивые дома, совсем не похожие на те, какие строят там, где живет Надежда Викторовна, поставлены в живописном, тщательно продуманном беспорядке по берегу не то реки, не то озера, и между домами нет привычных для новостроек пустырей — растут не тронутые строителями деревья, преимущественно сосны, и всякий раз, когда Надежда Викторовна приезжает сюда, она думает, что, должно быть, здесь приятно, удобно жить, но только теперь она неожиданно как-то подумала, что, пожалуй, согласилась бы переселиться насовсем в этот город...

\* \* \*

Странный какой-то мужчина. И этот его слишком пристальный, заинтересованный взгляд... Определенно, я где-то видела его. Но где и когда? Вообще-то у меня хорошая память на лица, а сейчас не могу вспомнить. Мне кажется, он тоже меня узнал. И тоже не может вспомнить, где и когда видел.

А какое, если разобраться, мне до него дело? И мало ли где мы с ним могли встретиться? На взморье, на вокзале, в автобусе или в электричке, даже просто на улице.

И все-таки нет, тогда бы я не обратила на него внимания.

У него недобрые глаза и тяжелый взгляд, который давит и заставляет съеживаться, чтобы сделаться маленькой, незаметной. С таким взглядом, я думаю, легко подчинять себе окружающих. Он как будто подзревает всех в чем-то, как будто просвечивает тебя насквозь и видит то, что не видно другим. Мимо такого человека не пройдешь незамеченным, да и его не заметить нельзя. По-моему, это очень самоуверенный, не привыкший к возражениям человек. Наверняка он какой-нибудь маленький начальник.

А возможно, я ошибаюсь. Просто не понравилась его внешность и его внимание ко мне. Между прочим, внешность, в особенности внешность мужчин, часто бывает обманчивой. Правда, вы-то, мужчины, уверены, что обманчива как раз женская внешность, что все мы притворяемся. И заблуждаетесь. Взглянув на женщину, на ее лицо, я сразу и почти безошибочно скажу, какая она: добрая или злая, нежная или сухарь сухарем, доверчивая или ревнивая...

Может быть, мой визави только кажется мне недобрый, а в действительности это открытая, добрая душа. Ведь мужчинам — ты слушай внимательно — приходится притворяться гораздо чаще, чем женщинам. Мы, бабы, притворяемся только в одном случае — когда сбиваемся вашей мужичьей любви, благосклонности, других причин для притворства у нас просто нет. Не мы, а вы, вы, милый, придумали афоризм: «Все невесты прекрасны, откуда же берутся плохие жены?» Вот и все наше притворство. Конечно, и такое притворство бывает корыстным, но это только исключение из общего правила, уверяю тебя. В основе же его лежит вовсе не порочное желание создать семью, дать жизнь своим детям от любимого, достойного человека. Тут все просто: каждый мужчина убежден, что его избранница — самая прекрасная, каждая женщина уверена, что ее любимый — самый достойный.

Мужчина — другое дело. Вам нужно казаться умными, когда вы глупы; щедрыми, когда от скупости потеет руки, если необходимо заплатить за букетик мимоз; смелыми, когда от страха трясутся поджилки; вам нужно казаться дома, на работе, в автобусе — повсюду, потому что вам слишком много хочется в жизни, а женщина хочет одного — любить и быть любимой...

Вот девочка, Таня. Она так скромно, робко приютилась в уголке с книжкой. Не бог весть какая красавица, но очень милая, симпатичная, с большими доверчивыми глазами. Она еще не знает, любит ли сама, а бросилась навстречу своей любви. Дай ей бог счастья. У нее такие замечательные веснушки, а веснушки, между прочим, бывают у добрых, нежных людей. Я смотрю на нее и думаю, что у нас с тобой могла бы быть такая же дочка. Нет, уже не дочка, а внучка! Или внук. Ты представляешь, сейчас мы отдавали

бы замуж нашу внучку... Или наш внук женился бы на этой вот Тане. Ей восемнадцать, не больше. Хотя сначала мне показалось, что она старше. Теперь у девочек модно казаться старше своих лет. Это, наверное, придает им уверенности в себе, они представляют себя совсем взрослыми, самостоятельными. Глухие, глухие девочки, они спешат жить, хотя спешить-то им некуда. Это нам нужно было спешить, но разве мы думали об этом?

Выходит, я тогда была младше этой Тани. Ведь мне не было еще восемнадцати, когда ты пришел и сказал, что уходишь на фронт.

Мы сидели на берегу речки, на самом краю обрыва. Как сейчас помню: был такой теплый, ласковый вечер, солнце медленно уходило за горизонт, тихо было вокруг и мирно, так тихо и мирно, что не верилось даже, что где-то идет война, что там, на этой проклятой войне, гибнут люди, многие из которых не стали по-настоящему взрослыми мужчинами, что завтра и ты уйдешь туда, и мне хотелось (или я теперь думаю, что хотелось тогда?) встать на этом высоком, крутом обрыве и крикнуть громко, на весь мир: люди, зачем вы придумали войны?!

А я просто спросила, как же буду я, и ты ответил, что сейчас самое главное — защитить Родину от фашистов, а все остальное потом. Нет, ты сказал не «защитить», а уберечь, и вот это какое-то неожиданное, непривычное слово поразило меня, успокоило, что ли, и я согласилась, что да, самое главное — уберечь Родину. Ты говорил, что для мужчины нет на свете более высокой, более священной обязанности, чем защита Родины, и что каждый мужчина всегда должен помнить о том, что когда-то наступит час и Родина позовет его взять в руки оружие. Иначе нельзя. (Все-таки ты был не совсем прав, потому что об этом всегда должны помнить и женщины, то есть помнить, что рано или поздно их мужчин могут позвать на войну, хотя лучше бы этого никогда не случилось...) Ты прекрасно говорил о Родине, о женах и матерях, которые веряют свою судьбу и судьбу детей мужьям и сыновьям, и я гордилась тобой, твоим умом, твоей красотой и немножко — собой. А ведь я сразу, когда увидела тебя впервые, почувствовала в тебе и ум, и красоту, несмотря на то что тебя считали атаманом «полосатиков», чуть ли не бандитом с большой дороги. А вы были просто из детского до-

ма, были чужими в городе и держались особняком. Иногда, наверно, вы действительно позволяли себе лишнее, но это была мальчишеская бравада, способ утвердить себя, не более того. Вы чувствовали, видели, с какой настороженностью и боязнью относятся к вам местные жители и эвакуированные, хотя и вы были такие же эвакуированные, и бравировали своей независимостью и самостоятельностью. Удивительно, но я почему-то поняла это, а мама — нет. Сколько раз я пыталась объяснить ей, что никакой ты не бандит, что ты хороший, умный, и она вроде бы соглашалась со мной, но соглашалась вообще, в принципе, а как только речь заходила о наших с тобой отношениях, вновь и вновь твердила, что ты, как все «полосатики», обыкновенный гопник, а это было самое ругательное слово в ее лексиконе...

Мы так и сидели на берегу, пока солнце не ушло за горизонт, и я сама сказала тебе — пора, взяла тебя за руку (помнишь, как люди смотрели на нас, когда мы шли по поселку, взявшись крепко за руки?) и привела домой. Мама страшно удивилась, у нее сделались большие-большие глаза, она молчала и смотрела на нас, а я сказала, что ты завтра уходишь на фронт и что мы решили пожениться... Я думала, она заплачет, закричит на меня, а она вздохнула только, покачала головой и попросила тебя выйти с ней на минутку во двор. Мне велела остаться в доме. Меня смутило, сбило с толку ее спокойствие, и я послушалась.

Она вернулась одна.

Не знаю, до сих пор не знаю, милый, что такого она сказала тебе, что ты ушел, даже не простившись со мной. Я бросилась на улицу, я хотела догнать тебя, вернуть несмотря ни на что, но ты словно исчез совсем, навсегда, и я, остановившись посреди улицы, вдруг ясно-ясно поняла это...

Ты спрашивал там, на берегу, буду ли я ждать тебя, я ответила, что буду ждать сколько угодно, хоть всю жизнь, а ты грустно улыбнулся и тихо сказал, что всю жизнь не надо, что это слишком долго, как будто знал, чувствовал это уже тогда. Мы знали оба, вот в чем дело. А позднее я еще узнала, что такое же чувство испытывали все женщины, провожая на войну любимых. Только все испытывали такое чувство потому, что боялись потерять мужей и женихов, а я осталась никем.

Ты не захотел обидеть меня, обидеть маму, ты послушался ее и ушел, чтобы «не наделать глупостей», и сделал самую большую глупость в жизни, ведь мама всю жизнь потом жалела, что у нее нет внуков. Мы никогда не говорили с ней на эту тему, но я-то знаю, что она жалела и не могла себе простить этого.

Я ждала тебя на завтра, а ты не пришел. Я сама пошла в барак, где вы жили, и мне сказали, что вас, когда призвали, еще утром отправили. Ты не оставил даже записки, как ты мог, милый? Или ты не поверил мне? Какие же мы были глупые...

\* \* \*

Надежда Викторовна по-прежнему чувствовала на себе пристальный, какой-то прокисывающий взгляд мужчины, и от этого его взгляда ей было неловко и даже неудобно сидеть. Она пошевелилась, чтобы переменить позу, и он вдруг воскликнул:

— Одну минутку! — Он даже руку протянул, точно собирался взять Надежду Викторовну за подбородок, как это делают фотографы, и она отшатнулась невольно. — Где я вас видел?.. — сказал он, наморщив лоб, отчего (так показалось Надежде Викторовне) наморщилась и его лысина.

Она пожала плечами.

— Определенно я где-то видел вас. Послушайте, вы не отдыхали в санатории «Янтарный берег»?

— Нет, нет, — слишком торопливо, выдавая этим себя, ответила она. Несколько лет назад она все-таки отдыхала в этом санатории.

— Странно, — проговорил мужчина, продолжая разглядывать ее. — У меня, знаете, прекрасная память на лица, ошибиться я не могу. Стоит мне однажды увидеть человека, хотя бы случайно, мимоходом... — Он наклонился над столиком, приблизив свои глаза к ее лицу, и чуть прищурился. Он откровенно рассматривал ее, как рассматривают вещь, которая привлекает внимание, но непонятно, чем именно.

Поборов неловкость, она попросила:

— Не смотрите, пожалуйста, на меня так.

— Извините. — Он выпрямился, приняв прежнюю позу, и пробормотал: — И все-таки странно. У вас очень запоминающееся лицо...

— Что-то с памятью моей стало, — усмехнулся майор.



Умница, подумала о нем Надежда Викторовна. Какая же он умница.

— Пока не жалуясь, — откликнулся мужчина. — А кстати, что лучше: склероз или маразм? — Он рассмелся. — Склероз лучше, потому что при склерозе человек не помнит, что у него... маразм!

— Очень остроумная шутка, — сказал майор.

— Это мне в санатории рассказали. А вы, значит, артиллерист, бог войны, как говорится...

— Скажем, так.

— Ясно. Ну, и как нынче служится?

— Нормально служится.

— Нормально хорошо или нормально плохо?

До чего же он назойливый, какой-то прилипчивый человек, подумала Надежда Викторовна. Совсем не умеет молчать, да хоть бы дело говорил. Похоже, он не даст покою, так и будет ко всем приставать со своим любопытством и глупыми шуточками. Жаль, что не удалось достать билет на поздний поезд, придется весь вечер терпеть. Тот, поздний поезд, вообще гораздо удобнее. Этот прибывает в Ленинград слишком рано, когда еще не ходит транспорт, а такси не дождешься, очередь, конечно, будет дикая...

Мужчина помолчал немного, барабанил пальцами по столу, потом покосился на девушку. Сейчас наверняка привяжется к ней, догадалась Надежда Викторовна. Похоже, и девушка почувствовала, что настала ее очередь, — забилась в угол, съежилась вся, чтобы стать незаметней, и закрылась книгой. Интересно, она действительно читает или делает вид? Скорее, делает вид, какое уж там чтение, когда едет к жениху, на собственную свадьбу. Волнуется ведь. А жених-то должен бы был приехать за ней...

Так и есть, мужчина повернулся и спросил:

— Что мы читаем, фантастику, детектив или про любовь?

Она не ответила, еще глубже забиваясь в угол. Тогда мужчина протянул руку и взял книгу. Таня вспыхнула, однако не нашлась что сказать.

— Ха! — воскликнул мужчина удивленно, и брови его поползли кверху. Он торжествующе огляделся, призывая всех ко вниманию, и объявил, подняв книгу: — Старый знакомый, надо же!.. — И ткнул пальцем в обложку.

— Ваш знакомый?.. — спросила Таня. В ее глазах появилась заинтересованность, она оживилась.

Кажется, майор тоже заинтересовался. И только Надежда Викторовна осталась равнодушной. Чего-то подобного она и ожидала. Он должен был обратить на себя общее внимание, должен был привлечь интерес к собственной персоне, а тут подвернулся такой удобный случай.

— Да, это мой знакомый. Мы вместе с ним лежали в больнице, в одной палате. Целых полтора месяца и достаточно узнали друг друга. Любопытный, знаете, молодой человек. Весьма любопытный, но по-своему.

— Разве он молодой? — удивилась Таня. — Я думала, что пожилой...

Все правильно, улыбнулась невольно Надежда Викторовна. Она должна еще поинтересоваться, красивый он или нет, женатый или холостой. Это-то обязательно интересует ее, как и любую другую девушку. Всех привлекают красивые мужчины, но вот парадокс: женщины далеко не всегда выходят замуж за красивых, внешне красивых, мужчин, даже если сами — красавицы. Скорее, выбирают надежных мужей, подумала Надежда Викторовна. И в этом проявляется наша женская рассудочность, стремление к постоянству и прочному быту, а красивые мужчины редко бывают постоянны и надежны, потому что они избалованы вниманием женщин. Вообще красивое — не обязательно и прочное, а прочное может быть и некрасивым. Хорошо, если то и другое сходится, но, увы...

— Молодой, — проговорил мужчина, и в голосе его послышались осуждающие интонации. — Но из ранних! В нем столько апломба, самоуверенности... Берется рассуждать о различных аспектах жизни, критикует, понимаете ли, а в голове этакий сумбур, неразбериха, одни эмоции. А ему еще и привилегии всякие были. Заведующий отделением даже ключ ему оставлял от своего кабинета, чтобы он по вечерам мог работать. А уж медсестры вокруг него ходили — смотреть стыдно, честное слово.

— Интересно же все-таки, — смущенно проговорила Таня. — Вот я никогда не видела живого писателя, а читать люблю.

— Уверяю вас, ничего интересного в нем нет. И я не понимаю, за что, за какие заслуги ему делались привилегии.

— А в чем, собственно, эти привилегии выражались? — спросил майор. — В том, что больному человеку давали возможность работать? Простите, но приви-

легия на труд...— Он пожал плечами.— Это на Западе можно назвать привилегией, а у нас...

— Ми-ину-утку! — прервал его мужчина.— Вот мне, например, никто не предложил пользоваться отдельным кабинетом. Между прочим, в кабинете заведующего был единственный на всем отделении городской телефон, так что привилегия-то, оказывается, не только на труд, как вы выразились.

— Телефон, конечно, очень здорово,— усмехнулся майор.

— Еще бы не здорово! К автомату очереди, по часу нужно стоять, чтобы дождаться, а то и вовсе автомат не работает. А тут — пожалуйста, звони сколько хочешь, и никто не слышит, о чем ты говоришь.

— Но ключ-то писателю оставляли не для того, чтобы он мог звонить, а чтобы мог работать. Может, он вообще не звонил?..

— Кто бы это не стал звонить, имея перед собой телефон?

— Логика у вас железная.

— Вы лежали в больницах?

— Не пришлось,— сказал майор.

— Вам повезло. А вот если бы лежали, тогда бы знали, что такое иметь возможность пользоваться телефоном.

— Наверно, это важно,— согласился майор.— И все-таки важнее другое. Когда больной человек работает...

— А чем он болел? — не выдержала Таня, и Надежда Викторовна снова подумала, что должна же она поинтересоваться, красивый этот писатель или нет.

— Точно не могу сказать. Он какой-то молчаливый был, ни с кем почти не общался. Ни в домино не играл, ни в шахматы. Даже телевизор не смотрел, разве что иногда программу «Время». Заберется в курилку и сидит там, курит без конца. А приставать с вопросами неудобно. Раз человек не хочет, это его дело. Знали, конечно, что он писатель, в больнице быстро все про всех узнают. Однажды вечером я, правда, зашел к нему в кабинет...

— Позвонить? — спросил майор.

— Заодно и позвонить. Но вообще-то побеседовать наедине, так сказать. Решил, что раз писатель, значит, интеллигентный должен быть человек, а в больнице особенно поговорить не с кем. Все больше о болезнях говорят. Ну, еще о женщинах, разумеется. Извини-

те.— Он посмотрел на Надежду Викторовну, она промолчала.— Я заинтересовался, над чем он в настоящее время работает. Оказалось...— Тут мужчина выждал продолжительную паузу, чтобы сообщение его, которое затем последует, выглядело эффектнее, однако Таня испортила весь эффект.

— Он писал эту книгу?! — возбужденно воскликнула она.

Мужчина укоризненно взглянул на нее и подтвердил:

— Именно эту самую книгу.

— Ой как интересно!

— Действительно, любопытно, — сказал майор.

А Надежда Викторовна вдруг напряглась вся, ей сделалось беспокойно, хотя для беспокойства вроде и не было никаких причин, и захотелось увидеть обложку книги, чтобы узнать фамилию автора, она подумала почему-то, что, может, тоже читала эту книгу. Поборов смущение, она спросила мужчину:

— Как называется книга?

Мужчина, не выпуская книгу из рук, показал ей обложку.

— Читали?..— быстро спросил он и странно как-то сощурился, будто догадываясь о чем-то.

Надежда Викторовна покачала головой.

— Обязательно прочтите! — сказала Таня.— Это же очень интересно, прямо потрясающе! Мама почти совсем ничего не читает, и то прочитала, даже плакала.

\* \* \*

Вот видишь, ее мама даже плакала. А я нет. Я только удивилась, когда прочла эту книгу, потому что история, описанная там, похожа на нашу с тобой. Наверное, в жизни много таких историй. Жаль, что ты не можешь прочесть сам. Но ничего, я перескажу тебе, в чем дело.

Женщина ждет с войны мужа, который пропал без вести. Скорее всего, он погиб, а она не верит этому, не хочет верить и продолжает его ждать. Война давным-давно кончилась, у нее выросли дети, двое детей, и даже они считают мать не совсем нормальной, обвиняют ее в том, что она живет в каком-то придуманном ею мире, в отсутствии здравого смысла и так далее. А окружающие посторонние люди сначала сочув-

ствовали этой женщине, жалели ее, но в конце концов решили, что она просто немножко сумасшедшая. И никто не хочет понять, что настоящую любовь нельзя проверять здоровым смыслом, что это совершенно разные понятия. Иначе люди не погибали бы из-за любви, верно?.. Героине книги все говорят, что она ведет себя глупо, что ее ожидание — блажь, что она напрасно гробит свою жизнь, но в том-то и дело, что так говорят те, кто не страдал. Они уверены, что поступками людей, миром вообще правит здравый смысл, а всякая там любовная блажь — чепуха и подлежит, по крайней мере, осмеянию. Неправда это, злая неправда, придуманная теми, кто никогда не любил или любил и любит только себя. А любящая женщина (не знаю, уж как там мужчины) все свои страдания, какими бы тяжкими они ни были, не отдаст ни за какие земные блага и радости, потому что истинное счастье — в любви. А здравый смысл, по-моему, это всего-навсего стремление сохранить свой покой, не причинить себе лишней боли, прожить в гармонии (тут даже слово это не подходит) не с чувствами, а с разумом. Может, и того хуже. Говорят о здоровом смысле, о разуме и разумности, но имеют в виду просто выгоду. Выгодно, удобно, — значит, разумно. А любить вовсе не легко, из любви не извлечешь выгоды. Гораздо чаще приходится жертвовать собой, своим Я, а мы не хотим жертвовать, мы хотим, чтобы жертвы приносили нам, мы скрупулезно подсчитываем, сколько претерпели обид от того, кого будто бы любим, но забываем, сколько обид терпят от нас. Господи, да какая же это любовь! Это арифметика, это тот самый «здравый смысл», за которым мы прячем свое бесчувствие, бездушие, на который промениваем память. А чтобы успокоить собственную совесть — ведь для чего-то же дана людям совесть! — избежать ее суда, других, живущих не так, как живем сами, объявляем чуть ли не сумасшедшими...

Наверное, я что-то путаю, рассуждаю наивно, на самом деле не все так просто и очевидно, как это кажется мне, но это потому, что я не умею объяснить. А может, и не надо ничего объяснять. Кто хочет знать, тот знает, а кто не хочет, тот все равно не поймет...

Я совсем заговорила тебя. В общем, эта женщина случайно от кого-то услышала (после войны прошло около тридцати лет), что в одном госпитале для инва-

лидов войны находится бывший солдат, который все эти годы ничего о себе не помнил — у него была сильная контузия, — не знал ни своего имени, ни фамилии, и вдруг однажды к нему вернулась память. Не совсем, правда, но он назвал свое имя: его зовут так же, как звали мужа этой женщины. И она, бросив все, поехала в госпиталь, в другой город, уверенная, что это и есть ее муж...

\* \* \*

Между тем мужчина продолжал что-то рассказывать, майор и Таня внимательно слушали его. Прислушалась и Надежда Викторовна, теперь ей тоже было интересно. Когда она прочла эту книгу (кто же ей порекомендовал ее прочесть?), у нее было даже желание написать автору письмо, поделиться с ним своими переживаниями, рассказать свою историю и, пожалуй, спросить, действительно ли тот раненый оказался мужем этой женщины. Однако не написала, постеснялась.

— ...Я поинтересовался у товарища писателя, как протекает процесс создания произведений, — говорил мужчина, положив руки на книгу.

— В самом деле, как? — Таня вся подалась вперед, готовая внимать каждому слову, и было слишком даже заметно, что сейчас для нее не существует ничего на свете, кроме неумной жажды удовлетворить свое любопытство. Вполне оправданное, впрочем, снисходительно подумала Надежда Викторовна.

— Никогда не надо спешить, — сказал мужчина назидательно и укоризненно посмотрел на Таню. Та покраснела. — Я задал ему вопрос, кто именно и в какой, так сказать, форме выдает писателям исходные данные, кто утверждает план, вносит необходимые поправки и коррективы. Одним словом, меня интересовала организационная сторона дела... И вдруг я узнаю, что писатели вообще не получают никаких исходных данных, никаких проектов, ни с кем не согласовывают свои планы, то есть пишут то, что взбредет им в голову! Сидят, понимаете, у себя дома и сочиняют!.. Но это же... — Он не нашел подходящего слова, которое объяснило бы такое положение, и оскорбленно махнул рукой.

— А что вас, собственно, удивляет? — спросил майор.

— А вас разве не удивляет?

— Нисколько. Это естественно.

— Простите, что именно естественно?..

— Что писатели думают своей головой, а не моей и не вашей,— сказал майор.

«Тем более не вашей»,— мысленно поправила майора Надежда Викторовна.

— Минутку, минутку! — Мужчина повернулся к майору, лицо его приобрело даже какой-то страдальческий вид.— Давайте разберемся. Возьмем для примера мою работу. Я по своей должности знаю программу завода на будущий год. Мне известно, следовательно, какое нужно оборудование для выполнения программы, какое и в каком количестве сырье, комплектующие узлы и детали, исходя из этого я обязан обеспечить безусловное выполнение плана всем необходимым. Или, если хотите, другой пример.— Он покосился на Надежду Викторовну.— Вот вы собрались построить дом, вы заказчик. Что вы делаете?.. Прежде всего заказываете проект, правильно? Правильно. А в проекте должно быть учтено буквально все: и общий метраж, и метраж жилых помещений, и сметная стоимость...

— Очевидно, когда книга написана, кто-то тоже учитывает и сметную стоимость и все прочее,— возразил майор.

— Когда написана! — усмехнулся мужчина.— Таким-то образом мы будем сначала строить дома, выпускать сложнейшее оборудование, а потом учитывать?.. Что же из этого получится? Ерунда получится, абсурд. У нас плановое хозяйство, и никакой анархии места нет.

— Вы путаете разные вещи.

— Я ничего не путаю. Покупая книгу, я должен быть уверен, что в ней заложена полезная информация, а не пустые, понимаете, фантазии и произвольное толкование действительности. Пожалуйста вам. Сидит некий довольно молодой человек, который еще и жизни настоящей не нюхал, у которого в голове полный сумбур, сидит и сочиняет что-то, а я должен читать эти фантазии и верить им?.. Простите покорно. Да мало ли кто и что насочиняет от нечего делать!..

— Не думаю, что писатели сочиняют от нечего делать. Это огромный труд, и наверняка потяжелее нашей с вами работы. Кстати, вы сами не пробовали... сочинять? — Майор улыбнулся.

— У меня нет времени пробовать,— с достоинством ответил мужчина.— Я занят делом, я работаю. Смею думать, что приношу конкретную, реальную пользу обществу...

— Не знаю, какую именно пользу приносите вы,— сказал майор,— но литература приносит огромную пользу. Ее, разумеется, невозможно оценить в рублях и процентах, но без литературы, без искусства человечество не смогло бы существовать.

— Человечество не смогло бы существовать без хлеба насущного...

— Но сказано же, что не хлебом единым...

— У нас есть Пушкин, Толстой, Чехов...

— Вы что же, предлагаете вообще запретить современную литературу?

— У меня нет таких полномочий. Но если бы мне дали такое право, подобные книги я безусловно запретил бы.

— Я, к сожалению, не читал,— сказал майор,— мне трудно судить о достоинствах и недостатках этой книги...

— А спорите.

— Я не спорю, я высказываю свое личное мнение о литературе вообще.

— Тут написано, как женщина ждет с войны мужа,— вмешалась Таня,— который пропал без вести. Много-много лет ждет, так она любит мужа...

— И что же вас не устраивает? — спросил майор, глядя на мужчину.

— Все! — резко ответил тот.— Буквально все.

— И почему?

— Потому что такого не может быть. Тридцать лет или что-то около этого... Я правильно говорю? — спросил он у Тани.

— Правильно,— кивнула она.

— Потом, если мне не изменяет память, какая-то там получилась история с раненым, который не помнит ничего... Он мне рассказывал, но это было уже года три назад. Я сделал ему некоторые замечания, не знаю, учел он их или нет.

— А вы разве не читали сами? — удивленно спросила Таня.

— Разумеется, не читал.— Он пожал плечами.— И не хочу, потому что не верю ни одному слову.

— Вы не верите,— заметил майор,— а другие верят. Давайте спросим у девушки: вы верите?



— Еще как! И все подружки мои верят, и мама с папой.

— Ну, мама с папой,— снисходительно усмехнулся мужчина,— это, конечно, сильный аргумент.

Таня обидчиво поджала губы и отвернулась, а майор заметил:

— Не менее сильный, чем ваше мнение.

— Мое мнение основано на знании жизни,— сказал мужчина.

— У каждого свое знание, свой опыт. И ваш опыт ничего не доказывает, не опровергает опыта других.

— Допустим. Допустим, что не опровергает,— как бы делая временную уступку, согласился мужчина.— Тогда обратимся к опыту, как вы выразились, других. Ну... Простите, как ваше имя-отчество? — спросил он Надежду Викторовну.

Ага, он тоже пытается вспомнить, где видел меня, поэтому и спрашивает, догадалась она. И сказала:

— Не имеет значения.

— Вы знаете такую женщину, которая бы тридцать лет ждала мужа? Молчите,— значит, не знаете. А вы? — Он повернулся к майору.— И вы не знаете. Не знает наверняка и наша юная попутчица. Вот видите, нас четверо, но никто из нас не встречал в жизни ничего похожего...

— А он, может быть, встречал! — запальчиво сказала Таня.

— Милая вы моя, существует закономерность распространения информации.— Он говорил тоном недовольного, но доброго, терпеливого учителя, который в десятый, в сотый раз вынужден повторять азбучные истины нерадивому ученику.— Как бы это вам объяснить попроще? Если бы подобный исключительный факт имел место в действительности, то кто-нибудь из нас четверых непременно слышал бы об этом. Однако я абсолютно уверен, что ничего подобного не слышали не только мы четверо, но и никто из пассажиров нашего поезда. Если желаете, можем провести небольшой эксперимент, хотя бы в рамках одного вагона...

— А если это было где-нибудь в Сибири? — опять вмешалась Таня, и Надежда Викторовна подумала, что напрасно она вмешивается в этот спор, где ей спорить с этим мужчиной! Да он и не спорит, он просто напросто навязывает свое бесспорное, с его точки зре-

ния, мнение, а когда такой человек убежден, что он прав, его невозможно переубедить.

— Даже если на Северном полюсе,— проговорил мужчина и покивал головой.— Вы знаете, с какой скоростью распространяются слухи? Геометрическую прогрессию изучали в школе?..

— Ах, оставьте вы, ради бога, свои прогрессии! — не выдержала Надежда Викторовна.

И демонстративно отвернулась к окну...

\* \* \*

«...Наконец-то нас отправляют на фронт, а то совсем скисли в учебном полку. Я понимаю, мы все понимаем, что воевать тоже надо учиться, война не игрушки, в которые мы играли раньше, но если бы ты знала, как не терпится взять автомат и бить, бить проклятых фашистов! Пусть у них не только под ногами земля горит, пусть им и на том свете тошно будет, чтобы и всем прочим, кто зарится на нашу землю, неповадно было. Здорово сказал Александр Невский, что кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Прямо дрожь берет, когда он говорит это в кино.

Вчера нам выдали новое обмундирование, а фронтовики, которые обучают нас, говорят, что это верный признак, что скоро на фронт. Будь уверена, мы покажем этим гадам ползучим, где раки зимуют. У нас у всех такое настроение, что... Наступательное настроение, как выражается наш старшина. Он мировой дядька, наш старшина. Он успел повоевать, имеет орден Славы и две медали «За отвагу». У него два тяжелых ранения, поэтому и служит в учебном полку. Между прочим, он был и под Ленинградом, а вообще, на войне с первого дня. Вечером после занятий придется в казарму, и кажется, лишь бы до нар добратся (гоняют нас здорово, но это и правильно, на фронте еще тяжелее будет), а старшина начнет что-нибудь рассказывать — и сразу всю усталость как рукой снимает.

Здесь мы подружились с Лешкой Селивановым. Он первый подошел ко мне и предложил дружить. И правда, что нам с ним делить? Оказывается, он парень что надо. Зря я относился к нему подозрительно. Ну и что такого особенного, что он был в тебя влюблен, верно? Мало ли кто и в кого был раньше влюблен. А в тебя каждый влюбится, потому что ты самая-самая лучшая и красивая...

Пока не лизи по этому адресу, а то мы уедем отсюда и твое письмо еще затеряется где-нибудь. Я сообщу тебе свой новый адрес сразу, как только прибудем на место.

Не скучай и передавай привет маме...»

«...Ты не велел писать по старому адресу, а новый все не присылаешь, и я подумала, что все равно напишу ответ, пусть пока постоит у меня, а после, когда ты сообщишь новый адрес, я отправлю тебе и это письмо. А то будет не вспомнить, что я хотела тебе рассказать. Ты же знаешь, какая я забывчивая и вообще растеряха. Мама даже ругается иногда, говорит, что у меня память как у курицы. Правда, сама она тоже все забывает, но это потому, что сильно устает на работе.

Знаешь, я рада, что вы помирились с Алексеем. Он на самом деле очень хороший, добрый и такой тихий, что я боялась, когда вас вместе призвали, как бы чего не вышло между вами. Ведь ты настоящий петух. Но теперь успокоилась. Передай ему привет от меня (если не хочешь или тебе неприятно, можешь не передавать) и скажи еще по секрету, что в него влюблена Танька Голощекова, а она страшно красивая. Я показывала тебе ее, помнишь? Такая высокая, стройная, с длинной косой. Прямо удивительно даже, как это ты сам не влюбился в нее. У нас все ребята влюблялись в нее. Сначала в нее, а потом некоторые в меня. Ты ее не видел до того, как мы познакомились, иначе тоже влюбился бы. А вдруг и она влюбилась бы в тебя...

Передай Алексею, что, если он хочет, я могу передать ей привет от него и напишу тогда, как она к этому отнеслась. Но я и так точно знаю, что она обрадуется. Это она только с виду гордая и неприступная, как все красивые девчонки, а вообще-то влюбчивая.

Мы с девчонками решили больше не учиться, а идти работать, помогать фронту. Вчера все вместе ходили на лесокombинат устраиваться на работу, а нас не приняли, даже прогнали. Раз так, пойдем в райком комсомола. Учиться будем после войны, а сейчас все должны работать, сами же пишут на плакатах, что «все для фронта, все для победы». А если и в райкоме не разрешат, возьмем и напишем товарищу Сталину. Пока договорились не отвечать на уроках, объявляем школе бойкот. Мы уже не маленькие дети, чтобы зуб-

рить урски, когда идет такая война. Ты одобришь наше решение? Вот и ты, и Алексей совсем немного старше нас, а уже воюете, чем же мы хуже! Вон Зоя Космодемьянская или Лиза Чайкина, они подвиги совершили, а мы все сидим за партами, поднимаем руки, учим синусы-косинусы, да еще этот немецкий язык!..

Знаешь, я как подумаю, что мы с тобой муж и жена, так у меня даже сердце замирает, честное-пречестное слово. Ведь это ничего не значит, верно, что мы не расписались?.. Все равно — мы муж и жена. Ты мой муж, а я твоя жена. Совсем недавно я не могла понять, что такое муж и жена. Вот мама и папа — это понятно...

Как хорошо, если бы у нас с тобой был ребенок, чтобы и мы были не просто муж и жена, а мама и папа. Нет, сначала папа, а потом мама. Вот написала и чувствую, что покраснела от стыда. Знаю, что ничего в этом стыдного нет, что люди для того и женятся и замуж выходят, чтобы у них были дети, а все равно стыдно как-то, в сто раз стыднее, чем первый раз целоваться... А я тебя очень, очень люблю. Даже не объяснить, как люблю. Закрою глаза — и ясно-ясно вижу тебя, такого неприбранного, такого лохматого «полосатика», но все равно самого красивого и умного! А вот представить тебя в военной форме никак не могу. Интересно, тебе идет форма или нет?..»

«...Пятые сутки стоим на станции Н. Точнее сообщить не могу по условиям военного времени и сохранения тайны. Наш эшелон почему-то загнали в тупик, но никуда не отпускают, даже на вокзале приказано не показываться без особого разрешения. Замполит все время напоминает нам, что бдительность — наше оружие. Он сам и письма собирает, чтобы мы не бегали к почтовому ящику. Значит, это очень важно, чтобы сохранить в тайне наше продвижение к фронту. Не только наше, конечно. Станция прямо битком набита воинскими эшелонами. Некоторые прямым ходом идут на запад, а некоторые, как и наш, стоят в тупике. Обидно смотреть, как другие едут на фронт, а ты вынужден сидеть и чего-то ждать, но командованию виднее. Опытные солдаты, которые успели побывать на фронте, говорят, что готовится крупное наступление, накапливаются силы для решительного удара по врагу. Вот соберется мощный кулак, и как ударим!.. Вот смотри

и думаю: неужели есть на свете такая сила, которая смогла бы одолеть столько мужчин, переполненных гневом и жаждой отомстить фашистам за все, за все?.. Такой силы не может быть, и поэтому фашистам скоро будет крышка. Лишь бы успеть до полной победы попасть на фронт, чтобы убивать, крошить этих гадов. В нашем взводе есть один солдат (он лежал в госпитале и теперь снова возвращается на фронт), так у него фашисты заживо сожгли всю семью. Жену, старушку-мать и троих детей. Ты представляешь? Да за такое надо не то что убивать... Эх, добраться бы до самого Гитлера! Все мечтают взять его в плен. Этот солдат — его фамилия Иванов — никому ничего не рассказывает, он вообще больше молчит или сядет на верхних нарах, возьмет гармошку и играет грустные песни. А рассказал нам про его семью замполит. Скорее бы уже добраться до фронта...

Ты не скучай очень сильно (немножко можно), мы вернемся домой с победой, и все-все будет хорошо. Главное, не падай духом, помни, что я тебя люблю и буду любить всю жизнь. Жаль, что у меня нет твоей фотокарточки, какая ты сейчас. А на той, которую ты подарила мне, ты совсем не похожа на себя...»

«...Если бы ты знал, как я обрадовалась, когда пришло твое письмо! Я даже запрыгала от радости, а мама сказала, что я просто сумасшедшая. Это она так, а сама тоже рада. А я и правда почти как сумасшедшая от счастья. Вот только опять ты не сообщаемшь новый адрес, и я не знаю, куда отправлять письма. А их уже накопилось целых три. Вот сколько я тебе написала! Потом я отправлю тебе все письма сразу, а ты внимательно смотри номера, которые я напишу под обратным адресом, чтобы не перепутать, какое читать сначала.

Ты пишешь, что боишься не успеть до победы попасть на фронт, а я, дуручка ненормальная, обрадовалась, что не успеешь. Это не хорошо, да, радоваться?.. Но ты прости меня, я ведь не из-за того, что не хочу, чтобы ты бил фашистов. Просто все женщины всегда боятся за мужчин, им часто приходится ждать, а это совсем не просто. Недавно я прочитала в одной книжке, что умение ждать чуть ли не самое главное для женщины, для жены. Уж так получается в жизни. Конечно, я пока ничего еще не понимаю, но согласна

с этим и буду ждать тебя столько, сколько понадобится, хоть всю жизнь, потому что ты мой любимый, мой единственный навсегда!

А ведь мы могли и не встретиться, могли разминуться в жизни. Я иногда задумаюсь, сколько же нужно совпадений, чтобы получилось все так, как получилось у нас с тобой! Если разобраться, даже родиться нужно было именно там, где мы родились, именно тогда, когда мы родились... Мама говорит, что я рассуждаю наивно, что если бы не встретил тебя, встретила бы кого-то другого и было бы то же самое, но я считаю, что она не права. Такое может быть только с одним, с тобой. А если и с другим, значит — это ненастоящая любовь. Но я-то знаю, что у нас настоящая...»

«...Господи, сколько же вы будете стоять на этой станции Н.? Или уже не стойте? Но тогда почему от тебя нет письма, ведь я так и не знаю твоего нового адреса.

Помнишь, я тебе писала, что мы с девчонками решили не учиться больше и не отвечать на уроках, пока не разрешат пойти работать? Так вот, мы были в райкоме комсомола, а нам там устроили взбучку. Сам товарищ Волошин, секретарь райкома ВКП(б), тоже присутствовал при разговоре. Он сказал, что наша задача — хорошо учиться и успешно закончить школу, чтобы нашим отцам и старшим братьям не было за нас стыдно. (Он, конечно, не знает, что я уже замужем, вообще все думают, что мы просто дружим.) Товарищ Волошин еще говорил, что мы уже почти взрослые люди и должны понимать, что многие мужчины не вернутся с войны, на то и война, и что на нас ляжет огромная ответственность, когда нужно будет восстанавливать то, что разрушено фашистами, строить новую, мирную жизнь. Ваши знания, сказал он, очень нужны стране, всему народу, так что ваш долг продолжать учебу. Ты знаешь, он так здорово и понятно все объяснил, что нам даже стыдно было, а мы-то, глупые, думали!.. И про уроки немецкого языка товарищ Волошин тоже говорил. Он говорил, что мы воюем не с немецким народом, не с Германией, как таковой, а с фашизмом и что фашизм поработил прежде всего как раз немецкий народ...

Не помню, ты знаешь Полю Красикову? Такая рыженькая хохотушка, они живут через два дома от

нас, — если стоять лицом к почте, то справа с зеленой крышей их дом?.. Вчера они получили похоронную на ее отца. Мать так плачет, что даже у нас слышно, у них ведь пятеро детей. А Поля молчит. У нее такой характер, она никогда не плачет. Учительница по литературе ничего не знала про похоронную и сегодня вызвала ее отвечать. А она встала и молчит. И никто не решается сказать, в чем дело. Тогда я написала на ладони «похоронная» и показала учительнице. Она отпустила Полю домой, а нам вместо продолжения нормального урока читала стихи. Это было здорово! Особенно мне запомнилось «Жди меня». Ты знаешь эти стихи? Если нет, я обязательно достану и перепишу тебе. Там первая строчка такая: «Жди меня, и я вернусь...»

«...По выходным, а иногда и после школы я кожу помогать в госпиталь. Работы много, санитарок не хватает, я сильно устаю, зато так приятно сознавать, что приносишь людям пользу. После войны я, наверное, пойду учиться на врача. И мама хочет, чтобы я была врачом. А ты не будешь против? Только я хочу стать детским врачом, ведь я так люблю маленьких детей.

Все забывала написать, что Таньке я тогда передала привет от Алексея и намекнула также насчет переписки. Она покраснела вся, когда я сказала, что вы вместе и что могу дать ей адрес, но виду, что обрадовалась, не подала. Очень нужно, говорит, а сама губы кусает. Гордость не позволяет признаться, что влюблена. Но ты можешь передать Алексею, что все в порядке. На всякий случай вот ее адрес: улица 25 Октября, дом 12...

Когда только ты получишь это письмо!

Мама молчит, но я вижу, что и она ждет от тебя письма. Она ведь у меня умная и замечательная, моя мамуля. Она кажется сердитой, а на самом деле она не такая. У нас был очень строгий папа, вот мама и пытается подражать ему. Когда кончится война, и ты вернешься, и мы будем жить все вместе, ты сам увидишь и сразу поймешь, какая хорошая у меня мама! Ее и раненные все любят, и меня полюбили потому, что я ее дочка...»

«...Вот и Новый год наступил, а от тебя все нет и нет письма. Но разве так можно, Толик?! Ты же обе-

щал, что будешь писать каждую свободную минуту. Неужели никак не выбрать эту минуту? Другие как-то выбирают...

Прости, милый, это все от моей глупости. Я же понимаю, не думай, что раз не пишешь, значит, нельзя или не можешь.

Да, поздравляю тебя с Новым годом! Чуть не забыла, дуреха. Все говорят, что война вот-вот кончится. Даже не верится. Четвертый год уже... Я была совсем ребенком, когда она началась, а сейчас взрослый человек, и даже замужем.

Мы встречали Новый год вдвоем с мамой. Сидели и молчали. Интересно, люди чаще молчат именно тогда, когда им есть о чем говорить, а когда говорить вроде не о чем, болтают и болтают без конца. Отчего бы это?.. Наверное, это оттого происходит, что люди жалуют друг друга в беде, боятся сказать что-нибудь лишнее, неуместное, что-нибудь такое, что другому причинит боль. А потом мама не выдержала, прижалась ко мне и заплакала, и все повторяла: «Бедная моя девочка...» Ты понимаешь — не я прижалась к ней, как было всегда, а она ко мне. Неужели с тобой что-то случилось?.. Нет, нет, не верю, слышишь — не верю! И никогда не поверю, потому что этого не может быть...

А иногда в голову лезут мысли, что ты тяжело ранен. Тогда делается страшно. В госпитале я насмотрелась всякого... Лучше бы такого не знать и не видеть. Один танкист уже второй месяц здесь и все не приходит в сознание. Мама говорит, что непонятно, как его довели сюда, в таком состоянии люди не могут жить: он весь обгорел в танке, на нем буквально нет живого места, и еще у него отняли обе ноги. А его где-то ждут и ничего пока не знают об его судьбе. Я подумала, когда помогала его перекладывать на каталку, что хорошо, что ты у меня не танкист...

Прости, что я рассказываю тебе об этом, только я не могу и не хочу ничего скрывать от тебя, ни одной даже самой маленькой и самой глупой моей мысли. И не надо скрывать, верно? Ведь муж и жена — это все равно как один человек, а от себя все равно нельзя ничего скрыть. Вот как получается в жизни — жили два человека, не знали друг друга, не были знакомы даже, а потом случайно встретились, поженились и стали самыми близкими, самыми родными! Когда мне бывает совсем плохо, что и жить не хочется, я



разговариваю с тобой, а раньше, пока не было тебя, я всем-всем делилась с мамой. Выходит, ты стал мне роднее и ближе мамы?..»

«...Где же ты, где, милый мой Толик?! Отзовись, прошу тебя. Отзовись хоть словечком, хоть одной-единственной строчкой. Можешь даже написать, что разлюбил меня, я вытерплю, честное слово! Лишь бы знать, что ты живой. Не бойся за меня, говори всю правду, я выдержу, потому что тоже стала сильная, такая же сильная, как ты. Ну, не совсем такая, все-таки ты мужчина, а я женщина, но все равно очень сильная...»

«...Прости за предыдущее письмо, это на меня просто нашло что-то. Я хотела его порвать, но решила оставить, пусть ты знаешь, какая я дурака и какие глупости лезут в мою неумную голову.

Сегодня видела сестру Алексея, она сказала, что они получили от него письмо. Оказывается, он лежит в госпитале, был тяжело ранен и поэтому долго не писал. А мама всю ночь плакала, она вообще стала часто плакать, не знаю, что творится с ней. Так много она не плакала даже когда пришли «похоронки» на папу и брата. Что-то непонятное творится со многими. Знаешь, я заметила, что, чем ближе конец войны, тем больше женщины плачут, хотя казалось бы, что только радоваться должны. Но я пока держусь. Ты велел держаться, и я держусь. Вот когда все кончится, когда ты вернешься, я наревусь сразу за всю войну...»

«...От Алексея еще пришло письмо, в нем была записка и для меня. Он пишет, что при переформировании вы оказались в разных подразделениях и что он не знает, где ты и что с тобой. Его самого ранили в первом же бою. Ты не подумай, в записке нет ничего такого, я ее сохранию и потом покажу тебе. Или пришлю, когда ты сообщишь свой адрес. И вообще, Алексей не сам написал эту записку, а я попросила его сестру, чтобы она спросила про тебя.

Ты не читал стихи К. Симонова, которые начинаются строчкой: «Я вас обязан известить, что не дошло до адресата...»? Это про женщину, которая напи-

сала мужу на фронт, чтобы он не надеялся больше на нее, что она полюбила другого. Полюбила! Да разве такая женщина способна вообще любить?.. Такие от любви ждут только радости для себя, им наплевать на других, а настоящая любовь — это когда человек думает не о себе, а о любимом, когда готов принять любые страдания и муки, лишь бы дождаться любимого. Таких женщин, как эта, про которую написаны стихи, я бы своими руками...

А вот маму жалко. Она-то думает, что я не замечаю ничего, но я все-все вижу. У нее бывают такие грустные глаза (это когда я пишу тебе письма), как будто она что-то знает и боится признаться мне. В них столько жалости, столько боли... А что, что может знать мама, если и я-то ничегошеньки не знаю, но сердцем, всем своим существом чувствую, что ты жив, что ты вернешься... Просто мама жалеет меня, как жалеют своих детей все матери на свете, в том числе и немецкие матери. Вот и получается, что мама жалеет меня, а я жалею маму. Не знаю, кому из нас тяжелее. Навернсе, маме, потому что я волнуюсь за тебя одного, а мама за нас двоих. Не могу смотреть на нее спокойно. И помочь ничем не могу...»

«...Придумала! Я буду писать письма за тебя, понимаешь? Как будто это ты отвечаешь на мои письма. Буду ходить на станцию и опускать эти письма прямо в почтовый вагон, многие так делают, чтобы письма скорее доходили. Письмо уедет в Свердловск или еще куда-нибудь, раз оно уже попало в почтовый вагон, а потом вернется ко мне, его принесет почтальон, так что мама ни за что не догадается. Это я придумала сама. А чтобы мама не узнала мой почерк на конверте (письма-то она читать не станет), я попросила писать адрес дядю Федю, он работает истопником в госпитале, а раньше лежал здесь после ранения. На фронт его больше не отпустили, а у него нигде нет никого родных. После войны мы расскажем все маме, и все вместе прочитаем твои письма, и ты скажешь, правильно ли я писала за тебя...»

«...Мама поверила. Теперь я хоть немножко спокойна за нее. Когда почтальон принес письмо, я сначала и сама подумала, что оно от тебя. Знала, что нет, а

все равно подумала. А мама очень доверчивая, она всему верит. У нас в семье никто и никогда никого не обманывал. Папа говорил по этому поводу, что если нельзя или не хочешь сказать правду, лучше промолчи, только не лги. А что сейчас я обманываю маму, это ничего, верно? Во-первых, я поступаю так для ее же спокойствия, во-вторых, мы во всем признаемся ей потом, и она обязательно нас простит. Дядя Федя тоже считает, что это ничего. Он сказал, что обмануть для хорошего дела не грех.

Скоро весна, уже и воздух сделался весенний, хотя еще и лежит снег. Но солнце светит ярче. Раненые выходят (конечно, кому можно ходить) на улицу, им так надоело лежать в палатах. А тот танкист, про которого я тебе писала, все-таки умер. Все переживали за него, а я даже ревела, так жалко было. Оказывается, ему присвоили звание Героя Советского Союза, а он даже не узнал об этом.

Вчера один раненый (у него нет обеих рук) попросил написать письмо его жене. Я стала писать, а он также начал диктовать!.. Понимаешь, он придумал написать жене, чтобы она его не ждала, потому что он теперь калека и не хочет быть ей в тягость. Я отказалась писать и сказала ему, что он не прав, что он обидит жену, если напишет такое, а он так пронзительно и тоскливо посмотрел на меня и заплакал. Я никогда не видела, чтобы мужчины плакали так, как плакал он. Он просто рыдал. Я убежала, не могла смотреть на это. Наверное, он очень сильно любит свою жену.

Толк, прошу тебя, не сделай и ты глупость, если с тобой что-нибудь случится похожее. Ты мне нужен всякий, каким бы ни вернулся. Вы все нужны своим женам, а если некоторые женщины не сумели выдержать испытание, значит, они просто не любили. Это они не нужны вам, а не вы им.

Я рассказала маме про этого раненого, и она похвалила меня, сказала, что я поступила правильно. И еще она сказала, что мужчины бывают неумны, если могут так плохо думать о своих женах. Это все от мужского эгоизма. Мужчины сами эгоисты (ты не эгоист, я знаю), вот и считают поэтому, что женщины тоже такие. А на самом деле женщины живут для мужей и для детей, даже если и не понимают этого. Поэтому всегда было больше вдов, чем вдовцов.

Я согласна с мамой. Вообще самое главное в жизни, по-моему, любить друг друга и верить друг другу, а все остальное как-нибудь да обойдется. Может быть, самое страшное не смерть, как мы думаем,— все когда-нибудь умирают, тут ничего не поделаешь — а никогда не любить и не быть любимым или любимой...»

«...Вернулся домой Алексей. Я видела его, и мы долго разговаривали с ним. Он что-то там рассказывал, но я поняла по его глазам, что рассказывал не все, то есть не всю правду. Только зря он старался, я ведь все равно заставила его рассказать все, как было на самом деле.

Он врал, оказывается, когда написал мне в записке, что вы после реформирования попали в разные части. Все было не так.

Когда вы разгрузились из эшелона и двигались к линии фронта, вас атаковали немцы, которые прорывались к своим из окружения. Вот тут Алексея и ранило, и он ничего не знает про тебя. А когда от сестры узнал, что от тебя нет писем, решил, что ты погиб в том бою и поэтому все придумал. Это чтобы успокоить меня. Господи, какие же вы, мужчины, бываете глупые! Ведь я все равно никогда и никому не поверю, что тебя убили. Ни-когда! Так что ты не имеешь права умирать, я запрещаю тебе даже и думать о смерти. И сама не думаю. Как выражается дядя Федя (мы подружился с ним), это не та штукавина, о которой нужно думать...»

«...Вот и кончилась эта проклятая война. Написала и подумала: а разве какая-нибудь война бывает не проклятая? Иногда даже жалко делается, что нет бога. Если бы он был, то наверняка запретил бы людям воевать. Люди, наверное, и придумали его в надежде, что он запретит. Знаю, что глупости все это, и сама я глупая девчонка, хоть и жена твоя, но ничего не могу поделать с собой. Я даже понимаю, что войны тоже бывают разные, что Родину надо защищать любой ценой, что эта война для нас была не той войной, как для фашистов. Но так хочется, чтобы время повернулось вспять и чтобы не началась эта война. А с другой стороны, если бы не война — подумать страшно! — мы с тобой никогда бы не встретились.

Выходит, я как бы должна хотеть, чтобы война была?.. Видишь, я совсем и окончательно запуталась. Можно ли хотеть несчастья другим, чтобы обрести счастье для себя?..

Многие говорили: война все спишет. И это не казалось кощунством, потому говорили так многие. А теперь ясно, что именно кощунство. Разве можно «списать» слезы, кровь, сиротство?.. Никогда такое не пишется. Это придумали плохие люди, для которых не свое горе — чужое. Придумали, чтобы «списать» всякие подлости, чтобы нормальные люди забыли об их подлостях, но у людей хорошая память. Забыть может один, все не забудут, пусть не надеются.

А у нас с мамой получился грустный праздник. Мы сидели вдвоем и ревели. А мечталось, что в этот день мы будем все вместе. Вот глупая, только сейчас догадалась, что не могли же солдаты оказаться дома в тот же день, когда кончилась война...»

\* \* \*

Дверь створилась, вошла проводница.

— Все места заняты? Это хорошо, не люблю, когда по дороге пассажиры садятся. — Она пристроилась на краешек полки, разложила на коленях тряпичную «кассу» и попросила билеты. — Постели всем надо?

— Разумеется, — сказал мужчина.

— Тогда гоните по рублику. И чтобы без сдачи, а то у всех крупные — можно подумать, что одни миллионеры едут у меня в вагоне.

Собрав деньги, она поднялась и хотела выйти, однако мужчина задержал ее.

— Вы позволите задать вам один вопрос?

— Только поскорее, мне некогда разговоры разговаривать. Небось чаю еще захотите.

— Вы, случайно, не слышали такого, чтобы жена ждала с войны мужа целых тридцать лет?

— Вон что! Это смотря какая жена, — подумав, ответила проводница. — Я бы не стала, чего ждать-то?.. За тридцать лет он давно тридцать жен сменил и сам стариком стал. На кой он мне такой? Все вы, мужики, на одну колодку. Нет, чем ждать, лучше другого тоже найти, который посвежее. — Она рассмеялась и подмигнула майору. — Мужиков-то теперь хватает, слава богу.

— А в принципе? — спросил мужчина.

— А в принципе дуры ждут, а умные живут.— И с этим проводница вышла из купе.

Все молчали, всем одинаково было неловко. И может быть, стыдно. Надежда Викторовна смотрела в окно и с огорчением думала, что такие развязные, вульгарные женщины, как эта проводница, и дают какое-то моральное право этому мужчине пренебрежительно и свысока рассуждать о женщинах вообще. Мы сами, получается, виноваты в том, что нам не верят. А вот проводнице, вдруг подумала Надежда Викторовна, как раз, возможно, и верят. Ведь кто-то же любит и ее, всякую женщину кто-нибудь любит, но любви не бывает без веры. А люди отчего-то склонны иногда принимать развязность, грубость, пошлость за искренность и бесхитрость. На иного посмотришь, слушаешь его — просто хам, а о нем слава идет, что человек-то какой, «правду-матку в глаза режет». Да разве правда нуждается в хамстве? Нет, в хамстве нуждается именно ложь.

Молчание нарушила Таня.

— А как же жены декабристов? — неожиданно сказала она. — Это же исторический факт!

— Вот именно — исторический! — проговорил мужчина и снисходительно, по-отечески улыбнулся, и Надежда Викторовна с непонятым страхом за Таню подумала, что сейчас он возьмет и погладит ее по голове, как это делают иногда не очень умные взрослые, когда, по их мнению, маленькие дети говорят глупости. Он не погладил, спросил: — Сколько вам лет, если не секрет? Впрочем, в вашем возрасте это еще не является государственной тайной.

— Девятнадцать, — ответила Таня.

— Девятнадцать, — повторил он, поднимая указательный палец. — То есть еще только девятнадцать. Вы еще не видели и не знаете жизни, милая девочка. А ваши книжные знания... Это суррогат знаний, своего рода кожзаменитель. — Он рассмеялся, довольный, что удачно пошутил. — Вот придет время, выйдете замуж... — Он взглянул на правую руку Тани. — Поживете, вырастите детей, тогда у вас появится моральное право дискутировать по проблемам семейной жизни и отношений между мужчиной и женщиной. А пока вы не носитель опыта и информации, а потребитель.

Таня вспыхнула и отвернувшись. Она едва не расплакалась, это было слишком заметно, чтобы не заметить, и Надежда Викторовна искренне пожалела ее.

Она хотела вступиться за Таню, хотела сказать мужчине что-нибудь колкое, даже сделать ему замечание наконец, потому что нельзя унижать человека только за то, что он молодой. Но ее опередил майор.

— Послушайте, как вас?..— сказал он.

— Это вы мне? — поворачиваясь лицом к майору, спросил мужчина.

— Вам.

— Меня зовут Анатолий Петрович.

— Так вот, Анатолий Петрович, вы допустили бестактность, и мне как мужчине за вас стыдно. На вашем месте...

Надежда Викторовна поняла, что сейчас вспыхнет ссора. И хотя она была на стороне майора, хотя ей самой хотелось сделать мужчине замечание, поставить его на место, тем не менее она совсем не хотела скандала, да еще при Тане. Она ободряюще улыбнулась ей и сказала:

— Товарищи мужчины, не забывайте, что здесь присутствуют женщины! И между прочим, наша Танечка едет к мужу. Вернее, она едет на свою свадьбу.

— Ой! — воскликнула Таня, опять краснея.— А как вы догадались, что я еду на свадьбу?

— Это было совсем просто,— сказала Надежда Викторовна.— Дай, как говорится, тебе бог счастья. Чтобы все у тебя было хорошо.

— Спасибо... Огромное вам спасибо! Вы такая... Я сразу обратила внимание. Добрая вы.

— Ну, ну. Живите своим умом, а чужой опыт, даже самый хороший, не всегда помогает в жизни.

Майор встал, снял с верхней полки портфель и вынул оттуда коробку знаменитых шоколадных конфет с ликером.

— Примите, Танечка, и мои искренние поздравления! — сказал он и протянул коробку Тане.

— Что вы, не надо...— смущенно пробормотала она и тоже встала.

— Берите, Танечка, берите,— сказала Надежда Викторовна и, взяв ее за руку, усадила на место.— От таких подарков нельзя отказываться. А вы просто волшебник.— Она улыбнулась майору.— Сколько лет ездю сюда в отпуск, но мне ни разу не удалось кушать эти конфеты.

— Сожалею, что у меня нет второй коробки.

— Разве я об этом, майор.

Поднялся и мужчина.

— Позвольте и мне, милая Таня, принести свои поздравления и... извинения. От всей души желаю вам счастья! От всей души,— повторил он и приложил руки к груди.

— Мне так стыдно, честное слово...— бормотала Таня.— Спасибо вам всем...

— Не стóбит благодарности. А что касается опыта старших...— Он выразительно так посмотрел на Надежду Викторовну,— то, я думаю, вы были не правы.

— В чем я была не права? — не сразу поняла его Надежда Викторовна.

— Вы заметили, что даже хороший опыт других не помогает в жизни молодым людям. Позволю себе возразить вам. Копилка человеческого опыта существует для того, чтобы ее когда-нибудь разбили и воспользовались содержимым.

— Вы безусловно правы,— растерялась на какое-то мгновение Надежда Викторовна.— Но я, кажется, сказала, что не всякий опыт и не всегда...

— Это уже детали,— сказал мужчина.— Важен принципиальный подход, а вот в принципе вы не правы, прошу прощения.

— Об этом еще надо подумать,— вмешался майор.

— Что же тут думать? Нужно подходить с диалектических позиций...

— Давайте с диалектических,— согласился майор.— Вы рассматриваете, например, свой личный опыт как положительный и пытаетесь навязать его другим. Однако то, что хорошо для вас, не обязательно хорошо для других.

— Во-первых, я никому ничего не навязываю, я только высказываю свою точку зрения...

— С полной уверенностью, что ваша точка зрения — правильная?

— Во-вторых,— не отвечая на реплику майора, продолжал мужчина,— у меня действительно накоплен большой жизненный опыт. Разный, замечу вам, опыт. И накоплен для того, чтобы им воспользовались мои дети. В одном случае, чтобы правильно организовать свою жизнь, чтобы не открывать открытое мной, в другом — чтобы не повторять моих ошибок, которых, надеюсь, было не так и много.

— Ну что ж,— сказал майор,— вполне вроде бы логично и доказательно. Но вы опять же исходите из своего понимания хорошего и плохого, добра и зла. Минутку! — остановил он мужчину, который собрал-



ся возразить.— Вы преподносите детям свою модель жизни, а они, возможно, хотят построить жизнь иначе, опираясь на опыт других...

— Скажите еще, что на опыт автора вот этой книжки! — усмехнулся мужчина и взял книгу со столика.

— Повторяю: я не читал эту книгу, но готов предположить, что вашим детям может понадобиться опыт автора, ведь вы сами говорили, что он молодой человек, и значит, их сближает...

— Надеюсь, что мои дети никогда не прочтут эту книжку. И вам я бы не советовал читать,— сказал мужчина и посмотрел на Таню. Посмотрел даже ласково.

— Не знаю, почему вам так не нравится она,— пожал плечами Таня.— А мне нравится. В нескольких местах я плакала. Мне кажется, что все это очень здорово написано.

— Нравится — не нравится, милая Танечка, это не критерий.

— А что же тогда критерий? — перебил его майор.

— Правда жизни!

— Но вот Таня говорит, что она плакала, когда читала, а это уже немало.

— Ну, знаете, вызвать у женщины, тем более у молодой девушки, слезы совсем не трудно.— И опять он взглянул на Надежду Викторовну, она почувствовала его взгляд, хотя сидела боком к нему, заставляя себя не вмешиваться в спор.

\* \* \*

В чем-то он прав, этот Анатолий Петрович. У женщин действительно легко вызвать слезы, только дело тут не в наивности или глупости, как думает он. Просто слезы — это наше оружие, наша порой единственная защита. Правда, некоторые женщины слишком часто пользуются этим оружием и оно оборачивается против них же. А я так давно, наверное, перестала быть женщиной в полном смысле слова: я не плакала с тех пор, как умерла мама, целых восемнадцать лет. А раньше плакала часто, мама сердилась даже и называла меня плаксой и сюнтяйкой. Нет, меня никто не обижал, меня вообще мало обижали в жизни, мне повезло. Я плакала просто так. Приду домой, сяду и реву. Иногда и раздеться не успею. На работе все время на людях, приходилось держать себя в руках, а

дома, когда никто не видит, я давала волю слезам. Не думай, что я жалела себя или что жалела свою загубленную, как думают некоторые, жизнь. Ничего подобного! Да я и не считала и не считаю, что моя жизнь чем-то загублена. Насоборот. Не стану скрывать, когда-то я немножко все-таки жалела себя и думала иногда, что могла бы по-другому распорядиться своей судьбой, могла бы иначе устроить свою жизнь, но потом поняла, что жалеть мне не о чем и другой судьбы мне не надо. У меня была и есть любовь, разве этого мало?..

Впрочем, я всегда жалела и жалею теперь, что у нас нет ребенка. Он мог быть, а его нет, поэтому мне, может быть, в тысячу раз тяжелее, чем женщинам, которые тоже потеряли мужей, но у которых остались дети. Если бы ты знал, как я завидовала им! Этого не объяснить никакими словами, это может понять только женщина, потерявшая любимого и не имеющая от него детей. Одно время я думала взять ребенка из детского дома, но в последний момент испугалась чего-то. Скорее всего, мне был нужен именно твой ребенок, чтобы был похожим на тебя. А любовь к детям вообще не дает, по-моему, права распоряжаться судьбой чужого ребенка. Позерь, я-то знаю, что чаще всего берут на воспитание детей не думая об их судьбе, а чтобы уголить свое желание иметь ребенка, но этого мало, чтобы стать матерью. Вот поэтому я и пошла работать в ясли. Я постоянно среди детей, я их всех люблю — всех вместе и каждого в отдельности, а они могут меня любить или не любить — это уже их право. А если бы я взяла ребенка из детского дома, он должен был бы любить меня не по праву, а по обязанности. Не может же он сказать матери, что не любит ее, и даже если он любил бы меня на самом деле, любил как мать, я бы, наверное, не верила этому. А это страшно. Одинаково страшно любить по обязанности и не верить в любовь.

Я много раз говорила тебе, что довольна своей работой. Я уверена, что это настоящее мое призвание. Но разве не счастье — найти свое призвание, повстречаться с ним? Получается, что мне повезло в самом главном: я встретила тебя и свое призвание. Почему же я должна жаловаться на судьбу и считать загубленной свою жизнь?.. Конечно, все эти годы мне не хватало тебя, но и с этим — прости, прости — я со временем свыклась. Это правда, что человек привыкает

ко всему. А мой малыши — такой замечательный народ, и спасибо им, что они не оставляют ни времени, ни места для жалости к себе.

А ревели я раньше... Да мало ли почему ревет глупая баба. Как-то у меня вытащили кошелек, в нем было около двухсот рублей (это старыми еще деньгами), и я, дура, весь вечер плакала, как будто бы со мной случилось несчастье. Или вот пригласили меня на какой-то торжественный вечер, мне очень хотелось пойти — я как раз сшила новое платье, но в приглательном билете было написано — «на два лица», и я спать разревелась и не пошла. Ну, не глупость ли это?.. Была бы охота поплакать, а причина всегда найдется. Это так говорит одна наша нянечка, тетя Дуся. (Ее все зовут тетей Дусей, в том числе и я, хотя она старше меня совсем немного.) Сама она плачет просто артистически. Делает что-нибудь — она все время делает что-нибудь, — напевает вполголоса, смеется — и вдруг ни с того ни с сего сядет и заплачет. Может, так и должно быть. Может, женщина и должна иногда плакать без всяких причин. Мужчины выпивают, ругаются, когда им бывает тошно, а женщины плачут, только и всего. Теперь это называют «разрядка». И ведь правда: бывало, поплачешь, потом умоешься, приведешь себя в порядок, и вроде легче стало. Не для того же слезы нужны, чтобы только промывать глаза! Так и боль в сердце можно объяснить только как сигнал о заболевании, а оно, случается, болит и здоровое, еще как болит...

Ужасно плохо быть одной. И теперь даже ужаснее, чем когда была помоложе. Я научилась понимать тех женщин (было время, когда не понимала), которые боятся, что от них уйдет муж, хотя бы он — с точки зрения окружающих, других, — и не стоил ломаного гроша, и тех, которые боятся уйти сами от мужа, даже если жить с ним не вмоготу. Конечно, можно отнести это на счет женской непоследовательности, на счет какой-то там «женской логики», только в действительности все не так просто, как кажется именно другим. И еще я думаю, что наша злая бабья ревность (она существует, в этом-то надо признаться) — не что иное, как страх остаться одной. Женщины на многое закрыли бы глаза, многое простили бы своим непорядочным, любвеобильным мужьям, если бы были уверены, что мужья не уйдут совсем, что им не грозит одиночество. Не верь, никогда не верь слишком эман-

сипированным бабам (они все-таки бабы, потому что из юбки, как ни хитри, брюки не сошьешь), когда они говорят, что лучше жить одной, чем с плохим мужем. Чепуха это. Они просто не жили в обнимку с одиночеством. А если жили, то по своей вине. Ведь ни одна из таких женщин не сказала «с нелюбимым», но говорят «с плохим». И мне всегда, когда я слышу такое, хочется спросить у них, куда они смотрели, когда собирались замуж?.. Никто еще не признался, что плохой муж был плохим и до свадьбы. Выходит, он стал плохим потом?..

Иногда и задумаешься: как заключаются неудачные, несчастливые браки? Ответов вообще-то много, но все они кажутся мне приблизительными. Однако и общего на все случаи ответа тоже нет. Да и быть не может. У каждого своя жизнь, и каждый по-своему распоряжается ею.

Как-то пришла ко мне одна молодая мама (впрочем, мои мамы все молодые), плачет и жалуется, что муж стал сильно пить, грубый стал и даже бывает, что поднимает на нее руку. А она не знает, что делать. Я и сказала, что надо уйти от такого мужа, плюнуть на все и уйти. Тогда я думала так. Она посмотрела на меня какими-то испуганными, удивленными глазами, в которых и слез уже не было, встала и пошла. Открывая дверь, повернулась и сказала с обидой: «Вам легко говорить! Я думала, вы посоветуете что-нибудь, а вы!..»

И с этим ушла.

Я не обиделась на нее, я задумалась. И знаешь, пришла к выводу, что, наверное, она и сама в чем-то виновата. Или не увидела чего-то раньше, до замужества, ослепленная влюбленностью и желанием выйти замуж, или... Есть у женщин малопривлекательная черта — все мы немножко собственницы, эгоистки. Сами отстаиваем право жить, как хочется нам и как, по-нашему, по-женскому разумению, жить надо, но всеми силами и всеми доступными нам средствами (слезами тоже!) стремимся лишить такого права мужчин. Почему-то считается, что мы знаем, как надо и как не надо жить, а мужчины — нет. А у них есть свои представления и права есть. Вернее, должны быть, и мы просто обязаны признавать эти права. Но мы их отрицаем, пытаемся навязать свой образ жизни и даже мыслей, не идем ни на какие компромиссы (мужчины в этом смысле демократичнее), а потом, если не уда-

лось заставить мужчину жить по нашей указке, кушаем локти, ищем причину развала семьи в его поведении, только в его, забывая как-то, что у женщины и мужчины все-таки разные потребности души и с этим нельзя не считаться, хотя из брюк-то можно сшить юбку.

А может, вообще забываем, что у мужчин тоже есть душа?

Не знаю, как бы сложилась наша жизнь, если бы все было иначе. Скорее всего, и я бы поступала так, как поступают большинство женщин. Ведь мне и в самом деле легко говорить, я не была на их месте. К тому же и то, что я говорю тебе сейчас, я поняла не сразу, но прожив жизнь. Вот одно время я была народным заседателем в суде, насмотрелась всякого и увидела, что, как правило, молодые судьи гораздо легче выносят строгие приговоры, чем более опытные, пожилые. Не зря ходит анекдот, что в молодости нужно получать пенсию, а в старости работать. Увы, слишком поздно к нам приходит опыт. Зачастую приходит тогда, когда в нем уже нет нужды...

\* \* \*

— Но эта книга про любовь! — воскликнула Таня. — Про настоящую любовь!

— Про любовь? — переспросил с иронией в голосе Анатолий Петрович. — Но ведь любовь подразумевает и верность, не так ли? А я что-то не слышал о верности героини. Или я ошибаюсь?.. — Он обвел всех глазами. — Насколько я понял из рассказа автора, героиня не очень-то была верна мужу, которого ждала. Как же совместить сие?..

— Да разве в этом дело! — сказала Таня.

— В этом. Именно и только в этом. Когда женщина любит, она не изменит мужу.

А интересно, подумала Надежда Викторовна, его любит жена? Я бы не смогла, пожалуй, любить такого человека. Скучный он, все знает наперед, обо всем и обо всех судит, как будто знает и то, что другим знать не дано...

— Мне кажется, — заметил майор, — вы сводите проблему... — Он взглянул на Таню. — Можно всю жизнь прожить, не изменяя мужу или жене в том смысле, о каком вы говорите, и все-таки изменять по существу. — Он снова взглянул на Таню, и она смутилась.

Смутился и сам майор.

— Простите за некоторую нескромность, — проговорил Анатолий Петрович. — Это ваши абстрактные, так сказать, рассуждения или это ваше кредо? Вы что, простили бы свою жену, если бы она изменила вам... в моем смысле?

— Не знаю, — ответил майор. — Вероятно, многое, если не все, зависит от обстоятельств, от отношений...

— Значит, могли бы простить?

— Думаю, что мог бы.

— Вот вам ответ на вашу реплику насчет жен декабристов, — поворачиваясь к Тане, сказал Анатолий Петрович.

— А какая тут связь? — спросил удивленно майор.

— Была другая эпоха, другие понятия о чести и достоинстве, о долге, наконец. Ни один майор того времени не посмел бы публично признаться, что он мог бы простить измену жены. Верность долгу была святым понятием, и поэтому не допускалось никаких отклонений. То есть любовь и долг, любовь и верность были одним целым.

— А замуж сколько угодно выходили без любви, — вставила Таня.

— Это их дело, как они выходили замуж. Но уж коль скоро женщина вышла замуж, она оставалась верной женой до конца. Долг, милая Танечка, повелевал женщине отправиться вслед за мужем и в Сибирь. А что мы наблюдаем сейчас?.. Распушенность, легкомыслие, безнравственность. А потом удивляемся, почему так много разводов и откуда берутся матери-одиночки! Это, знаете ли, явления одного порядка. А когда еще распушенность нравов некоторые, с позволения сказать, писатели пытаются выдать за добродетель... Тут, — Анатолий Петрович кивнул на книгу, однако на этот раз не взял ее, брезгливо поморщился, — все свалено в одну кучу: небылицы и безнравственность, материнский долг и плотская, просьба прощения у женщин, несдержанность. Вот Таня прочтет подобную книжку и решит, что в жизни все можно, все дозволено, раз такое печатают...

— А почему вы решили, — спросил майор, — что Таня — глупенькая девочка и что она сама не разберется, что здесь к чему?

— Пусть не Таня, пусть другая. Это я к примеру. Хотя ей нравится книжка, следовательно, она соглас-

на с тем, что преподносит ей автор. Так, Танечка, или не так?

— Согласна! — сказала она чуть вызывающе.

А ты молодец, молодец, девочка, мысленно похвалила ее Надежда Викторовна, что не уступаешь. И всегда будь неуступчивой, когда защищаешь свое мнение. Ей хотелось вмешаться в спор, хотелось сказать Анатолию Петровичу, что он не прав, что книга все же не о том и что он вообще не имеет права судить. Однако промолчала, и промолчала, может быть, именно по праву человека, знающего истину...

— Слыхали? — Анатолий Петрович усмехнулся. — Вот вам плоды воспитания. Или, скорее, плоды той самостоятельности молодых людей, которую и вы проведуете.

— Проповедник из меня плохой, прямо скажем, — рассмеялся майор. — А вы серьезный человек, с вами трудно спорить.

— И не надо со мной спорить.

— Почему же?

— Да потому, что я прав.

— А хотите начистоту, Анатолий Петрович?

— Извольте.

— Вашей жене не позавидуешь.

— Она и не нуждается в зависти, — сказал Анатолий Петрович с подчеркнутым достоинством. — Она сама себе достаточно завидует.

— Это интересно, — сказал майор. — Каким же образом можно завидовать самому себе?

— Очень просто. У моей жены есть здоровая во всех отношениях семья, есть все необходимое для нормальной, полноценной жизни...

Ей бы еще нормального, полноценного мужа, невольно усмехнулась Надежда Викторовна.

— ...Да, да, — сказал Анатолий Петрович, обращаясь к ней. — А все это имеет далеко не каждая женщина, в том числе и вполне достойная, вполне порядочная.

— А я бы от такой нормальной жизни убежала куда глаза глядят, — задорно заявила Таня. — Вы...

Анатолий Петрович оторвался от стенки, медленно повернул голову и с насмешливым удивлением, с каким-то неподдельным участием посмотрел на нее.

— Сбежала бы! — повторила она.

— Возможно, вам еще представится такой случай, — проговорил Анатолий Петрович. — А я, между

прочим, знал одну такую же бойкую женщину. Это моя первая жена. Она тоже сбежала куда глаза глядят.

— Умница! — сказала Таня.

— Теперь вот мыкает горе с беспробудным пьяницей, еле-еле концы с концами сводит.

— Да уж лучше с пьяницей, лучше совсем одной...

— Танечка, Танечка, возьмите себя в руки! — установила ее Надежда Викторовна. — Анатолий Петрович старше вас, и он во многом прав, поверьте мне. Никогда не надо спешить с выводами, а вы немножко разгорячились под впечатлением...

— Извините меня, — тихо сказала Таня.

— Ну, что вы, — проговорил Анатолий Петрович. — Обычный разговор, не сидеть же молча, раз уж нас свела судьба. Даже интересно. Да мы все немного погорячились, а повода, если разобраться, для спора и нет. Подумаешь, какая-то там книжка! Надо было мне сказать, что я знаю автора...

— А вы крепко невзлюбили его за что-то, признайтесь! — сказал майор.

— Это слишком громко, дело не в этом. Хотя... Вообще-то да, я бы, будь моя воля, запретил бы таким людям писать и печатать книги. В нем нет серьезности, он скорее легкомыслен, чем серьезен. Флиртсвал, знаете ли, с медсестрами. Ночью выйдешь из палаты, а он сидит и болтает, разве это прилично, тем более писателю?

— Может, он страдал бессонницей?

— Страдал, это уж точно, особенно когда дежурили молодые и красивые сестры. По-моему, он вообще был здоровый, просто слишком много думал о себе. Хотел бы я заглянуть в личный листок по учету кадров этого молодого человека. А что касается вашего замечания, майор, насчет того, что невзлюбил его... — Он погладил свою лысину и поморщился, вспомнив, что именно он, писатель этот, прозвал его в больнице фантомасом. — Он мне абсолютно безразличен. Бывают такие люди, которых вы знаете, но знать не хотите. Есть они, нет их — все равно. Так и этот... как там его? — Он взглянул на книгу. — Николай... Дай бог памяти...

Таня взяла книгу и, раскрыв, посмотрела на выходные данные.

— Егорович, — тихо сказала она. — Николай Егорович... Но он, оказывается, умер...



— Как умер? — удивленно переспросил Анатолий Петрович.

— Да, здесь его имя и фамилия в черной рамке...

— Чертовщина какая-то, быть такого не может! Дайте мне.— Он взял книгу и сам заглянул в нее.— Да, все верно. Но как же это?..— Он растерянно оглядывался и сейчас вовсе не производил впечатления занудливого, самовлюбленного человека.— Получается, что он умер раньше, чем вышла книга, раз здесь... А говорил, что она готова, просто незначительные переделки, в набор нужно сдавать. И еще все дразнил меня...— Он покачал головой и улыбнулся.— Фантомасом называл.— Анатолий Петрович снова погладил лысину.— Я не сердился, нет. Это, знаете... Мы ведь с ним к тому же однофамильцы...

Надежда Викторовна побледнела, у нее задрожали губы, и, чтобы скрыть свое волнение, она взяла сумочку и стала рыться в ней, как будто искала там что-то.

— ...Нас потом так и звали: Скворцов-писатель и Скворцов-фантомас. Не укладывается в голове, ведь в прошлом году это было, и он не производил впечатления тяжелобольного.

— Наши впечатления бывают обманчивы,— заметил майор.

Надежда Викторовна до боли кусала губы, ей очень хотелось поднять голову, посмотреть в глаза Анатолия Петровича и, быть может, хотелось о чем-то спросить...

— Вы правы,— вздохнул он.— Обязательно найду эту книгу и прочту...

\* \* \*

«...Маме прислали из Ленинграда вызов. Что мне делать, научи. Мама укладывает вещи, а я не хочу ехать. То есть я, конечно, даже очень хочу в Ленинград, но боюсь уезжать. Ведь ты вернешься сюда, и, значит, я должна ждать тебя здесь. А если ты лежишь в госпитале в тяжелом состоянии?.. Придешь в сознание, скажешь мой адрес, чтобы мне сообщили, а меня уже не будет здесь, что тогда?..»

Мама чувствует что-то, догадывается, наверное, а я никак не могу собраться с духом и сказать, что не поеду с ней. Она же просто сойдет с ума, она и без того стала какая-то суетливая и нервная, все бьется, как бы не забыть чего, а и забывать-то нечего. Все,

что было можно и что имело цену, мы давно сменяли на еду. Я смотрю на нее, и в голову лезут страшные мысли о том, что не сошла ли она уже с ума от радости.

Хорошо еще, что едет она не одна, сразу несколько семей возвращаются в Ленинград. Если что, помогут в дороге...»

«...Вот и все: мама уехала. Поэтому я долго и не писала тебе, так что не сердись — у меня была уважительная причина.

Кажется, перед ее отъездом мы поссорились не на шутку. Она прямо остолбенела, когда я сказала, что остаюсь в Тотъве, что буду ждать тебя. Сначала не поверила, переспросила даже, а потом стала кричать на меня. Она никогда еще так не кричала. Господи, как только она меня не называла!.. Вспоминать не хочется. И плакала, и умоляла, и снова кричала. Ужасно все это было. В конце концов заявила, что я «дура набитая», и призналась (это чтобы разозлить меня), что с самого начала знала, что я сама себе пишу письма от твоего имени. Лучше бы она не говорила этого...

Правда, перед самым ее отъездом мы вроде помирились, но я не знаю, смогу ли когда-нибудь простить маму по-настоящему. Понимаю, что нельзя сердиться на мать, а все равно ничего не могу с собой поделать. Она поступила нехорошо.

Живу пока у той же хозяйки, у которой жили с мамой, так что адрес у меня прежний. Работаю в больнице санитаркой. Тяжело, но я привыкла немножко в госпитале. Зато питанием обеспечена. Осенью буду поступать в медицинское училище. А потом, когда-нибудь, поступлю в институт. Но это мы решим вместе. В общем, у меня все в порядке, не беспокойся за меня. Я стала совсем взрослая, рассудительная, так что ты, когда вернешься, не узнаешь меня. А ты вернешься, я ничуть не сомневаюсь в этом...»

«...Почему-то хочется поговорить с тобой. Вот пока шла война, всем казалось, что как только она кончится, сразу все будет прекрасно и люди заживут счастливой, радостной жизнью. Прошло уже больше двух лет, как война кончилась, но разве все счастливые и разве всем живется легко и радостно?.. Оказывается,

и в мирное время, после такой войны и такой Победы, остались на свете и горе, и страдания, и слезы. Ну почему, почему так устроен мир? Ты не подумай, что это я жалуясь на свою жизнь. Мне-то жаловаться не на что. Я хорошо устроена, сыта, у меня есть крыша над головой, у меня есть ты, и это — главное. А у многих нет ничего и никогда, может, не будет. Вот их жалко. А с другой стороны, подумаешь: ведь все равно мир — это не война. Все-таки не убивают никого, и многие мужчины (далеко не все) вернулись к своим семьям.

Просто надо привыкать к новой жизни. Написала «просто», а это, милый, совсем не просто.

Да, я перешла на другую работу, вернее, меня уговорили. Теперь работаю в яслях нянечкой, а когда кончу училище, буду медсестрой. Мне нравится эта работа, ведь я очень люблю маленьких детей. Они все такие хорошенькие, такие отзывчивые на ласку и беззащитные. Взрослые сами за себя постоят, уж этому-то научились за войну, а детей надо защищать и беречь. Это первые дети, которые родились после войны, и пусть бы они никогда не узнали, что такое война.

Как видишь, никаких особенных новостей у меня нет. Да и откуда им взяться. Вся моя жизнь проходит на работе. Ясли у нас круглосуточные, работаем через день. После суток придешь домой, едва отспишься, и уже снова надо идти на работу. А там ночью не очень-то отдохнешь, разве что сидя вздремнуть удастся чуток. То один заплачет, то другой, только поворачивайся. А может, это и хорошо, что работа занимает всю мою жизнь. По крайней мере, некогда думать о себе и некогда ломать голову о будущем. Все утрясется самой собой, как говорит дядя Федя. Знаешь, он тоже остался в Тотьве и теперь работает в наших яслях истопником, вообще делает все — он один мужчина, а дел хватает. Возвращаться к себе в деревню не захотел, да и не к чему возвращаться — фашисты сожгли его деревню.

Мама пишет, что устроилась в Ленинграде тоже хорошо, нашу комнату не заняли и даже все вещи целы. Наверное, это действительно очень важно, а мне почему-то безразлично, как будто это меня не касается. Мне не нужны никакие комнаты и никакие вещи. Мне нужен ты и только ты. Хотя иногда я ловлю себя на том, что постепенно устаю ждать. Нет, нет, это совсем

другая усталость. Обыкновенная усталость. И еще скучно все же одной, вот и лезут в голову глупые мысли. Завтра у меня выходной, то есть я буду дома подряд два дня, возьму и схожу в кино...»

«...А у нас большая новость: Алексей и Татьяна поженились. Я была у них на свадьбе. Свадьба была очень скромная, и было человек десять всего народу, но получилось все хорошо и весело. Ходят слухи, что Татьяна женила на себе Алексея, но мало ли что и про кого говорят у нас. Люди слишком часто бывают злы и завистливы, а выйти сейчас замуж не так-то легко, женихов на всех невест не хватает. Мне как-то неприятно слышать сплетни насчет Алексея и Татьяны, но, кажется, они и правда поженились без любви. А может, «стерпится — слюбится», как говорят старые люди. Жизнь возьмет свое. У Алексея замечательный характер, ты сам знаешь, он вообще очень добрый человек. Татьяна, конечно, гордячка, самолюбивая, но я думаю, что родит ребеночка и тоже изменится. Когда-то нужно прощаться с юностью, а взрослая жизнь вовсе не такая, как нам казалось это в семнадцать лет...

А наша заведующая яслями, наоборот, разводится с мужем. Подумать только — у них трое детей, а он вернулся с войны, пожил недолго и уходит от нее. Нашел помоложе себе, теперь это легко, вдов-то много. И у этой, к которой ушел муж заведующей, прежний муж погиб, детей не осталось. Да ты ее, наверное, знаешь, она работала продавщицей в магазине, который в поселке у переезда, такая черненькая, красивая. Нина Васильевна (наша заведующая) не находит себе места, очень уж жалко ее. Ждала, ждала мужа, мучилась с тремя ребятами, дождалась — и, пожалуйста, все равно одна. Еще неизвестно, кому хуже — тем, кто вообще не дождался, или ей. Разве можно было подумать, что после войны и такое будет?..»

«...Вчера взялась зачем-то перечитывать наши письма, перечитала половину, а больше не смогла. И всю ночь потом редела. Как хочется увидеть тебя, если бы ты знал! Ну хоть одним глазком, хоть одну минутку посмотреть на тебя. Почему нам с тобой не повезло в жизни? И на этот вопрос есть простой от-

вет: всегда кому-то везет, а кому-то нет. Видишь, мы научились на самые сложные вопросы давать простые ответы. Хорошо это или плохо?..»

«...Прости, что долго не писала. Знаю, что ты недоволен, но честно признаюсь: на меня напала хандра, все сделалось безразлично, даже жить не хотелось одно время. Но я ведь трусиха, страшно боюсь всякой боли, так что обошлось. Прости.

За это время у меня накопилось много разных новостей. Жаль, что не все новости приятные.

Во-первых, объявился первый муж Людмилы Ивановны, той самой, к которой уходил муж Нины Васильевны. Оказывается, он находился в плену, потом каким-то образом очутился за границей и сразу вернуться не мог. Почему ей прислали похоронную, неизвестно. В общем, они снова сошлись, и муж Нины Васильевны тоже вернулся в семью. Прямо роман какой-то, кто бы рассказал, ни за что не поверила бы. Нина Васильевна рада, все простила мужу (ее можно понять: трое детей все-таки не шутка!), но положение у них у всех незавидное. Почему-то многие осуждают ее и косо смотрят, особенно женщины. Да за что же осуждать? Все уладилось, слава богу, все довольны и счастливы, к детям вернулся отец, радоваться надо всем... Господи, почему мы такие завистливые и недобрые к другим? Дошло до того, что они всей семьей решили уехать из Тотьевы куда-то к его родственникам. Наверное, в их положении это действительно лучший выход. В общем, они уже продали дом и на днях уезжают. А меня вызвали в райдрав и предложили быть заведующей вместо Нины Васильевны. Она же и порекомендовала. Я боюсь и отказывалась, но ничего не получилось. Сказали, что назначать больше некого, а раз я комсомолка и имею среднее медицинское образование... Пришлось согласиться. Страшновато браться, но ничего, привыкну. И дядя Федя также говорит. Давай, говорит, дочка (он меня зовет дочкой), не боги горшки обжигают. Попробую; если что, отказаться всегда не поздно. Маме пока не пишу об этом, она расстроится. Все зовет, даже требует, чтобы я скорее возвращалась в Ленинград. А я хочу еще подождать хоть полгода. Ходят слухи, что много наших бывших пленных каким-то образом оказалось в Австралии. Может, и ты в Австралии и не можешь сообщить об этом?..

А вторая новость грустная: Алексей и Татьяна все же разошлись. Как видишь, не стерпелось, не слюбилось. За Татьяну-то я спокойна, она так или иначе сумеет устроиться в жизни, а вот Алексея жалко, он какой-то стал беспомощный. Хорошо еще, что не пьет, как некоторые другие...»

«...И чего только не бывает в жизни! Представь себе, мама выходит замуж. Моя мама выходит замуж. А я... Ладно, а то еще разревусь, чего доброго. А замуж она выходит за Георгия Сергеевича. Да, ведь ты не знаешь его. Он был главным хирургом в госпитале. Первая его жена умерла в блокаду. Вот как получается. Его взяли в армию, он попал в госпиталь после ранения, и его оставили здесь главным хирургом, а жена не успела выехать из Ленинграда и умерла. Я его тоже почти совсем не знаю, видела несколько раз, и все, но говорили, что он хороший человек. А дядя Федя прямо не нахвалится.

Теперь о себе.

Работы, сам понимаешь, сильно прибавилось. Очень устаю, зато по ночам сплю спокойно. Иногда, правда, приходится подменять нянечек, но это бывает нечасто. Или заболевает кто-то, или в отпуске, а людей не хватает. Никто не хочет идти к нам работать, зарплата слишком маленькая, лучше идут на лесокombинат. Там, конечно, физически тяжелее, зато даже женщины зарабатывают по полторы тысячи в месяц, а у нас — 360 рублей. Куда ни сунешься, всего не хватает: посуды, постельного белья, мебели, игрушек, совсем нет горшков, прямо беда, и даже не хватает дров, хотя кругом сплошная тайга. Сама ходила к директору лесокombината насчет дров. Разводит руками, объясняет, что у них нет транспорта и рабочих тоже не хватает. Все отговорки, никому ни до чего нет дела. Ну, я ему высказала все, что думаю. Я ему сказала, что вы, мол, заверните, пожалуйста, ваши объяснения в бумажку, я передам их ребятишкам, может им станет теплее. Он оказался человек с юмором. Долго хотал и дал слово, что дрова будут.

Так работать просто невозможно. Теснота страшная, ребят несут и несут, какие там уже нормы! В группе больше чем по тридцать человек, иногда в одну кроватку кладем по двое, а никто не желает обращать внимания, у всех, видишь ли, заботы важнее.

Как будто их важные заботы — сами по себе, а дети — сами по себе! Но зачем заботиться о чем-то, если забывать о детях? Все твердят, что дети наше будущее и так далее, но как только надо помочь, забывают об этом. А у меня и нянечки совсем разбегутся, что я, одна буду работать? Решила сходить в райком, раз не принимают мер. Пусть хоть с работы снимают, я все равно не отступлюсь».

«...Вчера поздно вечером вдруг пришла Татьяна, вся в слезах. Просила помочь помириться с Алексеем, уверяет, что любит его, что теперь поняла это. А чем, чем я могу помочь? В этом деле никто не поможет. Да и не любят они друг друга. Просто Татьяна вышла замуж, потому что нужно было выйти, боялась остаться одна, а теперь самолюбие заедает, что не она его бросила, а он от нее ушел. Все это знают, а она ведь очень самолюбивая. Нет, им ни к чему мириться. Поживут немного, и тогда она бросит Алексея, я знаю ее. Но и понять вроде ее надо. Быть одной — это трудно. У меня хоть работа, без которой я не могу представить себе жизни, ребятишки, которые не дают скучать, а что у Татьяны? Ничего. Она работает кассиром в кинотеатре, а разве это настоящая работа! Хотелось бы, конечно, помочь им, но нечем. У каждого из нас теперь своя жизнь — это раньше, во время войны, все мы были как бы заодно, потому что и горе было всеобщее...»

Сразу не дописала письмо, сегодня дописываю.

Алексей тоже приходил. Сказал, что не может жить с Татьяной. И еще сказал, что любит меня. Нет, он ни о чем не просил, не уговаривал, как я боялась, чтобы выходила за него замуж, просто посидел и ушел. Я ему объяснила, что он напрасно изводит себя, что я жду тебя, а он так посмотрел на меня пронзительно и вдруг говорит, что ты — ты, Толик! — очень счастливый человек...»

«...Умер дядя Федя. Если разобраться, он был для меня совершенно чужой, посторонний человек, а вот я плакала несколько дней, словно потеряла близкого, родного человека. Его все любили. Да и разве можно было не любить! Только на нем и держались ясли. Он ведь не просто работал у нас, он жил здесь в каморке

под лестницей, так что всегда был на месте. Никто никогда не видел его спящим или чтобы он отдыхал. Он постоянно что-то делал: если не топил, то пилил, колол дрова, строгал что-то, чинил, красил, даже на кухне помогал. Вот какой это был человек. И не стало его...»

«...Поздравь меня: я все-таки добилась, чтобы нам отдали второй этаж. Раньше мы занимали только первый, а на втором была контора «Заготзерно». Пришлось повоевать, врагов себе нажила уйму, но главное, что добилась. Правда, меня поддерживают в райкоме партии, особенно первый секретарь, он очень умный человек. Советует мне вступать в партию. А как ты думаешь?»

Сейчас на втором этаже идет вся ремонт. Надо доставать мебель. Надеюсь, что удастся договориться с лесокомбинатом, чтобы сами сделали кровати, столы, стульчики. Лесокомбинатовские ребятишки тоже ходят в наши ясли. Можно, наверно, выбить через облздрав, но на это уйдет уйма времени, да и мебель казенная страшная, а хочется, чтобы детям было у нас не только тепло и сытно, но и уютно, чтобы они чувствовали себя в яслях не хуже, чем дома. Тем более люди пока еще живут очень трудно, так что у многих и куска хлеба не хватает, какой уж там уют...»

«...Каким-то чудом удалось достать по безналичному расчету фланель на пеленки, а она безбожно линяет. Прямо наказание какое-то, честное слово! Ребятишки ведь мочатся, понимать надо. Я пригласила заведующего райздравом и показала, что получается. А он смеется! Конечно, можно и посмеяться, когда видишь малыша с голубой попой, только смех-то этот грустный. Вот возьму и уйду с этой работы, нет у меня больше сил наживать себе врагов и воевать с ними. Раз так относятся к нам, пусть ищут другую дуру, которая согласится здесь работать, верно?..»

Да только никуда я не уйду и сама это прекрасно знаю. Я бы с ума сошла без моих малышей. Сначала, когда их приносят первый раз в ясли, они как живые комочки, не понимают ничего, а потом, глядишь, начинают ползать, что-то бормотать, встают на свои слабые ножки, а уж когда заговорят — это просто



прелесть! Мужчинам этого ни за что не понять. У каждого свой язык, каждый на свой лад коверкает слова, а я все равно их всех понимаю. И они меня тоже понимают. Все-таки это огромное счастье — работать с маленькими ребятами. Как бы ни было тяжело и тоскливо, а придешь утром на работу, и все становится на свои места, и настроение меняется, словно после долгой непогоды выглянуло солнышко...»

«...Мне приснился сон, что мы встретились случайно на улице, прямо столкнулись носом к носу. Ты был задумчив и рассеян, посмотрел на меня как-то вскользь, извинился и... прошел мимо. Я подумала, что вроде бы где-то видела этого мужчину, но так и не вспомнила. Проснулась, и мне сделалось страшно.

А ведь вполне может быть, что мы и не узнали бы друг друга, если бы действительно случайно столкнулись на улице...

Устала я, вот в чем все дело. Так устала, что свет не мил и смотреть ни на кого не хочется. Устала ждать, устала надеяться, устала обманывать себя. Я давно поняла, что тебя нет, что никогда не вернешься, и все чаще думаю о том, что, наверное, мама была права, когда говорила перед отъездом в Ленинград, что придумала себе любовь. Я тогда здорово обиделась на нее.

Ах, ничего-то я не знаю, ничего-то не понимаю в жизни. Да и жизнь проходит где-то рядом, но мимо, мимо меня, я только слышу ее дыхание. А жить все равно надо и хочется. Но зачем?

Видишь, какие мысли одолевают меня. И некуда от них деться, и не прогнать их. Они как осенние злые мухи — жужжат, жужжат и кусаются больно...»

«...Пишу из Ленинграда, приехала наконец-то в отпуск, а то все не могла собраться. Встретили меня прекрасно, мама даже плакала от радости. А Георгий Сергеевич — мой отчим — в самом деле человек замечательный. Я рассказала ему, что умер дядя Федя (не знаю, почему не написала раньше), и он тоже расстроился. Они уговаривают меня остаться, то есть не возвращаться в Тотьву. Георгий Сергеевич взялся уладить мои дела, чтобы мне не нужно было вообще ехать назад. Сказал, что за вещами пошлет человека

и вообще чтобы там все оформили как положено, а сам напишет начальству или даже переговорит по телефону хоть с обкомом (он уже генерал, между прочим), но я пока отказалась, побещала подумать.

А думать, кажется, нечего. Я неожиданно поняла, что совсем чужая в Ленинграде. Георгий Сергеевич возил меня по городу, все рассказывал, рассказывал (он влюблен в Ленинград), а я слушала его вполуха. Наверное, я перестала быть ленинградкой. Грустно это, но мне хочется поскорее вернуться в Тотьму...»

«...Вот и вернулась, и поняла, что вернулась домой. В Ленинграде было тепло, стояло бабье лето, а у нас уже холода. Днем еще ничего, а ночью мороз до десяти. Вчера выпал первый снег.

Знаешь, про меня написали в газете, можешь гордиться мною. Не скрою — это приятно. Значит, не зря стараюсь, значит, я нужна людям.

Мне сделали предложение. Он хороший человек, учитель математики. У него есть дочка, ей четыре годика, а жена умерла два года назад. Вообще-то хочется выйти замуж, так надоело одной и так я устала от одиночества. Надоело в выходной готовить обед только для себя, надоело сидеть по вечерам в пустой комнате, когда не с кем перемолвиться словом, надоело одной ходить в кино, на концерты (к нам иногда приезжают артисты из Свердловска), надоело никого не ждать с работы, надоело ложиться одной в холодную неуютную постель, которую разбираешь для себя одной. Видишь, сколько всего мне надоело, и пока еще хочется замуж. А скоро не будет хотеться. А он, правда, прекрасный человек, я знаю его — он носил дочку к нам в ясли. Добрый, уступчивый, спокойный и уважает мою любовь к тебе. Я все ему рассказала. Он говорит, что не торопит меня с ответом, готов ждать. Подумаю...»

«...Я отказала Виталию Евгеньевичу. Подумала и отказала. Зачем портить хорошему человеку жизнь, ведь все равно я буду с тобой, всегда с тобой, и вряд ли ему будет приятно. Сейчас-то он на все согласен, а завтра? а послезавтра? а через десять лет?.. В том-то и дело. Понимаю, мужчине трудно одному растить дочку, нужна мать. Я хоть и не мать, но все же его дочка знает меня с пеленок.

Да я и так счастливая, у меня почти сто детей, и я всех их люблю. Но одного не хватает, который был бы похож на тебя. Он мог бы ходить в школу, и уже в четвертый класс. Представляешь?.. Ведь мне стукнуло тридцать, а было неполных восемнадцать. Быстро, очень быстро летит время. Раньше, когда я была помоложе и когда у меня была еще надежда, что ты можешь вернуться, хотелось задержать время, чтобы остаться молодой, теперь не хочется. Значит, человек обретает мудрость к тридцати годам...»

«...Я делаюсь невыносимой даже для самой себя. Вчера из-за пустяка (писать стыдно) разругалась с соседкой, придется извиняться. Конечно, она тоже хороша, однако я обязана была уступить, а я вместо этого полезла в бутылку. Как глупо все и как все тихо вокруг.

Почему люди не могут жить спокойно, мирно, не досаждая друг другу? Всех пугает одиночество, все боятся его, а сойдутся вместе — куда и страх подевался, волками смотрят по сторонам: кого бы съесть? Так и мы с соседкой (не помню, я писала тебе, что мне дали комнату?) — она одна и я одна. Жить бы и жить, помогать друг другу, а мы ссоримся, хотя делить-то нам совсем уж нечего. Зачем, спрашивается?

Не обращай внимания на мое брюзжание, я же сказала, что просто становлюсь невыносимой, вот и говорю ерунду. Все у меня хорошо, и с соседкой живем вполне прилично, а что иногда немножко поцапаемся, не имеет значения. У нее время от времени появляются в гостях мужчины, а вчера пришел женатый человек, и я по глупости сделала ей замечание, вот и все. Она права, наверно, что назвала меня дурой и сказала, что не собирается, как я, ждать у моря погоды, что имеет право на маленькие радости. Конечно, имеет, а жить нелегко и непросто. Это в юности нам кажется, что было бы над головой голубое небо, было бы солнце в этом голубом небе, были бы мы сами, а все остальное приложится... Есть и небо, есть и солнце, и мы есть, но мало, безумно мало этого. Человеку всегда чего-то не хватает. Да ведь и дней в году целых триста шестьдесят пять, а солнечных гораздо меньше даже здесь, на Урале. А кто бы, если разобраться, и обратил внимание на солнце, когда бы не было пасмурных, дождливых дней, верно? Видишь, я

иногда пытаюсь наивно философствовать. Когда начинает философствовать женщина — это верный признак того, что она уже не первой молодости.

Надо однажды понять, что хорошее потому и хорошее, что есть на свете и плохое. И хотим мы этого или не хотим, а плохое всегда будет...»

«...Кажется, я делаюсь городской достопримечательностью. Все со мной здороваются, расспрашивают, как я живу, как мое здоровье. (У молодых, между прочим, о здоровье не спрашивают.) Первые мои «выпускники» становятся подростками, не успеешь оглянуться, как принесут ко мне своих детей, и я стану как бы бабушкой, у меня появится много-много внуков. Знаешь, в этом есть что-то прекрасное — быть бабушкой многих внуков. Ведь все они не совсем и чужие для меня, каждому я отдала частицу себя, своей души. Теперь я окончательно поняла, что поступила правильно, не вернувшись с мамой в Ленинград. Жить в таком городе, как Тотьва, гораздо лучше. Вот живи я в Ленинграде, никогда бы, наверное, не встретила тех, кого носили в ясли на руках, разве что случайно. А здесь встречаю на каждом шагу. Это приятно, хотя и чуточку грустно... На днях одна девочка принесла в ясли своего братика. Ее тоже носили в наши ясли, и она сказала мне, что, когда вырастет, обязательно придет к нам работать...»

«...Мама стала часто хворать. Георгий Сергеевич очень переживает. Он любит маму, прямо богтворит ее, пишет мне отчаянные письма, так что придется ехать в Ленинград, ему одному там не справиться. Он прямо ничего не пишет, но можно догадаться, что мама больна безнадежно. Надо ехать. А ехать страшно. Ведь по-настоящему я должна была бы остаться там совсем — нельзя взваливать больную маму на Георгия Сергеевича. Но и остаться мне никак нельзя. Меня ведь избрали депутатом областного Совета, наградили орденом «Знак Почета» (не знаю уж, за что такая честь?), как же я могу бросить все и уехать?.. Это было бы предательством, неблагодарностью с моей стороны.

Сходила в роно, договорились, что пока возьму отпуск за свой счет, а там будет видно...»

«...Вчера только вернулась из Ленинграда. Маму похоронили, у нее был рак. Я побыла с ней всего десять дней. Не знаю, что случилось со мной, но я почти не плакала. Неужели я стала такая черствая? Скорее всего, за эти годы, пока мы жили врозь, мы как-то отдалились друг от друга. А может, пришло понимание, что все мы смертны и все когда-нибудь умрем.

Я стояла у гроба, понимала, что это лежит моя мать, что уже никогда-никогда она не погладит меня, не утешит и не поругает, что она ушла навсегда, навечно из моей жизни, что мама была и больше ее не будет, а сама думала о другом. Но это же страшно! Господи, как все перепутано в жизни! Любовь и ненависть, жизнь и смерть... Или так и нужно? Наверное. Иначе разве смогли бы матери жить, похоронив своих детей? Иначе разве смогла бы жить я?.. А вот живу, ничего мне не делается. Радуюсь, когда бывает радостно на душе, впадаю в меланхолию, когда тоска сдавливает горло, работаю, ем, сплю, создаю уют для одной себя, даже смотрю по вечерам телевизор (мы с соседкой купили вкладчину и поставили на кухне, чтобы веселее было смотреть), как будто ничего не случилось, как будто так и надо...»

«...Сегодня у меня день рождения, мне исполнилось тридцать девять. Это еще не сорок, то есть не истек окончательно мой «бабий век», но это уже и не тридцать, вот в чем дело. На лице, и особенно под глазами, собираются морщины, немножко обвисли щеки и припухли веки. Теперь я подолгу рассматриваю себя в зеркале, чего раньше за собой не замечала. Видимо, я чувствую приближение старости. Именно старости, милый, я не оговорила. Ведь это для мужчин сорок лет — пустяки, самый расцвет, говорят. В этом возрасте в вашего брата влюбляются юные девушки, вы для них как бы и отцы, но все еще и мужья, любимые, а для женщины это много, слишком много. Совсем недавно, как мне кажется, я замечала, что мужчины поглядывают на меня, и мне делалось стыдно от этих взглядов, и даже не от взглядов, а оттого, что мне хотелось, чтобы на меня так смотрели (не осуждай, я ведь только женщина), а теперь на меня никто не смотрит, смотрят на тех, кто помоложе. Ну что ж, все правильно, все вполне естественно и обижаться на это не приходится.

На днях услышала в магазине, что меня называли старой девой. Вот, сказал парень девушке, наша старая дева. Я чуть не заплакала от обиды, но, конечно, промолчала. Да и что я могла бы сказать этому парню? Ведь и в самом деле я становлюсь похожей на классическую старую деву. Но если бы ты знал, как не хочется его быть!

Мне показалось, что я знаю этого парня. Возможно, и он когда-то ходил в мои ясли? Вернее, его носили. Теперь в Тотье много незнакомых людей. Горд растет, строится.

Я вот иногда смотрю на баб и думаю: ругают они своих мужей и за то, что мужчины попивают, и за то, что кое-кто погуливает, и что ничего не хотят делать... Да мало ли за что жены ругают своих мужей! А мне кажется, пусть бы ты выпивал немного, пусть ты изменял мне с молодыми и красивыми — это же так понятно, — пусть бы ты вообще ничего не делал дома, я бы все простила тебе, честное слово, лишь бы ты был рядом со мной, лишь бы я знала, что куда бы и насколько ты ни ушел, все равно вернешься ко мне. Нет, я не прощала бы, я просто старалась бы не замечать этого. Ведь мудрость любящей женщины не в том, чтобы привязать мужчину к себе, и не в том, чтобы кричать на него, оскорблять, плакать от жалости к себе, а после все равно простить. Наша бабья мудрость, по-моему, в том, чтобы не заметить.

Только ерунда все это, потому что был бы ты, и я бы поступала точно так же, как поступают другие женщины. Нельзя смотреть на жизнь глазами мужчины и при этом оставаться женщиной. Так не бывает...»

«...Поздравь меня: наконец-то строители сдали новый детский комбинат. Это детский сад и ясли вместе. Да еще по хорошему ленинградскому проекту. Пришлось, конечно, со строителями и повоевать, но это в порядке вещей, — под лежащий камень вода не течет. Они пытались сдать комбинат с недоделками, но я твердо стояла на своем. Если бы я не была депутатом, меня, может, и уговорили бы подписать акт, это наше начальство умеет, а так им трудно тягаться со мной. Дуров (ты его должен знать, он учился со мной в одном классе) упирал на то, что его рабочие — он начальник СМУ, которое строило комби-

нат, — из-за меня останутся без прогрессивки, уж так он меня обхаживал, так обхаживал... Знаешь, что я сделала? Пошла к ним на открытое партийное собрание, попросила слова и сказала, что вот они построили детский комбинат для своих детей и внуков, что это первый комбинат в Тотье и что я могу прямо сейчас, прямо здесь, на столе президиума, подписать акт о приемке, но не будет ли им известно?.. Я даже достала акт и положила на стол. Тогда Дуров поднялся и сказал, что не надо ничего подписывать, они все сделают. И сделали. Даже игровую площадку, которая не предусмотрена была проектом. Да еще какую, если бы ты видел!

Открытие нашего комбината было очень торжественное. Народу собралось как на демонстрацию. Я должна была выступать, но забыла дома очки, а без бумажки выступать так и не научилась. Пришлось одалживать очки у председателя райисполкома.

Да, я ношу очки, и уже давно. Ты представляешь меня в очках? Строгая пожилая дама в очках, в строгом костюме. Правда, пока я надеваю очки только когда читаю или шью...»

«...Маша Прянишникова (теперь она Серегина), одна из первых моих «выпускниц», принесла к нам своего сына! Прекрасный мальчонка и весь в маму. Маша была у нас самая красивая девочка. А вот ее мужа я не знаю. Он работал здесь тогда, а сам вроде из Белоруссии. Говорят, хороший парень, дай-то бог. Так хочется, чтобы мои ребятишки жили счастливо.

По этому поводу вечером мы устроили у меня дома «девишник». Целагея Григорьевна, одна из нянечек, сказала, что это не «девишник», а самый настоящий «бабник». Мы пели военные песни, а потом, как и водится, когда собираются одинокие женщины, поплакали немножко. Но это от радости — начинаем растить и воспитывать новое поколение...»

«...Как давно я не писала тебе! Прошла целая вечность, прости. Обычно в таких случаях ссылаются на занятость, на здоровье, вернее, на нездоровье, а мне и сослаться не на что, и оправдаться нечем. Просто не писала, и все. Наверное, и сегодня я не села бы за письмо, и завтра, однако не могу умолчать, не поде-

литься с тобой огромной радостью: меня наградили орденом Ленина. Сама не могу поверить этому. За что, за какие заслуги?.. Когда мне сказали это, я даже заплакала. Вот если бы все вы были живы — ты, папа, мама... Только вряд ли папа и мама могли быть живы, ведь я и сама старуха. Да, да, самая настоящая старуха и со всеми признаками старости, хотя мне только сорок восемь. А еще говорят, что женщины быстро старятся от семейной жизни. Глупости, уж я-то хорошо знаю, от чего старятся женщины. От одиночества.

Георгий Сергеевич прислал очень теплую телеграмму с поздравлениями. Наверное, узнал из газет. Ведь про меня писали в центральных газетах. Приезжал корреспондент из Москвы, и я давала ему интервью, как знаменитая артистка или космонавт. А сегодня, когда я уходила домой, на улице, возле комбината, меня встретили те, кто когда-то посещал ясли. Их было человек тридцать, и все с цветами. Господи, какое же это счастье!..»

«...Мне предложили путевку в санаторий, в Прибалтику. Вообще-то я не хотела ехать, не люблю санаториев и домов отдыха. Но подумала, что заодно заеду в Ленинград, давно там не была, да и Георгия Сергеевича надо навестить, а то он уже обижается. Старенький он уже, хотя и моложе мамы на шесть лет. И отдохнуть тоже надо, устала все-таки я. Говорят, в Прибалтике прекрасно. А я ведь нигде не бывала, так и прожила всю жизнь здесь. В Ленинграде и здесь. Впрочем, Ленинград можно и не считать, ведь я была ребенком.

Ты отпускаешь меня в санаторий? И не боишься, что я заведу там себе любовника? А что ты думаешь, я еще ничего, вполне, как говорится. Найду какого-нибудь пенсионера, тоже одинокого, и будем мы вместе с ним обсуждать по вечерам проблемы лечения сердечно-сосудистых заболеваний и диетического питания...»

«Не знаю, чем это объяснить, но почему-то именно сейчас мне захотелось признаться тебе...

Ведь Алексей — Алексей Иванович, конечно, — все-таки «выходил» меня. Он приходил ко мне регуляр-



но раз в неделю, по воскресеньям, и всегда днем, молча сидел, или мы обменивались несколькими словами, иногда пили чай, а потом он уходил, вздыхая. Мне было жалко его, но я долго ни на что не соглашалась, хотя Клава (это моя соседка) ругала меня, обвиняла даже в бессердечии, в жестокости, как будто выйти замуж за нелюбимого — это не жестоко. И все-таки в конце концов я согласилась, но с условием, что мы не будем спешить расписываться. Он не возражал, и мы прожили вместе около года. Ничего не скажу худого, в общем-то, все у нас было хорошо или, по крайней мере, нормально, но однажды он ушел. Просто взял и ушел, не говоря ни слова. И я ничего не сказала ему, когда он уходил. Мы оба поняли, что ни ему, ни мне это не нужно. Не всегда из осколков можно слепить нечто целое.

Знаю, что тебе неприятно узнать об этом. И мне неприятно, поэтому я столько лет и скрывала от тебя правду.

Тогда мне было чуть больше тридцати...»

\* \* \*

— Значит, вы находите, что эта книга о любви? — вздохнув, спросил Анатолий Петрович у Тани.

— Конечно, о любви!

— Возможно, — сказал он и покачал головой. — Иначе вы не стали бы читать, верно? В вашем возрасте все хотят любви, а вот любить по-настоящему никто не умеет.

— Почему вы так считаете?

— Разучились любить, остался один инстинкт.

— Вы не правы, — тихо проговорила Надежда Викторовна. — Просто, наверное, вам не повезло в жизни, вы не встретили женщину...

Он поднял глаза, пристально, внимательно посмотрел на нее и усмехнулся.

— И это возможно, — сказал он. — Все возможно. Однако что же нам не несут чай? Спать пора.

— Принесут, — сказал майор. — Уже носят, слышите?

Анатолий Петрович привстал, открыл дверь и выглянул в коридор.

— Действительно, уже носят. Чай — это прекрасно.

— Можно вас спросить? — сказала Таня смущенно.

— Разумеется.

— Только извините, пожалуйста... Вот вы сами любили когда-нибудь? Ну, чтобы по-настоящему, чтобы... голову потерять?..

Надежда Викторовна улыбнулась, ей захотелось сказать Тане, чтобы она никогда не теряла голову, чтобы берегла ее, потому что любить всю жизнь гораздо труднее, чем однажды потерять голову. Голова нужна для жизни...

— Не знаю, Танечка, что вам и ответить,— подумав, сказал Анатолий Петрович.— Должно быть, любил. Пожалуй, любил. Но это было так давно!..

— И что?

— Ничего.

— Но вы женились на ней?

Он молча покачал головой. И тут что-то переменилось в нем, словно он снял маску с лица, и теперь это был обыкновенный пожилой, даже старый, мужчина с усталым взглядом, с печальной складкой возле губ.

— А она вас тоже любила? — не унималась Таня.

— Сие, как говорится, нам неизвестно. Женская душа не то что потемки, а потемки в энной степени. Тайна за семью печатями.

— Почему же? — спросила Надежда Викторовна.— Чересчур вы строги к женщинам. И... несправедливы. Чем же мы провинились так сильно перед вами?

— Лично я не питаю неприязни к женщинам,— ответил Анатолий Петрович.— Скорее, наоборот. Я констатирую факт. А вы что скажете на это, майор?

— Насчет потемок?

— Вообще насчет женской сущности.

— Я только могу сказать, что нет женщин «вообще». Есть разные женщины, как и разные мужчины. Но если говорить о душе... Я бы отдал предпочтение именно женской душе.

Надежда Викторовна с благодарностью посмотрела на него, а Анатолий Петрович воскликнул:

— Bravo, майор! Вы, оказывается; скрытый дамский угодник.

— Почему скрытый? Нам с вами проще, потому что не мы ждем, нас ждут.

— Всегда ли ждут,— вот вопрос.

— Наверно, это зависит и от нас.

— Блажен, кто верует,— проговорил Анатолий Петрович.

— Лучше верить, чем сомневаться.

— Лучше или легче?

— Лучше,— сказал майор.

— Ну что ж...— Анатолий Петрович встал.— Пойду все-таки выясню насчет чайку. Может, она забыла про нас? — Он взялся за ручку, чтобы открыть дверь, и тут заметил пальто Надежды Викторовны.— Пойдите, пойдите...— растерянно пробормотал он.— Это ваше пальто? — И повернулся к ней лицом.— Что я говорил! — радостно, возбужденно заговорил он.— У меня прекрасная память на лица, я не мог ошибиться. Бы были...

— Не надо, прошу вас,— сказала Надежда Викторовна.

Это было вчера. Она сидела на скамейке чуть поодаль от братской могилы. Она пришла сюда, чтобы проститься, как приходила всегда накануне отъезда домой вот уже несколько лет. И подъехал автобус с экскурсией из санатория. Среди экскурсантов был и Анатолий Петрович. Какая-то женщина, тоже экскурсантка, еще сказала виновато и с сожалением, показывая на цветы, которые принесла Надежда Викторовна, что вот кто-то догадался возложить цветы, а они нет, они не догадались. Анатолий Петрович ответил на это, что ничего страшного, он прощает их забывчивость и недогадливость. И показал пальцем на фамилию — Скворцов, А. Скворцов, без отчества, выбитую среди других фамилий на гранитном постаменте. Экскурсанты заулыбались, шутка понравилась всем, а он объяснил, что в октябре сорок четвертого освобождал этот город, был тяжело ранен, так что вполне мог лежать в этой же братской могиле...

Да, это был он. Теперь-то Надежда Викторовна не сомневалась.

Проводница принесла чай.

— Мне два стакана,— сказал Анатолий Петрович.

— Куда в вас влезет, это же не водка! — рассмеялась проводница.

— А я водку вообще не пью, к вашему сведению.

— Ну да, так я вам и поверила. Все вы не пьете, пока не поднесли или жена не отвернулась. Больше никому два стакана не надо?

— Мне совсем не надо,— сказала Надежда Викторовна.

Этот Анатолий Петрович, между прочим, не только твой тезка, но и твой однофамилец. Вот так, такие бывают в жизни случайные встречи. Я смотрю на него и думаю, что на его месте мог быть ты...

Нет, потому что ты у меня совсем не такой, как он. Ты другой, верно? А впрочем, откуда нам знать, каким бы ты был сегодня. Время сильно меняет людей.

Самое нелепое, что я ведь не знаю, как твое отчество. Странно, но до сегодняшнего дня (или до встречи с Анатолием Петровичем?) я как-то не думала об этом. Вернее, почему-то была уверена, что ты — Иванович. А сегодня поняла, что просто не знаю. Тогда у нас еще не было отчеств.

Ну и что, ну и пусть это не ты. Пусть кто-то другой. Все равно я буду приезжать сюда каждый год, как приезжала раньше. Ведь где-нибудь лежишь и ты, и к тебе тоже кто-то приходит и тоже приносит цветы, надеясь, что там лежит любимый. Какая разница, в конце концов, кто из нас и кому именно принесет цветы! Главное, что принесут. Нет, главное, что вас помнят. Всех-всех помнят. И кто с отчеством, и кто без отчества, и кто даже без фамилии. Ты никому не верь — слышишь, — что вас забыли. Это неправда, неправда это! Любимых не забывают.

Любимым приносят цветы...



**У** Дмитрия Степановича выдался очень хороший день, — можно сказать, праздничный день, и оттого был он непривычно возбужден, и ему хотелось поговорить с приятным, понимающим человеком, поделиться большой радостью, удачей, которая выпала ему сегодня, хотя вообще-то он скорее молчалив, чем разговорчив, замкнут, избегает задавать людям вопросы без крайней нужды, а когда обращаются с вопросами к нему, отвечает односложно, как бы нехотя, не вдаваясь ни в какие подробности, при этом виновато улыбается, точно извиняясь, так что людям, малознакомым с Дмитрием Степановичем или не знакомым вовсе, делается стыдно за назойливость, они смущаются,

спешат оставить его в покое, не догадываясь, что ему-то, Дмитрию Степановичу, и того стыднее и совестнее за свое немногословие и неумение поддержать разговор. Знакомые же давно привыкли к этой его манере и стараются не обращаться к нему лишней раз, а чаще просто и не замечают его и говорят при нем (в том числе и о нем) все, что взбредет им в голову, насколько не смущаясь его присутствием. Поэтому Дмитрий Степанович знает много такого, чего знать ему не нужно и не хотелось бы даже. Иногда он бывает категорически не согласен с высказываниями других, однако не возражает, не возмущается, хотя бы и говорили явную ложь или возводили клевету на кого-то. То есть он возражает, когда не возразить нельзя, возмущается, когда справедливость требует этого, но делает это не вслух, а только мысленно. Ибо Дмитрий Степанович не любит споров, не терпит доказывать очевидное, считая словесные доказательства бесполезными в принципе: как можно человека в чем-то убедить, вернее, переубедить, если он уже убежден в обратном и не желает менять своих убеждений? Многие люди, замечал Дмитрий Степанович, скорее поступятся истиной, скорее предадут справедливость, чем согласятся уступить в споре, признать свою неправоту, пусть и по вовсе ничтожному пустяку. А вот сам Дмитрий Степанович лучше уж признает неправым себя, но ни за что не станет доказывать неправоту других. В конце концов, считает он, если человеку удобнее упорствовать в своем ошибочном убеждении, если ему необходимо быть правым, ну и ладно, ну и пусть себе упорствует, лишь бы это упорство не принесло неудобств другим людям. А истина рано или поздно все равно обнаружится, все равно даст о себе знать, так что никакие заблуждения и уж тем более никакая ложь не могут сделать истину неистинной. Истина существует независимо от нас и нашего к ней отношения. На то она и истина, в этом ее и сила.

Дмитрий Степанович всегда, с детства, был очень скромен, самокритичен, считал себя человеком обычным, вполне рядовым, какими являются большинство людей (что, кстати, не делает их ни лучше и ни хуже тех, которые преуспели в чем-то или считают себя людьми особенными), неспособным на выдающиеся поступки и потому тем более обязанным жить честно, без претензий, уважать окружающих, независимо от личных симпатий и антипатий, а по возможности

и любить их. Что из того, если кто-то, кого любишь ты, не любит тебя и даже называет не приемлемым?.. Это обстоятельство решительно ничего не значит и не меняет — любовь не всегда, далеко не всегда, бывает взаимной. И вообще любить или не любить кого-то — право всякого человека, и было бы, по меньшей мере, глупо это право отрицать. Такое отрицание было бы круглым нонсенсом, как выражалась тетушка Дмитрия Степановича, которая на самом деле была не тетушкой вовсе, а двоюродной бабушкой (тетушкой она приходилась матери Дмитрия Степановича), взявшая его на воспитание в трехлетнем возрасте. (Мать его умерла, а отец вскоре женился во второй раз и навсегда исчез из поля зрения Дмитрия Степановича.) Или баба с бородой, как говорил тетушкин муж, всю жизнь подтрунивавший над женой за ее манеру выражаться красиво и называть козла «козой в мужском роде», потому что слово «козел» казалось ей вульгарным и непозволительно грубым. Тетушка с мужем были очень смешной, какой-то даже странной парой, они удивительно не подходили друг к другу, но, как теперь понимает Дмитрий Степанович, прожили долгую свою совместную жизнь в полном единении и согласии. Впрочем, мало ли на свете странностей, а удивительное нам встречается буквально на каждом шагу, просто мы не замечаем этого, ленимся замечать. Нам как-то спокойнее, удобнее живется в окружении привычного, что не требует от нас напряжения и душевной работы.

Однако я увлекся немножко, увел рассказ в сторону от большака, по которому собрался провести (напоказ!) Дмитрия Степановича Кутейникова. Правда, сделал я это умышленно, то есть сознательно, потому что мне хочется как можно полнее объяснить его характер и образ мыслей, чтобы всякий, кто прочтет о нем, понял бы Дмитрия Степановича и полюбил. Безусловно, все нравится в нем не может никому (что-то не нравится и мне), но это несколько не умаляет его добропорядочности, его большой душевной доброты и терпимости к разным людям, в том числе и к тем, кто чужд ему по своему образу жизни и мыслей, как не умаляет любви и уважения к нему со стороны тех, кто хорошо знает его, понимает и ценит. Ибо, как убежден Дмитрий Степанович, «нравиться» и «любить» — отнюдь не одно и то же. Вот, например, вам нравится бывать по выходным дням за городом,

на природе, как нынче выражаются, или даже вообще в деревне, в особенности в хороший зимний день, когда небольшой, легкий такой морозец приятно, почти ласково пощипывает щеки, румянит их, когда идет негустой, медленный снег, еще более прихорашивая молодых хорошеньких женщин; вам нравится загородный покой, и загородная вещь тишина, и чистый, совершенно прозрачный воздух, в котором нет ни чужеродных запахов, ни взвесей, который опьяняет вас не хуже шампанского и приятно кружит голову, как это случалось с вами в далекой-далекой юности; вам нравится неспешность, несуетность загородной жизни, когда есть время подумать о многом — и о своем месте, какое вы занимаете или хотели бы занять в этом мире, и о ваших непростых взаимоотношениях с людьми, окружающими вас постоянно, — есть время просто взять и оглядеться, не беспокоясь о том, что вы куда-то там опоздаете, не поспеете что-то там сделать, однако живете вы все-таки в городе, в огромном и шумном городе, потому что любите именно город, а в деревне вам только нравится бывать, и ни за что на свете вы не променяете эту свою беспокойную, не в меру торопливую жизнь, лишенную, как вам кажется, истинности и непосредственности, на покой и неторопливость загородной, и тем более деревенской, жизни, хотя и понимаете прекрасно, что такой обмен был бы вам на пользу, и думаете иногда, подавленные усталостью и сломленные головной болью, что надо взять и уехать, что ну его, этот трижды проклятый город, где вы затеряны среди миллионов себе подобных, таких же усталых и сломленных, где вы порой не успеваете как следует отойти ото сна, а уже снова приходит ночь, и так из года в год, так всю жизнь, которая мелькает мимо со скоростью поезда метро...

Слов нет, пример этот, который обычно приводит Дмитрий Степанович в объяснение разницы между понятиями «нравиться» и «любить», не совсем, быть может, удачный и не очень-то убедительный, спорный, в общем, пример, зато есть в нем та доступность, та понятность, которых не хватает в чересчур усложненных, философических (выражение Дмитрия Степановича) построениях иных умников. (Не случайно Дмитрий Степанович, преклоняясь перед интеллигентностью и воспитанностью тетушки, как он называл ее всю жизнь, перед ее петербургской родословной, все-таки лучше понимал ее мужа, который запросто мог



громко высморкаться за вечерним чаем в присутствии посторонних или заявить какой-нибудь тетушкиной приятельнице нечто вроде «идите-ка вы подальше, любезная, со своей несусветной чепухой».) Дело-то, если подойти к нему просто, по-житейски, как к обычному делу, простым же и оказывается: вовсе не обязательно любить только то, что нравится вам, или того, кто нравится. Так же как не обязательно нам нравится то, что мы любим, или тот, кого мы любим.

Наверняка многие не согласятся с этим парадоксальным утверждением Дмитрия Степановича, заимствованным, скорее всего, из арсенала тетушкиных сентенций, ибо на первый взгляд оно воспринимается всего лишь игрой слов, игрой воображения, оригинальничаньем, стремлением показать себя, однако давайте не будем спешить с выводами. Не надо. Лучше послушаем, что говорит об этом сам Дмитрий Степанович.

А он говорит вот что.

Посмотрите на близкого и любимого вами человека, и вы легко (!) убедитесь, что далеко не все вам нравится в нем. Возможно, не нравится родимое пятно на щеке, или форма носа, который вместо мужественной горбинки имеет выемку, отчего кажется приплюснутым и непомерно широким, или уши, которые сильно оттопыриваются и прозрачны на свету, или как он смеется, как поддергивает поминутно брюки, или вам не нравится осанка вашей жены, которой, по вашему мнению, не хватает изящества, женственности и непринужденности, или тяжелая, слоновья, походка вашего мужа, которая будит вас среди ночи, когда муж приходит домой не в урочный час, или его манера развалившись сидеть за столом и говорить, не прожевав пищу, или требовать непременно полную, с краями, чашку чаю, а потом оставлять чай недопитым, или... А ведь вы тем не менее любите этого человека и даже (почему-то обычно тайно) думаете, что не смогли бы жить без него. Вполне вероятно, что любите также и за его недостатки, то есть и за то, что вы считаете недостатками, что вам будто бы не нравится в нем. Что там! Когда-то недостатки эти казались вам — не правда ли? — милыми, всего только смешными, чуточку нелепыми, отчего еще более смешными, и хотя теперь, по прошествии многих лет, они и раздражают вас иногда и вызывают желание отвернуться, не смотреть, как жена сутулится над тарелкой или как муж, засунув пальцы под ремень, подтягивает

штаны, а все же вы не сумели бы продолжать любить его, если бы любимый вами человек вдруг обрел некую идеальность, избавившись от всех своих недостатков. (Тут, наверное, уместнее было бы сказать не «избавившись», а «липившись».)

Да, все мы жаждем чего-то идеального, абсолютно, не задумываясь о том, что идеальное нам вовсе и не нужно, ибо противоречит нашей собственной человеческой сущности. Один умный человек сказал, что Земля наша не потому не идеально круглая, что она вертится, а потому, что иначе она не могла бы вертеться...

Вот и Дмитрий Степанович, уж коль скоро речь идет о нем. Он не потому такой, что для кого-то неприемлем, а неприемлем потому, что такой. Однако другим-то он быть не может, ибо тогда бы это был не Дмитрий Степанович, а, скажем, Степан Дмитриевич, который как раз и считает Дмитрия Степановича неприемлемым человеком.

Пока я пытался как-то объяснить своего героя и по возможности пробудить интерес и симпатию к нему, чтобы в дальнейшем легче было понять его поступки, разобраться в происходящем, или хотя бы предостеречь от поспешных и ошибочных выводов, трамвай, в котором Дмитрий Степанович возвращался домой, прошел несколько остановок...

\* \* \*

Итак, в тот день Дмитрий Степанович пребывал в прекрасном, — можно смело сказать, в праздничном настроении духа, отчего был он непривычно возбужден и даже как бы разговорчив, что случается с ним крайне редко, в минуты большого душевного подъема. То есть он хотел бы с кем-нибудь поговорить, однако просто взять и кинуться на человека со своими разговорами, не озаботясь подумать, а желает ли человек, избранный им в собеседники, вести праздные разговоры с кем попало, да еще в транспорте, настроен ли он слушать чьи-то излияния, Дмитрий Степанович не мог. Он не из тех людей, которые это могут и умеют.

Знаете, как это бывает иногда?..

Вот сидишь в трамвае, думаешь о чем-то своем, сокровенном, интимном, может быть, или как раз с женой крупно поссорился, или тебя лишили премии по

итогам прошлого квартала (это для Госплана квартал прошлый, а для меня лично именно настоящий), а ты под эту расчетную, предполагаемую премию успел в пятницу занять у Марии Ивановны из отдела подготовки десятку, которую благополучно и в тот же вечер истратил в мороженице с Вероникой Андреевной из отдела по связям, и вот теперь нечем вернуть долг, который, между прочим, прибавился к другому долгу (тоже десятка и тоже взятая под премию), ибо из полочки не вернешь, — жена слишком хорошо знает, сколько ты должен принести, или ты, например, стоворился с приятелем приехать к нему в гараж пообщаться, а как улизнуть из дому, какую найти для этого вескую причину, не имеешь понятия... В общем, голова твоя занята созидательной работой, решением насущных и трудноразрешимых личных проблем, которые тем труднее разрешаются, чем мельче кажутся непосвященным, так что ты нисколько не расположен думать даже о Веронике Андреевне, хотя она-то и вызывает в тебе этакое легкое волнение, этакий трепет душевный, и вдруг рядом усаживается (не садится, но именно усаживается, по-хозяйски уверенно и прочно) некий гражданин далеко не малогабаритных объемов, который, наоборот, сегодня утром помирился с женой и весьма удачно, весьма кстати уговорил ее съездить на недельку в Рязань к родственникам и которому в отличие от тебя выпала совершенно неожиданная премия за участие будто бы во внедрении чего-то куда-то, и у него, у гражданина этого, одетого из магазина «Богатырь», распрекрасное настроение, он весь вроде как на иголках сидит, распираемый желанием подарить от щедрот своих каждому встречному часть своей радости, тем более что щедрость эта никоим образом не повлияет на размер премии. Усаживается он, некоторое время — недолго, впрочем, — присматривается к тебе и, отерев лысину, произносит как бы между прочим, как бы мимоходом, что в этом году стоит на редкость замечательное лето, что такого замечательного лета, если верить газетам, не бывало уже семьдесят четыре года. Ты благоразумно молчишь, не реагируешь на метеореплику, зная из предшествующего опыта, что похвала хорошей погоде только наживка, мучной червь, мотыль... А вот в одна тысяча девятьсот тридцать девятом году — или сороковом? — сего числа, продолжает гражданин, шел снег. Да, да, не удивляйтесь, шел самый настоящий снег, крупный

такой, знаете ли, густой, прямо как среди зимы. Люди, понимаете, вышли погулять в летнем (с утра была прекрасная погода), женщины в сарафанах — перед войной сарафаны были в большой моде, — а тут повалил снег. Причем солнце-то светит по-прежнему, в небе вроде ни единой тучки... Бывают же метаморфозы в природе. А вы, простите, работаете не в НИИмехбытэлектророторадиоприбор?.. Нет?.. Странно, должду вам. Очень даже странно. Я был абсолютно уверен, что вы работаете там. А брата-близнеца у вас случайно нет?.. (Расчет тут простой: вы говорите, что случайных братьев у вас вообще нет, ему ваша шутка нравится, вы вместе смеетесь, и таким образом наживка заглочена). Значит, это ваш двойник. Прямо как в шпионском кино, честное слово. Непременно при случае загляните в НИИмехбытэлектророторадиоприбор и познакомьтесь со своим двойником, это будет любопытно и вам и ему. А вот интересно, между прочим, для какой надобности природа время от времени создает двойников? Вы считаете, что это чистая, непредсказуемая, так сказать, случайность, фантазия?.. А я сомневаюсь, молодой человек, сильно сомневаюсь. (Обратите внимание: в подобной ситуации вы всегда оказываетесь почему-то «молодым человеком», хотя бы вам и было пятьдесят шесть.) В природе нет ничего случайного. Не бывает и быть не может. Природа соткана из одних только закономерностей. А случайности происходят в плохих книжках и в плохих кино. Вот вы сегодня, выходя из дому — или не из дому, хи-хи-хи! — не предполагали, разумеется, что встретите меня, и все же, молодой человек, в этой встрече нет и намека на случайность, потому что...

(Есть один способ отделаться от радостного гражданина с премией: нужно резко, неожиданно повернуться к нему, оглядеть его нахально в упор и попросить займы десятку. А лучше даже двадцать пять рублей, чтобы отдать долг и пятерку оставить себе.)

Так вот. Разговорчивость Дмитрия Степановича совсем иного свойства. Он разговаривает молча, то есть мысленно, никого не беспокоивая и никому не мешая погружаться в собственные проблемы и размышления. Хотя он, снедаемый зудящим душу желанием поделиться радостью открытия, и выбирал среди пассажиров трамвая подходящего собеседника, чтобы, как говорится, не попасть впросак. Ведь не всякий тебя поймет, не всякому интересно то, что интересно

тебе, не всякий согласится с тобой, что значительность твоего открытия действительно значительна, и надо быть очень наблюдательным, чтобы не ошибиться в выборе. По правде говоря, Дмитрию Степановичу не всегда удается правильно угадать собеседника, он вообще часто ошибается в людях, и это доставляет ему лишние хлопоты, беспокойство.

Наконец его внимание привлек старичок петербургского вида. Он как-то неловко, стеснительно ютился на краешке сиденья, точно стыдился своего довольно поношенного костюма или словно боялся занять слишком много места собой, причинить неудобство сидящей рядом женщине, и это понравилось Дмитрию Степановичу. Старичок держал в руках, над коленями, сетку, в которой болтались два пакета витаминизированного кефира. Аккуратно так держал, с осторожностью, чтобы пакеты не повредились от собственной тяжести. А вот Дмитрий Степанович, между прочим, возит кефир и вообще продукты в портфеле, да еще укладывает пакеты в целлофановые мешочки, порознь укладывает, по одному, чтобы, если и случится неприятность, никого не запачкать и не поставить себя в неловкое положение. Он давно собирается перейти на бутылочный кефир — бутылочный кефир вкуснее, гуще и в определенном смысле как бы безопаснее, а также безусловно и гигиеничнее, — но не переходит, потому что бутылки надо мыть и сдавать, тогда как пустые пакеты просто выбрасываются. Дмитрий Степанович складывает свой мусор в большой целлофановый мешок и утром, выходя из дому, выносит на помойку. Пустой же мешок, завернув в газету, прячет в портфель. Это очень удобно и, главное, не требует специального времени.

Пожалуй, сказал себе Дмитрий Степанович, с этим уютным, петербургским старичком можно завести разговор о молочных продуктах. То есть с этого начать разговор. Тема как бы нейтральная и, судя по тому, как он аккуратно держит сетку, небезразличная старичку. Например, неподалеку от дома, где живет Дмитрий Степанович, расположены два специализированных молочных магазина. Сразу и возникает естественный вопрос: зачем два одинаковых магазина располагать рядом, буквально в ста метрах один от другого?.. Тем более следующий ближайший магазин находится уже в трех троллейбусных остановках. Но дело даже не в этом. Дело в том, что в одном магазине,

который все же чуть подальше от дома Дмитрия Степановича, всегда в продаже прекрасные молочные продукты в самом широком ассортименте, в том числе там почти каждый день бывает творог, а в другом — заметно похуже, да и выбор беден. Или есть тот же кефир в бутылках, но нет в пакетах, или все наоборот. Отчего бы это?.. Оказывается, как удалось выяснить Дмитрию Степановичу у продавцов, магазины расположены в разных районах и получают товар с разных же молокозаводов, а на разных молокозаводах, объяснили продавцы, и разная технология. Удивительно простое и исчерпывающее объяснение, подумал Дмитрий Степанович, узнав об этом. Но более того удивительно другое: почему бы заводу, у которого худшая технология, раз они производят плохой кефир, не позаимствовать лучшую, передовую технологию?.. Однако на этот вопрос продавцы ответить вовсе ничего не могли.

Тут, конечно, есть о чем поговорить, есть что обсудить, и все-таки, взвесив как следует, Дмитрий Степанович отклонил молочную тему как неперспективную, ибо она была слишком в стороне от темы, которая на самом деле занимала его и понуждала искать собеседника.

И тогда, не мудрствуя и не рассуждая больше, он задал старичку прямой вопрос: вы не подскажете, спросил он, извинившись за беспокойство с той сочувливой интонацией, которая сразу выдает человека воспитанного, интеллигентного, трамвай уже пустили по Жуковской или он все еще ходит по Некрасовской?.. Да, такой вопрос вполне уместен. Ну, прежде всего старичку безусловно понравится, что именно к нему обращаются с вопросом, на который он легко может ответить (люди чаще сердятся не потому, что их о чем-то спрашивают, а потому, что спрашивают их о том, чего они сами не знают), а кроме того, кроме того...

Старичок лукаво так взглянул на Дмитрия Степановича и сказал, что улица называется не Некрасовская, как вы, молодой человек, только что изволили ее назвать, а Некрасова. Есть Некрасовский рынок, это верно, который прежде, к вашему сведению, назывался Мальцевский (переименование, кстати, не совсем удачное, все-таки великий русский поэт и... рынок, базар), есть еще Некрасовская атаэс, телефонная станция, проще говоря, а что касается улицы... Разу-

меется, разумеется, смущенно проговорил Дмитрий Степанович, не будучи готовым к такому повороту разговора, вы безусловно правы, улица действительно называется Некрасова, хотя... Хотя согласитесь и вы, что правильнее было бы назвать улицу именно Некрасовская, ибо существуют ведь правила образования названий от имен собственных, да и не только от имен собственных, но вообще, в принципе... Вот, скажем, Адмиралтейская набережная, Синопская, Петровская... Это правильно. Отчего же было называть набережную — Красного Флота вместо Краснофлотской?.. То, что вы говорите, — это весьма, весьма любопытно, молодой человек, однако, считаю своим долгом заметить вам, в ваших рассуждениях излишне много апломба и начисто отсутствуют логика и знание предмета, о котором вы беретесь рассуждать. Не перебивайте, пожалуйста. В городе Зеленогорске — знаете, надеюсь? — есть улица Единства. Прекрасное, не правда ли, название?.. Вслушайтесь, вдумайтесь, молодой человек! А по-вашему получается, что эту улицу правильнее называть Е-дин-ствен-ная!.. Улавливаете?.. Тут старичок улыбнулся, не саркастически, не злобно, а по-доброму так улыбнулся, с полным пониманием своей безусловной, неоспоримой правоты, которая обеспечена мудростью и опытом его преклонного возраста и которая, в свою очередь, дает ему право быть снисходительным... В самом деле, сказал Дмитрий Степанович, тоже улыбаясь, это было бы смешно и нелепо... Именно, именно смешно и нелепо, и я вам прямо скажу, наставительно произнес старичок, что правила не догма (да ведь еще и проверить надо, существуют ли правила, о которых вы упомянули), им нельзя следовать бездумно и слепо, да-с, нельзя. Правила дают нам верное направление в жизни, но только в общем виде, как компас, а конкретный маршрут движения мы должны выбирать сами, сообразуясь с необходимостью и заданным направлением, иначе... А разве нельзя, извините, что перебил, разве вельзя просто не пользоваться названиями, которые не согласуются с традициями, неуверенно, робко даже произнес Дмитрий Степанович, чувствуя, что разговор со старичком что-то не получается. Почему в Зеленогорске обязательно должна быть улица Единства? Пусть будет площадь Единства. Это даже лучше — площадь как место единения людей, место общего сбора... Ага, я начинаю вас понимать, сказал старичок.

Вам, значит, не нравится, что улица так называется? Но если ее называли, значит, так нужно было назвать. Нужно! Вы взялись критиковать... Нет, нет, я ничего не критикую, поспешил заверить Дмитрий Степанович, окончательно уже поняв, что и на этот раз ошибся в выборе собеседника, просто к слову пришлось, а вообще-то, разумеется, какая разница, лишь бы название было хорошее и соответствовало духу... Вот, вот — к слову вам пришлось, с неожиданным пафосом в окрепшем голосе повторил старичок и поставил сетку на колени. А слово, как вам должно быть известно, слово не воробей! Он опять улыбнулся, но теперь это была другая улыбка, в ней не было ни снисхождения, ни доброты. Пожалуй, это была улыбка высокомерная, даже и не улыбка скорее, а усмешка, как если бы старичок этот знал и понимал то, что Дмитрий Степанович не знает и не понимает и не узнает никогда и не поймет, а потому и судить об этом ему не пристало. Не положено. К слову, продолжал между тем старичок, вам сначала не хочется учиться, потому что вас, видите ли, не так учат, потом вам не хочется трудиться, потому что работа не та, вам подавай, к слову, штаны с иностранными пуговицами, потому что... Тут он покосился на костюм Дмитрия Степановича производства фабрики имени Володарского, однако ничуть не смутился этому, но как-то странно, усмешливо взглянул на Дмитрия Степановича и прямо спросил, а почему, собственно, он в это время, в будний день, не на работе?.. Впрочем, объяснений он дожидаться не стал. Жаль, сказал он, что мне пора выходить, иначе я научил бы вас... Руки-то, добавил он, у вас чистенькие, без мозолей, умственным, а точнее сказать — заумственным трудом занимаетесь?.. Мяса, видите ли, вам мало, твердокопченой колбасы нет, осетринки с хреном захотелось!.. А вы, позволительно спросить, за всю свою жизнь вырастили хоть одну свинью? То-то и оно, что не вырастили и даже наверняка не знаете, откуда у нее хвост растет, а колбасу твердокопченную любите, как же!.. Дмитрий Степанович до того растерялся и так был подавлен напором старичка и его безапелляционностью, что едва не сказал, что вообще, в принципе не ест копченого и острого, что у него давняя язва желудка, однако старичок, вовсе уж с откровенным презрением оглядев его и отстранив с дороги сеткой с кефиром, направился к выходу...



Дмитрий Степанович чувствовал себя как в бане, точнее, в предбаннике, когда раздевается при посторонних и ему кажется, что все с любопытством смотрят на него и смеются над его физической немощью, хотя и нельзя сказать, что он действительно был немощен. Нормальный мужчина с пропорционально сложенной фигурой, а руки у Дмитрия Степановича даже сильные, и жена, когда они жили с нею, постоянно верчала, что он берет «своими руками как клещами».

Он достал платок и вытер взмокшую шею.

Некоторое время он стоял на площадке и смотрел (как будто смотрел) в окно, стыдясь повернуться лицом к салону, потому что другие пассажиры могли всё слышать. Старичок говорил довольно громко. Такие старички вообще говорят громко, никогда и никого не стесняются, ибо твердо знают, что правота на их стороне. А возможно, подумал Дмитрий Степанович, этот еще и глуховат немного.

Успокоившись, он решился взглянуть, что делается в салоне, но так взглянуть, чтобы не привлекать к себе внимания. И тотчас увидел нового пассажира, который вошел в трамвай, пока он сам смотрел в окно. Это был мужчина в годах, лет шестидесяти, определил Дмитрий Степанович, в серой шляпе из поддельной соломки. Он тоже озирался вокруг, присматриваясь к пассажирам, но озирался не так, как это обычно делают люди самоуверенные, плохо воспитанные, а с деликатной неуверенностью, стараясь остаться как бы незамеченным. Уж Дмитрий-то Степанович хорошо знал, как неловко бывает и стыдно, когда на тебя обращают внимание, а ты не догадываешься, чем вызвано это пристальное внимание, и тогда появляется нетерпеливое желание ощупать себя, проверить, все ли в порядке в твоём костюме, не расстегнулась ли где пуговица, не съехал ли на сторону галстук, однако и понимаешь, что этим привлечешь еще большее внимание окружающих, и уж тогда ничего не остается, как только выйти из трамвая или из помещения.

В мужчине, за которым тихонько наблюдал Дмитрий Степанович, было что-то располагающее, симпатичное, несмотря на его нелепую шляпу, но завязать с ним разговор будет трудно, потому что и неясно, с каким вопросом было бы естественно и не вызывающе обратиться к нему. Наверняка он не ленинградец, приезжий, так что задавать ему вопросы, связанные с историей города, по меньшей мере, бестактно. Это

означало бы, как будто Дмитрий Степанович нарочно ставит человека в тупик, чтобы после посмеяться над его незнанием и провинциальностью. А действительно, какой же ленинградец наденет столь вздорную шляпу, ярко-желтый галстук с изображением синего «олимпийского» медведя при черном-то двубортном костюме-тройке, зеленую рубашку в белую полоску и... открытые летние сандалеты из ремешков, какие сам Дмитрий Степанович позволил бы себе надеть разве что за город, да и то, прежде чем надеть, хорошенько бы подумал. (Справда, ног мужчины он не видел, они были скрыты под скамьей, однако он был уверен, что на ногах у мужчины именно сандалеты и, скорее всего, какие-нибудь очень яркие, вульгарные носки.)

В другой раз Дмитрий Степанович не остановил бы своего внимания на этом мужчине, отметил бы только мимоходом нелепость костюма, но сегодня ему был просто-напросто необходим собеседник, он не мог удерживать в себе радость открытия, сделанного им, а лицо мужчины — широкоскулое, грубоватое немножко, не вылепленное, но вырубленное, — и его светлые, бескитростные глаза вызвали доверие. В нем было нечто такое, что как бы излучало притягательную силу, приглашало к откровенности, и Дмитрий Степанович подумал, что на этот раз он не ошибается. А может, симпатия возникала оттого, что мужчина не умел свободно, естественно держаться на людях, и, поскольку Дмитрий Степанович и за собой знал этот болезненный недостаток, почему кое-кто и считал, что он страдает комплексом неполноценности (в действительности люди, страдающие этим комплексом, как раз и отличаются вызывающим поведением, грубостью, что защищает их от агрессивной и недоброй насмешливости), он ощутил как бы некое родство душ с мужчиной и остановил свой выбор на нем. По крайней мере, этот человек не станет насмехаться и делать беспочвенные упреки наподобие того старичка.

Вот только какой же вопрос задать ему для начала разговора? Человеку хотя и симпатичному, и скромному, но столь безвкусно одетому любой вопрос не задашь. Да и свободного места рядом с ним не было, а начинать разговор стоя, для чего еще специально нужно подойти, тем самым привлекая внимание других пассажиров...

Кстати сказать, сам Дмитрий Степанович одевался с большим вкусом, просто и ненавязчиво, без вся-

ких претензий на современность, зато элегантно и недорого. Слава богу, в магазинах всегда можно купить вполне приличный костюм за сто, а то и за восемьдесят рублей. Не шерстяной, конечно, однако в этом даже есть свое преимущество — не надо часто отпаривать, а для одинокого человека это тоже важно. Одеваться со вкусом Дмитрия Степановича приучила тетушка. Она очень строго, быть может излишне строго, относилась к одежде и терпеть не могла людей, у которых находила вызывающую манеру одеваться и не находила должного вкуса и чувства меры. Например, если она видела мужчину в пальто или в макинтоше, но без кашне, это выводило ее из себя, лишало покоя и равновесия, вызывало приступы мигрени, а муж ее смеялся и говорил, что наше с тобой счастье, Митька (так он называл в детстве Дмитрия Степановича, что также доставляло тетушке немало горьких минут), что тетушка любит поспать и поэтому не видит мужчин без кашне с самого утра. Между прочим, он никогда не носил ни кашне, ни галстуков, разве что в особо торжественных случаях позволял тетушке повязать себе галстук, однако, выйдя из дому (если шел на торжество один), тотчас снимал галстук через голову и прятал в карман, а возвращаясь домой, надевал снова. И хотя тетушка всю жизнь, сколько помнит Дмитрий Степанович, пеняла мужу за такую немислимую распущенность, от которой «можно сойти с ума», хотя называла мужа шалопаем и еще почему-то воробьем (посмотри, посмотри на себя — грудь нараспашку, точно у воробья!), но все же и находила для него оправдание, а для себя некоторое успокоение в том, что муж, к счастью, не носил соломенных шляп и сандалий. По крайней мере, вздыхала она, это уже делает тебе честь, а меня избавляет от лишнего стыда за тебя. Впрочем, снова вздыхая, говорила тетушка, ты как был провинциалом, так им и остался. Воистину горбатого могила исправит... Зато ты у нас все мечтаешь пробиться в аристократки, громко, раскатисто хохотал ее муж. Какое несчастье, верно, Митька, что нашей дорогой тетушке никогда не стать графией! Послушай, с серьезным видом обращался он к тетушке, может, ты согласишься на старшего бухгалтера? Тоже ведь не уборщица.

Тетушка подобных шуток не любила и не принимала. У нее немедленно начинался приступ головной боли, и тогда лучше было не попадаться ей на глаза.

Я понимаю, что всякое действие, ставшее предметом описания, пересказа, раз начавшись, должно продолжаться по возможности без остановок. По крайней мере, без лишних, необязательных остановок, ибо каждая остановка тормозит действие, мешает естественному развитию сюжета, грозит автору потерей читательского интереса, однако и понимая все это, никак не могу удержаться от соблазна рассказать, хотя бы очень кратко, фрагментарно, о тетушке Дмитрия Степановича и ее муже. Да ведь и портрет самого Дмитрия Степановича, пожалуй, будет недостаточно схож с оригиналом без этого рассказа. (Впрочем, читатели, для которых именно и по преимуществу сюжет является главным компонентом литературы, вполне могут и опустить этот рассказ. Они ничего не потеряют.)

Как вы уже догадались, тетушка (уточним наконец: она была сестрой дедушки Дмитрия Степановича, то есть он доводился ей внучатым племянником, но в семье все называли ее просто «тетушка») — Дора Евграфовна — происходила из очень старинной петербургской семьи. И дед ее, и прадед, все ее родичи как по отцовской, так и по материнской линии были коренными петербуржцами. Далеких предков Доры Евграфовны, а значит, и матери Дмитрия Степановича, царь Петр пригнал строить Санкт-Петербург, так что слово «коренные» имеет в данном случае прямой смысл. А вот муж ее, Александр Кузьмич, был родом из маленького провинциального городка где-то в Поволжье, куда Дору Евграфовну вместе с другими членами большого семейства занесло (собственное ее выражение) во время гражданской войны и когда лет ей было девятнадцать. Многие тогда бежали из голодного Петрограда в Поволжье, в надежде отсидеться там на сытых хлебах, покуда в столицах выясняют отношения большевики, меньшевики, анархисты, эсеры, монархисты и прочие.

Вскоре после знакомства Доры Евграфовны с Александром Кузьмичом городок — назовем его для простоты Издольск — заняли белые. Немедленно была объявлена мобилизация. Александр Кузьмич, как бывший прапорщик царской армии (он побывал даже в немецком плену, откуда бежал), подлежал мобилизации в первую очередь. Однако он не хотел служить белым (вполне вероятно, что красным — тоже) и не выполнил приказа, не явился на призывной пункт. Он

прятался на чердаке отчего дома, где его благополучно и отыскали. Скорее всего, его выдал кто-то из соседей. Он был арестован и посажен в «кутузку», как говорила после Дора Евграфовна. Этот факт интересен уже сам по себе, потому что сидел-то Александр Кузьмич в «кутузке» вместе с теми, кто презрительно называл его «золотопогонником» и считал за врага Советской власти. И вот Дора Евграфовна, услышав, что всех арестованных будут расстреливать, решила спасти своего будущего мужа. (О том, что ему назначена эта роль судьбой, Александр Кузьмич, естественно, не подозревал.) Надо сказать, что она с молодости отличалась характером властным, целеустремленным и, раз что-то решив, никогда не отступалась. Она явилась к унтер-офицеру, бывшему, видимо, начальником караула или что-то в этом роде, и предложила освободить ее жениха, офицера, в обмен на две осьмушки махорки и два фунта сахара. По семейному преданию, унтер-офицер намекнул, что в дополнение к махорке и сахару не мешало бы добавить «что-нибудь еще...», но Дора Евграфовна с презрением отклонила его притязания, сказав, что и без того предлагает «слишком много», что, если он не хочет получить табак и сахар, она найдет другого желающего. Унтер-офицер, поразмыслив, согласился с нею, и таким вот образом Александр Кузьмич обрел свободу (возможно, и жизнь) и заодно жену. Белых быстренько прогнали из Издольска (они будто бы не успели даже расстрелять других арестованных, что всю жизнь занимало воображение Александра Кузьмича), а Дора Евграфовна вернулась в Петроград с мужем.

Скажем прямо: Александр Кузьмич оказался под ничем не ограниченной, деспотической властью жены. Она умело, сообразуясь с тогдашней обстановкой, использовала тот факт из его биографии, что он служил в царской армии и имел даже Георгия за боевые заслуги. Первое время она запугивала его этим, а после, когда он понял, что бояться-то ему вовсе нечего, что в определенном смысле он даже может гордиться своим Георгием, было... ну, не то чтобы поздно, просто было без надобности менять что-то в жизни. Они привыкли друг к другу и, несмотря на разницу в характерах или именно поэтому, жили в общем-то хорошо, дружно. Александр Кузьмич не курил, не пил вина, не говоря уже о том, чтобы изменять жене, хотя в разговорах его (шуточных, разумеет-

ся) женщины присутствовали непременно, и присутствие это не было совсем безобидным для Доры Евграфовны. Однако она не обижалась, не пеняла ему за разговоры, понимая, что пусть лучше муж поговорит, потешится болтовней, чем станет искать утешения реального. Был Александр Кузьмич нрава веселого, чуточку как бы и беззаботного, но это и естественно, ибо Дора Евграфовна не просто вела дом, но была в доме полной хозяйкой. Так что он мог позволить себе и веселость, и беззаботность, зная прекрасно, что ничего другого от него и не ждут.

Жили они всегда очень скромно, обходились самым необходимым, и эту скромность в быту, неприязнительность, умение обходиться малым и довольствоваться тем, что есть, унаследовал от них и Дмитрий Степанович. Тетушка работала бухгалтером, а муж ее кассиром на заводе, чем также был или считал себя обязанным жене. Когда они приехали в Петроград, здесь была безработица, и лишь благодаря отцу Доры Евграфовны — прадеду Дмитрия Степановича, — потомственному рабочему этого завода, Александр Кузьмич смог устроиться сначала чернорабочим в трубнопровальничий цех, а после перейти работать кассиром. Со временем он стал главным кассиром, и в этой почетной должности (главный все-таки!), которая оплачивалась тем не менее очень, очень скромно, он пробыл всю жизнь, чуть не до последнего своего дня. Ворочал, как говорится, миллионами, однако страсти к деньгам не имел. Возможно, он воспринимал ассигнации просто как бумажки, как документы, которые требуют строгого учета и охраны не потому, что чего-то стóят сами по себе, а потому, что так положено. До поры до времени Дмитрия Степановича интересовал этот вопрос. Однажды он зашел в главную кассу за ключом (свой потерял) и как раз привезли зарплату из банка. Зрелище поразило его. Вся касса, помещение вовсе не маленькое и не тесное, как представляется со стороны, была завалена мешками с деньгами, и Дмитрий Степанович — тогда еще Митя — невольно подумал (единственный раз в жизни), что вот бы ему один мешочек...

Слов нет, и между Дорой Евграфовной и Александром Кузьмичом случались размолвки и даже семейные ссоры, которые Александр Кузьмич называл сольными концертами жены, ибо правой в этих ссорах всегда оставалась Дора Евграфовна, начинав-

шая их, однако никогда они не переходили границы интеллигентности, то есть ни сама Дора Евграфовна, ни Александр Кузьмич никогда не позволили себе повысить голос или оскорбить друг друга. Это необходимое для каждого воспитанного человека качество — умение держать себя в руках и уступать в споре, тем более женщине, — унаследовал также и Дмитрий Степанович. А впрочем, размолвки тетушки с мужем носили даже комедийный характер. Чаще всего ссоры возникали по одной и той же причине: он любил футбол и не пропускал матчей с участием заводских команд, где бы эти матчи ни проходили (футболисты брали Александра Кузьмича в свой автобус, потому что второго такого болельщика на заводе не было), а тетушка футбол презирала, как любой другой вид спорта, но любила играть в карты («девятка», «фининспектор», «девятый вал», «козел» — тут можно было говорить просто «козел», без уточнения рода), и два-три раза в неделю в доме собирались такие же, как она, любители карточной игры (все, кстати, безбожно «мухлевали»), Александр же Кузьмич в руки не брал карт.

— Что это ты сегодня напеваешь с утра? — спрашивала тетушка мужа в очередной раз. — Никак, на свой футбол собрался?..

— А что такое? — настораживался Александр Кузьмич.

— Сегодня твой футбол обойдется без тебя.

— Это почему же?

— Хочу испечь пирог, мне нужны дрова и вода.

Однако Александр Кузьмич был бы плохим мужем Доры Евграфовны, если бы, собираясь на футбол, он загодя не запас дрова и не натаскал воды. (Они жили на окраине Ленинграда, имели часть дома и за водой ходили на колонку.)

— Цистерны вам хватит? — иронизировал он, продолжая насвистывать что-нибудь вроде «чижика-пыжика».

— Кажется, у меня опять начинается мигрень... — Тетушка морщилась, как от настоящей боли. — И перестань свистеть, ты не у себя в Издольске.

— А что тебе Издольск? — возмущался Александр Кузьмич. — По крайней мере, не хуже твоего Петербурга с этими... дамочками!

— Фи, до чего же ты вульгарен и невоспитан. Удивляюсь, где были мои глаза, куда они смотрели,

когда я согласилась выйти за тебя замуж?..— Она пожимала плечами.

— Твои глаза, Дора, смотрели именно туда, куда смотрят глаза всех стареющих девиц, мечтающих выйти замуж! — говорил Александр Кузьмич и громко, непринужденно смеялся, отчего Дора Евграфовна вовсе уж бывала вне себя. Она уходила в спальню и закрывалась там, демонстрируя полное свое равнодушие к тому, что будет делать Александр Кузьмич. И он спокойно уезжал на футбол.

Примерно то же самое разыгрывалось всякий раз, когда собирались «дамочки» играть в карты. Вот в этот день Дора Евграфовна обязательно пекла пироги или делала какие-нибудь иные сладости, и Александр Кузьмич, обеспечивая кухню водой и дровами, не скрывал своего неудовольствия:

— Что, опять твои кукарачи явятся?

— Не мешай,— прогоняла его тетушка с кухни. Она вообще не любила, когда ей мешают готовить, а готовить она умела.— И не смей говорить цинизмы.— Это было одно из ее употребительных слов.

— А «мухлевать» не цинизм? — поддразнивал Александр Кузьмич.— Тщатся быть аристократами, а сами обманывают друг друга.— Он высовывал язык, показывая, как «кукарачи» дают знать, что они бьют «червей». Тут обычно тетушка била его мокрой тряпкой, и он снова спокойно уходил из дому, если не на футбол, то просто посидеть на крыльчке с газетой.

Дмитрий Степанович всегда почему-то пугался, когда они ссорились, хотя даже выигрывал при этом кое-что, ибо каждая из сторон призывала его в свидетели своей правоты, подкупая его нежностями, а иногда и чем-нибудь вещественным. А может, он потому и пугался, что должен был принимать чью-то сторону, тогда как ему-то хотелось, чтобы тетушка с мужем не ссорились вообще. Он любил и Дору Евграфовну, и Александра Кузьмича и оттого, наверно, на всю жизнь возненавидел и футбол, и карты.

Пожалуй, он все же чуть больше любил Александра Кузьмича, или лучше понимал его, что естественно для мальчика, тем более, как было сказано, Александр Кузьмич был человеком веселым, открытым, знал множество смешных и занимательных историй и умел их рассказывать в лицах. Например, у него не было указательного пальца на левой руке, и он убедил Дмитрия Степановича, что Мальчик с пальчик из од-



ноименной сказки произошел именно из его пальца. Дмитрий Степанович верил этому, пока не пошел в школу, а куда на самом деле подевался палец — он так никогда и не узнал. А вот галстуки, ставши взрослым, носил постоянно и вообще одевался тщательно и скромно, по достатку, как учила тетушка. Отчасти, должно быть, и поэтому, когда начальник Дмитрия Степановича едет куда-нибудь представителем ст-во в а т ь, он непременно берет его с собой, зная, что Дмитрий Степанович не ляпнет ничего лишнего, будет интеллигентно молчать, но впечатление произведет своим подтянутым, аккуратным видом именно такое, какое нужно произвести. Ведь можно сказать и так: покажи, кто твои подчиненные, и я скажу, каков ты начальник...

Тетушка прожила до семидесяти восьми лет, сохранив до последнего дня полное сознание и остроту ума, а также и свою врожденную тщательность во всем, кроме приема лекарств, которые ей прописывали, а вот Александр Кузьмич, пережив жену менее чем на год, после ее смерти как-то опустился (он, правда, был старше жены на семь лет), сделался сразу дряхлым и неопрятным стариком, к тому же в нем откуда-то явилась скупость. Не скупость в отношении своей личной собственности, но скупость вообще в отношении всего, что касалось денег. Возможно, это была профессиональная черта характера. Скорее всего, так оно и было, потому что Александр Кузьмич все время боялся, что кто-то истратит (значит, и возьмет из кассы!) больше, чем необходимо, чем положено. Он ворчал, когда Дмитрий Степанович приносил ему что-нибудь вкусенькое (они давно жили не вместе) — хорошей колбасы или дорогой рыбы, — и говорил, что незачем тратиться, нечего подражать покойной тетушке, которая тоже вот любила вкусно поесть и не умела считать деньги (это было неправдой, ибо хозяйство Дора Евграфовна вела очень даже экономно), а однажды — совсем уж незадолго до смерти — заявил, что тетушка напрасно дала тому унтер-офицеру махорку и сахар, его и без того никто не стал бы расстреливать...

Родственники Александра Кузьмича, которых он каким-то образом постепенно перетянул в Ленинград (вернее все-таки сказать, что они сами перетянулись и, приезжая, первое время жили у них), предлагали Дмитрию Степановичу взять что-нибудь на память из наследства, и он взял альбом с фотографиями, где

были и его мать, и дед, и прадед, и другая родня по материнской линии. Хотел он еще взять небольшую картину в массивной, тяжелой раме черного дерева, на которой (на картине, разумеется) были изображены художником-любителем кусочек очень синего моря, очень голубое небо и невозможно зеленый кипарис (тетушка почему-то любила эту картину), но постеснялся, потому что родственники интересовались у него как у специалиста, не знает ли он, Дмитрий Степанович, сколько может стоить эта прекрасная старинная рама.

\* \* \*

Дмитрий Степанович снова осторожно посмотрел на мужчину в шляпе из поддельной соломки, который прятался за газетой «Уральский рабочий», делая вид, что читает, и вдруг понял, что женщина, сидящая рядом с ним, собирается выходить. Она нагнулась, подняла с пола сумку, поставила ее на колени и взглянула в окно. Именно так и поступают все женщины, когда собираются выходить. Дмитрий Степанович продвинулся несколько вперед, чтобы быть поближе к освобождаемому месту, но не настолько близко, чтобы можно было догадаться о его намерении занять место. Женщина что-то спросила у мужчины в шляпе, тот покачал головой и встал, уступая дорогу. Дмитрий Степанович напрягся весь, и, как только женщина вышла в проход, а мужчина сел у окна, он сделал движение, чтобы поставить на сиденье портфель.

И тут кто-то отодвинул его сильной, властной рукой.

— Не надо спешить, дядя, — усмехаясь, сказал молодой человек в синем. — Торопиться вредно для здоровья, а на свои поминки успеешь. Лучше дай-ка сесть беременной женщине с грудным ребенком.

Дмитрию Степановичу сделалось стыдно за то, что он, захватывая место, не заметил даже беременную женщину, да еще с грудным ребенком на руках. То есть ему сделалось так стыдно, что в голове у него вспыхнул жар и сильно застучало в висках.

— Извините, — пробормотал он, отступая в сторонку. — Извините, не заметил...

— Очки надо носить, — назидательно проговорил молодой человек в синем и, рассмеявшись громко, на весь вагон, плюхнулся на сиденье. Он поставил на ко-

лени магнитофон и включил его. Магнитофон заорал что-то на английском языке, а молодой человек с интересом посмотрел на Дмитрия Степановича и подмигнул.— На первый раз прощаю, дядя. Живи, черт с тобой. Но впредь будь внимательнее и не забывай о вежливости, лады?

От растерянности Дмитрий Степанович точно онемел, он ничего не смог сказать в ответ на эту безобразную выходку молодого человека, он плохо понимал даже, что же произошло, как это все случилось, и тогда мужчина в шляпе протянул руку и выключил магнитофон. Молодой человек удивленно взглянул на мужчину и проговорил замедленно:

— А ты что, кукрыникса немытая, давно не пахал носом асфальт? — И снова включил магнитофон.

Мужчина молча опять выключил его.

— Ну, сохатый, сейчас я организую тебе комсомольскую путевочку, будешь у меня на том свете освивать целинные и залежные земли! — Он вскинул руку, прицеливаясь растопыренными пальцами в лицо мужчине, однако тот опередил его — схватил за запястье и резко вывернул.

— Еще или достаточно?

— Ты, представитель старшего поколения, полегче на поворотах! — вскрикнул молодой человек.— Отпусти, тебе говорят!

— Не ты, а вы, — спокойно сказал мужчина.— Отпустите, пожалуйста, мне больно. Понял? Повтори.

— Подумаешь, уже и пошутить стало нельзя...

— Вот я и шучу.— Мужчина; видимо, надавил сильнее, потому что молодой человек буквально перекопился от боли.

— Отпустите! — буркнул он.

— Забыл сказать «пожалуйста».

— Ну, пожалуйста!..

— Так-то оно лучше будет,— сказал мужчина, улыбаясь.— А теперь бегом марш отсюда! — Он подтолкнул молодого человека в спину, и тот, сорвавшись с места, едва не упал. Трамвай как раз остановился, двери открылись, и молодой человек выскочил из вагона. Уже с улицы, когда трамвай двинулся, он кричал что-то и размахивал кулаком.

— Садитесь, чего там,— предложил мужчина Дмитрию Степановичу.— В ногах, говорят, правды нет. А это...— Он посмотрел в окно.— Осколок какой-то, не берите в голову.

— Нет, нет, благодарю вас,— чувствуя себя беспомощным и виноватым, пробормотал Дмитрий Степанович.— Мне скоро уже выходить. Мы где едем?..— Он тоже посмотрел в окно, как будто узнавая, какую проехали остановку, хотя и без того знал, что следующая будет «Невский проспект», так что смотреть в окно ему было вовсе и незачем.

Вообще-то, он, не мешкая, на следующей остановке и вышел бы, чтобы не смотреть в глаза людям, которые были свидетелями этой отвратительной сцены и его унижения, в особенности чтобы не смотреть в глаза этого мужчины в нелепой шляпе, но, во-первых, каждый сразу же и поймет, что он просто бежит от стыда, потому что зачем бы он пытался занять место, если ему оставалось ехать всего одну остановку, во-вторых, Дмитрий Степанович не любил Невский проспект, избегал бывать там и поэтому решил хотя бы для видимости доехать до цирка.

А странная, если подумать, нелюбовь коренного ленинградца к Невскому проспекту. Пожалуй, и не отыщешь во всем Ленинграде второго такого человека, который бы не любил Невский, и уж во всяком случае никто не признается в этом. Ну как же, гордость Ленинграда и ленинградцев, многократно описанный классиками отечественной литературы, знакомый по альбомам и открыткам чуть ли не всему миру — и такая вот нелюбовь, такое вот неприятие... Но Дмитрий Степанович не стесняется признаваться в этом, и когда он говорит кому-нибудь, что не любит Невский проспект, на него смотрят с сочувственной жалостью, с испугом даже смотрят, и только не тянутся руками, чтобы пощупать его лоб: не горячий ли?.. Впрочем, кто ж не знает о том, что Дмитрий Степанович вообще человек, как говорится, со странностями, не от мира сего, от него можно ожидать любой выходки, даром что он тихий, уравновешенный и никогда никого не задевает. Сказано же: в тихом болоте черти водятся.

Разумеется, он мог бы объяснить, когда бы наверное знал, что его захотят услышать и понять, что не любит в сущности не собственно Невский проспект, но проспект, как таковой, проспект вообще, то есть парадную пышность, декорационную красоту, рассчитанную на обозрение, на любовь приезжего человека, гостя, а не хозяина. (Кто-то давным-давно заметил, что во дворцах жить неудобно и неуютно). Дмитрий Степа-

кович не признает ведь и прихотливых, превращенных в гостиницы, в некие апартаменты, оклеенных дорогими импортными обоями или пленкой «под дуб», «под карагач» и тому подобное, украшенных всякими там бра, подсвечниками, рогами экзотических животных (в одном доме он видел рог носорога, похожий, правда, на коровий рог), а то еще и иконами, и всегда, оказываясь в такой прихожей, он чувствует себя варваром, недотепой, ступившим в грязных сапогах в музейный храм либо на эрмитажные паркетные. Зато Дмитрий Степанович преданно и нежно любит старые петербургские улочки и переулки, анфилады дворов-колодцев с их продувными сквозняками, разноликие и вроде бы ничем не примечательные дома... Всего этого не показывают иностранцам и даже нашим, отечественным туристам, вроде как стыдясь непрезентабельного, а порой и вовсе неказистого вида этих улиц, переулков, дворов, их повседневной простоты, хотя, как считает Дмитрий Степанович, именно этим они и прекрасны, то есть прекрасны своей будничной простотой и неповторимостью. В конце концов, более или менее приблизительная копия Невского проспекта найдется едва ли не в каждом большом городе (сам Невский тоже ведь более или менее копия), и лишь специалисты и редкие знатоки понимают, что Невский — это архитектурная гармония, почти идеальное пространственное решение, строгое соответствие всех его частей, в том числе и объема, сбыкновенный же человек, в особенности приезжий, всего этого не видит и, как правило, даже не подозревает об этом. Восторгаясь Невским проспектом, его красотой, люди обычно только повторяют слышанное от других. Все усвоили, что Невский надо хвалить, вот и хвалят, а за что — сами не знают.

Можно, пожалуй, сказать и так: Дмитрий Степанович не любит не столько Невский проспект, сколько его костюм. К тому же костюм карнавальный, а значит, с чужого плеча, ибо карнавальные костюмы не шьют для себя.

Он иногда мысленно наряжал на манер Невского улицу Радищева, например, или Жуковского, или Моховую, или какой-нибудь переулок вроде Ковенского, и получалась суцая ерунда, получался нонсенс, потому что любая из нормальных улиц тотчас теряла свой натуральный, естественный вид, свой характер, черты своего лица, наполнялась толпами празд-

ных людей, куда-то бегущих, обвешанных коробками и пакетами (несмотря на кажущуюся деловитость, целеустремленность этой толпы, однажды догадался Дмитрий Степанович, она все же именно праздная), что-то зорко высматривающих, однако вовсе не красоте, не гармонии изощренности и простоты, не соразмерность общего с частным, а нечто, выставленное, выложенное и вывешенное как раз в несоразмерно огромных витринах, которые разрушают, губят подлинную красоту своей легкомысленностью и феерической пестротой.

А в самом деле: вы когда-нибудь встречали человека, который бы, остановившись где-нибудь у «Пассажа», стал бы разглядывать Невский проспект в перспективе и по вертикали? Да ведь если бы и нашелся такой чудак, толпа понесла бы его в тот же «Пассаж» разглядывать этикетки и ценники. Невский живет по своим законам торговой линии и жить иначе не может.

Дмитрий Степанович понимает, что его любовь или нелюбовь ничего изменить не может. Невский останется таким, каков он есть, хотя и было бы гораздо лучше, считает он, если бы Невский оставался таким, каким он был. Включая и брусчатку, и трамвай. А вот автомобильное движение он запретил бы. Трамвай на Невском как преемник экипажа и конки — это вполне естественно, думал Дмитрий Степанович. Автомобиль же — нет. Правда, остается маленькая неясность, объяснить которую не смог бы и сам Дмитрий Степанович: почему именно трамвай, а не автомобиль он допускал на Невский в качестве преемника экипажа? Может быть, потому, что слишком много развелось автомобилей?.. Впрочем, мало ли в жизни неясностей, приговоренных навечно оставаться неясностями, то есть не быть никогда объясненными. Не исключено, что Дмитрий Степанович, думая, что не любит Невский проспект с его праздничностью и по будним дням, на самом-то деле не любит праздную толпу, не любит вообще праздники, как и обыкновенные выходные дни. Он устает от безделья, от смены жизненного ритма, и с удовольствием ходил бы на работу и в выходные, чем сидеть дома и слышать соседей.

— Следующая остановка — «Цирк», — объявил по трансляции вагоновожатый.

Мужчина торопливо поднялся и тоже, вслед за Дмитрием Степановичем, направился к выходу.

Отчего-то именно здесь мне захотелось снова задержаться и рассказать одну историю из далекого послевоенного детства Дмитрия Степановича, которая в общем-то не имеет прямого отношения к этой повести...

Школа, где учился Митя, была рядом с железной дорогой. Тесный и узкий школьный двор от железной дороги отделял лишь ветхий деревянный забор, поэтому на переменах выходить во двор детям запрещали. На всякий случай во дворе постоянно кто-нибудь дежурил, и чаще всего истопник и сторож дядя Федя. Что и говорить, соседство действительно было опасное, а настоящий кирпичный забор, о строительстве которого директриса хлопотала еще до войны, железная дорога почему-то упорно не строила. У роно же, естественно, не было ни денег, ни кирпича, ни рабочих.

Митя сидел на последней парте у окна — прекрасное место, — и отсюда ему были хорошо видны проходящие поезда. Провожая глазами поезда, он мечтал о том, как бы сел в какой-нибудь поезд и ехал бы долго-долго. Все равно куда, лишь бы долго-долго... А за окнами поезда пронеслись бы разные страны. Он так и думал: страны, а не города. Митя любил ездить в поездах, хотя и ездил-то всего два раза: первый раз — когда ехал с тетушкой в эвакуацию (Александр Кузьмич был в ополчении), а второй — когда в сорок пятом возвращались в Ленинград. И еще Митя не боялся поездов. Однажды на спор (получил карманный фонарик-«жужжалку») он простоял по ту сторону забора урок географии, и мимо за это время прошло четыре поезда. Надо сказать, что пространство между забором и линией было так мало, что подножки вагонов едва не задевали Митю. Как его не заметил дядя Федя, дежуривший во дворе, — объяснить невозможно.

В шестом классе... Или в седьмом?.. Все равно. В общем, в шестом или в седьмом классе пришла новая учительница русского языка. Она предложила ребятам написать сочинение на тему «Кто о чем мечтает». Наверное, ей хотелось поближе познакомиться со своими учениками, проникнуть в их душевный мир, а что же еще, если не ребячья мечта, позволяет понять мальчишку, его душу?..

Митя сидел и смотрел в окно. Он ждал поезда, который как раз в это время — в начале третьего уро-

ка — прибывал в Ленинград из каких-то дальних стран. (Иной усмехнется здесь и подумает, что Митя мог бы сбежать на вокзал, это же совсем рядом, посмотреть на расписание и узнать, откуда именно прибывал этот поезд. Но в том-то и дело, что Митя не хотел узнавать, не хотел разрушать свои грезы о дальних странах, откуда приходят поезда, а кроме того, ему было запрещено ходить на вокзал тетушкой.) Поезд запаздывал, и Митя очень волновался, придумывая самые страшные, жуткие картины крушения. Картины эти были страшные тем более, что Митя, как и большинство людей на свете, не имел представления, что такое настоящее крушение. Этот поезд Митя любил больше всех других поездов, потому что в нем был один желтый деревянный вагон, в окнах которого были разноцветные занавески. В окнах же остальных вагонов не было вообще никаких занавесок, а сами вагоны, как во всех поездах, были зеленые. А Митя не любил зеленого цвета, он наводил на него тоску. В желтом вагоне, так думал Митя, возят наших разведчиков. Для того и занавески на окнах, чтобы разведчиков не могли увидеть и узнать.

Он прекрасно слышал, о чем говорила учительница, он вообще с детства умел слышать как бы и не слушая, зато может спокойно читать и смотреть телевизор или слушать радио одновременно, но все-таки смотрел-то он не на учительницу, а в окно и думал не о сочинении, а о том, что же случилось с его поездом? Шпионы и диверсанты могли разузнать, что в желтом вагоне едут наши разведчики, и устроить крушение...

— Мальчик на последней парте, как тебя?.. — обратилась к нему учительница, и он сразу понял, что она обращается к нему, хотя в классе было три последних парты.

— Митя, — поднимаясь, сказал он. — Митя Кутейников. — И снова посмотрел в окно. Прозевать поезд он просто не мог.

— Расскажи нам, Митя Кутейников, что же интересного ты увидел за окном? — спросила учительница. — Может быть, и нам будет интересно узнать...

Ребята захихикали, задвигались.

— Тише, дети, — сказала учительница не очень строго. — Мы ждем, Митя.

— Ничего, — сказал он и пожал плечами. На самом деле он ясно-ясно видел, как наезжают друг на



друга вагоны, образуя целую гору, но наезжают не просто так, а чтобы всем наехать на желтый вагон. Он даже слышал, как трещат, ломаясь, доски...

— Но если за окном нет ничего интересного, достойного нашего внимания,— проговорила учительница в выдержанном тоне,— почему же ты отвлекаешься во время урока?

— Я не отвлекаюсь,— сказал он.

Тут надо заметить, что Митя в общем-то не любил и желтый цвет, но лучше уж желтый, чем зеленый, считал он. А самый красивый, конечно, голубой цвет. Как небо в солнечный летний день. Или как на картинке с кипарисом, которая нравилась тетушке.

— Тогда повтори, пожалуйста, о чем я сейчас говорила,— велела учительница.

— Вы говорили, что будем писать сочинение на тему, кто о чем мечтает.

— Ну, хорошо...— Учительница внимательно, с интересом смотрела на Митю.— И что же ты собираешься написать?

— Я еще не знаю,— ответил он, и тут как раз появился запоздавший поезд, и Митя, сияя от радости, вдруг спросил: — А почему все поезда зеленые?

В классе опять засмеялись.

— Какие поезда, ты о чем? — не поняла учительница.

— Вообще все поезда. Почему они зеленые?

— Значит, так надо,— строго и внушительно объяснила учительница.— Садись и пиши сочинение, а не занимайся глупостями.

Митя сел и написал одну строчку: «Хочу, чтобы поезда были голубые».

Его пересадили на другую парту, подальше от окна, а тетя Дора и дядя Саша (так Митя звал тетушку и ее мужа всю жизнь) немного поспорили между собой. (Александр Кузьмич ходил в школу, его вызвала учительница, потому что нашла, что сочинение Мити какое-то странное.) Тетушка всерьез доказывала, что у мальчика есть красивая мечта, в ней, в этой мечте, говорила тетушка, чувствуется изящный, непринужденный и небанальный полет фантазии, что свойственно обычно одаренным детям, а Митя, само собой разумеется, именно одаренный ребенок, и не увидеть, не понять этого могла только плохая учительница...

— Мальчик мечтает о красоте, что же тут стран-

ного? — возмущалась тетушка. — О красоте для всех, а это так замечательно...

Александр Кузьмич, человек реалистический, конкретный, ответил на это тетушке, что парню предстоит суровая мужская жизнь, он должен не изящно и не принужденно летать (он помахал руками над головой, на что тетушка немедленно указала мужу, сказав, что размахивать руками, да еще растопыривать скрюченные пальцы, вульгарно), а работать и кормить семью.

— То-то ты и кормишь семью, — усмехнулась тетушка, намекая на маленькую зарплату мужа.

— Мне нет надобности кормить, — спокойно возразил он. — У меня и у Митьки есть ты, а вот когда Митька вырастет, тебя не будет.

— Я всегда говорила, что ты без меня пропадешь, — отпарировала тетушка.

— Только потому я тебя и терплю.

— Это ты меня терпишь? Нет, дорогой, я тебя терплю, а не ты меня.

— Меня хоть можно терпеть, — сказал Александр Кузьмич. — А тебя невозможно.

— Если невозможно, зачем же ты терпишь? — возмутилась тетушка непоследовательности мужа.

— Так ведь ради тебя, — ответил он.

— Как это ради меня?

— Просто. Если я терпеть не стану, на кого же ты будешь шуметь?

Впрочем, Александр Кузьмич тоже не ругал Митю за сочинение. Поворчал приличия ради, сказал несколько дежурных слов насчет необходимости выполнять общие для всех школьников требования, присовокупив для вящей убедительности, что «делу время — потехе час», и на этом история с сочинением закончилась. Только учительница некоторое время приставлялась к Мите более внимательно, чем к остальным ученикам. Ее тоже можно понять, ибо нечасто пишутся такие сочинения. А Дмитрий Степанович, давно ставший взрослым и даже отцом почти взрослой дочери, так и не может взять в толк, почему вагоны красят именно в зеленый цвет. И когда однажды, провожая жену с дочкой в Ригу, где у жены жили то ли какие-то дальние родственники, то ли знакомые, он увидел голубые вагоны (скорее синие, впрочем) фирменного поезда «Балтика», искренне обрадовался этому, словно и впрямь исполнилась его большая и

светлая мечта детства. А много ли на свете найдется счастливых, которые могли бы похвастаться, не покривив душой, что исполнились их детские грезы?..

\* \* \*

Итак, мужчина в шляпе из поддельной соломки тоже вышел у цирка. Дмитрий Степанович еще не видел его, но знал, что он вышел. Это нечаянное (нечаянное ли?..) обстоятельство, что они вышли вместе, не понравилось Дмитрию Степановичу. Он понял, что мужчина обязательно обратится к нему с каким-нибудь вопросом, а ему после того, что произошло в трамвае, больше не хотелось заводить разговор с этим приезжим человеком. Стыдно было. Он понимал, что это был его позор.

Он перешел проезжую часть, ступил на тротуар, чувствуя за спиной дыхание мужчины, не шаги, но именно почему-то дыхание, и тут мужчина коснулся его руки.

— Извините,— сказал он.

— Да?..— Дмитрий Степанович обернулся.

— Извините,— повторил мужчина с виноватым видом.— В Ленинграде один цирк?

— Цирк? — зачем-то переспросил Дмитрий Степанович.— Да, да, один. Стационарный один,— поправился он.— Летом где-то в Московском районе, кажется, работает еще шапито.— Он действительно не знал в точности, где находится цирк-шапито, да и не бывал, пожалуй, никогда в Московском районе. Это же новый район, и делать там Дмитрию Степановичу нечего, а собственно Московский проспект знал только до Технологического института.

— А шапито,— это что же такое? — спросил мужчина, оглядываясь по сторонам.

— Ну... Это временный, летний цирк, в палатке,— ответил Дмитрий Степанович неуверенно.

— Значит, здесь,— проговорил мужчина.— Вроде похоже, а вроде как и нет...— Он все оглядывался, присматриваясь. И вдруг, приподняв шляпу левой рукой, сказал: — Потапов.

Дмитрий Степанович теперь вот заметил, что правый рукав у мужчины пустой.

— Кутейников,— растерянно пробормотал он, с еще большим, чем прежде, стыдом подумав, что как же этот человек не побоялся с одной рукой, к тому же левой, вступить за него. А у него две руки, и он

струсил. Именно струсил, признавался он себе. Он опустил глаза и увидел на ногах Потапова сандалеты, совсем еще новые, не потерявшие лаковый фабричный блеск, и... пестрые, с красным, носки.

— Вы ведь коренной ленинградец, верно? — спросил Потапов, но спросил так, словно и не сомневался в этомнисколько.— Ленинградцев сразу можно узнать, хоть где.

— Сейчас все перепуталось,— сказал Дмитрий Степанович скромно.

— Ну нет,— возразил Потапов и улыбнулся.— Что вы ни говорите, а ленинградца я узнаю с первого взгляда. Я и вас заметил сразу. Вот, думаю, это настоящий ленинградец, без дураков. Это же уж так, как написано, не ошибешься. А я очень смешно вырядился? — спросил с какой-то обескураживающей простотой, и Дмитрию Степановичу снова сделалось стыдно, но теперь за свои мысли о Потапове, и он решительно не знал, что ответить на это, потому что солгать не мог на такую искренность, но и правду сказать тоже не мог.— А все баба, жинка,— проговорил Потапов.— Привязалась точно банный лист: оденься да оденься приличнее, в Ленинград же, мол, собрался!.. А я гляжу, в Ленинграде-то никто так и не одевается. Еще галстук этот с медведем...— Он повертел головой и ослабил узел.— А что, если я совсем сниму его?

— Не знаю,— сказал Дмитрий Степанович.— Если он мешает вам... Жарко вообще-то и не в тон.— И подумал, что сам-то в галстук, несмотря на жару, и еще о том подумал, что быть в черной тройке и без галстука вовсе тоже хорошего мало. К тому же и рубашка...

Потапов снял галстук и сунул в карман, совсем как это делал Александр Кузьмич. Дмитрий Степанович улыбнулся.

— Другой коленкор,— удовлетворенно проговорил Потапов.— Не привык я к галстукам. У нас и носить-то их особо некуда. А я вас не задерживаю случаем?

— Я никуда не спешу.

— Да хоть и спешите, все равно не скажете. Все вы ленинградцы такие культурные. Уж я нагляделся. У нас много эвакуированных из Ленинграда было, некоторые долго после войны жили. Теперь-то давно разъехались, а если кто и остался, так наши стали. Я с Урала приехал,— объяснил он.— Решил вот посмотреть Ленинград и кое-что разузнать.

— Раньше не были?

— Да это как посмотреть. Воевал я здесь, под Ленинградом. А после в госпитале лежал.— Потапов повел плечом и погладил левой рукой пустой рукав.

— На фронте? — спросил Дмитрий Степанович.

— Отняли-то в госпитале, перебило. Ну, да это дело прошлое.

— Как же вы... — заикнулся было Дмитрий Степанович, однако спросить, как же он с одной рукой не побоялся здорового молодого парня, не решился.

— Вы про того в синей спецовке? — Потапов усмехнулся.— Чепуха на постном масле. Такие бывают храбрые только... — Он застеснялся чего-то и стал суетливо и неловко шарить по карманам. Достал папиросы, поднес пачку ко рту, вытряхнул одну папиросу прямо в рот, сунул пачку обратно в карман, вынул из нагрудного карманчика маленькую плоскую зажигалку и прикурил.— Да,— сказал со вздохом,— после войны до сей поры так и не побывал в Ленинграде. Все вроде некогда, все время не хватает, а потом подумаешь — чепуха это, что некогда. Ленъ, вот что. А то еще и денег жалко, дорога-то, конечно, дорогая. А что они, деньги эти, если разобраться?.. Вот говорят, что не в деньгах счастье, а сами гребут, гребут, будто пять жизней жить собираются. А я скажу так: правильно говорят, что не в деньгах счастье. Хоть меня взять. Мы с женой сколько лет в бараке жили? С вечера натопишь, в баню париться ходить не нужно, а утром встанешь — вода застыла, чистый лед. Вот как оно. Ну и не было ни шиша горохового, ясное дело. Что на себе, то и все богатство. А поди-ка ты, все равно дверь на замок запирали!.. — Он рассмеялся громко, непринужденно.— Дело-то прошлое, теперь у нас все есть, и еще больше, чем надо. Лучше нам стало?.. Шиш! Такая тоска, знаете, иногда заберет, за горло схватит, что хоть ты волком вой. Вот как в жизни-то получается. Жадность это или что еще?.. Совестно признаться, а ведь точно, что и сейчас не приехал бы, может, в Ленинград, когда бы не инвалидные льготы, билет бесплатный. Будто за эти самые льготы работал всю жизнь и воевал. Э-эх, мать честная, до чего же мы испортились на сытом-то столе! Тряхнуть нас всех как следует, чтобы из кубышек посыпалось к чертям собачьим!.. А?..

Дмитрий Степанович промолчал, пожал только плечами. Он никогда не копил денег, да и копить-то, в

сущности, не с чего, но и не осуждал тех, кто копит. Ему это безразлично, каждый живет так, как удобно.

— Вы, случаем, не знаете, нет ли тут поблизости госпиталя? — спросил Потапов.

— Госпиталя? По-моему, нет. Не слышал. Больница есть, а госпиталь... Не знаю.

— Вроде здесь где-то был госпиталь, в котором я лежал.

— А на какой улице? — спросил Дмитрий Степанович.

— Да кто же ее знает, на какой! — вздохнул Потапов. — Тогда не до улиц было.

— Конечно, — смутился Дмитрий Степанович. — Постойте, — вдруг оживился он. — Может, это Военно-медицинская академия?

— Академия?.. Назывался-то, правда, госпиталь... Это далеко отсюда?

— Не очень, возле Финляндского вокзала.

— Кажись, вокзала рядом не было, — проговорил Потапов с сомнением. — Цирк, говорили, недалеко и Смольный. А про вокзал нет, не говорили. Смольный-то здесь?

— В общем, недалеко, — сказал Дмитрий Степанович.

— Ничего, найду, — уверенно сказал Потапов. — Если хорошенько поискать, так все что угодно можно найти. Даже то, чего нету, — рассмеялся он. — А у меня теперь время много, девать некуда, на пенсии я. Сколько захочу, столько и буду жить в Ленинграде. Чего мне не пожить, верно?

— Да, да, разумеется, — поддержал его Дмитрий Степанович. И поинтересовался: — У вас родственники есть в Ленинграде?

— А зачем мне родственники, — в гостинице устроился. Комната на троих, но вообще чисто все и аккуратно. На троих-то оно даже еще и лучше, а?.. — Он опять рассмеялся и, кивнув в сторону пивных ларьков, предложил: — Как насчет того, чтобы по кружечке холодненького пивка? У вас в Ленинграде чуть не на каждом углу пиво продают, пей, сколько влезет, а у нас нет, у нас пробле-ема. Привозят иногда, тогда все мужское население с пакетами в одну сторону шагает, как в строю. Иди, куда все идут, не ошибешься, к пиву выведут.

— С какими пакетами? — не понял Дмитрий Степанович.

— Ну с этими, из пленки которые.

— А зачем?

— Ну да, вы же не знаете, непривычны. У нас в кружки не наливают, только на вынос продают,— пояснил Потапов.— С посудой-то не будешь все время ходить, а пакет сунул в карман и носи всегда при себе. Услыхал, что пиво объявилось, не надо и домой за тарой бежать. Э-э, не зря, нет, говорят, что голь на выдумки горазда. Давайте по кружечке, чтобы жажда не мучила.

— Спасибо,— сказал Дмитрий Степанович,— я не пью пива.— Впервые он даже как бы и устыдился этого.

— Как же так?! — искренне удивился Потапов.— Холодненькое пиво в такую жару да с приятным человеком — это же наилучшее дело! Вы что же, совсем не пьете или как?..

— Совсем. Язва у меня,— вздохнул Дмитрий Степанович.

— Язва — это паршиво,— согласился Потапов.— Был у нас на работе один с язвой, нисколько не охранялся,пил всякую гадость, а после почти весь желудок ему отрезали. Ну, раз такое дело, обойдемся и без пива. Не хлеб, однако, хоть тоже на дрожжах.

— А вы пейте,— сказал Дмитрий Степанович.— Что вам я.

— Не-е, мне с вами-то приятнее беседовать, извините, если что не так.

— Это вы меня извините, неловко получилось в трамвае...

— Чепуха. Неловко, говорят, закусывать, не выпивши. Ладно. Литейный проспект в какую сторону будет?

— Это совсем рядом, нам по пути. Я тоже туда.

— Вот спасибо вам,— сказал Потапов, радуясь.— А то был у меня адресок один, в госпитале вместе лежали, так он, оказывается, в позапрошлом году помер. Ленинградец тоже, как и вы. Раньше мы переписывались, редко правда, к праздникам больше открытки посылали друг другу, а после...— Он махнул рукой.— Как оно бывает, сами знаете. Также все некогда вроде, все недосуг. Дела, дела, а назад-то взглянешь, никаких делов и не сделал, друзей-товарищей только растерял. Я заехал по адресу, а его нет. Умер. Соседи, которые с ним вместе жили, подсказали вот, на каком трамвае ехать к цирку, а тут и вы подвернулись, на

счастье. Не-ет, у вас в Ленинграде не пропадешь. Жинка-то моя талдычила, известное дело, куда, дескать, ты поедешь да зачем, там, мол, все про всё забыли давно, ничего не найдешь... А я сказал, что найду, и найду. Не сам найду, люди помогут...

Они шли к Фонтанке, пересекали площадь Белинского, и Потапов рассказывал, как его ранило — несколько осколочных ранений сразу, в том числе раздробило локтевой сустав, — как он лежал в госпитале, как и не надеялся уже, что выживет (началась гангрена), и как его выносили добром и лаской хорошие люди, которых по-настоящему самих надо было выхаживать...

— Глядеть страшно и больно на этих людей было — кости да кожа, прозрачные все, на ногах еле-еле стоят. Вроде и душе-то держаться негде, а вот...

Слушая рассказ Потапова, Дмитрий Степанович чувствовал, как к нему возвращается хорошее настроение, хотя рассказ и был совсем не веселый. Если несколько минут назад он не знал, как уйти, отделаться от Потапова, чтобы не оскорбить его, то теперь ему вовсе не хотелось отделяться, напротив, ему хотелось побыть с Потаповым подольше, слушать его и, может, рассказывать самому. Ему было интересно, и он не ощущал больше никакого стеснения, как будто они были знакомы давным-давно и научились понимать друг друга с полуслова.

— Вот сестричка одна у нас была, любимица общая, — продолжал Потапов, улыбаясь. — Подойдет, скажет что-нибудь, пустое, если разобраться, а оно и легче делается, и жить снова хочется... Такая из нее доброта и нежность идет... Не могу объяснить. Леночка ее звали. Светленькая, стройная, а руки мягкие, ласковые. Укол, бывало, делает бóльшой, и игла тупая, а нисколько не больно. Это уж талант такой ей был даден, чтобы людям ласку дарить. Одни зло вокруг себя сеют, а другие — ласку. Я когда выписывался, ее не было, болела она, такое дело вышло. Мне бы тогда-то разузнать, где она живет, навестить ее... Больше мы и не виделись. Ну, а там то да се, потом и фамилию позабыл. А знал фамилию. Она и жила недалеко от госпиталя, рассказывала, что пять минут ходьбы...

Дмитрий Степанович тут едва не сказал, что это так говорят в Ленинграде — «пять минут ходьбы», в действительности же это может быть и полчаса, а уж



пятнадцать минут обязательно. Просто пять минут в данном случае не мера времени, а мера расстояния, то есть очень близко значит, по ленинградским масштабам рядом.

Однако не сказал, догадавшись, что такое объяснение разочарует Потапова, расстроит его.

— А вот недавно во сне фамилию вспомнил! Точно, что ее. А утром встал — хоть убей, не помню, и все. Тогда и решил, что поеду. Трудно, конечно, найти, где там, а все равно найду, раз поставил себе такую задачу. Она меня как выхаживала?.. Как самого, можно сказать, родного, вот как. Рука, оно конечно, — это верно. Но жив же, жив! А из меня еще семнадцать осколков вынули, считай, на целую плавку во мне металлу было! — рассмеялся Потапов. — Я и подарок привез. Хотите, покажу? — Не дожидаясь ответа, он вытащил из кармана красную сафьяновую коробочку и раскрыл ее. В коробочке на черной бархатке лежала малахитовая брошь, скромно оправленная в серебро. Дмитрий Степанович откровенно залюбовался брошью, он сразу понял, что это замечательная вещь, настоящая, не ширпотреб какой-нибудь, хотя и не сумел бы объяснить, чем же именно брошь была замечательная. Он просто чувствовал это.

— Очень красиво, — сказал он.

— Вы думаете, понравится? — спросил Потапов с сомнением. — В Ленинграде женщины, наверно, разборчивые, не то что у нас.

— Обязательно понравится, — убежденно ответил Дмитрий Степанович. — Такая вещь не может не понравиться, да и в магазине вряд ли такую купишь. Просто и прекрасно. — Он понял, что замечательность этой броши, ее красота и заключены в простоте и естественности. Материал — малахит и серебро — соединились в нечто цельное, гармоничное, словно им и надлежало всегда быть вместе, оттеняя и дополняя друг друга. А вот золото, еще подумал Дмитрий Степанович, здесь было бы неуместно и вычурно.

— Мой старший сын делал, — сказал Потапов, не скрывая гордости. И спрятал коробочку в карман.

— Он ювелир?

— Какое там! Начальник цеха на лесокомбинате. А это так, в свободное время занимается, для охотки. Мой отец, тот был мастером по камню. Инструмент от него разный остался, поделки, камешки, вот старший и приохотился. А младший у меня сплавщиком

работает. Лес, значит, по реке сплавляет. Орден недавно получил.

— Хорошие у вас сыновья,— проговорил Дмитрий Степанович и вздохнул.— Это приятно.

— Неплохие, не скажу, хотя характеры!.. Ну, мужик, он и должен быть с характером. У меня еще дочка есть, та учительницей немецкого языка работает. А муж ее тоже сплавщик, через моего младшего с дочкой-то и познакомились. И как уж водится, пять внуков у меня! А у вас сколько детей?

Этот неожиданный и прямой вопрос уколол Дмитрия Степановича. Ему отчего-то показалось, что Потапов все знает про него и спрашивает о детях не так просто, не ради любопытства или вежливости, как обычно спрашивают у незнакомых людей, но как бы с укором, как бы с намерением напомнить ему, что вот он, Потапов то есть, вырастил троих детей, которыми может гордиться и гордится, теперь у него пятеро внуков, которые тоже станут настоящими людьми, а он, Дмитрий Степанович, не сумел вырастить и воспитать единственную дочь. Пусть в этом меньше всего его личной вины, пусть гораздо больше, чем он, виноваты другие, все равно это его не оправдывает и не снимает с него ответственности, ибо он — отец, человек, давший дочери жизнь, не одно из действующих лиц, так или иначе ответственных за воспитание его дочери, а главное действующее лицо. Вполне возможно, что во всем или почти во всем виноваты другие. Однако в данном случае мера вины отнюдь не равняется мере ответственности, и в этом-то все дело. Только в этом и больше ни в чем. Ставши отцом, он тем самым принял на себя обязательства, от которых никто не освобождал его и тогда, когда он перестал быть мужем матери своей дочери. А может, обязательства эти сделались даже выше, как большей сделалась и ответственность.

\* \* \*

У Дмитрия Степановича была дочь Любава. Не Люба, но именно Любава, и это также влияло на их далеко не идеальные, скорее, сложные взаимоотношения, потому что дочка терпеть не могла своего имени, которое считала вычурным и несовременным. Она стыдилась своего имени. «Вы бы еще Феклой меня называли,— обижалась она,— или какой-нибудь Евпрак-

сией, чтобы смеху побольше было!..» Дмитрий Степанович доказывал, как умел, что Любава — прекрасное русское имя, что ей, дочери, другие должны завидовать, и уж по крайней мере стыдиться ей нечего, но все было напрасно, тем более жена хоть открыто и не поддерживала дочку, однако не поддерживала и Дмитрия Степановича, оставаясь в стороне, как будто это ее и не касалось. Когда он предложил назвать дочку Любавой, жена не была ни «за», ни «против», тогда ей было безразлично, потому что она ждала и хотела сына. Кто-то даже заранее убедил ее (по каким-то неизвестным признакам), что будет мальчик, и когда родилась девочка, жена разочаровалась.

Теперь эти недовольства дочери были как бы в прошлом, — вот уже шесть лет они жили врозь. Любава с матерью и отчимом, а Дмитрий Степанович один. За эти годы дочка сделалась почти совсем чужой ему и терпела его лишь потому, что он все-таки ее отец, о чем ей — справедливости ради надо сказать об этом — постоянно напоминали и мать, и бабушка, и отчим. А еще, пожалуй, и потому (в последнее время), что Дмитрий Степанович снабжал ее деньгами. То есть он, как положено, выплачивал на нее алименты, а сверх того давал Любаве еще (в связи с чем отчим Любавы не раз говорил Дмитрию Степановичу, чтобы он прекратил выплачивать алименты), и она привыкла к этому. Когда она была поменьше, он просто покупал ей какие-нибудь вещи, выяснив предварительно у бывшей жены или бывшей тещи, что нужнее, но однажды дочка заявила, чтобы он больше ничего не покупал сам.

— Ты же совсем не сечешь в этом деле, отец, — сказала Любава, презрительно поджав губы. — Если хочешь, давай наличными, а твой ширпотреб мне не нужен.

В тот раз Дмитрий Степанович купил ей сапожки. Он отстоял за ними в очереди больше двух часов и, услышав это заявление, был обескуражен. Тем более он считал, что Любава еще ребенок — ей исполнилось пятнадцать.

— Но это очень хорошие сапожки, ты напрасно так... — пробормотал Дмитрий Степанович, чувствуя и обиду, и вместе с тем какую-то неясную ему вину, хотя и не знал, в чем же он виноват. Ведь он хотел сделать Любаве приятное, хотел как лучше. А именно эти сапожки ему посоветовали купить женщины на

работе. Они-то понимают, что подходит, а что не подходит пятнадцатилетней девочке.— Твой размер,— сказал он,— красивые, добротные и стоят совсем не дешево...— Сапожки стоили семьдесят два рубля.

— Красивые, добротные! — поморщилась Любава.— Но это же не фирмá, отец! Как ты не понимаешь. Такие теперь носят древние старухи и деревенщина. К твоему сведенью, фирмá стоит не меньше двести рэ.

Дмитрий Степанович едва не сказал, что нельзя говорить «фирмá» и «не меньше двести», надо — «фíрма» и «не меньше двухсот», но все же промолчал, понял, что лучше не замечать этого.

— Двести рублей,— сказал он,— это слишком дорого.

— Ха! — усмехнулась Любава.— Это по вашим устарелым понятиям дорого, потому что у вас, у стариков, на уме одни только деньги.

Обвинение, конечно, было абсурдное, уж кто-кто, а Дмитрий Степанович никогда не думал о деньгах, однако спорить с дочкой, утверждать обратное не стал, вернее, не осмелился, уже тогда зная, что ничего не добьется, ничего не докажет, зато отношения с Любовой испортит окончательно. Вполне возможно, что она вообще не захочет с ним встречаться, а он этого очень боялся. Характером Любава вся в мать, настойчивая до невозможности, до той крайней степени невозможности, когда и говорят: «Хоть кол на голове теши». Сама по себе настойчивость — качество неплохое, только если она не переходит разумных границ, если не превращается в упрямство, когда человек отстаивает уже не истину, не свои убеждения, но просто-напросто упрямится из принципа, лишь бы не уступить, лишь бы оставить в споре последнее слово за собой. Так вот Любава именно упряма, и при этом, как и все упрямые люди «из принципа», никогда не утруждает себя доказательствами и не умеет выслушать другую сторону. Зачем, скажите на милость, что-то доказывать, если у таких людей на все случаи жизни есть аргумент, который невозможно ни опровергнуть, ни оспорить: Я так хочу, Я так считаю. Пусть будет хуже другим, если они думают иначе.

Может показаться (Дмитрию Степановичу и самому иногда кажется), что он, опасаясь за нравственность дочери-подростка, за ее чистоту, вольно или невольно преувеличивает недостатки в собственных гла-

зах, чтобы обрести право поучать, не принимает во внимание возраст Любавы (в таком-то возрасте все бывают упрямы в отстаивании своего Я), что ему, наконец, не хватает педагогической гибкости, осторожности в отношениях с дочерью (в какой-то мере это правда, ибо между ними утеряна непосредственная, повседневная связь), однако и отчим обеспокоен поведением Любавы, крайностью ее суждений, резкостью, а порой и откровенной грубостью, но главное, как и Дмитрий Степанович, ее облегченным отношением к жизни и окружающим людям. В частности, отчима тревожит «меркантильный прагматизм» Любавы. Дмитрий Степанович, когда впервые услышал это, не сразу и понял даже, что такое «меркантильный прагматизм». И Виталий Петрович (так зовут отчима Любавы) рассказал неприятную историю.

На днях, рассказывал он, девочка вдруг заявила, что ей стыдно оттого, что у них до сих пор какой-то никчемный «Запорожец», тогда как всякий нормальный человек, если он не идиот, тем более уж всякий доктор наук (Виталий Петрович именно доктор наук), имеет «Волгу» или, на худой конец, «Жигули»...

— Это она так сказала? — удивился Дмитрий Степанович.

— Представьте себе. Я пытался объяснить, что машина вообще не является предметом первой необходимости, что многие достойные и обеспеченные люди не имеют машин, отчего их авторитет и репутация ничуть не страдают, что машина всего-навсего вещь и ничего больше, которую можно иметь, но можно и не иметь, и относиться, следовательно, к машине подобает только как к вещи, как к средству передвижения... Я сказал девочке, что приобретение машины, как и любой другой дорогой вещи, из престижных соображений, по меньшей мере, безнравственно и указывает на низкую культуру человека, на его дурное воспитание и отсутствие собственного мнения... — Тут Виталий Петрович вздохнул горестно и развел руками. — Возможно, я не умею толково объяснить, но девочка не поняла меня. Нас с Татьяной Николаевной это очень сильно встревожило. Мы попытались как-то замять разговор, чтобы не акцентировать внимание девочки на этой проблеме...

— Да, лучше не акцентировать, — подхватил Дмитрий Степанович. — Ей надо сейчас думать о другом...

— Знаете, что она заявила?

— Что еще?!

— Она заявила пренебрежительно, с вызовом, что все это пустые, видите ли, разговоры! Да. А вчера потребовала у матери двести рублей на джинсы. Кто-то откуда-то привез необыкновенные, как она выразилась, джинсы. Эти...

— Фирменные,— невольно вырвалось у Дмитрия Степановича.

— Именно фирменные. У ее одноклассницы, видите ли, трое... моднячих джинсов,— Виталий Петрович поморщился брезгливо,— а у нее всего одни, хотя у этой девочки один отец — я повторяю только ее слова,— который работает сантехником в жэке, а у нее два отца, и оба с высшим образованием...

— Но как же,— проговорил удивленно Дмитрий Степанович,— ведь я совсем недавно дал ей сто рублей, и тоже на джинсы! К сожалению, двухсот рублей у меня просто не имелось.— Он мог бы добавить, что и эти сто рублей выручил за очень редкую книгу, которую специально и продал, чтобы дать Любаве на джинсы.

— Ваши деньги девочка кладет на сберегательную книжку,— сказал Виталий Петрович.— Мы с Татьяной Николаевной не хотели говорить вам, чтобы не волновать лишний раз... Однако я вынужден сделать это...

— Что-нибудь еще случилось? — встревожился Дмитрий Степанович.

— Как вам сказать? Видите ли, бабушка оставила на имя Любавы книжку с вкладом на три тысячи рублей...

— Я знаю об этом.

— Так вот,— продолжал Виталий Петрович,— к трем тысячам, оставленным бабушкой, она докладывает те деньги, которые даете ей вы. Ну, и еще кое-что... Я понимаю, что это неэтично, но мы заглянули в книжку. Там уже больше четырех тысяч рублей.

— Но откуда у нее такие деньги? — спросил Дмитрий Степанович, угадывая, что сейчас узнает нечто малоприятное.

— Во-первых, как я уже говорил, она кладет на книжку то, что даете вы. Во-вторых, иногда и я немного даю,— признался Виталий Петрович.— Приходится, сами понимаете, идти на компромисс ради нормальных отношений в семье... Еще она перепродает кое-что из своего гардероба.

— Спекулирует?..

— Я бы этого не сказал. Она продает то, что ей стало ненужным. Однако умеет продать за ту же цену, за какую покупала сама. Понимаете?.. Поносит и выручает те же деньги. В общем, в ней пробудилась нездоровая, на наш взгляд, предприимчивость, и это нас беспокоит больше всего.

— Это действительно... Я непременно поговорю с ней.

— Во всем этом есть один нюанс,— сказал Виталий Петрович.— Дело в том...— Он замаялся, сомневаясь, нужно ли говорить Дмитрию Степановичу все, что знают они с женой.— Дело в том, что у девочки есть конкретная, осязаемая, что ли, цель, добиться которой она решила во что бы то ни стало. Разумеется, это хорошо, когда у человека есть в жизни цель, однако... Не всякая цель благородна и заслуживает одобрения... Девочка поставила себе цель накопить до замужества на половину автомашины «Волга»...

Это было столь неожиданно, столь невероятно, что Дмитрий Степанович растерялся и спросил неуклюже:

— Но почему на половину, а не на целую?

— Вот! — сказал Виталий Петрович, покачав головой.— На вторую половину будет у будущего мужа.

— Постойте, постойте... Разве у Любавы есть жених? Она же еще маленькая для этого.

— Никакого жениха нет,— успокоил его Виталий Петрович.— Просто она убеждена — и это также ее цель,— что, когда наступит время выходить замуж, она найдет именно такого жениха, у которого будут деньги на половину «Волги». Вы меня понимаете?

— Признаться, не совсем. Ведь у жениха, скажем, может и не быть таких денег...

— Она будет искать такого, у которого есть. Иначе не пойдет замуж. Теперь, как она выразилась, нет дураков.

— Но это же... это...— потрясенный услышанным, пробормотал Дмитрий Степанович. У него не было слов, чтобы выразить свое отношение к тому, что он узнал.

— К сожалению,— сказал Виталий Петрович,— это программа. Учитывая характер девочки, ее настойчивость, можно предположить, что она так и поступит. Мы с Татьяной Николаевной решили, что обязаны поставить обо всем в известность и вас.

— Да, да, разумеется, спасибо. А я сегодня же, немедленно поговорю с Любавой. Необходимо предпри-

нять какие-то шаги, нельзя допустить, чтобы с этих лет... Я понимаю, юношеский максимализм, становление личности, стремление что-то доказать взрослым, но то, что рассказали вы...

Это было страшно. Однако еще страшнее, что Дмитрий Степанович ничего в сущности не мог сделать, посоветовать даже — он понимал это, — но если для Любавы они, то есть он сам и ее отчим, были людьми, у которых доступно что-то брать, то для него Виталий Петрович не был тем человеком, с которым он делил ответственность за воспитание дочери и, следовательно, за ее будущее. Так вот распорядилась жизнь, что при живом отце дочка растет с отчимом, что есть двое мужчин, которые считают себя ответственными за нее (Дмитрий Степанович уважал Виталия Петровича и не имел к нему никаких претензий, уж что случилось, то случилось, а человек он в высшей степени порядочный, интеллигентный), но в том-то и дело, что это только кажущаяся двойная ответственность, ибо по всем законам нравственности такую ответственность делить ни с кем нельзя. Как нельзя, пожалуй, и сказать, что «распорядилась жизнь», потому что распорядились все-таки они, родители Любавы. Человек сам и архитектор, и строитель собственной жизни, а до определенного возраста и строитель жизни своих детей.

В тот же день, не откладывая, Дмитрий Степанович позвонил Любаве и попросил ее срочно приехать к нему. Она приехала спустя два часа, которые он провел в напряженном, нервном ожидании. Он не знал, как и что будет говорить дочери, не знал даже, с чего начать этот трудный разговор. Любава сама начала, спросив с порога:

— Отец, разве у тебя сегодня получка?

— Получка?.. Нет, получка у меня не сегодня. А что?

— Разве ты меня вызвал не для того, чтобы снабдить ассигнациями? Понимаешь, у одной девочки...

— Трое джинсов, а у тебя одни, — сказал Дмитрий Степанович.

— Суду ясно и понятно, — пренебрежительно проговорила Любава, устраиваясь с ногами на оттоманке. — Ты виделся с Виталием (так она называла отчима), и у тебя проснулся воспитательский зуд. Валяй, отец. Я тебя внимательно слушаю. Кстати, сейчас самое время загнать твои раритеты. — Она кивнула на



книжные полки.— Куда тебе столько книг? Только пыль собирать и моль кормить, а скоро они упадут в цене. Ты подумай и прими во внимание.

— Ну что ж,— сказал Дмитрий Степанович,— раз ты поняла, что мы встречались с Виталием Петровичем, значит, знаешь, о чем именно я собираюсь с тобой поговорить, и нам будет легче вести этот неприятный разговор.

— Разве у тебя возникали какие-нибудь сложности? — усмехаясь, спросила Любава.— Я-то думала, что вы с Виталием все обсудили, взвесили и распределили роли между собой.

— Не паясничай, пожалуйста. Это правда, что ты поставила себе цель накопить на половину «Волги»? И что перепродаешь свои вещи?

— Правда. Только вещи я не перепродаю, как ты выразился, а просто продаю.

— Не вижу принципиальной разницы.

— Я продаю то, что мне не нужно, а кому-то очень нужно.

— Выходит, ты еще и доброе дело делаешь?

— А что здесь такого? — Любава пожала плечами.

— Но ведь ты продаешь за ту же цену, за которую купила сама, хотя вещь уже не новая...

— Ха! — рассмеялась Любава.— Ты же ничего в этом не понимаешь. Все так делают теперь. Я тоже не новые тряпки покупаю.

— Тем более,— сказал Дмитрий Степанович.— Из этой купли-продажи ты извлекаешь пользу, какой-то доход, копишь деньги, которые не заработала своим трудом, чтобы добиться определенной цели, а цель у тебя не совсем...

— Нормальная цель, отец,— перебила его Любава.— Ты ведь насчет замужества, да?..

— И насчет замужества тоже. Кстати, тебе рано об этом думать.

— Лучше рано, чем поздно,— возразила она.— И по-моему, всегда было принято у нормальных людей, чтобы жених и невеста приносили на алтарь супружества нечто вещественное. Совершенно не понимаю твоего возмущения. Просто ты, отец, безнадежно отстал от реальной жизни, копаясь в своих архивах. У тебя ложное, идеализированное представление о жизни. Люди живут не так, как ты думаешь.

— И как же они живут?

— А по принципу: кто смел, тот и съел. Это при-

думали не мы, а отцы ваших отцов, только ты не хочешь этого замечать.

— Плохие отцы,— сказал Дмитрий Степанович, не подумав, что слова его против него же и обернутся.

— Ты у меня, конечно, хороший отец! — Любава с усмешкой смотрела на него, и он не нашелся, что ответить, потому что и сам не считал себя хорошим, достойным отцом. Вообще не считал хорошими родителями тех, кто живет в разводе.

Она поняла, что сказала лишнее, соскочила с оттоманки и повисла на шее Дмитрия Степановича.

— Ну, ну...— пробормотал он растроганно.— Задумай.

— Извини, папка. Я знаю, что в этих делах все сложно, все запутанно... Только и меня не надо винить.

— Я не виню, я хочу понять, чем ты живешь, откуда у тебя эти ужасные замашки, недостойные порядочного человека...

— А ты подумай.

— Думаю, однако ничего вразумительного придумать не могу.

— Не обидишься, если я скажу тебе всю правду? — спросила Любава, снова устраиваясь на оттоманке.

— Не обижусь,— пообещал Дмитрий Степанович.

— Разве не ужаснее, что вы все, все откупаетесь от нас? Вам некогда заниматься воспитанием собственных детей, у вас более важные заботы, вот вы и откупаетесь, кто чем может. А потом спохватываетесь и начинаете проводить беседы о нравственности, о долге... Ты-то, может, и другой, только и тебе некогда было заниматься моим воспитанием. Для тебя всегда было важнее раскопать, кто жил до царя Гороха в доме за углом... Прости, отец, но это сущая правда...

Дмитрий Степанович вдруг с удивлением осознал, что дочка выросла, что она почти уже взрослая, у нее выработались свои убеждения и, наверное, действительно не ее вина, что эти убеждения противоречат его убеждениям. Ему стало страшно. Он мысленно воспроизводил разговор с Любавой и то, что услышал от Виталия Петровича, и не видел выхода. А ведь между тем она еще далеко не все высказала ему и далеко не все знали мать и отчим. У нее, например, было запланировано найти жениха не только с определенной суммой, чтобы им хватило на «Волгу», но желательно,

чтобы родители его были богатые. Или так же, как ее родители, жили в разводе. При таком раскладе, рассчитала Любава, больше народу, заинтересованного в устройстве их жизни, будет принимать участие в этом деле. Ее рассуждения были просты — одни купят им мебель, другие — кооперативную квартиру (не жить же вместе с предками!), третьи построят (или подарят свой) садовый домик, но чтобы не очень далеко от города... Тут важно, чтобы родители жениха были такими же сентиментальными интеллигентами, как ее отец и отчим. Тогда все будет в порядке, потому что эти-то все отдадут...

Возможно, Дмитрий Степанович не сильно погрешил бы против истины, когда бы отверг свою вину за то, что дочка вырастает именно такой, а вместе с виною естественным образом отверг бы и ответственность, ибо ведь вина влечет за собой ответственность, а не наоборот, однако это было бы не в его характере. Это противоречило бы его принципам, его нравственным, моральным правилам и пониманию долга, хотя инициатором их развода с женой был не он. Но у бывшей жены тоже есть свои принципы и нравственные правила, против которых он, возможно, и не стал бы возражать, когда бы они вытекали не из упрямства, не из ложного истолкования жизненных основ и семейного благополучия.

В том-то и дело, что жена в отличие от Дмитрия Степановича всегда на первое место ставила материальное благополучие, как бы отесняя, как бы не принимая и вовсе в расчет все другие ценности. И даже не просто материальное благополучие, то есть необходимый достаток, что вполне понятно и не подлежит ни порицанию, ни осуждению и против чего Дмитрий Степанович никогда не ополчался, как однажды выразилась жена. Ей обязательно было нужно, чтобы у них было все «как у всех», «как у людей», и этого не умел понять Дмитрий Степанович, с детства привыкший довольствоваться необходимым. Александр Кузьмич, например, всю жизнь (сколько помнит Дмитрий Степанович) ходил в одной и той же кожаной куртке, а после смерти тетушки в шкафу остались висеть всего два платя, однако никому, кто знал их, не пришло бы в голову подумать даже, что они живут бедно. Скромно — да, а вернее, как говорила Дора Евграфовна, по средствам. И никогда ни она, ни ее муж не испытывали зависти к людям с большим достат-

ком. Не испытывал и Дмитрий Степанович, а жена завидовала, и эта ее зависть тем более была унижительной, что завидовала она подчас людям недостойным, живущим именно не по средствам, то есть на средства, добытые нечестным путем. Правда, она не заходила настолько далеко в своих желаниях, чтобы требовать норковую шубу, к примеру, однако... Однако если они шли по улице и встречали женщину в норковой или вообще в дорогой шубе, какую вряд ли купишь на обычную зарплату не академика и не генерала, жена непременно вздыхала и, провожая завистливым взглядом эту самую шубу, говорила обиженным тоном, что вот есть же на свете счастливые женщины, которых мужья так одевают. Она не просила, не требовала невозможного, лучше Дмитрия Степановича зная цену вещам. Она жаловалась ему, словно не он был ее мужем, что у нее нет этого невозможного, и всякий раз, когда происходило подобное, он чувствовал себя каким-то приниженным, ни на что не способным, в нем пробуждалось сознание вины перед женой, и это сознание собственной вины сильно угнетало его, а как поправить эту вину — он не знал. Объяснять же, что и в дорогой шубе женщина может быть несчастной, было бы и глупо, и бессмысленно.

Разговоры эти обычно переходили все же в упреки — жена обвиняла Дмитрия Степановича в том, что он не думает о семье, о ее благополучии, но думает только о себе, о своем интересе, — и эти упреки, как ни странно, были очень похожими на упреки тещи, хотя теща вроде бы и защищала Дмитрия Степановича, чаще принимала в спорах его сторону...

В конце концов, говорила теща, мужчина прежде всего должен любить свою работу. Даже прежде, чем женщину, жену. И не спорь, Татьяна, я знаю, что говорю, останавливала она дочь, пытавшуюся заявить свое главенствующее право жены. Так было испокон веку и так надо, чтоб было. Что это за мужчина, если ему наплевать на свою работу?.. Но работа, дорогой зять, тоже должна быть достойной настоящего мужчины. Кто, скажи ты на милость, гнал тебя на эту работу в архив, на эту мизерную, копеечную зарплату?.. Говорят, ты хороший историк. Следовательно, твои знания и твой опыт дают тебе право занять соответствующее знаниям и опыту положение и получать соответствующую зарплату. (Теща иногда умела выражать свои мысли торжественно, высокопарно, и

ей нельзя было отказать в логичности рассуждений). Скажу даже больше. Если бы твоя работа была достойной уважения и достойной тебя, я бы ничего не говорила, когда бы тебе платили меньше, чем ты этого заслуживаешь, и даже меньше, чем платят сейчас. Врачам, учителям платят мало, но заслуживают-то они большего, просто их труд не оплачивается по заслугам, так уж получилось — это когда-нибудь обязательно исправят, — но тебе, не обижайся, платят столько, сколько и стóит твоя работа. А может, и больше, чем она стóит, хотя это больше и слишком мало, чтобы нормально обеспечить семью.

— Но ведь и я, как врач, как учитель, получаю столько, сколько мне платят, — возражал Дмитрий Степанович, усматривая в позиции тещи некую, как ему казалось, лазейку, брешь. Он и не подозревал, разумеется, что это не брешь вовсе, не лазейка для него, то есть не слабость тещиной позиции, но умело составленная ловушка.

— В том-то и дело, что ты не врач и не учитель! — победоносно восклицала теща. — У них нет выбора, потому что их профессии соответствуют месту работы...

— Моя профессия тоже соответствует...

— Нет, дорогой зять. У тебя есть выбор. Твою нынешнюю работу с таким же успехом может выполнять любая грамотная женщина или пенсионерка. Разве нет?

— В принципе может, если имеет соответствующую подготовку, — согласился Дмитрий Степанович.

— И в принципе и без принципа, — сказала теща. — У тебя были возможности перейти на другую работу, где зарплата гораздо больше, но ты не хочешь. Потому что ты слишком любишь собственный покой, устраиваешь для себя душевный комфорт в ущерб интересам и потребностям семьи. Это не только твоя вина, я понимаю. Так тебя воспитала твоя Дора Евграфовна. Но ты же взрослый, умный человек, сам уже должен разбираться, что к чему. А ты считаешь, что если тебе хватает копеек, которые ты приносишь в дом, то должно хватать и другим. Так не бывает, дорогой мой зять. Ты обязан, как мужчина и как глава семьи, совмещать собственные интересы и потребности с потребностями семьи. Иначе какой же ты муж и отец?..

Возразить на это было трудно. Дмитрий Степанович, в общем-то, понимал, что в чем-то не совсем, не

до конца прав, однако и теща была не права, когда обвиняла его в том, что он любит собственный покой. И работу он менять не захотел не потому вовсе, что превыше всего ценит покой и оберегает его, а потому, что ему нравится эта работа, то есть нравится работать именно в архиве. В этом он чувствует свое призвание.

— Нашла кому доказывать! — вступала в разговор жена. — Он ведь у нас бессребреник, почти святой, все мечтает о каких-то голубых поездах. Они ему и во сне снятся, эти поезда.

Жена от самого же Дмитрия Степановича и знала, как он давным-давно писал сочинение, поэтому с ее стороны упоминание об этом было бестактным и оскорбительным. Он рассказывал о сочинении, вообще о своих детских грезах еще в ту пору, когда они не были женаты, и тогда ей нравилось это, как нравилось и многое другое, в том числе и его уступчивость, скромность, его доброта и даже неумение постоять за себя. Она находила эти качества его характера добропорядочными и милыми, и ей казалось, что с таким человеком будет легко и просто жить. К тому же Дмитрий Степанович не пил и не курил, а это не частая добродетель среди мужчин.

— А ты не лезь! — резко обрывала ее теща. — Раньше надо было думать, никто тебя не гнал замуж. Я тебя предупреждала, что тебе нужен другой муж. А ты не сердись на меня, — миролюбиво говорила она Дмитрию Степановичу. — Я человек старых взглядов, я все видела в жизни, и мне теперь все можно.

— Да что вы, я и не сержусь, — смущенно бормотал он, совсем уж сбитый с толку.

— По своей наивности и серости я рассуждаю просто: конкретный живой человек и живет конкретной, реальной жизнью. А ты живешь прошлым. Людям не до того, кто и когда построил какой-то там дом. У людей хватает более важных забот. Не знаю, может, это и в самом деле интересно, кто построил угловой дом. Хренов, кажется?.. Но ей-то какое до этого дело? — Теща показывала на свою дочь. — Ей гораздо важнее знать, сколько ты принесешь пятого и двадцатого денег в дом, интереснее, как живут ее соседи, и ты обязан с этим фактом считаться. Ничего не поделаешь — она твоя жена. Ты сам принял на себя определенные обязательства, когда женился. Я предупреждала Татьяну, что ты ей не пара, или она тебе,

все равно. А тебя предупреждала Дора Евграфовна... Не перебивай, пожалуйста, я знаю, что говорю,— заметив движение Дмитрия Степановича, сказала теща.— Ты умный человек, должен был и сам понять, если уж не захотел прислушиваться к совету своей тетушки. На этот раз она была права.

— Вы ошибаетесь, тетушка ничего такого не советовала,— все-таки возразил Дмитрий Степанович, хотя в действительности теща говорила сущую правду: Доре Евграфовне с первого знакомства не понравилась Татьяна, и она сразу же, в тот же вечер, сказала, что они не пара.

— Ладно уж,— отмахнулась теща,— дело прошлое. Я сейчас не об этом. Ты сам посмотри, во-он куда махнули другие,— она ткнула пальцем в потолок,— а ты все сидишь в этом архиве.

— У других, может, талант...

— Не талант, а открытые глаза и нормальное отношение к жизни. Талант, милый, у тебя. Только ты не воспользовался им. Я думала, что хоть когда защитишь диссертацию, что-нибудь изменится. А ты так и сидишь сиднем, в бумажках зарылся и знать ничего не хочешь. У тебя прямо страсть какая-то... Вот объясни мне, серой и необразованной бабе, почему интересоваться, как живут твои соседи, плохо, неэтично, а интересоваться, как жили в прошлом...

— Но это же история! — воскликнул Дмитрий Степанович.

— История! Те люди, в жизни которых ты копаешься, тоже были чьими-то соседями, между прочим.

— Я занимаюсь историей города...

— Все равно,— подытожила теща.

Дмитрий Степанович, как было сказано раньше, и вообще-то не любил и не умел спорить, спорить же с женой и в особенности с тещей он еще и побаивался. О чем бы они ни заводили разговор, он неизменно оставался неправым. Дело не в том, что жена или теща считали его неправым, а в том, что он сам чувствовал это. А что касается наивности и собственной серости, тут была не права теща. Образования она не имела, это так, зато обладала здравым смыслом и редким среди женщин умением мыслить логически и точно, ясно излагала свои мысли. Это обескураживало, обезоруживало Дмитрия Степановича. Он видел, что теща относится к нему с уважением, с большим уважением и пониманием, чем к дочери, то есть к его жене, но в

чем-то важном была заодно с нею. Всякий раз, когда в размолвки с женой вмешивалась теща, он думал, что, возможно, они и правы, и тогда почти уступал, почти соглашался с ними, в том числе и с тем, что ради своего интереса поступается интересами семьи, что мало заботится о семье, мало зарабатывает, и думал, что, наверно, и впрямь нужно сменить работу. Для начала хотя бы заняться репетиторством (многие так поступают), подготовить цикл лекций и выступать с ними через общество «Знание» — это, говорят, неплохой заработок (правда, он не любил публичных выступлений, однако ведь через свою нелюбовь можно и перешагнуть), но, оказавшись назавтра в архиве, он тотчас забывал о своих вчерашних благих намерениях. (Справедливости ради надо заметить, что изредка он все же подрабатывал немного консультациями и рецензиями). Ибо, оправдывал он себя, как не может быть внуков, если не было дедушки и бабушки, так не может быть и народа, нации, если нет прошлого, а прошлое как раз и продолжает существовать в документах, хранителем которых он работает и которые просто даже кощунственно называть бумажками, как это делают жена и теща. Это живая нить, связывающая наш сегодняшний день с нашим же днем вчерашним. Конечно, есть и более насущные, более важные дела, Дмитрий Степанович всегда чувствовал себя немножко виноватым перед теми людьми, кто занимается этими делами, но кто-то же должен работать и в архивах, кто-то же должен быть и вторым, и третьим, потому что не могут все быть первыми. Обществу нужна и его работа, нужны и его знания, иначе общество просто-напросто не стало бы содержать архивы, а это, между прочим, стоит немалых средств.

Ему лично и в самом деле маловато платят, он не спорит. И уж само собою, он не отказался бы получать больше, оставаясь на прежнем месте, но платят-то ему за конкретную работу, платят столько, сколько считают нужным платить, — оклады устанавливает не он. А по правде говоря, им хватает его зарплаты и зарплаты жены. У них есть все необходимое, что же еще нужно?.. Сколько бы человек ни зарабатывал, рассуждал Дмитрий Степанович, все равно будет казаться, что мало, а приобрести все, что хотелось бы и что имеется у других, невозможно, да ведь и не нужно это. И напрасно теща утверждает, что он будто бы живет с закрытыми глазами. Он все прекрасно видит



и многое (не все, разумеется) понимает. Однако понимание вовсе не означает согласия. Нет, он не осуждает людей, для которых дефицитная, дорогая вещь важнее знания, важнее чувства причастности к прошлому своего народа. Пусть себе, он никому не судья и не обвинитель. В конце концов, у каждого свои интересы в жизни, только он не хотел бы, чтобы его жена и тем более дочь брали пример с этих людей.

Увы, это ему не удалось. Или у него не хватило настойчивости, твердости, убеждений, наконец, или жена оказалась настойчивее и тверже его.

Теперь Дмитрий Степанович живет один, скромно и просто. В результате каких-то сложных, многоступенчатых обменов бывшая жена с новым мужем, с дочкой и со своей матерью получили большую трехкомнатную квартиру, о какой жена всегда мечтала, а Дмитрий Степанович поселился в комнате, где и живет. Комната небольшая, пятнадцать метров, в многонаселенной коммунальной квартире, обставленная старой мебелью, купленной в комиссионном магазине на углу Марата и Разъезжей, однако он не считает себя в чем-то ущемленным, обиженным. У него нет дорогого импортного гарнитура, зато есть старинное удобное кресло, купленное всего за тридцатку, которое столляр из архива отреставрировал за пятнадцать рублей; у него нет спальни под названием «Маруся» или «Генриетта» (кстати, по мнению Дмитрия Степановича, ничего более глупого, безвкусного придумать нельзя), зато у него прекрасная довоенная оттоманка, на которой одинаково удобно и спать, и сидеть; он не ездит на модные курорты, отдыхает — если вообще отдыхает — по профсоюзным путевкам в домах отдыха на Карельском перешейке, но опять же не чувствует никакого разочарования и никому не завидует. Разве что беспокоят немножко соседи по квартире, однако и это не настолько жизненно важно, чтобы придавать этому какое-то значение и тем более расстраиваться. Он знает, что многие считают его неудачником, недотепой и прочее, но сам-то он вовсе не считает себя неудачником, и это главное. Да какой же он неудачник, в самом деле, если у него есть все необходимое для нормальной, полноценной жизни и есть любимая работа! Раньше его упрекала жена, что у них «ничего нет», а у них было все, теперь вот Любава постоянно твердит, что «у тебя совсем ничего нет!», а Дмитрий Степанович время от времени обна-

руживает вокруг себя, на пятнадцатиметровом пространстве, лишние, необязательные вещи. Так он расстался сначала с буфетом, который ему оставили бывшие жильцы этой комнаты, а после и с обеденным раздвижным столом — ему вполне хватает ломберного стола. Спору нет, некоторые современные вещи, всякие там бытовые приборы, в чем-то облегчают быт, однако, как заметил Дмитрий Степанович еще будучи женатым (у них были и стиральная машина, и полтер, и пылесос, какие-то взбивалки и выжималки), почти никогда не экономят время, скорее, наоборот. Но какой же смысл облегчать не такой уж и тяжелый домашний труд, например, в ущерб времени? Получается не облегчение, а усложнение...

— Ты просто невозможный человек, — сказала однажды жена после очередного и бессмысленного спора о том, как надо и как не надо жить. — Ты либо прикидываешься простачком, потому что так тебе удобнее — спрос меньше, либо ты действительно простак, а простачки в наше время — анахронизм. Это похуже чего-нибудь другого. Ты ненастоящий, Кутейников. — Тут жена посмотрела на него как бы не узнавая, и он на какое-то мгновение в самом деле ощутил свою ненастоящность, словно это был и не он, и ему сделалось тогда не по себе, жутко как-то сделалось и тоскливо. — А я баба, баба, и ничего больше, слышишь?! И мне нужен обыкновенный, живой мужик, муж, а не архивариус. И вообще, я хочу нормально жить, как живут все люди, и чтобы моя дочь росла и воспитывалась в нормальных человеческих условиях.

— И чем же у нас ненормальные условия? — спросил он робко, понимая, что лучше бы не спрашивать, лучше бы молчать и слушать. — Что я, жулик какой-нибудь или аферист?

— Да нет, ты честный, ты порядочный, Кутейников, когда касается других, а вот для семьи... Твоя порядочность ни копейки не стóит, а нам надо жить. Кому, кому нужна твоя честность, когда у меня нет лишней пары сапог?.. — Здесь Дмитрий Степанович едва опять не спросил, зачем нужна лишняя пара сапог, но смолчал, и хорошо сделал. — На кой черт мне твоя порядочность, если мы с дочкой не можем позволить себе съездить на юг, а Рижское взморье мне надоело?..

Он молчал подавленно, решительно не зная, что в этом случае вообще можно ответить. Сказать, что

много и на Рижском взморье не бывали никогда?.. Но у жены — он знал — и на это возражение есть готовый контраргумент: она скажет, что ей нет никакого дела до этих многих. Когда жене выгодно и так нужно, она ссылается именно на других, а когда почему-то невыгодно, она говорит, что до других ей нет дела.

— А знаешь, Кутейников, ведь ты никому не нужен и тебе никто. Ты живешь, нет, существуешь в придуманном мире, тебе хорошо там, а я не хочу, устала. Давай лучше спокойно разойдемся.

И они разошлись, хотя Дмитрий Степанович и был против развода. Он пытался спасти семью, обращался за поддержкой и к дочке, и к теще (дочка только плечами пожала, ей, дескать, все равно), но поддержки не получил.

— Склеить можно сахарницу, — глубокомысленно заметила теща, — но склеить отношения между мужчиной и женщиной... Это невозможно, Дмитрий. Вообще, разбирайтесь сами.

— Но у нас есть дочь, ваша внучка!

— Я полагаю, что ты не собираешься бросить свою дочь?

— Разумеется, но когда люди живут врозь...

— Бывает, и даже часто, что жизнь вместе страшнее любого ада.

После уже Дмитрий Степанович все хотел узнать, был или нет тогда Виталий Петрович, но так и не решился спросить. В сущности, это не имеет значения. А человек он оказался на редкость хороший, добрый и к Любаве относится прекрасно. То есть раз уж жизнь распорядилась таким вот образом, раз нельзя было предотвратить развод, лучшего отчима Любаве и пожелать невозможно...

\* \* \*

Итак, Дмитрий Степанович возвращался домой в отличном расположении духа и был даже разговорчив как бы, то есть мысленно. Привычка разговаривать мысленно проявилась у него еще в детстве, отчего все считали его молчуном, букой, не подозревая, что это не совсем так, что он ведет долгие разговоры, и не сам с собой, а с собеседником, хотя и только воображаемым. Играют же другие в шахматы, не имея перед собой противника, партнера. А Дмитрий Степанович в детстве был болезненным, плохо развит физически,

поэтому не принимал участия в обычных мальчишеских забавах, больше сидел дома, чтобы во дворе не выглядеть пай-мальчиком, много читал, предпочитая книги по истории, воображая себя то рыцарем, то пиратом, то ученым-путешественником, он по-своему реставрировал исторические факты и очень радовался, когда его догадки находили позднее подтверждение в толстых научных книгах. Тетушка хвалила его за усидчивость и прилежание (ей-то, понятно, было спокойнее, когда он сидел дома), а муж ее удивлялся, что мальчишка вместо футбола штудирует малопонятные и скучные сочинения, и называл его копуном. Свой отпечаток на Дмитрия Степановича, вернее, на его характер и образ мыслей, наложила и профессия, требующая сосредоточенности, отреченности от повседневной суеты и самоуглубления, так что на работе ему пригодилось умение ограничиваться лишь самыми необходимыми разговорами. Другие сотрудники, устав молчать, отводят душу за беседами в курилке, Дмитрий же Степанович в курилку и не заходит.

Он тихо, незаметно является на службу и так же тихо и незаметно уходит, когда кончается рабочий день. Он бы сидел до ночи, однако порядки в архиве строгие, помещения каждый день опечатываются и сдаются под охрану. Между прочим, строгость порядков, режим подтверждают важность и необходимость этой работы. Да и начальство, а также те, кто пользуется его услугами — советами, консультациями, уважают Дмитрия Степановича и ценят как незаменимого работника. Он знает и помнит столько, что мог бы, как смеются шутники, заменить тысячи единиц хранения. Разве это не достаточная компенсация за малую зарплату? Сколько людей, получая много денег, не получают удовольствия от работы, удовлетворения, а вот для Дмитрия Степановича работа — всегда праздник, и наоборот — выходные превращаются как бы в будни, и хорошо еще, что он может и дома продолжать работать, особенно в последние годы, когда он остался один. Конечно, он понимает, что воспитание дочери не менее, а возможно, и более важное дело, ибо ведь и работает он не для себя только, как считают бывшая жена и бывшая теща, но для других, в том числе — и прежде всего — для будущего.

Обычно, вернувшись вечером домой (вообще-то правильнее было бы сказать, что он возвращается по

утрам в архив), Дмитрий Степанович записывает коротко в дневник, который аккуратно ведет уже много лет, самое главное, что произошло в течение дня и какая была погода — это обязательно, немножко читает, смотрит телевизор (старенький «Рекорд», опять же купленный в комиссионке всего за сорок пять рублей), но далеко не все передачи — программу «Время», «Очевидное — невероятное», «В мире животных», «Клуб путешественников», иногда кинофильмы и телеспектакли, преимущественно детективные. Страсть к детективам у него также проявилась в детстве (Александр Кузьмич ничего, кроме детективов, не читал), и, возможно, отсюда родилась и страсть к изысканиям. Ведь если разобраться, розыск преступника сродни розыску какого-нибудь документа, письма, просто забытого имени, какой-нибудь мелочи, без которой бывает трудно понять историю вопроса, установить истину или опровергнуть ошибочное мнение, освоенное как раз на незнании.

Из комнаты Дмитрий Степанович выходит редко, по необходимости, на кухне почти совсем не появляется (утром он пьет растворимый кофе, пользуясь кипятильником, обедает в столовой по соседству с архивом, там прилично и недорого кормят, а ужинает яйцом всмятку, сосиской и кефиром), по телефону ему звонят редко (он зря не дает номер квартирного телефона), и сам звонит тоже от случая к случаю. Не потому старается не пользоваться телефоном, что ему, например, жалко денег — он как раз очень аккуратно платит за комнату и за все коммунальные услуги, никогда даже не подумав, что с него много берут хотя бы за электричество, — а потому, что считает неприличным вести личные разговоры из коммунального коридора, так что, если ему необходимо серьезно поговорить с дочкой, он предпочитает выйти на улицу и позвонить из автомата. К тому же телефон висит возле двери соседки Антонины Петровны, и Дмитрий Степанович понимает, как ей надоедают чужая болтовня и бесконечные звонки, как понимает и то, что Антонина Петровна потому, может, и нервная, неуживчивая, что не знает покоя даже в собственной комнате. И ведь редко кто подойдет к телефону, если не ждет звонка к себе, но все надеются именно на Антонину Петровну, — надоедят, дескать, звонки, возьмет трубку. Дмитрий Степанович, никому ничего не говоря, сходил на телефонную станцию и узнал,

нельзя ли перенести аппарат в кухню, чтобы звонки не беспокоили соседку. Оказалось, что нельзя. Правда, он так и не понял, почему нельзя, однако подробности выяснять не стал, привыкши выполнять все правила, какие существуют. Вовсе не обязательно всем знать, почему что-то можно, а что-то нельзя, иначе ко всякому правилу пришлось бы прикладывать объяснение или обоснование и рядом с каждой табличкой: «Не курить» — вывешивать примечания на тот случай, если кто-то захочет выяснить, почему нельзя курить вот хотя бы в архиве. Бывают, конечно, и глупые, именно ничем не обоснованные правила (на памяти Дмитрия Степановича был один директор архива, который издал приказ, чтобы сотрудники устраивали перекуры в строгой очередности «во избежание ненужной толчеи в помещении для курения и производительных потерь рабочего времени»), однако тут уж совсем нелепо было бы требовать объяснений, настолько очевидна их глупость.

Взять, к примеру, ближайший к дому Дмитрия Степановича молочный магазин. Там, чтобы не отстать от веяний, недавно ввели систему самообслуживания. Все думали, что теперь будет удобнее. А получилось?.. А получилась какая-то ерунда. Молоко в бутылках или в пакетах, кефир, простоквашу, копеечные сырки покупатели берут сами на открытых витринах, а все остальное по-прежнему отпускает продавец, только раньше сначала нужно было заплатить, а после получал товар, сейчас же — наоборот. Удобнее людям не стало, зато кассир в полном соответствии с их торговыми правилами проверяет сумки, не украли кто-нибудь бутылку кефира. Правда, на подоконнике, в тесном проходе, валяются две-три казенные корзины, так что покупки можно складывать в них, но сумки-то оставлять негде, разве что на том же подоконнике, без присмотра. Само собой, что за сохранность несданных сумок работники магазина не отвечают, опять же в соответствии с их правилами. Ну что тут можно сказать, что можно оспорить?.. Ничего. Некоторые все же спорят, возмущаются, пытаются доказывать, что это не по правилам, а правила между тем вывешены на стене для всеобщего обозрения. Дмитрий Степанович поступил проще и разумнее: он вообще перестал ходить в этот магазин, ему неприятно и унижительно, когда заглядывают в его портфель. И в этом, как и во многом другом, сказыв-

вается тетушкино воспитание. Она всегда говорила, что лучше отступить, плюнуть лучше и отойти в сторону, чем ввязываться в никчемный спор. Дураку, говорила она, все равно ничего не докажешь, на то он и дурак, а умный и так поймет, что не прав. Доказывая свою правоту, защищая свои права и справедливость перед дураком, человек унижает свое достоинство, роняет его в глазах приличных людей. Пусть дураки считают, внушала тетушка, что дурак ты, а не они. От этого у тебя ума не убудет и у них не прибавится.

Вот Дмитрий Степанович знает, например, что соседи по квартире относятся к нему иронически, посмеиваются над ним (не все, возможно, но большинство), не принимают его всерьез, точно он ребенок или душевнобольной, однако это нисколько не огорчает и не оскорбляет его. Впрочем, огорчать-то, пожалуй, и огорчает, потому что все же огорчительно узнавать, видеть, как люди ошибаются в своих суждениях, основанных на непонимании. Смеются ведь соседи не над ним, если разобраться, а над его будто бы странностями, которыми сами же и наделили Дмитрия Степановича, не понимая, что это не странности вовсе, но свойства характера, результат хорошего воспитания. В любом коллективе — а коммунальная квартира именно коллектив — всегда найдется человек, над которым удобно, легко смеяться, которого даже вопреки здравому смыслу не принимают всерьез, но смеются-то люди чаще всего над собственными фантазиями, то есть как бы сами над собой. Так что по-хорошему Дмитрий Степанович должен не обижаться на соседей, а жалеть их, раз они не понимают этого, не видят всей нелепости положения, в какое себя поставили. И он жалеет, но не показывает своей жалости, не демонстрирует ее, потому что это гораздо унижительнее, чем быть объектом для насмешек: человек разрешает себя жалеть только в том случае, заметил Дмитрий Степанович, когда он не заслуживает жалости. А в отношениях с соседями он держит себя нейтрально, хотя случается, что его призывает в свидетели или в арбитры та или иная сторона. Однако он никогда не нарушает своего нейтралитета.

Надо сказать, что между соседями Дмитрия Степановича ссоры вспыхивают довольно часто, в квартире идет постоянная и какая-то пустая война, в которой не бывает ни побежденных, ни победителей. А

пустая она потому, что сколько ни думай, сколько ни пытайся найти какое-нибудь разумное объяснение этой войне, первоначальную причину, толчок к началу «военных действий», ничего не находится. Все живут в одинаковых условиях, так что делить соседям нечего да и завидовать друг другу тоже. Спору нет, условия, в каких все они живут, хорошими не назовешь: девять съемщиков в девяти комнатах, одна кухня с двумя газовыми плитами (восемь, конечно, плохо делится на девять, да и семь разные, однако свою конфорку Дмитрий Степанович молча уступил, почти никогда не пользуется ею), одна раковина на всех и нет ванны. Отсутствие ванны, как скоро понял Дмитрий Степанович (при обмене он не подумал об этом), — самое большое неудобство. Особенно это дает о себе знать по утрам, когда всем надо умыться и всем же набрать воды, чтобы вскипятить чайник или сварить что-то на скорую руку. Но и в этой трудной ситуации можно, если захотеть, найти компромиссное решение. Вот Дмитрий Степанович поднимается раньше всех в квартире, в половине шестого, хотя его рабочий день начинается в девять пятнадцать и он вполне мог бы спать до семи, и спокойно, когда на кухне никого нет, умывается и набирает воды на весь день. Он понимает, что люди устанут и вставать раньше, чем необходимо, никому не хочется. Но Антонине Петровне, например, как и Сергею Ивановичу и Розалии Львовне, нет никакой нужды умываться в то время, когда умываются все остальные, — они пенсионеры и спешить по утрам им некуда. Так нет же, нет, они выходят на кухню вместе со всеми, когда другие спешат на работу. Или Сергей Иванович, человек, в общем, неплохой, начнет бриться у раковины (он бреется по старинке — безопасной бритвой), и тут уж его не сдвинешь с места, хотя должно и ему быть ясно, что при таких условиях вообще бриться на кухне неприлично. Правда, это случается редко, или не очень часто, скажем так, только если накануне вечером был большой скандал. Скандалезик, как говорит сам Сергей Иванович.

Давно идут разговоры, что дом скоро поставят на капитальный ремонт (когда Дмитрий Степанович переезжал сюда, бывшая его теща сказала ему, что это произойдет в следующем году), однако дальше разговоров и слухов дело пока не продвинулось, и люди просто устали ждать и надеяться на перемены к луч-



шему. В усталости людей, должно быть, и кроется причина их непримиримости друг к другу. Ведь уставшему, разочарованному человеку мешают все и вся. Антонина Петровна мешает Розалии Львовне, супруги Гончаровы — Антонине Петровне, супругам Гончаровым, в свою очередь, мешает Розалия Львовна, которая терпеть не может Сергея Ивановича, а он как раз дружит с Гончаровыми. А всем вместе мешает отсутствие ванной, теснота и постоянное беспокойство, неизбежное, когда в одной квартире живут девять разных семей. Что говорить, если сплошь и рядом не могут ужиться двое, а тут — семнадцать душ, семнадцать характеров, семнадцать амбиций. Впрочем, можно считать пятнадцать амбиций, потому что в квартире один грудной ребенок, а Дмитрий Степанович ни своих привычек, ни своей амбиции из комнаты в места общего пользования не выносит, ни в какие споры не вступает, а если к нему обращаются враждующие стороны, чтобы он рассудил их, полагаясь на его объективность и непредвзятость (это так считается, в действительности же каждая сторона пытается перетащить его в свой «лагерь», чтобы иметь лишний голос), он решительно отказывается от такой чести, предпочитая даже дружбе с Антониной Петровной стойкий нейтралитет. И никогда ему не пришло в голову, что именно за это его и недолюбливают соседи. Он-то думает, что просто держится в стороне, тем самым избегая участия в «военных действиях» и ограждая свою жизнь от постороннего вторжения, поскольку и сам не вторгается в чужую жизнь, но соседи — все без исключения, в этом они единодушны, — думают, что он зазнаётся, чурается их, не желает к ним спускаться или строит тайные козни всем сразу. Это можно было бы, наверно, понять, когда бы у Дмитрия Степановича были хоть какие-то основания считать себя выше других, однако таких оснований у него нет. И в самом деле, кто он такой, этот Кутейников, позволяющий себе смотреть свысока на людей?.. Может быть, он заслуженный артист, модный закройщик или швейцар из бара?.. Ничего подобного! Просто служащий, рядовой сотрудник архива с копеечным окладом, за что его и прогнала жена. Да и кому он нужен, этот кандидат наук со своим кипятильником и кефиром. Он и на мужчину-то не похож. Мебель приличную купить не в состоянии, а был бы умен — не сидел бы в архиве, будучи кандидатом. Каждый

день утюжит старый костюм за девяносто рублей, по ночам стирает в комнате носки и белье, а мнения о себе такого, словно он академик, словно у него есть дача и персональная машина...

Дмитрий Степанович молчит, он одинаково вежлив со всеми, улыбается всем, не подозревая, что лучше бы ему не молчать, не улыбаться, потому что и молчание его, и вежливость расцениваются как чистоплюйство, а он не имеет на это никакого права. Его презирали даже (за исключением, пожалуй, Антонины Петровны и Сергея Ивановича), но отнюдь не за то, что он кому-то мешал, а за то, что никого не поддерживает, что живет сам по себе и, может быть, еще за то, что нельзя помешать ему. По правде сказать, его тяготило такое положение, он понял, что выглядит белой вороной, хотя и не чувствовал за собой никакой вины. Временами ему тоскливо делалось в своей по-холостяцки неуютной комнате, хотелось выйти к соседям в кухню и принять участие в общем разговоре, ведь, в сущности, думал Дмитрий Степанович, все они хорошие, порядочные люди, и никакая не война идет между ними, а просто случаются пустяковые размолвки, что неизбежно в любом общежитии. Или заглянуть к Антонине Петровне, побеседовать с ней. Она умная женщина и много чего знает о Ленинграде, так что у них нашлись бы общие интересы. Ему хотелось сделать что-нибудь такое, что обрадовало бы всех соседей, и он мечтал отыскать сведения о прошлом их дома, которые подтвердили бы, что дом этот не обыкновенный. Например, что его построил знаменитый архитектор — Кваренги, Растрелли или хотя бы Хренов, — что здесь в давние времена жил кто-то из выдающихся людей...

Пора открыть, что Дмитрий Степанович кроме основной работы, для души, как говорится, занимается историей застройки старых ленинградских улиц. Как раз сегодня Дмитрию Степановичу попало одно, в общем-то незначительное, письмо, в котором упоминался дом, хорошо знакомый ему — он часто проходит мимо, когда идет в молочный магазин. Так вот, из этого случайно обнаруженного письма ясно, что упоминаемый в нем дом принадлежал внучке самого Гавриила Романовича Державина, по крайней мере она жила в этом доме, и значит, там бывал Михаил Юрьевич Лермонтов, потому что он был дружен с внучкой Державина. Вполне возможно, что бывали

также и Александр Сергеевич Пушкин, и другие выдающиеся люди того времени. Дмитрий Степанович очень удивился тому, что мимо этого факта прошли исследователи-лермонтоведы, отчего на доме и нет до сих пор мемориальной доски. Письмо хранится в папке, где изучена буквально каждая бумажка. Впрочем, мало ли чего не бывает в архивном деле. Скорее всего, те, кто видел и читал письмо до Дмитрия Степановича, искали совсем другое, их не интересовал дом, поэтому упоминание о нем и не привлекло внимания. Напрасно кое-кто думает, что открытия, в особенности исторические, совершаются случайно. Нужно знать, что искать и где искать, только тогда и будут открытия. Конечно, Дмитрий Степанович вовсе не предполагал, что именно в этой папке найдет столь важное письмо, однако он систематически уже много лет занимается поисками документов, относящихся к истории города, к истории застройки улиц, так что и случайной его находку назвать никак нельзя. Он мог найти это письмо еще вчера, мог найти его завтра, а нашел сегодня. Главное, что искал и нашел. Так что вполне возможно, что рано или поздно отыщутся документы, которые позволят поставить вопрос о взятии под охрану государства их дома, а это влечет за собой и быстрое решение вопроса о капитальном ремонте, и тогда он принесет это радостное известие в квартиру, и все поймут (жаль, что не понимают сейчас, но тут ничего не поделаешь, такая уж у него незаметная, скрытая от глаз работа), что он занимается важным, полезным делом. А сегодня он расскажет о своем открытии, и наверняка соседи порадуются вместе с ним, поздравят его, а он признается, что восстанавливает историю дома, в котором они живут.

Соседи возвращаются с работы, постепенно собираются в кухне, чтобы приготовить кто обед, а кто ужин, размышлял Дмитрий Степанович, забыв, что рядом с ним идет Потапов. Каждый выносит сюда какую-нибудь дневную новость, и я выйду на кухню, поздороваюсь (все повернут непременно ко мне головы) и как бы мимоходом, как бы невзначай (нужно для виду взять с собой чайник, словно вышел за водой), как о чем-то пустяковом и, в общем-то, недостойном внимания, скажу, что тот старый зеленый дом, который возле сквера, в некотором роде знаменитый, имеет большое историческое и культурное значение,

здесь бывал Лермонтов, а возможно, и Пушкин у внучки Державина, которой, судя по всему, этот дом и принадлежал, так что вполне вероятно, что и наш дом имеет историческую биографию, ведь до сегодняшнего дня и тот дом был обыкновенным; старым домом, ничем не примечательным и не удобным для проживания...

Розалия Львовна, разумеется, пожмет плечами — у нее привычка пожимать плечами, когда она хочет показать свое безразличие.

Гончаров, если он дома, фыркнет и отвернется, ему-то такое сообщение ничего не скажет, ибо и вряд ли он знает, кто такой Державин.

Сергей Иванович заявит, что лучше бы вы принесли известие о том, что «Зенит» выиграл Кубок, на что старушка Зимарева тотчас возразит, что она бы «в законодательном порядке» запретила футбол показывать по телевизору (говорят, она уже писала об этом в Москву), потому что «этот дурацкий футбол сводит с ума приличных людей», вот младшего ее зятя (у нее три зятя), скажет она, тоже футбол свел с ума, и тут Сергей Иванович рассмеется громко, хлопает себя по животу (разумеется, он вышел в майке) и объявит торжественно, что спорт укрепляет здоровье, что в здоровом теле — здоровый дух, а с ума сходят дети ненормальных родителей, и тогда вступит в спор Антонина Петровна, которая поддержит старушку Зимареву, подтвердит, что от футбола и этого хоккея прямо деваться некуда, по телевизору каждый день показывают, а вот балет не показывали уже бог знает сколько, и здесь обязательно вставит свое слово Таисия Федоровна, заметив укоризненно и с вызовом, что на балет нужно ходить в театр, а по телевизору должны показывать кино и вообще что-нибудь развлекательное...

А впрочем, Антонина Петровна, скорее всего, не станет вязываться в спор о футболе, она-то сразу оценит новость, которую принес Дмитрий Степанович. Она вскинет голову и посмотрит на него недоверчиво и удивленно своими выразительными серыми глазами, и он смутится, ибо смущается всегда, когда она так смотрит на него...

Между прочим, хотя Антонина Петровна и удивлялась, что Дмитрий Степанович согласился въехать в «эту дыру», но сама же и подсказала теще, что соседи ищут обмен и что их дом собираются ставить на

капитальный ремонт. Они были с тещей знакомы: теща работала в больнице сестрой-хозяйкой, а Антонина Петровна — врач-рентгенолог, поэтому и на пенсию она ушла еще довольно молодая.

\* \* \*

Умирала теща в больнице, но не там, где работала, в другой. В свою она почему-то отказалась ложиться. Буквально накануне ее смерти Дмитрию Степановичу позвонила бывшая жена и сказала, что «мама просила тебя зайти к ней».

— А когда там впуск? — спросил он.

— В любое время. Она умирает. — И всхлипнула.

Дмитрий Степанович отпросился с работы и поехал к теще. Возле нее уже была Любава. Она хотела выйти из палаты, когда пришел Дмитрий Степанович, чтобы оставить бабушку и отца один на один, но теща задержала ее, сказав:

— Ты посиди, посиди. Послушай, тебе это полезно. — Потом обратилась к Дмитрию Степановичу. — Спасибо, что пришел, Митя, — проговорила она. — Можно, я буду называть тебя Митей?.. Ведь твоя тетушка тебя так называла, да?..

— Да, — ответил он.

— Хорошая была женщина, умная. А мы с ней так и не сошлись при жизни. — Она улыбнулась, и в улыбке была грусть, было сожаление, но ничуть не было предсмертного страха. Она тоже была умной женщиной и все-все понимала в жизни. — Я что собиралась тебе сказать, Митя... Я ведь с самого начала знала, что вы не будете жить с Татьяной. Я и Доре Евграфовне об этом говорила. Ты знал?.. — Она пристально посмотрела на него, и он отвернулся.

Когда он собрался жениться и познакомил тетушку с будущей женой, Дора Евграфовна спросила, не мог ли он выбрать жену из более приличной семьи? Вот именно, тотчас посмеялся Александр Кузьмич, ты должен взять себе в жены графиню Гагарину или княгиню Перепетулькину, — в крайнем случае, болонку соседей, у нее прекрасная родословная, берущая начало от кобеля придворного шута английской королевы... Поступайте как знаете, рассердилась тетушка, все равно теперь ничего не поймешь, все перепуталось, как в твоём футболе, сказала она мужу. И отлично, что перепуталось, воскликнул Александр Кузьмич, из путаницы возник мир. Сначала, сказал

он, была путаница, а потом появился на свет тот самый кобель, так что давай, Митька, действуй, благо-раживай родословную невесты! И всегда помни, что смешанные браки дают здоровое потомство...

— Тебе была нужна другая жена, а Татьяне — другой муж. Тебе трудно найти подходящую жену... Считается, что мы, женщины, склонны к прекрасному, возвышенному, а это делает человека по-настоящему красивым. Так вот, что я скажу тебе, Митя: это большая неправда. — Она повернулась к Любаве. — А ты слушай, слушай, нечего морщиться... Придумали эту неправду вы, мужчины, чтобы любить только красивых женщин. Чтобы каждый из вас мог думать, что у него жена — красавица. Ведь сухая, вздорная и расчетливая женщина — это так некрасиво... Пора тебе понять и тебе, — она снова взглянула на Любаву, — что мы почти все некрасивы в этом смысле. Женщина бывает мечтательной, романтичной только до замужества, чтобы казаться красивой, Митя... В отличие от мужчин мы всегда знаем, что вам от нас нужно, чего мы хотим и чего хотите вы. И умеем притворяться...

— Напрасно вы так, — возразил Дмитрий Степанович и покосился на дочку. — Сами же...

— Ты за нее не беспокойся, — проговорила теща. — Она знает побольше твоего, так пусть узнает и правду. Когда женщина вышла замуж, ей не надо больше притворяться, и тогда она показывает свое настоящее лицо, во всей красе... Ты не осуждай нас, кто-то должен и гнездо охранять, и эта обязанность досталась женщине, а сторож, сам знаешь... Быть сторожем не очень-то приятное дело... А мужчина всю жизнь остается мечтателем, большим ребенком, если жене не удалось сделать из него просто работника, просто кормильца... Все это очень сложно, Митя, но жизнь есть жизнь. — Она глубоко, шумно вздохнула. — Каждый цепляется за жизнь, как умеет. Вот и я цепляюсь, хотя знаю...

— Не надо, бабуля, — тихо попросила Любава. — Все будет хорошо.

— Будет, будет, детка. — Она передохнула недолго, отпила из поильника клюквенного морса и спросила: — А ты не устал меня слушать, Митя?

— Вы сами, наверное, устали, — сказал он.

— Я уже скоро отдохну... Татьяна думала, что переделает тебя. Она ведь считала, да и сейчас счита-

ет, что ты человек слабый, безвольный... Может, сначала она и любила, но смотрела далеко вперед. Ты запомни это, что женщины умеют смотреть вперед, поэтому гораздо реже ошибаются. Нет, Татьяна тоже не ошиблась. Она просто недооценила тебя... А теперь я признаюсь вам, дети мои, что больше всего мне бы хотелось, чтобы не ты стал другим, а другой стала Татьяна. Но на это меня не хватило, все-таки она моя дочь...— Она как бы взмахнула рукой, едва пошевелив ею.— Жаль, что мы слишком поздно начинаем понимать главное в жизни. И прости меня, Митя, что я была немножко несправедлива к тебе. А ты, детка,— обратилась она к Любаве,— цени и уважай своего отца, у тебя прекрасный отец, ты должна гордиться им...

— Успокойтесь, что вы,— запротестовал Дмитрий Степанович, и даже покраснел.— У нас с Любавой прекрасные отношения, верно, дочка?

— Да, папа,— ответила она и спрятала лицо, чтобы бабушка не видела ее слез.

— Татьяна как-то рассказывала, как ты в школе писал сочинение про голубые поезда. Ей было смешно это, да и мне тоже было смешно. Ты остался таким же... Сейчас я поняла, как это прекрасно... Мечтать о чем-то, не надеясь на выгоду, просто мечтать... А теперь поздно, все поздно.— Она чуть приподнялась, опершись на локоть, и Дмитрий Степанович видел, что ей тяжело.— Всю жизнь я думала о том, чтобы обеспечить внуков хотя бы на время после моей смерти. Я оставила кое-что Любаве... Лучше бы я научила Татьяну любить жизнь и людей... Ты научи Любаву, Митя!.. Ты объясни ей... Ведь ты красивый человек, и мне жаль, что я не до конца понимала это раньше. Дора Евграфовна, царство ей небесное, хорошо тебя воспитала, а ты воспитай также вот ее...— Она протянула худую, прозрачную руку и погладила Любаву по голове. А потом надолго закашлялась, и Дмитрий Степанович, обеспокоенный, помог ей лечь поудобнее.

— Вам нельзя волноваться,— сказал он.— Мы еще успеем обо всем поговорить. А Любава — хорошая девочка.

— Ничего, ничего,— прохрипела теща и попыталась улыбнуться.— Уже недолго осталось.

— Ну, бабуля, пожалуйста!..— почти вскрикнула Любава.

— Не бойся, деточка моя. Страшно не умереть — страшно прожить зрящую жизнь. А смерть...

— Вы совсем напрасно внушаете себе... — заикнулся Дмитрий Степанович.

— Ты разве забыл, что я немножко медик? Ну, ступайте, ступайте. Нечего просиживать возле умирающей старухи.

— Я останусь, бабушка, — сказала Любава.

— Нет, тоже ступай с отцом. А я посплю, спать ужасно хочется.

— Спи, я не буду тебе мешать.

— Как же я буду спать, если ты сидишь рядом?.. — И она, кивнув Дмитрию Степановичу, отвернулась к стенке.

Они вместе вышли из больницы, Любава плакала. Он тоже едва не плакал, но сдерживался.

— Папа, — спросила Любава, — неужели бабушка умрет?

— Умрет, — ответил Дмитрий Степанович.

— А как же без нее?..

— Не знаю, дочка. Как-то надо жить. Все равно рано или поздно умирают, ничего не поделаешь.

Теща умерла на другой день.

\* \* \*

Фонтанка была тихая, гладкая, и на воде играли светлые блики закатного солнца.

Дмитрий Степанович остановился. Он смотрел с моста в воду, и в голове его суетились беспорядочно какие-то мысли, обрывки воспоминаний, и вот из этого беспорядочного, хаотического смешения мыслей и воспоминаний постепенно начало выстраиваться нечто такое, что заставило Дмитрия Степановича резко выпрямиться и оглядеться по сторонам, и он, оглядываясь, воспринимал окружающее так, словно видел все это впервые, как бы глазами Потанова, который молча стоял рядом с ним...

Антонина Петровна, как и он, родилась в Ленинграде, но в отличие от него всю блокаду была здесь, еще девочкой. Она как-то рассказывала Дмитрию Степановичу (они вместе шли в молочный магазин), что на месте сквера, который рядом с домом, возможно принадлежавшим внучке Державина, раньше тоже был дом, но в него попала бомба, и сразу после войны остатки этого дома снесли, и еще снесли угловой дом,



а он был симпатичный, с красивым балконом над аркой, но очень старый, так что его нельзя уже было и стремонтировать, зато теперь на месте этих двух домов большой сквер, есть где поиграть ребятишкам да и передохнуть пенсионерам вроде меня, добавила Антонина Петровна, а Дмитрий Степанович тогда смутился сильно и сказал, что она вовсе не похожа на пенсионерку, что ей никак не дашь больше тридцати, на что Антонина Петровна, улыбнувшись, заметила, что говорить комплименты женщинам в ее возрасте, тем более одиноким женщинам, опасно...

Наверняка, как-то рассеянно думал он, нумерация домов, в связи со сносом и вообще, изменилась, поэтому никто до него и не обратил внимания на письмо, которое он нашел сегодня. Точнее, наверняка обращали внимание, но дело все в том, что тот дом и снесли, ведь в письме есть упоминание, что он угловой и с французским балконом... И еще Антонина Петровна рассказывала, что недалеко от них в войну был госпиталь, и в нем, в этом самом госпитале, работала ее мать, она тоже была врачом, а сама Антонина Петровна часто бегала к ней на работу, помогала санитаркам и выступала перед ранеными — читала стихи и пела детские песенки, и ходить в госпиталь ей было не страшно, потому что он находился в пяти минутах ходьбы от дома по той стороне улицы, которая была менее опасна при обстрелах.

А ведь мать Антонины Петровны, вспомнил Дмитрий Степанович, все еще жива.

— Как вас зовут? — спросил он Потапова.

— Иван Макарович.

— Знаете что, Иван Макарович?.. Вы говорите, что медсестру звали Лена?..

— Лена, а что? — насторожился Потапов.

— Ничего, мы найдем Лену! — решительно сказал Дмитрий Степанович. — Мы обязательно найдем ее! Сейчас пойдем ко мне...

— Удобно ли? — засомневался Потапов. — Я хорошо устроился в гостинице, комната на троих, очень даже удобная...

— Идемте, идемте, — повторил Дмитрий Степанович. — Я познакомлю вас с одним человеком, который, возможно, знает Лену.

— Перед госпиталем еще был скверик небольшой или садик и забор такой чугунный, узорчатый... — зачем-то стал уточнять Потапов, и было заметно, как

он взволнован.— А дом с колоннами,— там, наверно, раньше жил какой-нибудь граф...

— Конечно, конечно, с колоннами,— пробормотал Дмитрий Степанович.— Больницы и вообще здания общественного назначения было принято строить с колоннами. Идемте! — И он взял Потапова под руку.

— Хоть в гастроном надо было бы зайти...

— В гастроном? — переспросил Дмитрий Степанович.

— Бутылочку чего-нибудь взять, неудобно так-то в дом приходиться.

— Ах, бутылочку! — рассмеялся Дмитрий Степанович.— А что, и возьмем. Шампанского возьмем.— Он подумал, что Антонина Петровна, должно быть, любит шампанское. Все женщины любят шампанское.— Вы с каким поездом приехали?

— Я на самолете,— сказал Потапов.

— А я люблю поезда,— сказал Дмитрий Степанович.— Стыдно даже признаться, но самолетов боюсь. Никак не могу понять, на чем они держатся в воздухе.

И они оба рассмеялись.

— На честном слове,— пошутил Потапов.

— И на одном крыле,— вспомнив какую-то давнюю песенку, добавил Дмитрий Степанович весело.

И тут налетел неожиданный порыв ветра (в этом месте вообще часто бывает ветрено, хотя вокруг тихо), сорвал шляпу с головы Потапова, и шляпа, недолго покружившись в воздухе, опустилась в Фонтанку.

— Ну вот,— виновато сказал Дмитрий Степанович,— нужно было предупредить вас, что в этом месте так случается.

Потапов, проводив шляпу взглядом, снова засмеялся и сказал:

— Слава богу, терпеть не могу эти дурацкие шляпы. А выбросить самсму было жалко.

У него были прекрасные седые волосы и вообще степенный, вполне интеллигентный вид. Если бы еще не рубашка и эти сандалеты...

— Мы же прошли гастроном,— спохватился он, оборачиваясь назад.

— Будет другой,— успокоил его Дмитрий Степанович.

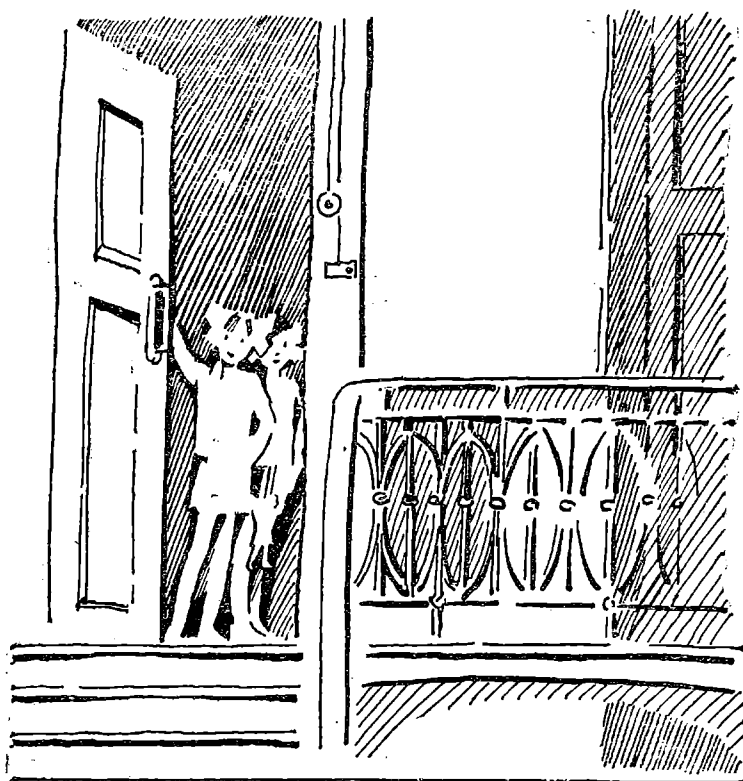
Он хотел спросить Потапова, не помнит ли тот врача Вышеславскую, но спохватился, подумав, что у матери Антонины Петровны ведь наверняка другая

фамилия. И вообще не стоит спешить, подумал он, лучше сначала выяснить подробности, попросить Антонину Петровну, чтобы она показала Потапову тот госпиталь, где работала ее мать, потому что можно и ошибиться, как он уже ошибся сегодня...

А хоть бы это и ошибка, хоть бы и случайное совпадение, успокоил себя Дмитрий Степанович. Все равно они отыщут и госпиталь, где лежал Потапов, и медсестру Лену, которая выхаживала его. Просто такого не может быть, чтобы они не разыскали. Черт возьми, сказал себе Дмитрий Степанович, зачем же я работаю тогда в архиве! Архивы, как и всё вокруг, существуют для людей. Это прекрасно и важно, конечно, найти еще один дом, где бывали такие люди, как Лермонтов или Пушкин, который построил Кваренги или Растрелли, но еще важнее, думал Дмитрий Степанович, найти медсестру Лену, которой Иван Макарович привез замечательный подарок...

Под мост нырнула моторка, и по Фонтанке, вздымая медленно плывущую шляпу Потапова, побежала волна. Какой-то парень в плавках, сидящий на корме моторки, подхватил ловко шляпу и напялил ее на голову.

— Вот и пусть носит на здоровье, — весело сказал Потапов.



**Н**а работу лучше всего ходить пешком, так считает Игорь. И ходит. В любое время года и в любую погоду. Это семь с половиной тысяч шагов. Плюс-минус пятьдесят. Ровно час ходьбы. Правда, Игорь ходит быстро. И не потому, что спешит (когда все точно рассчитано, спешить не нужно), а потому, что не любит и не умеет ходить медленно.

Город особенно хорош, красив именно утром. На улицах еще нет праздных прохожих и домохозяек с сумками, и каждый встречный знает, что ты не турист, не проезжий, выкroивший часок от поезда до поезда для осмотра достопримечательностей, но что ты идешь на работу. Свежо и молодо смотрятся рано ут-

ром умытые улицы и проспекты, город проветрился за ночь, очистился от едкого, сладковатого запаха бензина и солярки, от пыли и даже всяких житейских неурядиц, от тесноты и очередей.

По утрам город начинает как бы новую жизнь.

Дворничиха отводит в сторону шланг, чтобы не забрызгать Игоря. Постовой на углу улыбается ему приветливо и смотрит на часы. Киоскерша высовывается из своей тесной будки и сообщает, что к вечеру должны поступить свежие номера журналов. Хозяин желтого «жигуленка» медленно выводит машину из-под арки соседнего дома, открывает дверцу и предлагает Игорю подвезти его. Им по пути. Так было и вчера, и позавчера, было неделю, месяц и три года назад, но каждое утро, выходя из дому, Игорь испытывает необъяснимую радость, что опять пришло утро, и любовь к людям, которых встречает изо дня в день. Эти люди нужны ему, и он нужен этим людям, и все нужны друг другу. Просто мы забываем об этом, занятые только своими делами, а когда вспоминаем, часто бывает слишком поздно...

Хорошо утром в городе, и на душе спокойно и легко.

Кое-кто считает Игоря чудачком, подшучивают, слушается, над ним, однако он не обращает внимания. В самом деле, вот бегают же некоторые трусцой по двору или в ближайшем сквере, а после, едва отдышавшись, лезут в битком набитый автобус и дышат там потом и бензиновыми испарениями, устают от этой давки раньше, чем придут на работу, так на кой черт было бегать, уж лучше бы поспали лишник полчаса. Радуются, что рядом с домом есть станция метро, а Игорь терпеть не может метро, — оно напоминает ему гигантскую братскую могилу, в которой люди как бы хоронят себя еще до смерти. На работу — под землей, с работы — под землей, почти вся жизнь получается под землей. Они живут в Ленинграде и не видят Ленинграда. Они, как картографы, делят город на квадраты: район станции метро «Петроградская», или «Площадь Восстания», или «Технологический институт», или «Звездная»... Спросите у них, где находится Крюков канал, например, — они не ответят, потому что там нет станции метро. Впрочем, бывает и хуже. Игорь был знаком с одной симпатичной девицей, которая работала в библиотеке и не читала книг. Говорила, что ей скучно. Наверняка на свете есть лес-

ники, не любящие лес, директора зоопарков, ненавидящие животных, бухгалтеры, которых тошнит от кредитов и дебетов. Таких людей, конечно, можно презирать, можно осуждать, но прежде всего, думает Игорь, их нужно пожалеть. Значит, им по каким-то причинам не повезло в жизни, они не нашли своего настоящего места, а это страшное дело — работать, не любя свою работу... Среди этих людей есть и просто равнодушные, безучастные ко всему, кроме собственного благополучия и покоя, им на все наплевать, их ничто не интересует, лишь бы только жена не изменяла, лишь бы только муж попался непьющий и прилично зарабатывал, лишь бы только отдельная квартира в хорошем доме, лишь бы... Но для большинства людей все-таки мало верной жены, непьющего мужа и отдельной квартиры. Большинство ищет счастья и душевного удовлетворения за гранью обыденного, и никто, слава богу, не знает, где именно и когда обретет свое счастье. Ведь оно — это улыбка судьбы, а улыбку можно и не заметить, можно проехать мимо нее или под ней, не подозревая об этом. Если бы Игорю дали такую власть, он приказал бы на самых людных и видных местах вывесить плакаты «Спешить строго запрещается».

А ходить на работу пешком совсем не трудно.

Игорь поднимается на час раньше, чем мог бы подниматься, если бы ездил автобусом, спокойно, не торопясь умывается, бреется, спокойно же завтракает и уходит на работу. Ему не надо беспокоиться, что без него уйдет его автобус, что следующего ждать долго. Он хозяин своего времени, и это тоже прекрасное чувство, это дарует уверенность и хороший настрой на весь день.

А вот в эту пятницу он чуть не проспал.

В четверг вечером Екатерина Михайловна, мать Игоря, затеяла большую уборку квартиры, хотя и без того у них в квартире всегда почти стерильная чистота, так что вполне можно устраивать если и не операционную, то уж перевязочную наверняка.

— Что это ты придумала, мать? — удивился Игорь. — В квартире нет ни пылинки, самый занудный старшина не придерется...

— А вот потсму твой старшина и не придерется, что я убираюсь, — сказала на это Екатерина Михайловна. Она немножко философ, мать Игоря. — И вообще, не лезь, куда тебя не просят.

— Но ты делаешь напрасную работу.

— Работа не бывает напрасной.

— Все верно, мать, труд создал человека. А ты, кажется, собралась трудом угробить себя. Какое у тебя сегодня давление?

— Не вертись под ногами,— проворчала Екатерина Михайловна.— Лучше иди смотри свой футбол.

— Сегодня нет футбола,— сказал Игорь.— Сегодня кино про войну, как раз для тебя.

— Почему для меня?

— Потому что я не люблю про войну, надоело.

— Ты не знаешь, что такое война, поэтому тебе и надоело,— спокойно сказала Екатерина Михайловна.— Ступай себе.— Она окунула в ведро тряпку, прополоскала ее, отжала и стала подтирать пол.

— Ты хоть бы на швабру тряпку намотала, чтобы не сгибаться.

— На швабру наматывают ленивые бабы. Иди, сказала, пока тряпкой не огрела.

В прихожую вышел сосед, Илья Макарович. Он присоединился к Игорю и тоже пытался уговорить Екатерину Михайловну не заниматься сегодня уборкой.

— Во-первых, в квартире действительно чисто,— проговорил он, как всегда с некоторой назидательностью.— Во-вторых, можно ведь пригласить человека из «Невских зорь», это совсем недорого, а здоровье надо беречь. Здоровье дается на всю жизнь, а с гипертонией шутки плохи. Вот в «Науке и жизни» пишут...

Однако с соседом Екатерина Михайловна и вовсе не посчитала нужным вступать в разговоры. Она взглянула на него снизу вверх, не разгибаясь, и он тотчас скрылся в своей комнате. Он побаивается Екатерину Михайловну и никогда не спорит с нею.

— Тоже мне, «наука и жизнь»! — ворчала она.— Да с такой наукой от лени в грязи похоронят. Помощи от них никакой, а учить лезут.

Насчет того, что «помощи от них никакой», Екатерина Михайловна не права. Она сама не разрешает ни Игорю, ни Илье Макаровичу помогать ей по хозяйству, разве что иногда попросит сходить за картошкой или сбегать в булочную. У нее есть свой принцип — она считает, что домашние дела должна делать женщина. А мужчину это унижает и еще вредит самим же женщинам. Такая вот у нее логика, перво-

бытная, как говорит Игорь. Когда дочь Екатерины Михайловны (она младше Игоря на три года) вышла замуж и попыталась привлечь мужа к домашним делам — это когда они жили все вместе, — Екатерина Михайловна устроила ей скандал. А зятю сказала, что он не мужчина, если соглашается надеть передник и мыть посуду.

— Ты только раз пойди в поводу у жены, — почула она зятя, — потом она с тебя с живого не слезет. И уважать перестанет. У женщин всегда так, они и сами никогда не знают, чего хотят.

Зять растерялся, покраснел даже, а Валентина, дочь Екатерины Михайловны, набросилась на мать с упреками:

— Зачем ты лезешь в нашу жизнь? Мы сами разберемся. А ты, Виктор, не слушай маму.

— Уж ты-то разберешься, знаю я тебя, — усмехнулась Екатерина Михайловна. — Себя не обидишь.

— А почему я должна себя обижать? — сказала Валентина. — По-твоему, муж может отдыхать после работы, а жена пусть вертится на кухне? Между прочим, я тоже работаю.

Возможно, этот аргумент и привел бы в замешательство кого-нибудь другого, только не Екатерину Михайловну.

— Ты женщина, жена, — сказала она, — вот и должна вертеться. А ты как думала! Мужики только таких и любят, которые вертятся. А если сиднем будешь сидеть, жир на заднице наращивать да ворчать на мужа, на кой ляд ты ему сдалась. От ленивой и неповоротливой бабы хоть и самый золотой мужик рано или поздно сбежит.

— Хорошенькое дело! — воскликнула возмущенно Валентина. — Выходит, я должна горбатиться и на работе, и дома, а муж может себе газеты почитывать и телевизор смотреть?

— От работы, дочка, еще ни у кого горб не вырос. Скорее от лени горб вырастет, чем от работы.

Сама Екатерина Михайловна ленью не страдала, до болезни на трех работах работала, всюду успевала и никогда никому не пожаловалась на трудную свою судьбу. А детей вырастила и даже выучила: Игорь техникум закончил, Валентина — институт. Муж ушел, когда дочке еще и года не исполнилось. Разумеется, он, как и положено, платил алименты, но это были какие-то гроши, потому что подолгу он ни-



где не задерживался и зарабатывал мало. Так что Екатерина Михайловна привыкла все делать сама и надеяться только на себя. Домашнюю же работу она вообще не считала за работу, и пока жили все вместе, постоянно внушала дочери, что у каждого в семье есть свои обязанности, и нечего, говорила она, перекладывать их друг на друга.

— Чуть что, сразу — почему муж газету читает, а я должна обед готовить! Потому и читает, что ему интересно читать и нужно, а по тебе, лучше бы не было никаких газет...

— Конечно, лучше бы не было. По телевизору все рассказывают.

— А еще институт закончила! — упрекала дочку Екатерина Михайловна. — Как была душой, так и осталась. Может, и рожать мужа заставишь? Не пойму я, зачем вы замуж выходите, если нормальной женой быть не хотите?

— Зато ты со своей философией и мучаешься одна, — не выдержала Валентина.

На это Екатерина Михайловна ничего не ответила, молча ушла в комнату...

Что верно, то верно: с замужеством Екатерине Михайловне не повезло, безалаберный попался ей муж и пил сильно. Человек он был добрый, мягкий, никогда голоса не повысил, не то чтобы ударить или оскорбить жену. Первое время и с работой у него ладилось прекрасно — был он модельщиком, зарабатывал хорошо, его ценили и уважали, и нельзя было предположить, что в один далеко не прекрасный день все это поломается. Пить он начал как-то неожиданно, сразу. Екатерина Михайловна так и не смогла понять, что случилось с мужем. Да он и сам не знал этого. Скорее всего, болезнь и раньше сидела в нем, просто он до каких-то пор крепился, а когда родилась дочка — запил. Он очень хотел дочку. Еще пока Екатерина Михайловна была в роддоме, устроил себе пьяный праздник, и с этого началось. Запивал он регулярно, после каждого запоя клялся, что больше в рот не возьмет, однако выдерживал не больше недели. Екатерина Михайловна уговаривала его пойти к врачу, но он не хотел. Или стыдно ему было. Тогда не признавали это болезнью. В конце концов он вынужден был уйти с завода, недолго поработал грузчиком

в управлении «Спецтранс», но тоже уволился, потому что просто уже не мог каждый день ходить на работу.

Знакомые и родственники ругали Екатерину Михайловну, советовали бросить мужа, уйти от него, а она отмалчивалась, понимая, что в чем-то они, может, и правы, но оставить мужа не хотела. И потому, что двое детей на руках, и потому, что не считала себя вправе сделать это. Замуж-то я выходила не за пьяницу, объясняла она, а за хорошего, самостоятельного человека, так что и моя вина, наверно, есть, что он стал пить. Да ведь две жизни и не проживешь и судьбу не обманешь. Какая досталась судьба, с такой и жить надо. А муж еще, может быть, и образумится.

Он ушел сам. Просто не вернулся однажды домой. Два дня Екатерина Михайловна ждала не особенно беспокоясь, потому что и раньше случалось такое, а потом взволновалась. Ходила в милицию, узнавала в справочном «Скорой», однако муж не отыскался. Спустя неделю она встретила в магазине паспортистку и та сказала, что он выписался. А примерно через месяц от него пришло письмо без обратного адреса. Он просил у Екатерины Михайловны прощения «за все, за все» и писал, что «больше мучить тебя и детей не хочу». Оказывается, он завербовался на какую-то дальнюю стройку. Потом часто переезжал с места на место, изредка присылал письма, но алименты были всегда маленькие. Так что детей Екатерина Михайловна поднимала сама, и подняла, поставила, как говорится, на ноги, хотя трудностей хлебнула предостаточно. Замуж второй раз не вышла, не захотела. Предлагали хорошие люди, один вдовец с год покою не давал, а она так и не решилась. Внушила себе, что у детей должен быть или родной отец, или никакого. Ее дети — ей и растить их. Трудно?.. Ну что ж, жизнь не бывает легкой, а если бывает, значит, что-то в ней не так. Можно, конечно, и посмеяться над этой наивной философией Екатерины Михайловны, однако именно уверенность, что жизнь должна быть трудной, помогала ей сохранять в себе оптимизм, жизнелюбие, словно не были над нею властны никакие невзгоды, никакие несчастья. Чужой жалости она не принимала, сердилась даже, когда ей сочувствовали, а других жалела, и люди, хорошо знавшие Екатерину Михайловну, удивлялись ее выдержке, ее выносливости, удивлялись, откуда у нее берутся силы.

А вся сила у женщин — от детей, говорила она. Вот посмотрю на них, и на душе тепло делается, плакать от радости хочется.

Однако истошились и ее силы. Начались головные боли, сердце стало покалывать, а иногда так сожмет, что хоть караул кричи. Все же долго не сдавалась Екатерина Михайловна, крепилась, не обращалась к врачам, но болезнь взяла свое, и пришлось лечь в больницу. Из больницы она вышла инвалидом второй группы, работать ей запретили. Очень тяжело она переживала это, буквально места себе не находила. И дело не в том, что пенсия была невелика — она всегда жила скромно, да и дети, слава богу, выросли, — а в том дело, что не привыкла Екатерина Михайловна без дела сидеть. К тому же на работе все время среди людей, да и времени нет прислушиваться к своим болячкам. А дома, в особенности когда оставалась одна, невольно слушала, не заболит ли где, не кольнет ли... Первое время навещали ее подруги по работе. Придут, чайку выпьют, новости расскажут — и вроде легче становится, словно сама среди людей побывала, а потом все реже и реже стали навещать. Она не обижалась, понимала, что у каждого своих забот хватает, но будто оборвалось что-то живое, соединяющее ее с людьми, с которыми долгие годы работала вместе, и вокруг образовалась пустота. Пока Валентина с мужем и внуком Екатерины Михайловны жили вместе, скучать было некогда, а переехали они (купили кооперативную квартиру), тоска такая взяла, что хоть вой. С Игорем много не поговоришь, у него свои дела и свои интересы, вообще нет в нем теплоты, сухой какой-то вырос, недобрый, с горечью и тревогой думала Екатерина Михайловна. Не в том смысле недобрый, что жадный — этого-то в нем нет, — а к людям недобрый.

У Валентины и вовсе своя семья, своя жизнь. Они и видятся редко. Правда, и живет Валентина далеко, в районе Озерков, но главное — боится дочка «отсталого влияния» Екатерины Михайловны на внука. А вот другой бабушке, своей свекрови, доверяет воспитание внука, и это сильно обижает Екатерину Михайловну. Валентина ссылается на то, что со свекровью они живут рядом (свекровь специально сменялась в тот район), но это только отговорки. Просто у свекрови высшее образование, она учительница. «Как же так получается, — иногда задумается Екатерина Ми-

хайловна, обиженная на дочь.— Себя-то Валентина считает и умной, и интеллигентной, а ее-то я вырастила и воспитала. Неужели не сумела бы и внука вырастить, тем более единственного?..» О единственном внуке думает она не зря: Валентина как-то обмолвилась в разговоре, что второго ребенка они заводить не собираются, хватит, дескать, и одного, самим пожить хочется (как будто жизнь женщины не в детях!), а на Игоря и вовсе никакой надежды не осталось — двадцать восьмой год мужику и до сих пор не женат. Он даже от всяких разговоров на эту тему отмахивается, слушать не хочет насчет женитьбы. А если разобраться, не дело это, человек должен иметь семью. И чем раньше мужчина женится, тем лучше, считает Екатерина Михайловна. Иначе привыкнет сам по себе болтаться, никому не обязанным быть, потом никакая жена не понравится. Тем более и характер у сына нелегкий, не понять, в кого и уродился такой. Плох ли, хорош ли был его отец, но уж злости в нем ничуть не было. А в Игоре хватает. Нашел бы приличную, самостоятельную девушку, все мечтает Екатерина Михайловна, смотришь, и к людям стал бы добрее относиться, появился бы ребенок, и жизнь пошла бы нормальная. Не лодырь сын, не пьяница, зарабатывает много. Он и Валентине с Виктором помог, половину денег на первый взнос дал. Теперь у них очередь на машину подходит, и снова Игорь обещал помочь, и это радует Екатерину Михайловну, — значит, любит сестру, значит, не останутся они каждый сам по себе, когда ее не будет. Но, по правде сказать, и ревнует она немножко сына, потому что для нее-то Игорь отрезанный ломоть, хоть и живут вместе. Да и дома он бывает совсем мало. Не понимает, что одиноко и тоскливо матери. Хорошо еще, что Илья Макарович появился, все-таки есть с кем словом обмолвиться.

Пожалуй, именно от тоски начали донимать Екатерину Михайловну болезни. Прежде она и не замечала, если кашель прилипнет или под лопаткой кольнет. Мало ли! Разве что таблетку примет, когда очень уж голова разболится, а вообще-то, лечилась крепким чаем и уверенностью, что это еще не та, настоящая, болезнь, которая бывает последней. А теперь вот зачастила в поликлинику. Сердце чуть беспокоит — страшно делается, в животе неясная и потому особенно подозрительная боль появится — то

го страшнее, сразу в голову мысли о раке лезут, вокруг об этом только и разговоров. А в поликлинике, в очередях, такого наслушается, что от страха в жар бросает и давление подскакивает. О какой бы болезни ни заговорили, Екатерина Михайловна тотчас и в себе эту болезнь узнает. Ночью проснется, прислушается к себе — и точно: нет живого места, все болит. Лежит и думает, как бы не пришлось идти на операцию, — операции она больше всего боится.

Как-то разговорились с одной женщиной в поликлинике, и та убедила Екатерину Михайловну, что хирурги учатся на безнадежно больных людях.

— Это только, чтобы нас успокоить, говорят, что они учатся на животных. У животных организм совсем по-другому устроен, как же на них можно учиться? Если не так, то почему врачи разные?..

И верно, подумала Екатерина Михайловна, для людей одни врачи, а для животных — ветеринары, и она с еще большим вниманием стала слушать женщину. А та совсем близко склонилась к ней и продолжала шепотом:

— Или больному и родным скажут, что оперировать будет профессор, денежки возьмут — теперь везде берут, — а режут студенты и практиканты разные. Поди-ка проверь их!.. Одну мою знакомую положили на операцию, профессор осмотрел ее и сказал, что сам будет делать. Муж большие деньги заплатил, а сам, куда жену оперировали, внизу ждал. Сидит, значит, ждет, когда операция закончится, а профессор с портфельчиком мимо него, вот вам и пожалуйста! Муж к нему: как же, мол, так, вы обещали, что сами делать будете.. А профессор и говорит, что ничего не знаю, первый раз слышу..

— И что же? — испуганно спросила Екатерина Михайловна.

— А ничего, померла. Прямо на столе и померла.

— А муж?

— Что муж! Похоронил и с другой утешился. А то еще был случай..

Конечно, Екатерина Михайловна догадывалась, что это пустая болтовня, но все же и сомнения закрадывались в душу, — уж очень много говорят об этом, а дыма, как известно, без огня не бывает. Что-то люди насочиняют — один от безделья, другие от горя, — а что-то, наверное, и правда. Но больше все-таки от без-

делья, как и сами болезни. Сколько раз она замечала за собой: пока занята делом, ничего не болит, а стбит присесть, как и голова болеть начинает, и в груди неудобство появляется, так что даже руки опускаются. И чтобы занять себя, она искала работу по дому. Целыми днями варила, жарила, парила или бродила по квартире с тряпкой (пылесоса она не признавала), выскивала, где бы пылинку смахнуть. Слава богу, Илья Макарович книг много привез, по согласию с ними в прихожей соорудил полки, и Екатерина Михайловна чуть ли не каждый день протирала их. Правда, до верхних полок ей было не добраться. Однажды подставила стремянку, хотела залезть, но закружилась голова, и она чуть не упала.

В последнее время стала подумывать, не устроиться ли куда-нибудь на легкую работу поблизости от дома. Может, и возьмут, не посмотрят на инвалидность. Было место в аптеке, уборщица там уволилась, но не взяли. Заведующая объяснила, что не имеет права взять. Некоторые просто делают: оформляется кто-нибудь один, а работает совсем другой, однако нарушать закон Екатерина Михайловна боялась. Можно было бы брать работу на дом — это разрешается, но тут воспротивился Игорь, Илья Макарович тоже его поддержал.

— Тебе что, денег мало? — сказал Игорь, когда она осторожно намекнула ему, что хочет устроиться надомницей, конверты клеить. — Не хватало в доме грязи и вони.

— В самом деле, Екатерина Михайловна, — встрял Илья Макарович. (Разговор этот происходил на кухне, за ужином.) — Вы и без того целыми днями что-то делаете, когда-то и отдохнуть надо.

— Книжки читай, мать, — засмеялся Игорь.

Она укоризненно взглянула на него и промолчала. Какие там книжки, если читает она по слогам. Не пришлось ей школу кончить, уж так сложилась ее жизнь. Родилась она в деревне, детство на войну выпало, а сразу после войны дальние родственники взяли ее в Ленинград, домработницей у них была, потом на заводе работала, замуж вышла, вот и прошла жизнь. Иногда, правда, все-таки возьмет с полки какую-нибудь книгу, попробует читать, но глаза быстро устают, и голова начинает болеть. И телевизор тяжело смотреть, тоже глаза устают. Одна надежда, что образумится сын, женится, внука или внучку пода-

рит ей. Вроде и девушка у него хорошая появилась. Правда, Екатерина Михайловна ее не видела, но Илья Макарович хвалил. А ему она верит.

Фактически в пятницу Игорь проспал. (Ни он, ни Илья Макарович не легли спать, покуда Екатерина Михайловна не закончила уборку.) Будильника он не слышал, и его разбудил на четверть часа позднее обычного Илья Макарович. Уже и кофе был готов, и любимое блюдо Игоря — яичница с помидорами и поджаренным хлебом.

— А вам-то чего не спится? — усаживаясь за стол, спросил он.

— Старость. В старости люди вообще меньше спят.

— В преддверии вечного покоя?

— Возможно, и в преддверии, — сказал Илья Макарович. — Всею свое время.

— Не страшно?

— Разумный человек не должен бояться смерти. Жизнь, может быть, потому и прекрасна, что у нее есть начало и конец. Загляни-ка, как там мать, — дождавшись, когда Игорь справился с завтраком, сказал Илья Макарович. — Что-то не нравится она мне в последние дни.

— Она у нас двужилная, выдержит все и широкую, вольную...

— И тем не менее загляни, — перебил его Илья Макарович.

Уходя, Игорь заглянул в комнату матери. Она спала.

— Вот и хорошо, пусть спит, — с облегчением вздохнул Илья Макарович. — Я когда пойду за газетами, куплю хлеба и молока.

Если не считать, что Игорь с небольшим запозданием вышел из дому, все было как всегда. И отлично, что как всегда! Это придает уверенности в прочности, незыблемости бытия, а Игорь не понимает людей, которые всю жизнь ищут каких-то перемен. Возможно, это и прекрасно — выйти утром из дому и увидеть напротив вместо винного магазина хрустальный дворец, а вместо площадки для выгула собак — сквер. Только лучше уж пусть все остается по-старому (разве что винный магазин закрыли бы), считает Игорь. Все-таки приятно сознавать, что все, окружающее тебя, было вчера и будет завтра. Это ведь не про-

сто дома, мостовые, развороченные тротуары. Это история, на малом отрезке которой живешь и ты...

— А ты что нынче приподнялся? — спросила дворничиха. — Мать-то здорова?

— Нормально.

— И ладно, раз нормально. Ну, беги, беги, а то опоздаешь.

Сколько Игорь помнит себя, столько помнит и дворничиху Ньюшу. Разумеется, у нее есть отчество, однако все почему-то зовут ее Ньюшей, или тетей Ньюшей, в зависимости от возраста. Она живет одна и потому, должно быть, почти все время находится во дворе. Она никогда не ругается, не кричит, как другие дворники, на ребят, она вообще любит своих ребятешек. А для нее все свои, кто живет в ее доме. Они вырастают на ее глазах, становятся взрослыми, женятся, выходят замуж, рожают новое поколение, а для нее так и остаются ребятешками, как и она для них остается тетей Ньюшей, Ньюшей. Кажется, она и не стареет ни сколько. Ее можно попросить приглядеть за малышом, пока мама сбегает в магазин, посидеть с больным, помочь убратся в квартире, у нее на всех и на все хватает времени и сил. А денег она не берет. Уважение от людей, говорит она, дороже всяких денег. Зато она любит подарки, которые ей делают жильцы к праздникам. И в дни ее рождения. А сколько она спасала мальчишек от родительского гнева и возможной порки! Игоря тоже однажды спасла. Было ему лет семь. Мать купила новые штаны перед каким-то праздником и не велела надевать их. А он не вытерпел, нужно же было похвастаться перед другими мальчишками новыми штанами. Он думал, что выйдет во двор, покажется, а потом переоденется, но заигрался и забыл переодеться. Играли в прятки. Игорь залез в подвал, зацепился в темноте за что-то и порвал штаны. Перетрусил так, что решил не возвращаться домой, остался в подвале и незаметно уснул. Разбудила его теть Ньюша. Она-то знала все потаенные уголки в подвале.

— Что-нибудь натворил? — участливо спросила она. У нее был фонарь, так что ускользнуть Игорь не мог. Да и бесполезно было, от тети Ньюши еще никто не ускользал.

— Новые штаны порвал...

— Мать не велела их надевать?

— Не велела, — всхлипнул Игорь.



— Видишь, как маму надо слушаться,— сказала тетя Ньюша.— А теперь мама беспокоится, обыскалась тебя. Ну, пойдем, отведу тебя домой.

— Не пойду,— заупрямился Игорь.

— Да ты не бойся, уговорим маму, чтобы не би-ла.— Она за руку привела его в квартиру и сказала Екатерине Михайловне: — Ты вот что, ты не трсгай парня, я ему обещала. Он больше не будет.

Игорю тогда действительно не попало, мать только пригрозила, что он пойдет на праздник в рваных штанах, и это, может быть, было бóльшим наказани-ём, чем если бы он получил хорошую порку. Но и это-го не случилось — мать на другой день купила ему другие штаны. Много позднее он понял, что сделать это, то есть купить еще одни штаны, было совсем не просто. Впрочем, никогда не бывало такого, чтобы он или сестра были одеты хуже других детей...

В это утро пришлось ехать автобусом.

У входа в цех Игорь встретил сменного мастера Баранова, которого так Барановым и зовут, потому что отчества он как бы еще не заслужил, слишком мо-лод (недавно пришел в цех после института), а по имени называть неудобно, все-таки мастер.

— Переоденешься,— сказал он,— зайди в кон-торку.

И они разошлись — Баранов пошел прямо на уча-сток, а Игорь в раздевалку.

Раздевалка и душевая расположены на втором эта-же, вернее, на антресолях. Туда ведет крутая желез-ная лестница, и на самой верхней ступеньке оставлен автограф сварщика: «Н. Кузькин». Когда-то, впервые поднимаясь по этой лестнице, Игорь подумал, что ка-кой же он идиот, этот безвестный Н. Кузькин,— не пришло ему в голову, когда он оставлял свой авто-граф, что его имя будут топтать ногами, плевать на него и растирать на нем окурки. Вот до чего, поду-мал он, доводит людей тщеславие. А позднее понял, что не такой уж идиот сварщик Н. Кузькин. Скорее всего, его давным-давно нет в живых — цех строили задолго до войны, в годы первой пятилетки,— а имя его сохранилось, и каждый, кто хоть раз поднялся по этой лестнице, знает, что жил на свете человек по имени Н. Кузькин, что работал он сварщиком и что стрсил кузнечный цех, самый первый цех на заводе, построенный при Советской власти. Может, вовсе и не из тщеславия расписался этот Кузькин электро-

дом, а чтобы подать весточку людям, которые десятилетия спустя после его смерти придут сюда, чтобы тоже работать. И еще, наверное, он расписался для того, чтобы люди знали: лестницу варил мастер Н. Кузькин, и значит, она надежна.

В раздевалке было еще мало народу. Из-за того что пришлось сегодня ехать автобусом, Игорь пришел раньше обычного, хотя он и вообще приходит раньше многих. Как уже было сказано, он не любит спешить. Перед работой надо сосредоточиться, собраться, а если прибежишь за пять минут до начала смены, какая уж там сосредоточенность, лишь бы успеть переодеться.

Постепенно раздевалка заполнялась. Шутили, смеялись, переругивались беззлобно, скорее по привычке, чем из желания поругаться, и это тоже было вчера, позавчера, неделю и год назад. Обычная суета, обычные утренние разговоры. Кто-то принесет свежий анекдот, кто-то пожалуется на жену, на тещу, а больше жалуются на транспорт, который плохо работает, но этих жалоб Игорь не понимает — нужно ходить на работу пешком. Вот он сегодня проехался, и сразу испортилось настроение.

Появился Борис Гусев, подручный Игоря.

— От имени и по поручению выражаю всем присутствующим мое глубочайшее почтение! — громко заявил он свое появление в раздевалке. И уже персонально Игорю: — Салам алейкум, шеф.

— Привет,— буркнул Игорь, зашнуровывая ботинок.

— Что это вы сегодня такой хмурый? — Иногда Борис называет Игоря на «ты», а иногда по имени-отчеству.— На улице солнышко светит, птички поют, девочки морзянку каблучками отбивают — живи и радуйся, а вы, Игорь Алексеевич... Не выспались? Это бывает, сам молодой, знаю.

— Хватит трепаться, пошел ты к черту.

— Можно и к нему, если он хорошо платит и если у них там не бывает авралов в конце месяца. Только вряд ли. В преисподней тоже борются за повышение производительности труда и за перевыполнение плана. А это что означает применительно к потусторонним жителям? Это значит, что черти нанизывают на шампур не по одному грешнику, как было раньше, до внедрения научной организации труда, а по дюжине сразу. Во, это производительность! У них скоро

грешников хватать не будет, придется перестраиваться на новую продукцию.

Вокруг засмеялись. Борис умел рассмешить, как говорится, и мертвого.

А Игорю иногда до головной боли надоедает болтовня Бориса. Из себя выводит, хотя вообще-то он хороший парень и работать с ним легко. Непонятно только Игорю, как он попал в кузницу и зачем, по какой прихоти. Учился в институте, закончил два курса, а потом бросил и поступил работать подручным кузнеца. Странно это. Или он просто чужак? Может, из-за денег пришел в кузницу? Вроде не похоже. Борис никогда не говорит о деньгах, никогда не интересуется, как другие подручные, сколько они заработали за день. словно ему безразлично, получит ли он сто рублей или двести. Кое-кто называет его «шизиком», однако Игорь чувствует, что дело все-таки не в чудачестве Бориса, а в чем-то другом. В свое время Игоря тоже принимали за чужака «с придурью». Он пришел в цех после техникума, по распределению, на должность технолога. Месяца два и работал технологом, а после понял, что, в сущности, совсем не знает кузнечное производство, что в техникуме учили как бы одному, а здесь — другое, и настоял, чтобы его перевели временно в подручные. Просьбу его в конце концов уважили, в заводской многотиражке опубликовали заметку «Хороший почин». Однако он-то пошел в подручные с определенной целью — на практике узнать и понять, что такое работа кузнеца, чтобы не быть посмешищем, мишенью для зубоскальства, чтобы стать настоящим специалистом, и он вовсе не собирался навсегда остаться работать у молота. Правда, работа его увлекала, и он не захотел возвращаться на должность технолога. Освоил профессию кузнеца и теперь доволен. Несколько раз его вызывали к начальству, настаивали, чтобы перешел в мастера, но он наотрез отказался.

А Борис, считает Игорь, случайный человек в кузнице и рано или поздно уйдет.

Проще всего спросить у него, каким образом он стал подручным, но Игорь не спрашивает. Это не его дело. Каждый живет своим умом и каждый знает, что именно и почему делает. А свое любопытство, если оно свербит в животе и мешает нормальному пищеварению, лучше удовлетворять иным способом, не залезая в чужую душу. Например, можно читать жур-

нал «Наука и жизнь», смотреть телепередачи «Человек и закон», «Очевидное — невероятное», — это как раз для любопытных. А душа у человека не для того, чтобы в нее заглядывал всякий прохожий. Она не замочная скважина, не щелка между неплотно задернутыми шторами. Если человек найдет нужным и возможным, он сам откроется другому, но для этого мало шапочно знакомства у пивного ларька или в тамбуре электрички. Да и противно это, когда люди первому встречному начинают мусолить про свою личную жизнь. Надо уметь сдерживать себя и свои эмоции. Особенно если ты мужчина. И в конце-то концов, на работе люди должны именно работать и ничего больше.

Борис переделся моментально. Он вообще все делает быстро и споро. Поэтому и работается с ним легко.

— Я готов, шеф, — сказал он. — Что сегодня будем делать?

— Замок на счастье, — не выдержав, тоже пошутил Игорь.

— Не пойдет, шеф. Счастьем замки не нужны, оно всегда должно быть распахнуто настежь, чтобы каждый мог подойти и взять, сколько может унести. Иначе какое же это счастье, если оно на замке?

— Всем не хватит, на машинах увозить станут.

— По совести чтобы, — сказал Борис.

— Твоя совесть — пустая абстракция. Багажник — вот это конкретно. Ладно, пошли работать. Что-то Баранов велел зайти.

— А можно один вопрос, Игорь Алексеевич?

— Если один, тогда можно.

— Вам не бывает скучно жить на свете?

— А тебе?

— Мне — нет.

— Ну а мне бывает.

— Я так и думал, — сказал Борис.

— Правильно думал.

Баранов, как оно и положено современному молодому специалисту, который убежден, что если бы ему доверили бо́льшую власть, то он бы решил мгновенно все проблемы, начал свою деятельность в должности пока сменного мастера, с наведения порядка на участке. Слов нет, по существу, он совершенно прав,

однако борьба за чистоту и порядок иногда приобретает у него странные формы. Например, ему страшно не нравится, что кузнецы и подручные вместо шнурков пользуются проволокой, и однажды на собрании он сказал, что это даже неприлично. Ему объяснили, что шнурки моментально перегорают, рвутся, а он то ли не понял, в чем дело, то ли решил проявить настойчивость, или, может, самолюбие помешало понять, и начал длинно говорить о том, что внешний вид, аккуратность в одежде самым непосредственным образом влияют на производительность труда и качество продукции.

— По данным зарубежных ученых, — листая блокнот, говорил Баранов, — удобная спецодежда и правильно организованное рабочее место в некоторых случаях позволяют без дополнительных затрат повысить производительность до десяти процентов...

— А про шнурки ничего в этих данных не сказано? — выкрикнул кто-то под общий хохот. — И насчет того, чтобы организовали стирку спецодежды? А то жены стирать отказываются.

— Насчет стирки обязательно поставим вопрос перед администрацией, я уже имел беседу с начальником цеха. А вообще, товарищи, вы напрасно смеетесь. — Все-таки у Баранова хорошая выдержка. — Пора кончать с разгильдяйством, в чем бы оно ни проявлялось. Вот вчера привели на экскурсию старшеклассников, — честное слово, мне было стыдно. Им в школе говорят, что сегодняшнему рабочему необходимо среднее образование, что рабочий сегодня — это настоящий интеллигент, человек высокой культуры, а что они увидели у нас?..

— Может, нам при галстуках ходить на работе и в белых рубашечках? — опять выкрикнул кто-то.

И вот тут не выдержал Борис.

— Что вы зубоскалите? — сказал он. — Человек правильно говорит. Всякий порядок начинается с уважения себя и своей работы. В самом деле, посмотреть на нас со стороны — охламоны какие-то, а не рабочий класс.

Как бы там ни было, а на участке с тех пор, как пришел Баранов, многое изменилось. По крайней мере, навели порядок и чистоту в темных углах за печами, где годами никто не убирал, сделали стеллажи для штампов, которые раньше валялись по всему участку, для поковок и отходов заказали контейнеры,

покрасили инструментальные шкафы, даже застекленную крышу наконец-то помыли, так что в пролете светлее стало.

Словом, Баранов как-то на удивление быстро прижился в цехе, его полюбили, хотя на первых порах и не обходилось без розыгрышей, потому что поняли — несморя на свою деловитость и безусловные организаторские способности (недаром его сразу избрали секретарем комсомольской организации), он до странности наивен и доверчив. Обмануть его ничего не стоит, и цеховые шутники пользовались этим. Однажды его позвали к телефону, сказали, что звонят из парткома и велели срочно явиться туда, чтобы сопровождать по заводу молодежную делегацию из Гренландии, которая прежде всего изъявила желание ознакомиться с кузнечным цехом. И Баранов поверил, пошел в партком. А вообще-то, во многих общественных делах, где нужен энтузиазм и бескорыстие, он незаменим. Организовать культпоход, туристскую поездку, возглавить субботник по уборке территории вокруг цеха — всюду Баранов. Возможно, к нему и относятся, особенно люди постарше, немножко иронически, но в целом его принимают. А когда он собрался увольняться, потому что негде было жить с молодой женой (оба они жили в общежитии, хотя ему, как молодому специалисту, и была обещана комната), к директору на прием отправилась целая делегация. И добились, что ему дали комнату.

Наверно, на любом предприятии, в каждом цехе есть такой вот свой Баранов. И совсем неважно, кем он работает, какую занимает должность. Важно, что есть. Должен быть. Без таких людей жизнь потеряла бы привлекательность, лишилась бы полутонов.

Игорь с Борисом спустились вниз, на минутку задержались у доски, где вывешиваются приказы по цеху и разные объявления, но ничего новенького на доске сегодня не было. Ни выговоров, ни благодарностей. Лишь в углу сиротливо приютился листок с сообщением, что в цехкоме имеются путевки в однодневный дом отдыха.

— Махнем? — предложил Борис. — Говорят, там можно прилично отдохнуть. Девочки опять же...

— Я завтра еду в Комарово, — сказал Игорь.

— В Комарово комары кровь сосут из детворы, — продекламировал Борис. — Хорошее место. Мы там дачу снимали, когда я был маленький. — Он отчего-

то вздохнул.— Но дерут там за дачи, с ума сойти! А у вас есть дача?

— Нет.

— Взяли бы участок в коллективном садоводстве.

— Вот и возьми, а я терпеть не могу общежития.

— Я бы взял, да кто мне даст. Как тому слону.

И вообще.

Игорь промолчал. Екатерина Михайловна тоже покоя не дает, все просит, чтобы он взял участок. А он не хочет. Не потому, что лень в земле копаться или что боится руки испачкать, как раз в земле-то он поковырялся бы с удовольствием, а потому, что с этими участками чуть до драки уже не дошло, хотя еще только разговоры идут, что будут выделять участки. Да и матери ни к чему, не то у нее здоровье, чтобы сад разводить. А у родителей Валентины есть дача. Правда, далековато, где-то в Новгородской области, в деревне, но внука своего, то есть племянника Игоря, они вывозят на все лето гуда.

Конторка сменных мастеров — это отгороженный листовым железом закуток в углу цеха. Здесь же, в этом тесном закутке, сидит и учетчица Тоня. У нее свой маленький стол, а учетчицей она числится только по штатному расписанию. На самом деле у нее куча других обязанностей: кого-то позвать к телефону, благо есть «выход в город», заполнять наряды, содержать в порядке документацию, получать на складе ветошь и раздавать ее машинистам молотов, еще «выбивать» брезентовые рукавицы, которых почему-то всегда не хватает, собирать рубли на коллективные подарки юбилярам и профсоюзные взносы, хотя на участке есть профгруппорг,— словом, Тоня нужна всем. Ей восемнадцать лет, она пришла в цех сразу после школы (не прошла по конкурсу в университет), вернее, ее привел Фомич, бригадир слесарей-ремонтников, которому она доводится внучатой племянницей. Она и живет у Фомича, а ее родители — где-то на севере, зарабатывают на кооператив, на машину и, может быть, заодно на дачу. У Тони большущие, почти как блюдца, карие глаза и белые, но не крашенные, волосы, и это редкое сочетание делает ее особенно привлекательной, или, как говорит Борис, завлекательной. К тому же у Тони отличная, ладная фигура. Вот разве что губы чуточку подвели — вызывающе припухлые. Это было бы не так заметно, когда бы Тоня не красила их слишком яркой помадой.

— Первый признак повышенной сексуальности,— уверяет Борис. Уверяет в этом он почему-то Игоря, хотя как раз Игорю это совершенно безразлично.— Страсть кипит в ее юном сердце.

— Утоли.

— Что вы, шеф. Я бы рад в рай, да грехи не пускают.

— Вот и поделите твои грехи на двоих, легче нести будет.

— Где уж нам уж выйти замуж,— с наигранной грустью сказал Борис.— Она только вас и видит. Даже во сне.

— А я во сне вижу, что пора тебе врезать по шее, чтобы трепался поменьше.

— Какой треп, шеф! Какой треп! Это сущая правда.— Все же Борис отошел на безопасное расстояние.

В Тоню немножко влюблены все, кому нет тридцати. А может, и те, кому есть. Пожалуй, не влюблен один только Баранов. Напротив, она раздражает его своим вызывающим, как он считает, видом. Но скорее всего, Тоня нравится и Баранову, просто он боится, что это заметят, а его жена, между прочим, работает тоже в кузнечном цехе, технологом...

А Тоня влюблена в Игоря, и это ни для кого не секрет, потому что она не умеет скрывать свои чувства, не научилась еще.

Единственное, о чем в цехе никто не догадывается,— ее мечта. А мечта у нее большая и светлая, такой мечте можно позавидовать: Тоня собирается стать ученой. Не врачом, не учителем и не младшим научным сотрудником, но именно Ученой с большой буквы. Как, например, Софья Ковалевская или Мария Склодовская-Кюри. В крайнем случае, как Екатерина Дашкова. На меньшее она не согласна, тогда уж лучше оставаться в кузнице на всю жизнь (сто пять рэ оклад плюс премиальные и льготный стаж), и в общем-то нет никаких сомнений, что ее мечта осуществится. У Тони настойчивый характер, и в отличие от большинства своих сверстниц и даже женщин в возрасте она знает, чего хочет, а это уже наполовину осуществленная мечта. Ну, а пока она работает учетчицей на участке свободнойковки и на будущий год снова собирается сдавать экзамены в университет.

В конторке, как обычно, сидели Баранов и Тоня.— Тут работенка для вас, Еремеев,— сказал Бара-



нов и вынул из ящика стола новенький, хрустящий чертеж.

Игорь наклонился над столом.

— Опять кольца, — недовольно проговорил он. — По копейке за пару, а заработка в этом месяце и так нет ни черта.

— У вас еще ничего, — возразил Баранов. — В других бригадах хуже.

— Интересно получается. Работаем не хуже, чем всегда, а план почему-то горит, и заработка нет. Какая-то сложная арифметика выходит. Кто бы мне объяснил, как это называется?

— Несовершенная организация труда, — пояснил Борис. — Сокращенно — НОТ.

— Послушайте, Гусев, я, кажется, не с вами разговариваю, — сказал Баранов. Всех подручных, вообще всех, кроме кузнецов, он называл только на «вы».

— Виноват, я подумал, что с нами.

— Помолчи, — сказал Игорь.

А Баранов продолжал:

— Ваша бригада не хуже, чем всегда, работает, а другие, значит, хуже. План выполняют люди.

— Это не ответ.

— Ладно, разберутся без нас. Смотри внимательно, Еремеев. — И он ткнул пальцем в чертеж.

— Да что туда смотреть, обыкновенные кольца. Они мне поперек горла стоят.

Борис в это время перемигивался с Тоней. Потом наклонился и что-то шепнул ей. Она фыркнула, прикрывая рот ладошкой.

— Что там еще? — сказал Баранов строго и поднял голову.

— Вы, шеф, не совсем правы, — невинно проговорил Борис. — Кольца эти непростые. При внимательном рассмотрении, что вам и советует сделать мастер, нетрудно обнаружить, что, во-первых, они имеют форму окружности...

— Заткнись, — Игорь поморщился.

— Заказ экспортный, — сказал Баранов. — Сталь видишь какая? Строжайший температурный режим и никаких допусков. Учти, заказ этот на контроле главного инженера, меня предупредили, что придет фиксатор из отдела главного технолога...

Сейчас Баранов, подумал Игорь, был похож на лектора из общества «Знание», который на днях чи-

тал в обеденный перерыв лекцию о моральном и материальном стимулировании труда. Наверное, он говорил и дельные вещи (все-таки кандидат философских наук), но был при этом чересчур серьезен, напыщен, словно делал сообщение об открытии внеземной цивилизации. Да и примеры приводил как бы из другой, неведомой жизни. Его плохо слушали, а Борис в конце концов встал и спросил, не объяснит ли уважаемый коллега (он так и сказал «уважаемый коллега»), отчего костюмы, сшитые на фабрике, о которой только что рассказывал лектор и где будто бы нашли оптимальное соотношение моральных и материальных стимулов, сидят на людях как мешки из-под минеральных удобрений?..

Вспомнив этот случай, Игорь улыбнулся невольно, а Баранов обиженно насупился.

— Раз тебе все понятно, Еремеев, у меня нет вопросов.

— У нас тоже нет вопросов, — тотчас подхватил Борис.

— А вы, Гусев, поберегли бы свое остроумие для самостоятельности. Здесь производство, а не манеж. И вы занимайтесь своим делом, — сказал он Тоне.

Тоня вспыхнула и опустила глаза.

— А я что? Я ничего, молчу. — Борис подмигнул Игорю. — Я всего-навсего в продолжение вашей мысли хотел напомнить Игорю Алексеевичу, что в то время, когда мы будем выполнять ответственный заказ, на нас будет смотреть вся просвещенная Европа...

— Да не валяйте вы дурака!

— Дурака, Николай Петрович, не свалишь. Дурак, он устойчив, как Пизанская башня.

Игорь схватил Бориса за шиворот, открыл ногой дверь и вытолкал его из конторки.

— Ухожу, подчиняясь грубой силе! — кричал тот. — Но я еще вернусь, Тонечка!

Игорь взял чертеж, наряд и тоже собрался уходить.

— Да, Еремеев, — сказал Баранов, передвигая на столе какие-то бумажки. — Тут есть еще одно дело... Впрочем, это потом. Иди.

Игорь вышел. Баранов какое-то время шуршал бумажками, потом обратился к Тоне.

— Должен вам заметить, — сказал он неуверенно, — что вы... В общем, не забывайте, что вы находитесь на производстве.

— А что я такого сделала?— часто моргая, спросила Тоня. Кого-кого, а мастера она не боялась.

— Это я вообще говорю, чтобы вы учили на будущее.

— Хорошо, Николай Петрович, я учту.

Баранов отчего-то покраснел и тоже пошел в цех. Тоня усмехнулась, провожая его взглядом, и показала язык. «Молодой, а уже зануда,— подумала она о Баранове.— А у Игоря,— еще подумала она,— сегодня плохое настроение. Наверное, неприятности какие-нибудь или поссорился с кем-нибудь, хотя он и неженатый». Вообще, по мнению Тони, он человек непростой, только его никто не понимает. А она понимает. Она даже на расстоянии чувствует, какое у Игоря настроение. Зато и спорит всегда с Фомичом, если он недоброжелательно отзывается об Игоре. А такое случается,— Фомич считает его слишком самолюбивым, равнодушным и злым. Правда, не отрицает, что кузнец он отличный. Может быть, лучший в цехе.

Насчет самолюбия и равнодушия Фомич, пожалуй, прав, и это Тоня признает, хотя и не говорит об этом. Признает не потому, как можно подумать, что Игорь не замечает ее,— это его личное дело,— а вообще, в принципе. Он живет как в лампочке: его видно всем, а ему не видно никого. Ну и пусть, и пусть, раз ему так нравится жить. Честно говоря, Тоня и сама не знает, что означает это «пусть», которое как точка в конце предложения, или, скорее, как восклицательный знак. А между тем в этом «пусть» заключено все, что сейчас волнует, тревожит ее. И обида на Игоря за невнимание к ней, и надежда на то, что рано или поздно он откроет глаза («разует», как любит выражаться Фомич), и разочарование, что слишком уж долго не происходит этого, и стремление доказать ему, что уж он-то и вовсе безразличен ей. Оно хоть и короткое, хоть и нейтральное с виду, это слово «пусть», но настолько емкое и глубокое, что других слов не надо.

А иногда Тоне хочется, чтобы с Игорем что-нибудь случилось. Какое-нибудь несчастье, горе, и чтобы никто не пришел ему на помощь, а придет в последний момент она. Она понимает, что это дурно — желать несчастья человеку, тем более желает-то она с корыстной целью, чтобы Игорь наконец обратил на нее внимание, чтобы открыл глаза, а вот все равно хочет этого и ничего не может поделать с собой.

Конечно, он взрослый человек, красивый, у него наверняка много женщин, а что она? Девчонка, вчерашняя школьница.

Тут Тоня посмотрелась в зеркало, которое висит на стене справа от нее, и нашла, что выглядит замечательно, совсем не хуже какой-нибудь кинозвезды или эстрадной певицы. По крайней мере, у нее нет ни одной морщинки, а другие вынуждены маскировать морщины, у нее натуральные длинные ресницы, а другие подклеивают искусственные, у нее прекрасные шелковистые волосы, а другие... Да что там! Просто Игорь еще не присмотрелся к ней, просто он занят собой. А что она молодая, так это разве плохо? Наоборот, это очень хорошо. Вот ему будет сорок, пожилой мужчина, а ей не будет и тридцати или только-только тридцать исполнится, и тогда он не захочет других женщин, потому что мужчины всегда любят женщин помоложе себя и своих жен, но зачем ему любить других, искать где-то, если..

И вдруг Тоне сделалось стыдно, и она почувствовала, что краснеет.

Приоткрылась дверь, в конторку заглянул Баранов.

— Меня никто не спрашивал?

— Нет.

— Если что, я во втором пролете,— сказал он.

В тесной камере печи бесновалось, гудело голубоватое пламя. Ровные, будто подстриженные, языки его вырывались наружу из-под раскаленной заслонки. Сергей Иванович, машинист молота, протирал ветошью станину и ворчал, что сменщик совсем обленился, что молот скоро обрастет ракушками, как днище судна (в молодости он был моряком, а теперь ему уже скоро на пенсию), и вообще никто не хочет работать, а все почему-то хотят получать деньги. Он постоянно ворчит, такой уж у него ворчливый характер, а машинист прекрасный, с ним работать одно удовольствие, так что Игорю в этом смысле повезло. От машиниста очень многое зависит. Хороший машинист чувствует молот и не хуже кузнеца знает, когда и как нужно ударить.

Игорь приготовил инструмент, проверил, не болтаются ли клинья в бойках (вообще-то это обязанность подручного, однако Игорь всегда проверяет

сам), передвинул вентилятор чуть в сторону — он не любит, когда дует в лицо, — и спросил у Сергея Ивановича:

— Все в порядке?

— Я готов.

— Тогда поехали.

Он погасил окурок, надел жесткие и холодные еще рукавицы, присел десять раз, чтобы размяться, и взял кленцы.

— Давай, Боря.

Борис выкатил из печи первую заготовку, подхватил ее клещами и, раскачав, бросил к ногам Игоря. Это по технике безопасности не положено, подручный должен поднести заготовку к молоту или подтащить, но так быстрее, проще, и, главное, когда заготовка падает на чугунные плиты, которыми покрыт земляной пол возле молота, с нее осыпается окалина. Баранов поначалу боролся и с этим нарушением техники безопасности, однако ничего не добился, как и со шнурками.

Игорь поставил заготовку на боек и кивнул Сергею Ивановичу. Другому машинисту нужно было бы скомандовать: «Бей раз!»

Может быть, это самый приятный момент в работе — первый удар молота. Вместе с первым ударом вдруг отступает все необязательное, второстепенное, все, что не имеет отношения к делу, и мир как бы сужается до площади рабочего места, и мускулы наливаются свежей силой, а ты чувствуешь себя хозяином положения, хозяином времени, и значит, человеком в полном смысле.

Работа сегодня, в общем-то, была несложная, руки делают ее почти автоматически, и Борис едва успевал выкатывать из печи заготовки.

— Даем стране угля! — весело кричал он. Он никогда не показывает своей усталости, хоть с ног валиться будет. Как будто эта тяжелая работа для него сплошное удовольствие.

До обеда все шло гладко, настолько гладко, что Игорь стал опасаться, как бы после обеда не случилось чего-нибудь. В работе он суверен, как, впрочем, и все кузнецы, потому что работа у них не только тяжелая и грязная, но и опасная.

Ничего особенного не произошло, а все же предчувствия не обманули Игоря: с обеда возле молота неотлучно дежурила какая-то женщина. Наверное,

это и есть фиксатор, решил Игорь. Она что-то записывала, время от времени проверяла температуру заготовок и готовых колец, следила, чтобы кольца полностью были прикрыты в контейнере песком. Значит, заказ действительно был необычный. Это льстило самолюбию, однако женщина все-таки мешала. Игорь терпеть не может, когда стоят у него над душой. Появляется какая-то скованность, неуверенность, и портится настроение.

— Шеф, а не спугнуть ли эту канарейку? — крикнул в ухо Борис.

Он умеет это. Однажды спугнул корреспондента многотиражки. Тот стоял, смотрел, тоже записывал что-то (наверное, живописал, как красиво, играючи работает кузнец Еремеев), а Борис, выдавая из печи заготовку, нарочно выпустил ее из клещей, и она грохнулась у самых ног корреспондента. Правда, парень попался крепкий, с характером. Он не сказал ни слова, просто спрятал блокнот в карман и ушел. С женщиной так не поступишь, да похоже, что она и не из пугливых. Заглядывает в печь (сама даже заслонку поднимает!), присыпает песочком поковки и не обращает внимания на окалину, которая фейерверком разлетается во все стороны. Не боится, что сгорят ее фирменные джинсы.

Незадолго до конца смены она ушла, так и не обронив ни слова.

— Улетела птичка, — прокомментировал Борис. — Нормировщица, что ли, новенькая?

— Из отдела главного технолога, — сказал Игорь.

— Ничего баба. Нажмем?

Но вернуться в прежний, утренний ритм работы уже не получилось. Это всегда так бывает, когда собьешься с ритма. И все же поработали отлично, сделали почти две нормы.

— Шабаш, — сказал Игорь и снял рукавицы.

Подошел Баранов.

— Ну как? — спросил он, заглядывая в контейнер.

— Нормально.

— Телеграмму принесли? — поинтересовался Борис с таким серьезным и деловым видом, что Баранов попался на эту шутку.

— Какую телеграмму?

— Но как же! От министра с поздравлением по случаю и сообщением, что нас премируют тремя ди-

ректорскими окладами каждого в связи. Надо спешить в кассу, пока не закрыли. Сами знаете, в пятницу все заводоуправление с обеда в местных командировках за дефицитом в ближайшем универмаге.

— Не надоело, Гусев? — поморщился Баранов. — Отобьешь язык.

— В том-то и дело! Представляете, какая отбивная получится к концу моего бытия?.. Пальчики оближете. Соберется группа товарищей на мои поминки, подадут им синтетическую водку с полиэтиленовой ветчиной, а тут...

— Убирай инструмент, — сказал Игорь.

— Слушаюсь, шеф!

Борис стал убирать инструмент, Сергей Иванович подметал окалину вокруг молота, а Баранов все топтался, не уходил, и было видно, что явился он не просто так, но за каким-то делом. Игорь ждал, что же он скажет.

— Иванов заболел...

— Что с ним?

— Сердце вроде. Жена звонила.

— Пить надо меньше, — сказал Игорь. Сказал ради красного словца, как принято говорить в таких случаях, потому что Иванов не пил.

— В понедельник должны отправить всю партию, — продолжал Баранов, — а еще термообработка. И план чуть-чуть не дотягиваем.

Игорь понял, к чему Баранов клонит: будет просить, чтобы они завтра вышли на работу. В принципе, выйти можно, не первый раз в субботу работать, тем более это последняя суббота месяца, однако он-то завтра занят, у Марины день рождения, и они договорились поехать в Комарово к ним на дачу. Ее родители будут ждать. Конечно, поездку можно и отменить... Только надоело вытягивать план за кого-то. Свой они выполняют и перевыполняют, и за все время, пока Игорь работает кузнецом, он ни разу не был на больничном.

— На двухтонку отдайте, — посоветовал он Баранову.

— Начальник цеха не разрешает. Тебе или Иванову. Слишком ответственный заказ. Вот если бы завтра доделать, сразу посадить на отжиг, тогда в понедельник можно было бы отгружать.

— А что, шеф, выручим родной коллектив? — сказал Борис. — А коллектив нам памятник соорудит из

дефицитной бронзы. Люстру такую в кабинете директора, а мы вместо висюлек.

— Слушай, не заткнулся бы ты, а? — вспыхнул Игорь. И сказал Баранову: — Я не могу, занят. Могут быть у меня личные дела?

— Могут, — согласился Баранов. И побрел прочь.

Деятель еще отыскался, глядя на него, раздраженно думал Игорь. План горит!.. А у меня, может, личная жизнь трещит. Им лишь бы премии получать. Срочно, срочно, а потом поковки месяцами в цехе валяются, никто их не увозит. Да пошли вы к черту с вашим планом!

Борис копался в инструментальном шкафу, что-то перекладывал там. Или делал вид, что перекладывает. Сергей Иванович все протирал станину, будто это был не полуторатонный молот, а швейная машинка.

— Ну что, язык проглотил? — сказал Игорь, посмотрев на Бориса.

— А что я? Ты бригадир, тебе и решать. Мое дело маленькое, был бы суп и сладенькое. — Борис усмехнулся. — А если хотите знать мое мнение, надо выйти.

— Выручим коллектив, проявим цеховой патриотизм, а заодно и лишнюю двадцатку получим? Или сначала двадцатка, а уж патриотизм потом?

— Двадцатка тоже не помешает. Деньги не бывают лишними. Разве что для вас.

— Солить собираешься?

— Да нет, тратить, — сказал Борис и направился в раздевалку.

— Зря ты так, — укорил Игоря Сергей Иванович. — Борька до денег совсем не жадный.

— Обрыдло все! — выкрикнул Игорь. — Все умные стали, прямо не кузница, а Академия наук! Вот поэтому и горит план. Все только думают, а работать некому. Вы тоже за то, чтобы выйти завтра?

— А что тебе я? — Сергей Иванович вытер чистой ветошью руки и пожал плечами. — Ты ведь решил.

— А ваше дело маленькое?

— Маленькое не маленькое, но последнее слово за тобой, раз ты бригадир. Борька прав.

— Разумеется, все правы, кроме меня.

А нехорошо, муторно было на душе Игоря. Понимал он, чего уж там, что не по делу накричал. Вот и с Сергеем Ивановичем грубо разговаривал. Извинить-



ся бы надо... А не мог. Не позволяло самолюбие. Если разобраться, он все-таки прав, а не они. По существу прав. Может быть, им нечего делать завтра, а у него-то есть дело! Допустим, Марине как-то можно объяснить, она понятливая и не очень обидчивая, быстро отходит, а ее родители могут и оскорбиться. Люди ведь ждут, готовятся, подводить неприлично. И вообще, отец Марины — военный, человек четкий, обязательный... В конце концов, в мире не произойдет ничего страшного, если эти проклятые кольца отгрузят не в понедельник, а во вторник. Или передадут Попову на двухтонку, уж такую-то работу и он сделает. Подумаешь, сложность какая! Сказали бы прямо, что нужно вытянуть план, чтобы не остаться без премии. Но почему он ради чьей-то премии должен наплевать на свои дела?..

Мысль эта несколько успокоила Игоря, в ней было как бы оправдание. Однако, прежде чем идти в раздевалку, он сходил в первый пролет и заинтересовался у Попова, что они сегодня делают.

— Протяжку, будь она неладна! — сказал Попов недовольно. — Наломался с этим квадратом триста, а заработок копеечный.

— А у тебя как в этом месяце?

— Хреново, как. По-хорошему, летом надо бы увеличить расценки, за жару приплачивать.

— Смотри, чтобы не срезали, — сказал Игорь. — Ни пуха тебе.

— К черту.

В раздевалке уже не было ни Бориса, ни Сергея Ивановича, и это даже обрадовало Игоря. Он не хотел сейчас встречаться с ними, особенно с Борисом. Пожалуй, он и задержался в цехе специально, чтобы не встречаться. Впрочем, Борис всегда моется и переодевается быстро, точно на пожар спешит или словно его семеро по лавкам ждут. А Игорь моется долго, со вкусом. Теплая вода вместе с потом и грязью смывает и усталость. Когда стоишь под душем, зажмурив глаза, отдыхаешь и телом, и душой. И в раздевалке, помывшись, Игорь тоже никогда не торопится. Посидит, покурит вместе с другими, кто тоже не спешит, поболтают о том о сем, — утром не очень разболтаешься, все в обрез приходят на работу. А после смены раздевалка что-то вроде клуба. Однако Борис, хоть он и большой любитель потрепаться, даже не присядет после смены. Десять минут на

мытьё, две-три минуты на одевание, и — «общий привет, мужики!» — летит сломя голову домой. Между прочим, он и в столовую не ходит, приносит из дому бутерброды с докторской колбасой. Но разве это еда для здорового мужика, занятого тяжелой физической работой! Был в цехе один такой, тоже питался бутербродами, так тот хоть на машину копил и не скрывал этого. И попал в больницу с язвой желудка, теперь на легкой работе: ни машины, ни приличного заработка.

Как-то Игорь заметил Борису, что не дело есть всухомятку, а он сказал, что не любит столовых.

— У нас отличная столовая, кормят не хуже, чем в ресторане.

— Все равно, посуду плохо моют, — смутился Борис.

— А ты что, старовер?

— Просто брезгую.

— Брезгуешь, а бутерброды ешь грязными руками.

— Это своя грязь, — ответил Борис. Но руки после этого стал мыть.

Нет, все же он со странностями парень.

В раздевалке, когда Игорь вернулся туда из душевой, сидел подручный Иванова. Читал книгу. Он живет где-то за городом, поэтому всегда таскает с собой книги, чтобы в электричке не скучать.

— Ты чего здесь торчишь? — спросил Игорь.

— Заболел же Иванов. Делать нечего.

— Ехал бы домой.

— Не отпускают. Да, а ты видел, про вас «молнию» вывесили.

— Хрен с ней, с «молнией», — сказал Игорь. — Мне до лампочки.

Все-таки, спустившись вниз, он подошел к доске объявлений. То есть не подошел, а медленно прошел мимо доски, чтобы никто не подумал, что его интересует «молния».

**СЕГОДНЯ БРИГАДА ЕРЕМЕЕВА В СОСТАВЕ ПОДРУЧНОГО КУЗНЕЦА ГУСЕВА И МАШИНИСТА ИЛЬИНА С. И., ВЫПОЛНЯЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЗАКАЗ, ПЕРЕВЫПОЛНИЛА ДНЕВНУЮ НОРМУ НА 194,5%.**

**ТОВАРИЩИ! РАВНЯЙТЕСЬ НА ПЕРЕДОВИКОВ!.**

Белиберда какая-то, подумал Игорь. Как это можно перевыполнить норму на сто девяносто че-

тыре и пять десятых процента? Получается, что сделали как будто не две, а три нормы. Но было приятно. Всегда бывает приятно, когда хвалят. Впрочем, Игорь никогда и никому не признался бы в этом...

На улице он встретил Тоню. Она возилась с босоножкой. То ли застегивала, то ли делала вид, что застегивает. Скорее всего, ждала Игоря. Он сразу догадался об этом и усмехнулся. Он вообще не принимает ее всерьез. Какая-то сувенирная кукла, думает он о Тоне. На подставку бы ее и на прилавок магазина, что на углу Невского и Владимирского. Продукт народного творчества.

— Вы домой, Игорь Алексеевич? — спросила она, выпрямляясь.

— Из дому. — Он терпеть не может идиотских вопросов.

Однако Тоня не обратила внимания на его тон. Или не захотела обращать.

— Пряжки делают, что совсем не держат, — сказала она, имея в виду босоножки.

— Снеси в мастерскую — поставят новые.

— Носила. Говорят, у них такие же. А вы «молнию» видели?

— В гробу я ее видел. Пусть Баранов считает проценты, а мы считаем рубли.

— Ну зачем вы на себя наговариваете, Игорь Алексеевич! Ведь вы не такой...

— А какой?

— Вы... лучше. — Она покраснела.

— Лучше кого?

— Вообще, — сказала Тоня. — Вы совсем не жадный, для вас деньги не главное.

— Почему же, — возразил Игорь. — Деньги весьма весомый фактор нашего счастливого бытия.

— Вас не понять, когда вы шутите, а когда говорите серьезно.

— Это потому, что я всегда говорю только серьезно.

— Просто вы сегодня не в духе с самого утра.

— А ты у нас наблюдательная. Тебе нужно переходить на работу в уголовный розыск, там острый дефицит на наблюдательных. Зуб у меня болит, — сказал Игорь.

— Ой, что же вы раньше не сказали? — оживилась Тоня. — Я могу достать номерок к прекрасному врачу, у меня подружка работает в зубной поликли-

нике на Чайковской. Хотите? Можно прямо сейчас позвонить.

— И как она, ничего?

— Кто?

— Подружка, кто же еще.

Тоня остановилась, часто-часто захлопала ресницами, потом странно как-то, точно на незнакомого человека, взглянула на Игоря и вдруг побежала. Он хотел было окликнуть ее, остановить. Может быть, он хотел даже извиниться, понимая, что обидел Тоню, однако не окликнул и не стал догонять ее. Надолго ее обиды не хватит, решил он. В понедельник как ни в чем не бывало будет шнырять возле молота, делая вид, что ей куда-то срочно нужно идти, а в действительности чтобы лишний раз показаться ему. Смешная она и глупая. И еще чересчур доверчивая. Живет и не видит, что вокруг полно подонков разных. Именно такие, как Тоня,— легкая и потому желанная добыча для этих подонков. Они ведь берут там, где легче взять, а она на любую ложь отзовется, если ложь не слишком уж грубая и откровенная. Отзовется и полетит помогать, успокаивать, жалеть — словом, полетит творить добро, как ей самой кажется. Запретить бы таким вот людям всякое добротворчество, ибо от их добра в конце концов, как круги по воде, расплзается зло. Своей глупостью и наивностью, своим неумным стремлением украсить мир елочными игрушками и плюшевыми зайками, в стремлении примирить непримиримое, они потворствуют злу, удобряют его, потому что сами безоружны перед злом, и разоружают других. А потом из них, убежден Игорь, получаются жены, озлобленные на всех и вся, и они мстят за все те мерзости, с которыми столкнулись на ниве добротворчества, отыгрываясь на своих мужьях. А подонки процветают.

На остановке у проходной, как и всегда в это время, народу было невпроворот. Автобус брали штурмом. Разве что криков «ура» не хватало. Уж тут не до вежливости, не до галантности, лишь бы втиснуться самому, а другие как хотят. Стоят себе люди, курят, болтают, смеются — все друзья-приятели, у всех общие заботы и общие радости, но едва показался автобус — и тотчас все замолкают, исчезают с лиц улыбки, толпа делается молчаливой, сосредоточенной, и каждый прицеливается, где бы удобнее занять позицию, чтобы оказаться ближе к заветной двери, как

будто жизненно важно уехать именно на этом автобусе, а не на следующем, который подойдет через несколько минут. Еще женщин можно понять: они-то спешат, чтобы успеть в детский садик или ясли, чтобы приготовить пожарить этим же мужчинам, которые, пользуясь силой, оттесняют подалше от дверей чьих-то жен. А где-то у другой проходной другие мужчины стесняют их собственных жен.

Хамство, как и зло, ползуче.

С работы Игорь пешком не ходит, все же устает за день, но и за место в автобусе не бьется. В двух кварталах от проходной кольцо трамвая, и он ездит на трамвае.

А вот и дом, в котором живет Игорь. Вполне приличный дом, старый, но удобный, со множеством архитектурных излишеств, что никому не мешает жить. Скорее, наоборот. Зимой в доме тепло, а летом не жарко (почти как в солдатской шинели — зимой в ней не холодно, потому что она суконная, а летом не жарко, потому что она без подкладки), соседей и даже трамваев не слышно, — «излишества» приглушают шум. Лифт в доме тоже старенький, тихоходный, зато бегаёт исправно и не грохочет. Правда, он работает только на подъем, но это ничего, вниз можно и спуститься. А выше последнего этажа, перед входом на чердак, есть просторная площадка. Когда на улице морозно или дождливо, на этой площадке корстают время подростки. В юности Игорь тоже сбегался частенько там и подруг туда водил. Кто-то выставил на площадку старую оттоманку, кто-то прикрыл выпирающие пружины половичком, и получился замечательный уголок отдыха. Между прочим, на площадке всегда чисто, никто окурков на пол не бросит и пустую бутылку не оставит. Однажды Игорь показал этот уголок Марине, но ей почему-то не понравилось здесь.

— Диван, конечно, ты придумал?

— Он стоял здесь еще до войны.

— Но ты ходил сюда?

— Все ходили.

— И девиц водил?

— Ну...

— Понятно, — сказала Марина, поджимая губы. — А меня зачем привел?

— Так просто, показать.

— Не остроумно и даже пошло.— И она обиделась на целых три дня.

Вообще, у них довольно сложные отношения. Марина младше Игоря на восемь лет, или почти на восемь, и это обстоятельство создает определенные трудности в общении. Пожалуй, Игорь давно оставил бы ее в покое, однако она нравится ему по-настоящему, и однажды он даже заикнулся насчет женитьбы. То есть намекнул. Но Марина ничего не сказала на это, сделала вид, что не заметила намека. Может быть, завтра в присутствии ее родителей он наконец решится сделать ей официальное предложение. Если разобраться, пора устраивать свою личную жизнь, а с Мариной Игорь чувствует себя как-то легко, непринужденно, ему интересно с ней, хотя характер у нее своенравный, и уж послушной женой она, конечно, не станет. Она работает в парикмахерской — мужской мастер, — там они и познакомились, когда Игорь зашел постричься. Факт этот тоже не совсем понятен Игорю, потому что отец Марины занимает какой-то большой пост, она говорила, что он обязательно скоро будет генералом, значит, работать ей вовсе не обязательно, могла бы учиться.

— Я и учусь, — сказала Марина в ответ на его расспросы. — Жизни учусь. А в институт не хочу.

— И родители одобряют?

— Разумеется. У меня умные родители, запомни это, на всякий случай.

Ну что ж, завтра он познакомится с ее умными родителями.

Дверь открыл Илья Макарович. Игорь не любит пользоваться своим ключом, хотя и носит ключи в кармане. Ему нравится, когда открывают дверь. Екатерина Михайловна говорит, что его отцу (иначе своего бывшего мужа она не называет) тоже нравилось.

— Уже ты? — почему-то удивился Илья Макарович. — Который же теперь час?

— Шестой, как всегда.

— Зачитался, понимаешь, и не заметил. Очень интересная сегодня статья в «Правде». В Японии, оказывается...

— А где мать? — спросил Игорь, не дослушав, что там происходит в Японии. Илья Макарович, если его не остановить, может весь вечер пересказывать то, что прочитывает за день. А прочитывает он уйму.

Покупает все газеты подряд, кучу журналов, не говоря уже о книгах, которых у него около трех тысяч томов.

— Екатерина Михайловна у врача, я все же настаивал, чтобы она сходила. По-моему, у нее опасно поднялось давление.

— Вы обедали?

— Да. На первое сегодня рассольник с уткой, а на второе...— Он задумался.— Вот память стала! Склероз, наверно.

— Самая приятная болезнь,— сказал Игорь.— Забываешь, что болен, и каждый день узнаешь что-нибудь новенькое, потому что не помнишь, что было вчера.

— Твой юмор вполне в духе времени,— проворчал недовольно Илья Макарович и ушел в свою комнату.

Он поселился в квартире два года назад. До него в этой комнате жила одинокая женщина, которая называла себя молодой вдовой, хотя никогда не была замужем, да и молодость ее далеко не первой свежести — было ей лет сорок. То есть время от времени у нее поселялся очередной «муж», но официально она замуж не выходила. Или ее никто не брал. Работала она в вагоне-ресторане и поэтому, к счастью, редко бывала дома. Зато уж когда бывала, от нее не было поклою. Целые вечера высиживала у телевизора в комнате Екатерины Михайловны, смотрела все подряд, без разбору. Игорь и не рад был, что купил матери цветной телевизор. Сам он редко смотрел телевизор. Как-то транслировали чемпионат Европы по боксу, соседка тоже пришла, хотя на бокс ей было наплевать. И вот когда награждали первых победителей, она вдруг оживилась, глаза у нее заблестели, и она спросила у Игоря:

— А медали им дают из настоящего золота или только позолоченные?

— Синтетика,— сказал Игорь, лишь бы она отвызалась и не мешала.

— А разве золото бывает из химии?

— Из какой химии?

— Но ты же сам сказал, что медали синтетические!

— А! В большом количестве. У нас на заводе огромный цех построили, выпускают синтетическое золото в слитках и отправляют на ювелирные фабрики.

— Ты смеешься? — усомнилась соседка.

— Почему смеюсь? Теперь все предприятия выпускают товары народного потребления.

— А зачем столько медалей?

— Да при чем тут медали, — сказал Игорь. — Из этого золота вообще делают все украшения. Настоящее золото на другие нужды идет. В космических кораблях, например, каждый проводок из чистейшего золота. А где его столько взять, чтобы и на колечки хватило? Золото не сеют и осенью шефы не убирают. Но это ерунда. Синтетическое золото с виду не отличить от настоящего. Изобретатель получил Нобелевскую премию и сразу стал академиком.

— Почему это золото в космос не запускают?

— Состав-то другой, — объяснил Игорь. — По нему электричество не идет.

— Поэтому и дорогие ракеты и разные спутники, — вздохнула соседка. — А честных людей, которые за свои кровные, обманывают. Спокойной ночи, я пойду, — завтра в поездку, отдохнуть надо.

Черта с два ты будешь отдыхать сегодня, подумал Игорь злорадно. Всю ночь будешь разглядывать свои побрякушки, а чуть свет побежишь выяснять, из какого золота они сделаны. Екатерина Михайловна немножко поворчала на него, однако ворчала она лишь для порядка, потому что и сама едва переносила «молодую вдову».

В результате каких-то длительных переговоров и многоступенчатых обменов соседке удалось выменять однокомнатную квартиру, а в ее комнату въехал Илья Макарович.

Он привез с собой довоенную оттоманку, маленький письменный стол, три стула, фанерный платяной шкаф, разобранные книжные полки и совершенно невероятное количество книг. Как он ни колдовал, все полки в комнате не поместились, и тогда Илья Макарович спросил у Игоря:

— Что, если один стеллаж поставить в прихожей? Я думаю, Екатерина Михайловна не будет против?

— Попробуйте, — пожал плечами Игорь. Он-то хорошо знал, что мать терпеть не может всяких перестановок, даже стул в своей комнате не разрешает переставить с места на место, зато любит, чтобы в прихожей был простор.

— Попробуем, — сказал Илья Макарович и подмигнул Игорю.



Екатерина Михайловна готовила обед. Когда Илья Макарович вошел в кухню, она как раз разбирала рыбу, минтая, чтобы сделать в тесте, и ворчала, что в магазинах не стало настоящей рыбы.

— Минтай — замечательная рыба, — неожиданно проговорил Илья Макарович. — В Америке и Японии это основная промысловая рыба. Просто мы не привыкли. Помните, как смеялись над нототенией?..

— Интересно, почему это вы живете в Ленинграде, а не в Америке? — бегло взглянув на него, сказала Екатерина Михайловна. — Ехали бы гуда и ели бы там минтая.

— Не минтаем жив человек, — ответил он. — Простая, естественная пища гораздо полезнее, чем изысканная. Вы, кстати, не пробовали минтая с картошкой под майонезом и с яйцом?

Тут Екатерина Михайловна положила нож, вытерла руки и, подняв на Илью Макаровича глаза, спросила:

— А вы не пробовали не лезть в чужие дела?

Игорь стоял у двери и едва сдерживал смех. Примерно такого ответа он и ожидал от матери.

— Пробовал, не получается, — спокойно сказал Илья Макарович. — В этой связи я подумал, уважаемая Екатерина Михайловна, что нам будет трудно вдвоем на одной кухне...

— Да уж куда труднее.

— Но есть выход из положения.

— Что за выход? — насторожилась она.

— Это потом. А сейчас у меня к вам большая просьба. Вы не позволите вешать мое пальто — оно у меня одно — на вашу вешалку?

— А это еще зачем?

— Тогда стенка между моей комнатой и комнатой вашего сына останется свободная и я бы смог, опять-таки с вашего разрешения, поставить там книжный стеллаж. Согласитесь, уважаемая Екатерина Михайловна, что знания никому не помешали в жизни, а книга, как известно, — источник знаний.

— Да ставьте вы свой источник хоть на голову! — сердито сказала она. — Только я не отвечаю за ваши книги.

— Благодарю, я так и знал, что мы с вами найдем общий язык. — И он быстро вышел из кухни, не дожидаясь, пока Екатерина Михайловна придет к себя.

Игорь был уверен, что мать разрешила выставить в прихожую стеллаж только потому, что растерялась от столь неожиданной просьбы. Однако он ошибся в чем-то. Мать и новый сосед действительно нашли общий язык, и очень даже скоро: спустя несколько дней Илья Макарович питался вместе с ними, то есть Екатерина Михайловна «взяла его на довольствие», как объяснил он Игорю. А мать смущенно объяснила:

— Мне все равно, что на двоих готовить, что на троих. Так-то еще и лучше, я сама себе на кухне хозяйка. А он человек одинокий, пожилой, почему не помочь хорошему человеку?..

Жена Ильи Макаровича умерла лет двадцать назад (ему много за шестьдесят, он персональный пенсионер), последние годы он жил с сыном, но у них не сложились нормальные отношения с невесткой, поэтому они и разъехались. Впрочем, Илья Макарович не любит рассказывать о себе, и все это узналось постепенно, отрывочно.

Иногда они с Игорем играют в шахматы, однако обыграть Илью Макаровича Игорю удается редко, хотя он тоже играет неплохо — на заводских соревнованиях за свой цех всегда выступает на первой доске.

Едва Игорь сел за стол, чтобы пообедать, как пришел Илья Макарович.

— Ты ешь, ешь, я не буду мешать, — сказал он и устроился в сторонке, у окна. Отсюда был виден весь двор и даже часть улицы под аркой. Игорь догадался, что Илья Макарович высматривает мать, чтобы открыть ей дверь раньше, чем она успеет позвонить.

Он усмехнулся. Он давно заметил, что они — мать и Илья Макарович — симпатизируют друг другу.

— Как потрудился сегодня?

— Прекрасно потрудился.

— А как вообще дела на заводе?

— А что на заводе? Один работает — трое премию ждут. Как везде.

— Ну, зачем же обобщать! — сказал Илья Макарович.

— Разве не так? Как только конец месяца или конец квартала... — Он махнул рукой. — Завтра опять нужно выходить.

— Ты завтра работаешь? А я хотел пригласить тебя на лекцию...

— Я-то не работаю, пошли они! Срочный заказ, то да се, как будто я не знаю, что все дело в плане. А вернее, в премии. Если бы премии давали несмотря на то, выполнили план или нет, никто бы и не чесался.

— В чем-то ты безусловно прав,— проговорил Илья Макарович, вздыхая.

— Во всем прав. Положено два выходных — положено...

— Но ведь никто тебя не заставляет работать в выходной, верно? Тебя просят. Видишь ли, у нас плановое хозяйство, поэтому невыполнение плана одним предприятием нарушает ритм работы...

— Какой там ритм! Ничего не произойдет, если эти кольца, которые нужно сделать почему-то завтра, отправят не в понедельник, а во вторник.

— Возможно,— согласился Илья Макарович.— Но ты посмотри на проблему шире. Никто не спорит, у нас много недостатков, особенно в организации труда, в планировании...

— Вот именно.

— Подожди минутку. Почему-то считается, что за все недостатки должен отвечать дядя, который сидит там.— Илья Макарович показал пальцем в потолок.— А виноваты мы все, вот в чем дело. Чувство хозяина может возникнуть в каждом из нас только тогда, когда каждый же будет готов отвечать за все, что делается вокруг.

— Это называется валить с больной головы на здоровую.

— А у тебя не болит голова, когда твой цех или твой завод не выполняют план?

— У меня вообще никогда не болит,— сказал Игорь.

— Значит, ты счастливый человек.

— А что, счастье в том, чтобы голова не болела? Мало же нам надо тогда.

— Ну, это не так уж и мало,— проговорил Илья Макарович.— И не нужно передергивать, ты же прекрасно понял, что я имел в виду.

— Пусть голова болит у тех, кто работает за премии.

— Что же худого в том, что люди хотят получать премии? Им надо жить. Вот если бы твое благосостояние зависело от премии...

— Да на фиг мне сдалась эта двадцатка, кото-

рую мне заплатят, если я завтра выйду на работу! Мне и так хватает.

— Тебе хватает, а другому эта двадцатка совсем не лишняя. За двадцатку, между прочим, можно купить детское пальтишко.

— А я не ворую, я честно зарабатываю свои деньги.

— Верно, не ворует, — согласился Илья Макарович. — Но если ты можешь помочь выполнить план, а люди за это получают премию, почему же не помочь?

— Выходит, ради кого-то я должен приносить в жертву свою личную жизнь?

— Не слишком ли громко сказано?.. Жертва-то невелика. И я не вижу ничего худого, когда говорят о чести коллектива. Скорее, наоборот.

— Много говорят, вот в чем беда.

— Не спорю, иногда мы больше говорим, чем делаем.

— Начальство с трибун призывает...

— Стой, стой, стой! — перебил его Илья Макарович. — Разве от начальства зависит, чтобы мы хорошо, добросовестно трудились каждый на своем месте? Никакое начальство не заменит нашей совести.

— Я работаю на совесть. Между прочим, я свой план выполнил и даже перевыполнил.

— Прекрасно! Но ведь ты потому и перевыполнил, что кто-то тоже поработал на совесть. И возможно, в прошлую субботу. Не думал об этом?.. Не знаю, но в наше время никто не считал зазорным поработать и в выходной, если это надо.

— А надо ли, вот вопрос! — сказал Игорь.

— Бывает, что обязательно надо. Реальная жизнь сложнее КЗоТа. Сам же говоришь, что твой сменщик неожиданно заболел. Кстати, что-то долго нет матери... — Илья Макарович заглянул в окно.

— Ждет, когда врач obeжит все магазины.

— Здесь ты прав. Чуть ли не нормой стало начинать прием больных с опозданием. Наверно, если бы каждый из нас честно выполнял свои обязанности, сами собой решились бы многие проблемы. А тебе не пришлось бы работать в выходные дни. Не такие уж у нас напряженные планы, как иногда пытаются это доказать.

— Давно хочу у вас спросить...

— Так спрашивай.

— Вы кем работали до пенсии?

— Много кем, — улыбнулся Илья Макарович.

— Но не простым рабочим?

— Во-первых, я не люблю этого выражения — «простой рабочий». Тогда по логике нужно говорить «простой директор» или «простой артист». Во-вторых, если тебя это интересует, был и рабочим. Но это не имеет значения. Все мы, Игорь, и простые, и не простые. Но не случилось ли чего с матерью?.. — Илья Макарович снова заглянул в окно. — Уж слишком темно.

— Не беспокойтесь, тоже в очереди за чем-нибудь стоит. У матери «очередной синдром», она не может пройти мимо, если видит очередь.

— Для нас с тобой, между прочим.

— А, ерунда! — махнул Игорь рукой. — Просто у женщин такая психология, они любят стоять в очередях. Обсудят всё, посплетничают вдоволь...

— И это верно. А где твоей матери, например, еще поблизаться с людьми? — Илья Макарович поднялся. — Все-таки пойду я встречу ее. Может, и правда стоит за чем-нибудь, помогу донести. Вчера она зеленого горошку десять банок притащила.

— Вольному воля, — сказал Игорь. — Можно прожить и без горошка.

— Это ты своей будущей жене скажешь. Кстати, как поживает Мариночка?

Илья Макарович знал Марину. Иногда она приходила к Игорю домой, несколько не стесняясь Илью Макаровича. А вот Екатерину Михайловну то ли стеснялась, то ли боялась.

— Нормально поживает, что ей сделается, — ответил Игорь.

— Женится бы ты на ней, прекрасная девушка.

— Все они прекрасные, пока замуж не выйдут.

— Ну, уж какой быть женщине замужем — зависит от мужчины, — сказал Илья Макарович.

— Или наоборот.

— И наоборот тоже. Привет ей от меня передай. Ты ведь увидишь ее сегодня?

— Сегодня не увижу. Вот завтра собирался... А может, в шахматилки?

— Нет, пойду. А Марина — умница.

Илья Макарович ушел.

Игорь побродил по квартире, посмотрел телевизионную программку, но ничего интересного для себя

не нашел. Читать не хотелось. Вообще настроение было какое-то смутное, тревожное, словно должно было что-то произойти. На всякий случай он набрал номер Марины, никто не ответил. Провырнувшись, что ли, подумал Игорь. Он любил бродить по городу, любил ходить по незнакомым улицам. Это обычно помогало от хандры. Он выбирал для прогулок тихие улицы, по которым не ходят ни трамваи, ни автобусы, где нет больших магазинов и куда не добираются приезжие. Вообще, он любил свой город...

Игорь неторопливо шел по улице, время от времени останавливаясь, если на пути попадались афиши или объявления. Это его давняя слабость.

Вот, например, красивая афиша сообщает ленинградцам и гостям «нашего города», что в зоопарке появилось редкое экзотическое животное из семейства кошачьих — гепард. Он смотрит на прохожих симпатичными глазами внимательно и вовсе не злобно, он словно приглашает людей: приходите в зоопарк посмотреть на меня и не бойтесь страшного названия — хищник, — потому что я не большой хищник, чем вы, только для меня специально никто не выращивает телят и барашков, я сам добываю для себя и своих детей кусок мяса, и добываю его, между прочим, в жестокой, смертельной борьбе. В том числе и с вами, так что вполне возможно, я знаю истинную цену жизни лучше вас. Приходите, пожалуйста, я буду ждать...

Надо сказать Марине насчет гепарда. Она любит именно экзотических животных. Она вообще никогда не пройдет мимо кошки или собаки, чтобы не погладить или хотя бы не сказать несколько ласковых слов. И в зоопарк любит ходить, но только в будние дни, когда там мало народу. Больше всех остальных обитателей этого зарешеченного мира Марине нравится слон. Она уверяет, что у него очень умные, осмысленные глаза. Однажды они поспорили с Игорем и насчет слона, и вообще насчет зоопарка.

Марина сказала, любуясь слоном:

— Такое впечатление, что он сейчас возьмет и заговорит, верно? И всем нам сделается стыдно.

— Почему стыдно?

— Потому что мы лишили его свободы ради любопытства.

Что касается слоновьих глаз, Игорь готов был согласиться с Мариной, хотя не такие уж они и умные, его глаза. Но добрые и, пожалуй, грустные,— это правда. Впрочем, доброта и грусть — верный признак ума. Дурак редко бывает грустным и никогда — грустным и добрым одновременно. Дурак неспособен на сложные эмоции, у него все однозначно: или — или. А вот свобода, которой лишили слона... Дело совсем, думает он, не в праздном любопытстве,— дело в том, что люди жаждут контакта с окружающим их живым миром, а чтобы понять и полюбить того же слона, его надо увидеть и узнать. В глаза ему заглянуть. А ведь редко кому удастся сделать это в дикой природе.

Игорь примерно так и сказал Марине.

— А если тебя с целью познания и любви к тебе посадить в клетку? Тебе это очень понравится? — усмехнулась Марина.

— Тогда будь последовательна,— возразил он.— Не ходи в зоопарк, в цирк, не ешь мяса...

— Мясо я ем по необходимости, так предусмотрено природой. В цирк, как тебе известно, я и не хожу, ненавижу цирк. А заставлять зверей сидеть в клетках...

— Зачем же ты ходишь сюда?

— Жалеть,— вздохнула Марина.

— Ха, а какая польза слону или бегемоту от твоей жалости, если они по ту сторону решетки, а ты — по эту?..

— Ну... Может, им хоть чуточку легче переносить неволю, когда они знают, что их кто-то жалеет. А мне стыднее, когда я смотрю на них. Если человеку стыдно, значит, у него совесть не спит.

— Стоит на посту! — рассмеялся Игорь.— Так иди работать в зоопарк со своей дремлющей совестью.

— Мне нельзя,— сказала Марина.— Я открою все клетки и выпущу всех животных на волю.

— Но ты же этого и хочешь!

— Не в городе же выпускать.

По правде говоря, Игорь не понимает этого. Ему кажется, что разговоры о любви к природе, которые в последнее время стали модными, не более чем показуха. Вместо того чтобы распинаться, взяли бы эти защитники природы и дружно отказались от мяса, например объявили бы себя вегетарианцами, что ли.

Черта с два объявят, черта с два откажутся. Покричат на очередном собрании, а после разъезжаются в автомобилях, от которых, между прочим, уже проходу нет и дышать нечем. Вон в соседнем доме живет какой-то «природоохранительный» начальник, так за ним по утрам тоже автомашина приходит — персональная! — с надписью на кузове: «Охрана природы». Чем не анекдот?.. Сами спят на полированных деревянных кроватках, носят бельишко из натурального шелка (синтетика вредна), шапки и воротники, а то еще и шубы из натурального же меха, есть хотя по три раза в день, и желательно филейную вырезку, твердокопченую колбаску и хорошую рыбку. А где все это взять, если не у природы?.. С неба, может, свалится?.. Сам Игорь на эти противоречия смотрит просто и ясно: когда-то на земле жили ящеры и кто-то наверняка кормился их яйцами, и вот ящеров давным-давно нет, вымерли бедолаги, и, говорят, не без помощи любителей яичницы из ящеровых яиц, а ничего страшного не случилось, человечество не погибло. Не погибнет и без лососины, минтай тоже рыба...

Ага, вот еще афиша: «Концерт органной музыки, в программе произведения И. С. Баха», как будто Бах — Иван Сергеевич или Илья Степанович. А орган Игорь слушал в Риге, в Домском соборе. Они были там с Мариной, ездили по туристским путевкам на выходные дни. Игорю, кстати, больше понравился собор, чем орган, хотя Марина восторгалась именно органом.

Игорь считает, что ажиотаж вокруг старинной музыки — тоже мода. Вообще люди слишком многое делают не потому, что им так нужно или нравится на самом деле, а потому, что так модно. Когда он высказал это Марине, она рассмеялась.

— Думаешь, ты другой?

— Мне плевать на моду.

— Только кажется, — сказала Марина. — Теперь же самое модное — не быть модным!

Вообще-то Игорь мог бы позволить себе и дубленку, и кожаный пиджак, мог бы носить иностранные тряпки за любую цену, однако он покупает только то, что продается в магазинах, и по цене, которую считает умеренной. А платить пятьсот рублей за пиджак — увольте, пусть покупают пижоны и те, кто не зарабатывает сам.



А вот и самое интересное — объявления. Мимо объявлений Игорь никогда не пройдет мимо. Одно время он даже собирал курьезные объявления, потом забросил это занятие, но читать — читает.

«Продаются фирменные джинсы...» (Это ерунда, джинсов навалом в магазинах.)

«Куплю граммофонные пластинки начала XX века...» (Выходит, есть все-таки люди, всерьез увлекающиеся старинной музыкой?)

«Даю уроки физики, математики, химии, русского языка и литературы, истории...» (Да это же какой-то новоявленный Леонардо да Винчи, Ломоносов в юбке, по имени Вера Анатольевна! Надо записать телефончик и позвонить...)

«Продается отлично подобранная библиотека детективной и научно-фантастической литературы...»

— Молодой человек, вы что-нибудь меняете?

Игорь обернулся на голос. Рядом стояла женщина лет сорока, на которой почти не было платья — так, едва заметное прикрытие из полупрозрачной ткани, — зато было много золота и фальшивых драгоценных камней.

— Вы у меня спрашиваете?

— У вас, — сказала женщина. Она кивнула головой, и Игорю показалось, что золото грустно звякнуло на ее морщинистой шее и в ушах. — Вы не квартиру меняете?

— Нет, не квартиру, — с сожалением сказал Игорь. — Я меняю два строгих выговора с последним предупреждением на один клозет с финским унита-зом. Желательно, с черным.

— Хам! — выдохнула женщина ему в лицо, краснея от негодования.

— Тогда могу предложить статью из Уголовного кодекса в обмен на садовый участок. Вам подойдет.

Но женщина, колыхаясь, уже удалялась прочь. Она не хотела ни строгого выговора, ни статьи из Уголовного кодекса, хотя, подумал Игорь, там наверняка найдется парочка статей на ее фигуру. А уж на фигуру ее мужа просто можно брать без примерки. Но ей, похоже, и без того недурственно живется. Разве что ходить трудно, ведь золото — тяжелый металл...

На перекрестке Игорь остановился. Свернуть на Лигейный или идти прямо?.. Вообще говоря, он знал, что никуда не свернет, что пойдет прямо, потому что

в трех кварталах отсюда живет Борис, однако стоял и раздумывал. У Бориса он должен оказаться случайно. Вот, мол, гулял по городу, смотрю — знакомая парадная, решил заодно уж зайти, тем более никогда еще не был у него. Однажды Борис едва не затасил его к себе, но в последний момент Игорь передумал почему-то. А может, спешил куда-то. Тогда они вместе ехали с работы и дело было после полочки. Ну да, именно так и было. Игорь еще решил, что Борис зовет его, чтобы выпить. А ему не хотелось.

Квартира, кажется, семь. Магическое число, посмеялся в тот раз Борис. И что-то даже объяснял насчет этого, но Игорь не запомнил.

Он поднялся на третий этаж и позвонил два раза, как было написано на металлической никелированной дощечке.

— Кто там? — спросил детский голос.

— Мне бы Бориса Гусева...

Дверь открылась. Перед Игорем стояли две девочки лет двенадцати, близнецы. Их и различить-то было можно только по бантам в волосах: у одной бант голубой, а у другой — розовый.

— Здравствуйте, — сказали они дружно. — Бориса нет дома, но он скоро придет. А вы Игорь Алексеевич, да?

— Да, — растерянно сказал он. — А вы откуда меня знаете?

— Нам про вас Боря рассказывал. А потом мы видели вас по телевизору. Вы проходите, пожалуйста. Боря будет очень рад. Он вас уважает.

— А вы кто? — смущенно спросил Игорь.

— Мы его сестренки, только младшие, — ответила девочка с розовым бантом. — Меня зовут Таня, а ее — Катя. Мы живем с Борей.

— Понятно. А где же папа с мамой?

— Они разбились на самолете, — сказала, чуть насупившись, Таня. — Они летели из отпуска, а самолет разбился. — И она вздохнула глубоко, почти как взрослая. — Вы проходите, не стесняйтесь, Игорь Алексеевич. Боря на минутку в магазин вышел.

— Спасибо, — сказал Игорь. — Мне некогда. А Борису передайте, что завтра надо выходить на работу, хорошо?

— Он знает, — сказала Таня. — Он нам говорил, что завтра вы работаете. Он и пошел за мясом, что-бы сварить на завтра суп.

Все правильно, так все и должно было быть, почему-то думал Игорь, сбегая по лестнице вниз. Он спешил, чтобы не встретиться с Борисом, сейчас ему этого не хотелось. Завтра, все завтра. А в Комарове, на станции, есть телефон, и Марина, не дождавшись его, обязательно позвонит. Илья Макарович или мать скажут ей, что его срочно вызвали на работу. Марина поймет и не станет дуться. И родители ее тоже поймут. Тем более отец Марины — военный, и уж он-то знает, что раз надо, значит, надо.

Вечер был теплый, но не душный. И рядом жил Литейный проспект.

## Последний порог



От Ивана Савельевича ушла жена. Он глубоко переживал ее уход, пребывая в том труднообъяснимом состоянии духа, которое — в равной мере приблизительно — можно назвать и удивлением, и негодованием, и растерянностью. Все же растерянностью скорее всего, ибо сколько бы Иван Савельевич ни анализировал поступок жены, пытаясь докопаться до истины, разумно объяснить ее поведение он не мог. Это было за пределами его понимания, а возможно, и вообще за пределами здравого смысла.

Может быть, он сумел бы понять, когда бы это случилось лет тридцать назад, в жизни случается всякое, в особенности с людьми неорганизованными

и дурно воспитанными, с людьми импульсивными и зависимыми от настроения, для которых внезапно возникшее желание или просто каприз, прихоть являются как бы приказом к немедленному действию, а жена Ивана Савельевича, по его убеждению, относится как раз к подобному сорту людей, хотя и умеет скрывать это. Однако свою сущность можно скрыть от посторонних, Иван же Савельевич прекрасно всегда знал, что жена склонна именно к поступкам необдуманым и оттого непредсказуемым. А все-таки он, пожалуй, постарался бы понять ее, как делал это достаточно часто на протяжении их долгой совместной жизни. Только не теперь, когда пришло время подводить итоги, когда человек должен не пагубным своим наклонностям услужать, но спешить доделать то, чего не успел, либо не смог сделать прежде. Теперь поступок жены выглядит, по меньшей мере, легкомысленным, походит на дешевенькую комедию, которая тем не менее нисколько не смешна, на фарс, и никакой нормальный человек не только не сможет, но и не захочет понять этого.

Вот так просто взять и уйти, перечеркнув одним махом и с легкостью поразительной и его, и свое прошлое, перечеркнув по существу всю жизнь, не имея к тому никаких моральных оснований...

Впрочем, основания для своего сумасбродства жена находить умела, ничуть не смущаясь их очевидной несерьезности и даже никчемности. Она никогда не утруждала себя доказательствами собственной правоты, не изменила себе и в этот раз.

— Устала я, Иван,— сказала она, как будто бы до нее никто не уставал или как будто бы не устал он.

— Это, разумеется, очень серьезный аргумент,— проговорил Иван Савельевич, не вполне еще поверив, что жена действительно решилась уйти. Он был убежден, что это всего лишь очередная ее выходка, приступ домашней истерии, после которой из холодильника извлекаются пузырьки и баночки с лекарствами и на том все кончается.— Однако от чего же ты так сильно устала, что даже делаешь заявление о разводе?..

— От твоего характера,— тотчас ответила жена, и по ее спокойному, именно холодному тону он догадался, что это вовсе не истерическая вспышка.— У тебя ужасный, невыносимый характер. Я долго тер-

пела, Иван, но больше не могу. С тобой стало невозможно жить...

Она продолжала говорить что-то еще, то ли пытаясь объяснить, то ли оправдать свой из ряда вон выходящий поступок, однако Иван Савельевич уже не слушал ее. Из всего, что сказала сейчас жена, его поразила одна фраза: «С тобой стало невозможно жить». И даже не вся фраза, а вот это стало поразило и возмутило его. И огорчило, пожалуй. Почему вдруг стало, спрашивал себя Иван Савельевич. Выходит, раньше, все долгие сорок с лишним лет, было возможно жить с ним, несмотря на его ужасный, как выразилась жена, характер, а теперь, когда подступила старость, когда не за горами уже и смерть (надо смотреть правде в глаза, а не тешить себя иллюзиями), когда они не нужны больше никому (это тоже правда, от которой, увы, никуда не денешься), когда люди обыкновенно забывают о прошлых обидах, действительных и мнимых, о недоразумениях и ссорах, — теперь вдруг стало жить невозможно?..

Нет, такое не помещалось в трезвой голове Ивана Савельевича, ибо было лишено всякого смысла, а то, что не имеет смысла, не имеет логического, разумного объяснения, разве может это быть серьезным?

Ведь в их жизни в последнее время не произошло ничего особенного, ничего примечательного или хотя бы запоминающегося, что могло бы послужить причиной и оправданием столь неожиданного решения жены, не изменился и он, если не принимать во внимание его преклонный возраст, — впрочем, жена тоже не помолодела, — они прошли гораздо больший путь, вместе прошли, чем им осталось пройти, — так в чем же дело, что толкнуло жену на этот шаг, о котором она, можно не сомневаться, скоро пожалеет?..

Иван Савельевич пристально, даже с каким-то незнакомым ему интересом посмотрел на жену. Она молчала, сказав все, что хотела сказать. Сидела у стола, опустив голову и прикрыв глаза, а пальцы ее, нервные, подвижные, теребили фартук. Иван Савельевич вообще-то не видел пальцев жены, потому что руки ее были под столом, лежали на коленях, скрытые от его глаз скатертью, однако он совершенно точно знал, что она теребит фартук, потому что у нее беспокойные руки, всегда в движении. Седая, в старомодных металлических очках, которые когда-то носила еще ее мать, с опущенными краями рта, жена

выглядела не просто пожилой и уставшей от работы женщиной, но выглядела именно старухой, уставшей от жизни. Вернее, уставшей жить.

Тоскливая, сосущая жалость пробудилась в сердце Ивана Савельевича, и была эта жалость к жене столь сильной, что он позабыл даже, что она все-таки на целых десять лет моложе его, а значит, в сравнении с нею он вовсе глубокий старец, и если бы не этот неприятный, в высшей степени озадачивший его разговор, он непременно подошел бы к жене, обнял ее за плечи и сказал бы какие-нибудь проникновенные, может быть и ласковые слова, которые успокоили бы ее, утешили. Он ненавязчиво напомнил бы ей о том хорошем, что было в их жизни, что связывало их столько лет, и она, наверное, прильнула бы к нему, всплакнула немножко, благодарная за ласку и приятные воспоминания, а после наступил бы мир и покой, которые так или иначе наступали всегда и которыми очень дорожил Иван Савельевич. Отчасти и потому дорожил, что, будучи профессиональным военным, он как бы находился к войне ближе, чем жена, чем все другие люди...

Пожалуй, она хотела именно этого, она ждала, что он подойдет к ней, но Иван Савельевич, уже собравшись подняться из кресла, словно вторично, в повторе, услышал слова «с тобой стало невозможно жить», и понял, что не может, не имеет морального права промолчать, не ответить на этот незаслуженный и оттого еще более огорчительный выпад жены.

— Я надеюсь, что ты объяснишь мне, что же все-таки произошло? — спокойно, сдержанно спросил Иван Савельевич. — Каковы причины, побудившие тебя...

— Я уже объяснила, — сказала жена, не поднимая голову. И в том, что она перебила его, не дала закончить мысль, Иван Савельевич угадал открытый вызов.

— Что именно ты объяснила? Я либо не слышал твоих объяснений, либо не понял их.

— Возможно, но я объяснила все.

— Следовательно, упрек в невыносимости моего характера ты считаешь вполне достаточным объяснением своего безрассудного шага? Но согласись, что это не серьезно, если не сказать больше.

— Может быть.

— В таком случае, Мария, мне бы все же хотелось знать, что именно побудило тебя принять это ре-

шение. Я полагаю, что с моей стороны решение это никак не спровоцировано. Я также полагаю, что у меня есть право знать истинные мотивы твоего... поведения. Подобное еще можно простить школьнице, имеющей самое смутное, книжное понятие о жизни и взаимоотношениях людей, но ты...

— Господи, Иван! — Жена наконец подняла голову и странно как-то, точно перед нею был вовсе незнакомый человек, посмотрела на Ивана Савельевича. — Ну что, что тебе еще сказать?..

— Правду, Мария. Только правду и ничего больше.

Он знал, ну разумеется, он знал, что правды не услышит, жена ни за что не захочет рассказать честно, что все-таки произошло, — раз уж она взялась упорствовать, то будет упорствовать до конца, даже если в душе признает себя неправой, как знал и то, что тут не обошлось без влияния, а может, и без прямого наущения кого-то из детей. Скорее всего, рассуждал Иван Савельевич, влияние это исходит от Надежды и ее безалаберного мужа, недаром жена именно к ним и собралась уезжать. Да, все это прекрасно знал Иван Савельевич и потому мог бы не задавать вопросов, не требовать, не добиваться искренности, однако была, была у него мысль, что не все потеряно и что жена в конце концов одумается... Пусть у нее слишком импульсивный, неуправляемый характер и она легко поддается настроению, но ей нельзя отказать в некотором здравомыслии. Иное дело, что она почти всю жизнь прожила под гнетом чужого, вредного влияния: в молодости — под безграничным влиянием матери, тещи Ивана Савельевича, которая была никчемной, пустой женщиной, зато обладала непомерным апломбом, а когда мать умерла, жена оказалась под влиянием собственных детей. И вот в этом-то ее вина. Но и беда тоже, понимает Иван Савельевич, потому что, во-первых, такие люди просто-напросто лишены всякой самостоятельности, они не имеют своей точки зрения хотя бы и по самым элементарным житейским вопросам и не сделают шагу, чтобы не оглянуться на кого-то; во-вторых, жена была гораздо больше с матерью и с детьми, чем с ним, и поэтому его влияние на нее, которое могло бы противостоять влиянию матери и детей, свелось к минимуму. А это, конечно, большой минус. Но тут ничего не поделаешь и ничем не поможешь...



— Мария, я жду ответа на свой вопрос,— сказал Иван Савельевич, несколько обескураженный молчанием жены.

— Ты несносен,— тихо проговорила жена.— Неужели ты сам не видишь, до чего ты несносен?!

— Ну хорошо, допустим...— как бы делая вынужденную и ни к чему его не обязывающую уступку, сказал Иван Савельевич.— Допустим, у меня действительно несносный, ужасный характер и это обстоятельство явилось причиной твоего решения, ибо со мной стало невозможно жить. Я правильно понял то, что ты говорила мне?

— Правильно, Иван. Все правильно.— Она вздохнула.

— В таком случае, Мария, я бы хотел задать тебе ряд вопросов...

— Задавай, я слушаю.

— Спасибо. Однако, прежде чем я задам тебе вопросы, мне бы хотелось иметь гарантии, что я получу правдивые, искренние ответы на них. Ты готова дать мне такие гарантии?

— Я готова.

— Согласись, что при всех моих недостатках, равно как реально существующих и мнимых, то есть существующих только в твоём представлении, я имею право знать правду. Всю правду, Мария.

— Ты имеешь право знать всю правду,— повторила вслед за ним жена, едва заметно усмехаясь.

— Очень хорошо, что ты согласна со мной,— сказал Иван Савельевич. Он встал, подошел к стеллажу и поправил книги — несколько книг выбились из ровного строя.— Так вот, не объяснишь ли ты мне, в чем именно выражается моя так называемая несносность?

— Это трудно объяснить, Иван. Это нужно видеть, чувствовать...

— Однако всякая истина, Мария, может быть объяснена. В противоположном же случае — это уже не истина, не правда, а попытка выдать за истину нечто, что удобно для оправдания как раз неискренности.

— Ты совершенно прав,— сказала жена,— и поэтому несносен.

— Одну минутку!..— проговорил Иван Савельевич в изумлении. Неожиданное объяснение жены удивило его своею откровенной алогичностью.— Выходит, моя несносность, из-за которой ты не можешь боль-

ше со мной жить, то есть из-за которой со мной стало невозможно жить,— результат моей... правоты?

— Да,— кивнула она.

— Но это же чепуха, это...— Он чуть не сказал «нонсенс», но спохватился и не сказал, вспомнив, что словечко это любила повторять теща и оттого, наверное, оно всегда казалось ему пропахшим дешевыми духами и нафталином.

— А ты не замечал, Иван, что твоя вечная правота больше смахивает на занудство? Вот как ты разговариваешь сейчас?..

— По-русски,— сказал он.— Вполне уважительно и...— Он вдруг почувствовал, угадал, что теряет инициативу в разговоре, что говорить-то в сущности не о чем.

— Верно, по-русски и уважительно,— согласилась жена.— Только слова у тебя какие-то... как солдаты в строю. Они вроде и разные, а все равно одинаковые. И все у тебя взвешено, все отмерено, все аккуратненько лежит на своих полочках. Да у тебя за каждой фразой целая философия, так что попробуй-ка тебе возразить! — Она с горечью взглянула на Ивана Савельевича.— Ты сам не живешь, а словно служишь каким-то своим идеям и правилам, и другим жить мешаешь. Ну неужели трудно понять, что не все хотят и могут жить так, как ты?.. Ты в собственном доме завел казарменные порядки, а потом спрашиваешь...— Она замолчала и, взмахнув рукой, снова убрала ее под стол.

— У тебя все?

— А тебе этого мало?

— Мало или много — мы обсуждать не будем,— весомо так, с достоинством сказал Иван Савельевич, радуясь, что он опять завладел инициативой.— В данном случае количественные оценки значения не имеют. Ты свалила все в одну кучу и пытаешься свое неумение жить, свою поразительную неорганизованность оправдать моими недостатками и даже придуманными тобою пороками, которыми я будто бы страдаю...

— Непорочен ты, Иван, непорочен,— устало проговорила жена.— В том-то и дело, что непорочен. Ради бога, оставайся и живи со своей правотой, а я больше не могу и не хочу.

— Не надо горячиться, Мария,— сказал Иван Савельевич с едва заметной укоризной.— Возьми себя в

руки и спокойно выслушай меня. Порядок и дисциплина, столь нелюбимые тобой...

— Да люблю и я порядок, люблю! — воскликнула она. — И твою дисциплину тоже люблю...

— Я просил не перебивать меня, — поморщился Иван Савельевич, досадуя, что реплики жены сбивают его с мысли. — Порядок и дисциплина никогда еще не мешали людям жить нормально, как изволила выразиться ты. Более того, — продолжал он, чуть-чуть повышая голос, потому что сейчас он собирался сказать нечто очень важное и это важное должно дойти до сознания жены. — Дисциплинированный, целеустремленный человек живет гораздо интереснее, насыщеннее и приносит обществу несравненно бóльшую пользу, чем люди неорганизованные, недисциплинированные. Надеюсь, ты согласишься со мной?

— Ты же знаешь, что я всегда согласна с тобой.

— Кстати, мамочка, эта твоя привычка со всем соглашаться на словах также не украшает тебя. — Называть жену «мамочкой» Иван Савельевич позволял себе в исключительных случаях и, как правило, когда бывал недоволен чем-то. — Если человек имеет собственное мнение и если он убежден в своей правоте, он должен возражать, спорить, доказывать, то есть отстаивать свои убеждения, а когда нужно, и бороться за них!

— Господи, Иван, да разве тебе можно что-нибудь доказать?.. У тебя заранее на все готов ответ.

— Вот тут ты говоришь неправду, — мягко возразил Иван Савельевич. — Ибо если твои возражения аргументированны, если ты вступаешь в спор не просто ради того, чтобы поспорить...

— Хорошо, — снова перебила его жена, — я согласна, что дисциплина в жизни необходима и что мне не хватает... организованности и целеустремленности. Но согласишься и ты, что всему должен быть какой-то разумный предел.

— Именно разумному нет предела, — сказал Иван Савельевич. Ему было немножко смешно от того, что жена не понимает самых элементарных истин. Смешно, хотя ситуация вовсе не была веселой.

— Возможно, ты действительно прав, а я чего-то не понимаю, но в том-то и дело, что ты один знаешь, что разумно и что не разумно. Ты взял себе право судить об этом, не спрашивая других: хотят ли они жить по твоим меркам и правилам, признают ли их,

Что там, тебя такие мелочи, как мнение других людей, не интересуют.

— Дальше, дальше! — усмехаясь, поощрил Иван Савельевич. Ему даже нравилось, что жена разговори-лась. По крайней мере, он хоть будет знать, чем она дышит.

— Могу и дальше, — с вызовом сказала она. — Ты возомнил себя святым, непогрешимым... Подумал бы, Иван, почему святыми становятся только после смерти.

Такого пассажи он не ожидал и теперь с удивлением, похожим на испуг, смотрел на жену, не зная, что ответить на это. А все-таки и ответить надо, нельзя упускать инициативу, и он пробормотал в растерянности:

— А почему же, если не секрет?

— Да потому, что на святых можно молиться, им можно поклоняться, а жить рядом с ними невозможно. — Она встала, собираясь выйти из комнаты.

— Твой афоризм не лишен оригинальности, только ко мне он не имеет решительно никакого отношения, — сказал Иван Савельевич, понимая, впрочем, что последнее слово в этом их споре все же осталось за женой. — Я никогда не считал себя безгрешным. — И вдруг его осенило и он, уничижительно взглянув на жену, проговорил: — Порок и грех — разные вещи, не надо их путать.

— А я-то, глупая, уже решила, что на этот раз у тебя не найдется ответа, — сказала жена и пошла на кухню. В дверях остановилась и спросила: — Рассольник варить с перловкой или с фасолью?

— С перловкой, — ответил он. — И пожалуйста, не клади томат, у меня что-то изжога.

— Хорошо, Иван.

Иван Савельевич ничуть не покривил душой, когда сказал жене, что не считает себя безгрешным. Однако это разговор особый. Дело же в том, что он всю жизнь был солдатом. Был и остается солдатом теперь, несмотря на свой преклонный возраст. Ибо солдат в отставке — это все равно солдат, и потому он не имеет права ошибаться в надежде на то, что после, когда-нибудь исправит ошибку. Более того, он был командиром, ответственным не только и даже не столько за свою жизнь или жизнь своих близких, но за многие

жизни подчиненных ему людей, за жизни, доверенные ему, и сознание этой огромной, ни с чем не сравнимой ответственности, возложенной на него, сделало Ивана Савельевича таким, каков он есть. Другим он быть просто не мог, только и всего.

Возможно (и даже наверняка), у него не очень легкий, непокладистый, как говорится, характер, который не всегда удобен для окружающих, в том числе и для семьи. Но разве у всех остальных людей, с которыми Ивану Савельевичу довелось сталкиваться в жизни, которыми командовал он и которые командовали им, разве у них были удобные для него, например, характеры?.. Вовсе нет. Однако это обстоятельство не мешало Ивану Савельевичу добросовестно выполнять свой долг. А не мешало потому, между прочим, что свой долг он выполнял именно сознательно, не понуждаемый к этому ни начальством, ни какими-то там особенными правилами, будто бы придуманными им самим. Правила существуют для всех одинаковые, и подчиняться им обязаны также все без исключения, независимо ни от занимаемого положения, ни от характера. Это совсем не трудно, вопреки мнению жены, да и не только, к сожалению, жены. И выгоды эти общие правила никому не предусматривают. Взять хотя бы его, Ивана Савельевича. Уж он-то, будучи в довольно высокой должности, иногда и мог бы поступать не по правилам, с пользой для себя, а вот не позволил же себе такого ни разу в жизни, то есть никогда не поступился совестью, никогда и никому не причинил зла, чтобы извлечь какую-то выгоду. Такого не бывало, и потому он имеет право судить, хотя жена и отрицает это его заслуженное право. Он старался всегда быть по возможности справедливым, искренним во всяком случае, и не требовал от людей, в том числе и зависимых от него, больше, чем требовал от себя. Это его жизненный принцип, его кредо. А ведь в армии придерживаться этого принципа совсем даже не легко, ибо армия организована по другому принципу — беспрекословного повиновения приказам старшего начальника, что, безусловно, абсолютно правильно. И все же Иван Савельевич, прежде чем приказывать, всегда ставил себя на место подчиненного, он как бы примеривался, выполним ли его приказ, который нужно отдать. Разумеется, и ему приходилось отдавать заведомо невыполнимые или почти невыполнимые приказания, в особенности во время войны, на

фронте, где многие жертвы, казавшиеся напрасными, позднее оказывались вовсе не напрасными, однако отдавал он такие приказания все же в исключительных случаях, когда просто не было другой возможности, и при этом — если имел на это право — старался объяснить подчиненным необходимость того или иного действия, ибо человек, идущий, может быть, на смерть, должен знать, во имя чего он рискует жизнью. Так считал Иван Савельевич, и, если можно было рисковать самому, не подвергая риску других, он рисковал сам...

Что же касается его отношений с женой, тут Иван Савельевич и вовсе уж ни в чем не смог бы упрекнуть свою совесть. За сорок лет совместной жизни он не сказал жене грубого слова, не оскорбил ее человеческого, женского достоинства, хотя причин для этого при желании нашлось бы сколько угодно. Он был предельно выдержан, терпелив в своих требованиях, но и настойчив тоже, он убеждал людей словом, когда видел, что они заблуждаются в чем-то и даже если упорствуют в своих заблуждениях, как это часто случалось с женой, и этому золотому правилу не изменял ни в отношениях с посторонними, ни в отношениях с родными. Для него все были равны, и он не считал возможным и справедливым принимать требования жены, если она добивалась каких-то поправок для себя. У людей не может быть разных, то есть неодинаковых, обязанностей перед другими людьми и перед обществом в целом. Общество может награждать разными правами, это зависит от конкретного вклада каждого члена общества в достижение общей же цели, однако обязанности при этом остаются для всех одинаковыми, что влечет за собой равную ответственность.

Истина, по мнению Ивана Савельевича, столь же очевидная, элементарная, сколь и справедливая, и вот теперь получается, что именно в этом, в понимании и толковании этой истины, они не сошлись с женой. Более того, жена обвинила его в том, что он исповедует эту истину.

За обедом Иван Савельевич сказал об этом жене, а заодно и напомнил, что, предъявляя какие-то требования к ней, он предъявляет такие же требования и к себе...

— Вот если бы, допустим, я бил тебя, оскорбляя твое достоинство и при этом требовал...

— Уж лучше бы ты меня бил, чем всю жизнь выслушивать твои нравоучения,— неожиданно возразила она, повергнув Ивана Савельевича в недоумение.— Ты не представляешь, как это унижает и... оскорбляет!

— Ты снова что-то путаешь, Мария. Я, например, никогда не считал для себя унижительным и тем более оскорбительным учиться нравственности у других. Напротив, мне всегда казалось, что это делает меня порядочней, чище. И я, прости, не понимаю, как можно обижаться на то, что человека учат добру, желают ему добра?..

— Обижаются не за то, что желают добра или учат добру,— сказала жена,— а за то, что учат без конца, учат каждый день с утра до вечера и даже — тоже прости — ночью, учат вообще, из принципа, лишь бы учить. Это становится невыносимым.

— А что же прикажешь делать, если человек чего-то недопонимает, чего-то не умеет? — удивился искренне Иван Савельевич. Он был сбит с толку, не понимая, что жена хочет ему доказать.

— И опять ты прав,— проговорила она.— Да, неумеющих и непонимающих надо учить. Но по какому праву, Иван, ты берешься судить о том, что другие умеют, а чего не умеют?.. И знаешь что? Давай оставим этот бесплодный разговор. Как рассольник?

— Рассольник вкусный, спасибо. Однако разговор этот я начал не для того, чтобы непременно добиться признания твоей неправоты,— стараясь ничем не выдать нарастающего раздражения, проговорил Иван Савельевич.— И не для того, чтобы ты без объяснений признала мою правоту. Тем более что делаешь ты это только на словах. Я хочу понять, что же произошло? Хочу уяснить твою позицию. Уяснив твою позицию, я смогу либо найти пороки в ней, либо вынужден буду признать, что в чем-то не совсем и я прав.

— Ты не прав во многом, Иван. И очень, очень многого не понимаешь. Слишком многого, чтобы это можно было просто взять и объяснить. Жизнь не объяснишь, ее надо прожить.

— Ты снова заговорила афоризмами,— улыбнулся Иван Савельевич, подумав, что у жены вообще-то от природы хороший, острый ум, жаль только, что она не воспитывала свой ум, отчего он остался недоразвитым.— А мы между тем вернулись к тому, с чего начали, о чем я искренне сожалею. Давай попробуем говорить конкретно о конкретных вещах. На про-

тяжении сорока лет, мне кажется, мы понимали друг друга...

— Вот именно, тебе кажется, — возразила жена и вскинула голову, распустив одним движением волосы по плечам, как это она умела делать в давние молодые годы. Тогда это даже нравилось Ивану Савельевичу, и он, случалось, просил ее, чтобы она сделала так. Теперь же это вызвало в нем чувство неловкости, как если бы жена в присутствии чужих людей допустила бестактность, проявила свою невоспитанность. Однако он не сделал ей замечания, хотя в другой раз сделал бы обязательно.

— Что ты хочешь этим сказать? — только спросил он.

— То, что сказала. И больше на эту тему говорить не хочу. Поеду к Надежде, поживу у них, а там видно будет. И тебе полезно пожить одному, подумать. Ведь тебе всю жизнь кто-то мешает, вот и отдохни от нас.

И на следующий день она уехала, утвердив своею поспешностью Ивана Савельевича в мысли, что все у нее было решено заранее и заранее же согласовано с Надеждой и ее мужем. А он, пожалуй, готов был уже к тому, чтобы часть вины за случившееся взять на себя, даже признать, что в каких-то мелочах бывал не прав. Нет, нет, такая уступка ничуть не противоречила бы его принципам, ибо когда двое не понимают друг друга, а хотя бы и кто-то один из них не понимает второго, здраво и честно рассуждал Иван Савельевич, естественно предположить, что оба и виноваты, и вину разделить тоже на двоих. Правда, он не находил за собой никакой конкретной вины, но мало ли, мало ли... Иногда и не заметишь, когда допустишь маленькую оплошность, тем более если голова занята делами важными, большими, а люди обычно к себе чуточку снисходительнее, добрее, чем к окружающим. Уж так устроен человек, и вряд ли Иван Савельевич является исключением. С этим нужно, разумеется, бороться, но и считаться тоже, ибо недостатки и пороки, увы, куда живучее добродетелей.

Вполне вероятно, он позволял себе излишнюю настойчивость, неуступчивость, а следовало быть осторожнее, мягче, дипломатичнее, потому что семейные взаимоотношения ничуть не проще, чем, к примеру, взаимоотношения в коллективе. А пожалуй что и сложнее, и запутаннее. То есть, не снижая общих требований, что недопустимо, он должен был искать и



находить приемлемые для всех пути к достижению поставленной цели, маневрировать во имя этой цели, проявлять гибкость. А он выбирал всегда прямой путь, забывая, что прямой — еще не значит и самый короткий. И в этом-то его вина. Именно в этом: в неумении в каждом конкретном случае взять правильный тон. Женщины крайне обидчивы, эмоциональны, и в общении с ними, видимо, необходимо соблюдать несколько иные правила, нежели в общении с мужчинами. Мужчины уважают силу, категоричность суждений, бескомпромиссность, оттого гораздо легче переживают, не насилуют себя страданиями, когда оказываются под властью чужой воли. Вообще, если разобратся, мужчины более организованны, дисциплинированы и потому с меньшим сопротивлением выполняют даже самые жесткие требования, предъявляемые к ним повседневной жизнью. Именно жизнью, считает Иван Савельевич, ибо обязанность, долг — это и есть жизнь. Ведь в сущности вся человеческая жизнь — оплата по векселю, который человек как бы подписывает фактом своего рождения.

Впрочем, требования Ивана Савельевича к близким — и прежде всего к жене — всегда были минимальными, продиктованными необходимостью. Он требовал порядка и определенности в доме и в поведении, личной скромности, не терпел, это верно, никаких излишеств, в чем бы они ни проявлялись — в одежде, в обстановке, в пище, но никогда не заводил, как теперь утверждает жена, в доме казарменных порядков, хотя сам по себе «казарменный порядок» виделся Ивану Савельевичу как порядок идеальный, как высшая ступень порядка вообще. Нет, он всего лишь пытался создать (увы, не преуспев в этом) какую-то систему, будучи уверен в том, что все полезное, рациональное в жизни основано на системе и подчиняется ей. Иначе мир превратился бы в хаос, в котором нормальному человеку просто-напросто не нашлось бы места. Да ведь и сам человек тоже система, и вот именно этого жена не умела или не хотела понять. Если люди уважают друг друга, если между ними существует принципиальное понимание, если жизнь их организована разумно, на характеры, вернее, на различия характеров можно и не обращать внимания, потому что единомышленникам, а не случайным сожителям, никакие различия в характерах не помеха. И что это вообще за неведомая сила — характер?.. С

каких это пор характер, по сути дела — сумма привычек, должен руководить поступками людей?.. Разве человек является на свет в качестве некоего придатка своего характера?!

Мысль эта показалась Ивану Савельевичу очень интересной, и он пожалел, что она не пришла в голову раньше, до ухода жены. Может быть, вооруженный этой мыслью, он и сумел бы доказать жене, насколько абсурдны ее обвинения в его адрес, как она не права в своих к нему претензиях. А теперь поздно.

Поздно теперь?..

И вот тут другая мысль, по-своему даже страшная и неожиданная, заслонила все другие мысли, нарушила стройность и ясность рассуждений Ивана Савельевича: выходит, подумал вдруг он, у них с женой никогда не было необходимого взаимопонимания, они никогда не были единомышленниками, коль скоро именно различия в их характерах взяли верх над здравым смыслом...

Но как же сорок лет совместно прожитой жизни?

Это было выше его понимания, ибо ответить на этот вопрос Иван Савельевич не мог. То есть часть ответа он знал — из сорока лет они едва ли половину прожили вместе, однако вряд ли это обстоятельство было решающим. Ибо мало ли супружеских пар живут подолгу врозь, но чтобы в старости, на закате жизни, совершить подобный поступок, граничащий с глупостью... Нет, ничего похожего Иван Савельевич в жизни не встречал и не слышал, хотя повидал на своем веку много чего.

Так или иначе, а жена уехала, и он остался один.

Многие люди мечтают об одиночестве, жаждут одиночества, призывают, однако Иван Савельевич, прожив жизнь на людях, среди людей, не только не тяготился этим, как другие, но уже и не мог без людей и боялся одиночества. Оттого и уход жены переживал болезненно. От смертельной тоски — он хорошо представлял себе, что это такое, — его спасала лишь работа. И даже не столько сама работа, сколько сознание, что он занят очень важным, очень нужным делом и что дело это никто не сделает за него. Он был председателем домового комитета, заместителем секретаря партийного бюро жилконторы, членом совета ветеранов, часто ему приходилось выступать — делал он это охотно, хотя и сильно уставал, — перед школьниками и учащимися ПТУ, в рабочих коллективах, а

теперь вот по просьбе краеведческого музея города Маваева (там Иван Савельевич родился и там же прошли первые годы его жизни) он приступил к работе над воспоминаниями...

Иван Савельевич не хотел огласки. Ему было стыдно, и он не собирался никому рассказывать о том, что случилось в его семье. Ну, уехала жена к дочери, что из того!.. У дочери двое детей, один из которых совсем маленький, надо помочь их вырастить, воспитать, в этом нет ничего особенного. Это даже естественно, что бабушка помогает в воспитании своих внуков. А знать, что уехала она не на время, но совсем, знать это посторонним вовсе не обязательно...

Однако в доме стало известно, что жена именно ушла от Ивана Савельевича.

Уже на другое утро ему позвонил некто Головин, персональный пенсионер, живущий в соседней парадной, и попросил разрешения зайти. То есть что значит «попросил разрешения», если этот Головин никогда и ничего не просит, не спрашивает, а всегда поступает так, как ему заблагорассудится. Заблагорассудиться же ему может всякое, слова его и поступки бывают самыми неожиданными, они непредсказуемы. Вот и теперь он позвонил и просто-напросто поставил Ивана Савельевича в известность, что сейчас зайдет к нему...

Так и сказал:

— Иван Савелич, ты уже в кальсонах или еще без оных? Натягивай побыстрее и не забудь завязки завязать, я сейчас зайду к тебе.— И положил трубку, не дожидаясь, когда Иван Савельевич ответит, хотя быть может, Ивану Савельевичу совсем даже не хотелось, чтобы он приходил.

Вообще этот Головин какой-то своеобразный, непонятный человек. С одной стороны — бывший генеральный директор огромного предприятия где-то на севере, по существу генерал, человек вроде бы культурный, интеллигентный и образованный, а с другой... Есть в нем какая-то несерьезность, любит поболтать (анекдоты даже рассказывает), всегда весел и при этом смеется очень громко, несколько раз Иван Савельевич видел, как Головин гоняет с подростками шайбу. Или остановится у пивного ларька, поставит сумку с картошкой или с другими продуктами на землю и разго-

варивает с местными алкоголиками, да еще руками размахивает.

Признаться, Иван Савельевич все собирался поговорить по душам с Головиным, объяснить ему, внушить, что так вести себя ему не к лицу, что человек он известный, солидный, должен бы показывать другим пример, однако не собрался. Какое-то непонятное стеснение испытывал Иван Савельевич перед Головиным, хотя стесняться-то, скорее, надо Головину. Только вряд ли ему знакомо это чувство.

Вот взять недавний случай.

В квартире, которая расположена как раз напротив квартиры Ивана Савельевича, через двор, молодая женщина по вечерам и рано утром — при электрическом свете и при незадернутых шторах — ходит совершенно голая, нисколько, как видно, не заботясь о том, что эти ее хождения перед освещенными окнами происходят на глазах всего дома. Мало того, голая же, она подолгу стоит у зеркала, причесываясь, словно поставила себе цель бросить вызов нравственности и общественному мнению. Иван Савельевич, к своему удивлению, выяснил, что женщина эта учительница и работает в школе на углу. Правда, учительница французского языка, что само по себе не оправдывает ее аморального поведения, однако кое-что объясняет. Она читает, должно быть, не отечественную литературу, которая во все времена отличалась скромностью и высокими нравственными идеалами, а французские романы, которые, напротив, ни скромностью, ни нравственностью не отличаются. Строго говоря, все это вроде бы и безразлично Ивану Савельевичу, она ему не родственница, но голый ее вид оскорбляет ведь людей, вынужденных смотреть на нее. А если это видят и ее ученики и если они захотят подражать своей учительнице?..

Своими мыслями на этот счет Иван Савельевич поделился с такими же, как он, пенсионерами-общественниками, выразив мнение, что надо бы как-то повлиять на эту гражданку, побеседовать с нею...

— О чем? — рассмеялся присутствующий при разговоре Головин. — О вещах, которые неинтересны ей, она не станет беседовать...

— А вы, как всегда, Владимир Федорович, все оборачиваете в шутку, — укорил его Иван Савельевич. — А дело, я полагаю, серьезное, ибо речь идет о нашей нравственности, о воспитании подрастающего

поколения. Что, если все мы начнем голые ходить по своим квартирам?

— Думаю, что это было бы полезно для здоровья,— снова хохотнув, ответил Головин.— А насчет нравственности, Иван Савельевич, вы что-то загибаете!

— Что вы сказали? — не понял Иван Савельевич.

— Преувеличиваете опасность,— пояснил Головин.— Можно ведь ходить у себя в квартире и в шубе, но пребывать так же далеко от нравственных идеалов, как... эта самая мадама.

— Следовательно, вы согласны со мной...

— Черт его знает, согласен я или не согласен! Если бы на ее месте была моя дочь, я бы просто всыпал ей, и дело с концом. А эта бабенция мне никто, и у меня — да и у вас тоже — нет морального права делать ей замечания.

— Значит, у нее есть право наплевательски относиться к общественному мнению, а у нас нет прав напомнить ей...

— Сходите, напомните,— сказал Головин, усмехаясь.— Кстати, где ее окна? — спросил он.— Надо будет взглянуть. Она как, ничего? Во, наверное, она эксгибиционистка!

— Это еще что такое?.. — настороженно спросил Иван Савельевич, подозревая, что Головин не скажет ничего хорошего.

— Это люди, которым нравится разглядывать собственное обнаженное тело.

— Пусть разглядывает, хотя я лично этого не одобряю, но при задернутых шторах.

— Конечно, лучше при задернутых. А если она отдала шторы в стирку? Или если у нее просто нет плотных штор?..

— Это несерьезно, Владимир Федорович.

— Почему же, Иван Савельевич? Вот вы, например, всегда задерживаете шторы, когда зажигаете свет?

— Разумеется, всегда.

— Но каким же тогда образом вы увидели эту женщину?

Признаться, на этот вопрос Иван Савельевич не сумел ответить, он застеснялся даже, потому что первый раз увидел голую женщину случайно, закрывая форточку, а после уже смотрел специально и, честно говоря, это не вызывало в нем негодования. То есть не вызывало, когда он смотрел...

— Подглядываете, Иван Савельевич, подглядыва-

ете! — подмигивая, проговорил Головин и еще погрозил пальцем. — А ведь подглядывать нехорошо.

С тех пор Иван Савельевич и чувствует себя как-то неловко в присутствии Головина.

Он убрал со стола рукопись, взял книгу генерала Штеменко и собрался почитать немного, пока не придет Головин. Однако, едва он раскрыл книгу, раздался продолжительный звонок. Так мог звонить только Головин.

— Уже одет? — удивился тот, оглядывая Ивана Савельевича. — Ну да, солдатская привычка подниматься раньше петухов! А знаешь, Иван Савельевич, я одно время держал на севере петуха. Такой важный был петух, самоуверенный и со шпорами. Что тебе настоящий генерал! Ты не обижайся только, я имею в виду царского генерала. Раздеться-то можно? — Он повесил пальто и поискал глазами тапочки. — Так вот этот самый петух терпеть не мог будильник. Понимаешь?.. Сидит, пройдоха, на книжном шкафу и дрыхнет, а как зазвонит будильник, он его начинает клевать! Как тебе нравится это?.. М-да, пришлось съесть петуха. Иначе он съел бы будильник. Завел бы ты собаку или кота.

— Чтобы потом съесть, — неожиданно для себя сказал Иван Савельевич.

— Ха! — воскликнул Головин. — Ты, Иван Савельевич, делаешь успехи по части сатиры и юмора.

— С кем поведешься.

— Выходит, и от меня еще есть польза. Зови в комнату. А лучше на кухню. Люблю кухню, там жизнью пахнет. В смысле едой. Ты знаком, кстати, с моим Ипполитом?

— Кто это?

— Как кто?.. Кот, разумеется. Умница, каких свет не видывал. Погоди-ка, я тебе продемонстрирую.

— Не сто́ит, — сказал Иван Савельевич, пытаюсь угадать, с чем пожаловал Головин в такое время. — И вообще, кошки не могут быть умными, у них не ум, а инстинкт.

— Будем посмотреть, — усмехнулся Головин.

— Чаю или кофе? — спросил Иван Савельевич.

— А может?.. — Головин прищурился. — У меня есть с собой коньячок. По махонькой, для расширения сосудов?

— Владимир Федорович, вы же прекрасно знаете, что я не пью. Да и вам не советую. Тем более с утра.

— Уже не утро, уважаемый Иван Савельевич! Десять минут двенадцатого. А магазины открывают в одиннадцать. Что отсюда следует? Отсюда следует, что в это время вполне прилично расширить сосуды.

— Расширяйте, пожалуйста, без меня.

— Жаль,— сказал Головин и почмокал губами.— Ну, да не в этом счастье. Я ведь зашел вам сказать, что не надо брать в голову.

— Что не надо брать в голову? — удивленно переспросил Иван Савельевич.

— Уехала — приехала, какая разница?.. Отдохнете хоть. Дорого бы я дал, чтобы все мое семейство куда-нибудь к чертовой матери укатило!

— Простите, но я что-то не совсем понимаю...

— А, бросьте вы дурака валять,— махнул рукой Головин.— Впрочем, дурака не так-то просто свалить, он устойчив, как баобаб. Уверю вас, что не пройдет и года, как Мария Алексеевна вернется домой.

— Благодарю за добрые слова,— сказал Иван Савельевич, иронически усмехаясь,— бо кто вам сообщил, что Мария Алексеевна уехала? — Конечно, он понимал, что происшествие это не сохранится в тайне, что рано или поздно о нем узнают все, кто хочет знать, но чтобы это случилось так скоро...

— Ей-богу, не помню,— ответил Головин.— Кажется, первая сказала жена. А может, кто-то другой.

— Насколько я знаю, наши жены не были знакомы,— возразил Иван Савельевич.

— У женщины свои контакты. Да и какое сие имеет значение? Есть факт, а все остальное... А что, собственно, случилось? Моя жена уходила от меня двенадцать раз. И четырнадцать возвращалась. Два раза, представьте себе, не успела уйти дальше двери, тотчас и вернулась. А Мария Алексеевна ушла впервые?

— Я вот слушаю вас, Владимир Федорович, и пытаюсь понять, когда вы шутите, а когда говорите всерьез,— проговорил Иван Савельевич таким тоном, словно собрался провести беседу о правилах хорошего, примерного поведения в быту.— Если вы пришли, чтобы развлечь меня, тогда не стоит утруждаться. Я не маленький ребенок, у меня, уверяю вас, достаточно и своего ума, и... чувства юмора.

И вот тут Головин громко рассмеялся. Он смеялся именно громко, заразительно и еще притопывал ногами. Иван Савельевич не знал, что и подумать, глядя на него, и в нем росла неприязнь к этому бесцеремон-

ному, самоуверенному человеку, который, не спросясь, явился в дом и устроил постыдный спектакль, ничуть не стесняясь ни своего возраста, ни своего положения. Пожалуй, нет ничего удивительного в том, что от него двенадцать раз уходила жена. Удивительно как раз то, что она возвращалась. С таким человеком жить...

— Уморили... Нет, вы меня уморили!..— бормотал Головин, трясая головой.— Уж извините меня, но именно чувства юмора у вас нет ни грамма. Отсутствует по причине отсутствия в наличии.

— А вам не кажется, уважаемый Владимир Федорович, что поведение ваше, мягко говоря...

— Кажется, уважаемый Иван Савельевич, очень даже кажется,— перебил его Головин,— и тем не менее хочу дать вам один прекрасный совет. Бесплатно, заметьте.

— Я не нуждаюсь ни в чьих советах,— с достоинством сказал Иван Савельевич.

— Все мы нуждаемся. Это только кажется, что не нуждаемся. А сами ждем не дождемся, кто бы дал хороший совет?

— Следовательно, вы предлагаете мне хороший совет?

— Просто замечательный!

— И что же это за совет? — спросил Иван Савельевич, вполне отдавая себе отчет, что Головин скажет какую-нибудь глупость. А все же и любопытно было узнать, что же такое он придумал еще.

— Ага! — воскликнул Головин.— Я же говорил, что все жаждут получить совет. Ладно, черт с вами. Давайте махнем к бабам! Есть у меня одна знакомая вдова...

Этого Иван Савельевич не ожидал даже от Головина.

— Ну знаете!..— только и сказал он.

— А вы о чувстве юмора толкуете.— Головин поднялся с табуретки.— По секрету скажу: женщины как партнеры по постели меня не интересуют уже много-много лет, так что вы напрасно решили...

— Я ничего не решал и решать не хочу,— возразил Иван Савельевич с оттенком брезгливости.

— Решили, по глазам вижу, что решили.— И Головин, подмигнув, легонько похлопал его по плечу.— Открою еще один секрет...

— Не нужны мне ваши секреты, увольте, сделайте одолжение.



— Именно вам и нужен этот секрет, — рассмеялся Головин. — Запомните: нет друга лучше и вернее, чем понимающая тебя женщина. А теперь будьте здоровы. И простите за вторжение на занятую вами территорию. — Он резко встал, вышел в прихожую и, накинув на плечи пальто, ушел, оставив Ивана Савельевича в некотором недоумении.

Что-то противилось убеждению, что Головин просто-напросто невоспитанный, вульгарный человек, хотя и ведет он себя не так, как должен бы вести человек воспитанный, интеллигентный. Создается впечатление, что он намеренно паясничает, актерствует (вот ведь и никакой бутылки с коньяком не было у него в пальто, Иван Савельевич незаметно и как бы ненароком проверил карманы), но зачем ему это нужно, что и кому он хочет доказать этим?..

Иван Савельевич сидел у письменного стола. Это был замечательный старинный стол, с каким даже и сравнить нельзя нынешние слишком маленькие и неудобные столы. Мореный дуб, затейливая, в высшей степени искусная резьба, золоченая инкрустация. В наше стандартизированное время, отмеченное печатью ГОСТов, такой стол — большая редкость, — можно сказать, счастливая находка, и Иван Савельевич понимал, что ему сильно повезло с приобретением этого стола. А купил он его за весьма умеренную плату у профессорской вдовы Мозгалевой, которая живет двумя этажами выше, и в этом тоже была удача, потому что стол не понадобилось перевозить и тащили его не вверх по лестнице, а вниз.

Вообще-то покупка эта состоялась совершенно случайно. Однажды после заседания домового комитета разговорились насчет мебели (кто-то принес слух, что мебель скоро подорожает), и вот тут Иван Савельевич обмолвился, что ему нужен для работы хороший письменный стол, а в магазинах продаются столы все какие-то куцые, несерьезные, сказал он, точно бы недоделанные, и Мозгалева, выслушав Ивана Савельевича, неожиданно объявила, что она может помочь.

— Вам, дорогой вы мой, — сказала она, — нужно именно то, что у меня есть. Пойдемте сейчас же ко мне.

Стол сразу понравился Ивану Савельевичу, а обращение Мозгалевой — «дорогой вы мой» — он давно уже научился пропускать мимо ушей, зная невоспи-

танность вдовы и ее слабость к фамильярности. Впрочем, она и вдовой, если разобраться, вовсе не была. Она была машинисткой, много лет перепечатывала научные труды профессора Н., а когда у профессора скончалась жена, он будто бы сожительствовавал с нею, купил, как рассказывают, однокомнатную квартиру на имя Мозгалевой и, видимо, перевез сюда свой рабочий стол. Иван Савельевич лично не был знаком с покойным профессором Н., так что утверждать, что все было так, как рассказывают, он не может, однако это похоже на правду. Иначе вряд ли Мозгалева, даже при всей своей невоспитанности и вульгарности, позволила бы себе называться вдовой профессора. А она не просто называлась, но сравнивала себя с женой Достоевского, с Анной Григорьевной, которая тоже сначала только записывала то, что диктовал ей великий писатель. Разумеется, сравнение это способно рассмешить даже покойника (по выражению Головина), ибо смешно сравнивать не только Мозгалеву с Анной Григорьевной, но и самого профессора с Федором Михайловичем, а все же Ивана Савельевича раздражает не это. Его раздражают болтливость Мозгалевой и какая-то необузданная страсть к слухам и сплетням. Пусть бы она собирала сплетни о таких же, как сама, болтушках, для которых в жизни нет других интересов, так нет же, нет — она собирает, а потом разносит по всему микрорайону сплетни и о людях солидных, уважаемых, нисколько не стесняясь ни своего возраста, ни своего общественного положения (Мозгалева является членом домового комитета). Что же удивляться тому, что над нею смеются открыто и чуть ли не в глаза обзывают «вдовствующей потаскухой».

Итак, стол сразу понравился Ивану Савельевичу, и он понял, что купит его, сколько бы Мозгалева ни запросила.

— Этот стол, дорогой вы мой, принадлежал еще моему свекру! — с гордостью сказала Мозгалева, оглаживая покрытую сукном столешницу, точно живое существо, ждущее ласки и нежности. — Его делал знаменитый мастер, из немцев или латышей. Фамилию я, к сожалению, запамятовала. Но это пустяки, уверяю вас, дорогой вы мой. Если вам интересно, любой специалист по антику назовет фамилию этого мастера не задумываясь...

Иван Савельевич не стал спрашивать, что такое «антик», а просто сказал:

— Мне все равно, как фамилия мастера. Вы лучше...

— Мой свекор был очень видным юристом,— продолжала Мозгалева, не обращая внимания на нетерпение Ивана Савельевича.— Его знал весь образованный Петербург. Ах, дорогой вы мой, что Петербург, что Москва!.. Его приглашали на процессы за границу. Он выступал на громком процессе в Париже. У него в доме бывали такие знаменитости!.. Этот... Плевако бывал. Вы слышали что-нибудь о Плевако?..

Тут Мозгалева сделала наконец вынужденную паузу, чтобы насладиться впечатлением, какое ее слова должны произвести на Ивана Савельевича (он, возможно, и понятия не имеет, кто такой был Плевако), однако на него не произвело никакого впечатления ни упоминание о парижском процессе, ни о Плевако, и она, вздохнув разочарованно («Подумать только, какой провинциал! А еще полковник...»), продолжила повествование:

— Потом стол по наследству перешел к моему мужу...— В этом месте она аккуратно, самым кончиком платка, чтобы не размазать на ресницах краску, промокнула сухие глаза.— А муж мой, как вам известно, был выдающимся ученым. Должна вам заметить, дорогой вы мой, что все свои научные труды он создал именно за этим столом. А я помогала ему. Он всегда говорил, что без меня не сделал бы и половины того, что сделал...

Родословная стола растрогала Ивана Савельевича, и он искренне удивился:

— Но зачем же вы продаете этот стол? Это же память.

— Ах, дорогой вы мой! Ну кто вам сказал, что я собираюсь продавать его?..

— Как же, вы предлагаете мне...

— Видите ли, дорогой вы мой, по моему глубочайшему убеждению,— муж тоже так считал— вещи должны служить людям. Они ведь для этого и создаются, не правда ли?

— Разумеется, разумеется,— согласился Иван Савельевич.

— Очень хорошо, что мы с вами понимаем друг друга. Да, вы совершенно правы: этот стол— произведение искусства, он вполне мог бы украсить любой музей, не говоря о квартире. И любой музей с удовольствием купит у меня этот стол. Знаете, я даже

хотела уступить его Эрмитажу, а потом подумала и пришла к выводу, что там он будет простым экспонатом, одним из многих, хотя и уникальным. Вы понимаете меня?.. То есть он никому не будет служить. Отдавать же в плохие руки, неизвестно кому... Нет, на это я не пойду. Вас я знаю, вы интеллигентный, приличный человек. Верите его, пусть он служит вам, — с пафосом произнесла она. — Дорогой вы мой, я не продаю этот стол, а передаю его в надежные руки. А та небольшая, чисто символическая плата...

— Я готов уплатить... — заикнулся Иван Савельевич.

— Что вы, что вы! — перебила его Мозгалева. — Владейте на здоровье, я рада, что настоящая вещь попадет в хорошие руки. А мне, признаюсь вам, дорогой вы мой, теперь нужнее кровать, чем стол. Вот и будем считать, что мы обменялись: я вам стол, а вы мне кровать. Бывает, приятельница придет навестить или кто-нибудь из родственников, а уложить спать негде. Я сама, видите, отдыхаю на диване. А это в наши годы не совсем удобно. Ставить же обыкновенную кровать рядом с этим столом было бы кощунством. Да и некуда ставить. — Она развела руки, как бы призывая удостовериться в искренности ее слов, однако это было излишне, потому что каждому и без того ясно, что живет Мозгалева тесно: ее семнадцатиметровая комната была сверх всякого воображения набита мебелью, так что и ногу-то поставить некуда, не то что кровать.

Словом, как говорится в официальных бумагах, сделка состоялась — очень выгодная для Ивана Савельевича сделка, — и прекрасный письменный стол, сработанный действительно знаменитым мастером Бушем из Риги, оказался собственностью Ивана Савельевича. Правда, он занимал много места, зато работалось за ним приятно и даже как-то ловко работалось, сподручно. Ради этого Иван Савельевич решился, после некоторых раздумий, на перестановку в комнате, хотя вообще страшно не любил что-то менять, переделывать, перетаскивать с места на место без крайней необходимости. Но тут как раз была крайняя необходимость.

Дело, разумеется, не в мебели. Вернее, не только в мебели. Дело в принципе. Главным образом, в отношениях между людьми и в отношении людей к действительности. Ведь беда вовсе не в том, что кто-то там не

понимает или не хочет понимать этой простой истины, которая между тем есть основа основ, фундамент порядка. Беда в том, что этого не понимают, увы, слишком многие, отчего легко, без мучений и угрызений совести, переименовывают, перекраивают свои отношения с окружающими, меняют, словно сезонную одежду, убеждения и даже друзей, не умея противопоставить сегодняшней моде и случайным увлечениям, а то и корыстным побуждениям, собственные свои вчерашние убеждения и принципы, и потому столь же легко, бездумно расстаются с прошлым, перечеркивают его, изымают из памяти. Эти люди забывают, что прошлое, в том числе и прошлое каждого отдельно взятого человека, существует объективно, независимо от их желаний или нежелания. Его нельзя ни изменить, ни приукрасить, ни выбросить за ненадобностью. Ибо даже личная жизнь, став прошлым, уже не принадлежит нам. Это не просто некий отрезок времени, в котором мы живем сами по себе, вне связи с остальным миром, но путь, пройденный всем человечеством, и уже поэтому — хотя бы только поэтому — всякий след, оставленный на этом пути, есть след в истории.

Может быть, именно эта мысль, пришедшая однажды в голову или вычитанная где-то, но ставшая со временем своей, выстраданной мыслью, и подтолкнула Ивана Савельевича согласиться написать воспоминания для краеведческого музея города Мазаева. То есть он и сразу, когда его попросили написать, не отказался, понимая, что это нужно музею, однако и согласия не дал, пообещав подумать, ибо сомневался в общественной значимости своих воспоминаний..

Он рассуждал примерно так: моя жизнь не может служить примером для других, потому что это только и именно моя жизнь. Иначе говоря, жизнь конкретного человека, в данном случае жизнь Ивана Савельевича Иванова, прожитая в определенное время при определенных же условиях. Возможно, что в другое время и при иных обстоятельствах и его жизнь сложилась бы иначе, а это уже не пример. Ведь пример, он потому пример, что его можно повторить, воспроизвести в самых различных обстоятельствах, независимо от внешних условий, а повторить чью-то жизнь нельзя, невозможно, ибо неповторимы и сам человек, и время, в какое он живет..

Отчасти и по этой причине Иван Савельевич не чи-

тал — почти не читал — чужих воспоминаний. А в основном не читал потому, что не находил в них, за редким исключением, главного, что оправдывает обнаружение подобных книг, — значительности личного опыта авторов и непосредственной, обязательной связи этого опыта с опытом становления, развития общества. Почему-то Ивану Савельевичу чаще всего попадались книги, авторы которых не столько анализировали закономерности роста и возмужания человека как личности, связанной пуповиной с общественным сознанием и являющейся продуктом этого сознания, сколько повествовали о фактах своей биографии, далеко не всегда действительно значительных, заслуживающих общественного внимания, как будто чья-то биография может читаться сама по себе, а не как страница биографии всего народа. Да и просто взять и рассказать о своей жизни — этого мало, ибо книга воспоминаний вовсе не то же самое, что автобиография для «личного дела». «Личное дело» потому и личное, что в нем собраны факты отдельной жизни, которые дают возможность судить о способности человека выполнять ту или иную работу, об его моральном, нравственном облике, а для написания воспоминаний, которые будут читать многие, необходимы широта и глубина взгляда на действительность, умение мыслить аналитически и понимание исторических, объективных закономерностей развития общественных отношений. Ибо это не памятник самому себе, как, похоже, думают иные воспоминатели, а запечатленная память о прошлом, кусочек общей памяти, крохотная ее частица. Всю память и все знания о прошлом соберет воедино и сохранит для будущих поколений История. Сделает она это лучше, добросовестнее и, значит, справедливее, чем может сделать человек. Вот в этой копилке найдется место и отдельным фактам из отдельных биографий, если, конечно, эти факты достоверны и важны для восприятия целого, а строить памятники себе, как это делают, позабыв даже об элементарной скромности, некоторые авторы воспоминаний и мемуаров (в том числе и люди в общем-то заслуженные), Иван Савельевич считал безнравственным, аморальным. И дело тут не в одной только скромности или нескромности. Дело в том еще, что всякий памятник, кем бы и кому бы он ни был поставлен, отбрасывает тень, и в этой-то тени, случается, остаются незамеченными, невысвеченными куда более достой-

ные люди и судьбы. А случается, и наоборот, когда в этой тени находят себе тепленькое местечко люди недостойные, которые плюют не только на людей, окружающих их, но и на памятник, в теки которого они устраивают свое личное благополучие. А История всех расставит по своим надлежащим местам, и каждому, кто честно заслужил это, рано или поздно отыщется законное место на общем пьедестале, место в памяти народа. Но даже если и не отыщется, если даже кто-то по каким-то причинам окажется обойденным вниманием Истории, тоже не страшно. Ибо человек живет на свете и делает свое дело не для того, чтобы след его непременно сохранился навечно, но единственно для того, чтобы идущим по его следам было светлее, радостнее жить, чтобы они, вслед идущие, не повторяли прошлых, уже сделанных ошибок. И тут пример необходим, потому что ошибки, как и сама жизнь, как и деяния человека, у каждого должны быть свои. То есть пример необходим не для подражания, но для предупреждения.

Повторять — значит топтаться на одном месте, а каждое следующее поколение должно сделать шаг вперед. Иначе жизнь просто-напросто остановилась бы давно...

Мысли эти, о прошлом и о себе в связи с прошлым, не дают покоя Ивану Савельевичу, будоражат его совесть, заставляют еще и еще раз оценивать свои поступки, прислушиваться к пульсу эпохи, в которой он жил и продолжает жить, которая сделала его тем, кто он есть. Нельзя сказать, что он и прежде не задумывался об этом, не проверял свою жизнь жизнями других людей, однако теперь, когда он дал согласие написать воспоминания, Иван Савельевич думал об этом постоянно. С мыслями этими он ложился спать, с ними же просыпался, но странное дело — они никак не хотели выстраиваться в систему, протестовали, не ложились на бумагу, рассеивались, путались с какими-то посторонними, несвязательными мыслями, и оттого в голове Ивана Савельевича происходила какая-то неразбериха... И вот уже вместо того, чтобы размышлять о главном, он начинает вспоминать вовсе незначительные факты, события, которые не имеют прямого отношения к тому, ради чего он по утрам садится за стол и мается над чистым листом бумаги. Главное же ус-

кользает, расплывается, точно мебель в вечерних сумерках, и прожитая жизнь, складываясь из разрозненных, случайных воспоминаний, теряет ясность и целеустремленность, воспринимается как вообще прожитое время, в котором мог бы жить он, Иван Савельевич Иванов, но мог бы жить и кто-то другой, совсем не похожий на него человек, с другим характером, с иным образом мыслей...

От этого делается немножко страшно, и вовсе не потому, нет, что это похоже на мистику — этого-то как раз Иван Савельевич меньше всего боится, будучи материалистом, — а потому, что ведь если бы на его месте действительно мог быть другой человек и не просто быть, но и делать то же самое, что делал он, это означало бы, что не было закономерности, не было обязательности в его, Ивана Савельевича жизни. Значит, пройденный им путь не более чем цепочка случайностей, совпадений, как бы нанизанных на его физическое существование, на его плоть. То есть цепочка случайностей, связанных с ним не потому, что это именно он, а потому лишь, что он по прихоти судьбы, либо по чьей-то чужой воле оказывался в какой-то момент в каком-то определенном месте. Однако всем своим существом Иван Савельевич протестовал против этого. Протестовал отнюдь не из тщеславия или желания во что бы то ни стало найти себе место и утвердиться на воображаемом пьедестале раньше, чем его утвердит там История, но протестовал потому, что такое объяснение, если его принять и согласиться с ним, противоречило бы трезвому и непредвзятому взгляду на движение самой жизни, на ее закономерное, объективное развитие.

Ну разумеется, бывают и случайности. Это неизбежно, ибо даже созданные человеком законы не могут предусмотреть все возможные варианты, но систему из случайностей пострсить нельзя. Это как бы попытаться построить дом из битого кирпича, хотя очевидно, что при постройке дома вовсе обойтись без кирпичных осколков тоже невозможно. Уж кто-кто, а Иван Савельевич знает это доподлинно, потому что его жизненный путь был именно закономерен — это путь целого поколения, путь всего народа.

Надо заметить, что и теперь, приступив к работе непосредственно над рукописью своих воспоминаний, по ночам, страдая от изнуряющей бессонницы, Иван Савельевич ясно все видит и понимает, но как только



утром он садится к столу, чтобы одеть мысли в слова, происходит что-то непонятное, как будто ему подменяют мысли... Поборов в себе неприязнь ко всякого рода переменам, он попытался работать по ночам. Ему казалось, что днем и даже рано утром он никогда не испытывал такого душевного спокойствия, равновесия, а мысли его никогда не бывали столь ясными, четкими. Однако результат оказался прежним — едва он приближался к столу, как ровное течение мыслей приходило в смятение, хотя все располагало к плодотворной работе, и было так приятно сидеть у стола, освещаемого приглушенным, умиротворяющим светом старинной же лампы на малахитовой подставке, отключившись от суетности дневной жизни.

Пришлось вернуться к прежнему режиму.

Обычно Иван Савельевич поднимался в шесть часов. Это ему не стоило никаких усилий, спал он все равно мало и плохо, к тому же и привык вставать рано. Плох тот командир, любил повторять он, который поднимается позже своих солдат. И сам никогда не ступал от этого правила.

Он принимал прохладный душ, меняя напор воды, что очень полезно для укрепления нервной системы, завтракал (одно яйцо всмятку или овсяная каша, стакан кефира), варил для работы — только для работы — чашку крепчайшего кофе и шел к столу, ощущая, как нарастает в нем напряжение, как бьется, отзываясь глухим эхом в затылке, сердце, и как улетучиваются, испаряются мысли, которые еще совсем недавно, сию вот минуту, были выстроены в необходимой последовательности. На необъятном малиновом поле столешницы лежала стопка бумаги, дразня непорочной, девственной чистотой, а рядом, сиротливо и чуждо, лежал листок, исписанный неровным, прыгающим почерком Ивана Савельевича. И это было все, что он смог написать за несколько недель после отъезда жены: «Я, Иванов Иван Савельевич, родился 7 сентября 1910 года в уездном городе Мазаеве в семье мелкого ремесленника. Отец мой, Савелий Федотович, происходил из крестьян того же Мазаевского уезда и был гончаром...» Правда, была еще пухлая папка с записями, сделанными женой под диктовку Ивана Савельевича и ею же отпечатанными, однако это были отрывочные, бессистемные записи, черновики, которые нужно привести в порядок, придать им повествовательную стройность, хотя директор музея и убеждал Ивана Савелье-

вича, что это совсем не обязательно. Но работа есть рабста, она должна быть сделана добросовестно...

Иван Савельевич понимал, что раз уж написал что-то про отца, то дальше надо бы написать и про мать, чтобы люди, прочитав его воспоминания, не приняли его за неблагодарного, недостойного сына, но дело все в том, что он ничего не знал о своей матери, разве что ее имя — Екатерина Ебграфовна. Она умерла от тифа в восемнадцатом году. Ее как бы и вовсе не было в жизни Ивана Савельевича, так давно это было, и лишь в последние годы, уже выйдя в отставку, он все чаще думал о ней. Не вспоминал, но именно думал, потому что вспоминать-то было вовсе нечего. Он даже пытался отыскать ее могилу, когда ездил хоронить отца, который умер в глубокой старости, восьмидесяти семи лет от роду.

Вот эту поездку и как он искал могилу матери Иван Савельевич помнит хорошо.

Был будний день, оттого на кладбище не было никого, стояла тишина, какая случается на фронте перед боем, когда все затаились, притихли в напряженном ожидании, и никто не мешал Ивану Савельевичу, никто не смущал его. Он бродил в одиночестве (жене он не сказал, куда и зачем пошел) по кладбищенским ухоженным дорожкам, продирался между старыми, давно заброшенными могилами сквозь заросли бузины и клял себя, что за столько-то лет и даже десятилетий не удосужился побывать здесь. А вот на покойного уже отца обиды не было, хотя отец всю жизнь прожил в Мазаеве и не сохранил могилу матери. Где там отцу было сохранять могилы, если он похоронил трех жен. Нет, всю вину за это Иван Савельевич принимал на себя.

Он пробыл на кладбище несколько часов, исходив его буквально вдоль и поперек, но так и не отыскал, где похоронена мать. А может, решил в конце концов он, этого не знает никто: отец в восемнадцатом году был на фронте, в Красной Армии, у матери же, насколько помнил Иван Савельевич, родственников в Мазаеве не было. Скорее всего, ее похоронили в общей могиле, ведь тогда многие умирали от тифа.

Он посидел недолго у свежей могилы отца, и вот именно здесь, в царстве мертвой тишины и вечного покоя, как бы отрезанный на время от внешнего мира с его суетой и заботами, которые часто, слишком даже часто бывают мелкими, никчемными и не стоящими

внимания, Иван Савельевич впервые за всю свою жизнь и как-то вдруг почувствовал себя одиноким, ему сделалось неуютно, зябко, и он подумал, что какое же это счастье, что у его сына есть сестры, а у сестер, его дочерей, есть брат. Ведь это значит, что они не будут одинокими никогда...

Он простился с отцом, отчетливо понимая, что это их последнее прощание, потому что вряд ли он приедет в Мазаев еще, и пошел с кладбища.

Когда он вернулся в гостиницу, жена была в панике.

— Иван, где ты был?

— Бродил по городу, — ответил Иван Савельевич. Ему отчего-то не хотелось признаваться, что был он на кладбище.

— Хоть бы предупредил, — укоризненно сказала жена. — Тебя же тут обыскались.

— Кто меня обыскался? — спросил он.

— Из райкома несколько раз звонили, из газеты...

— Пусть, — сказал он. — Я знаешь, что подумал, Маша? Что, если нам с тобой переехать сюда насовсем?

— Господи, чего это тебе взбрело в голову?! — удивилась жена. — О ребятах ты подумал? Как же они будут одни...

— Как все, — проговорил Иван Савельевич. — Не маленькие. А здесь прекрасно, Маша. Покой, тишина...

— Старость это, Иван, — мягко сказала жена, понимая, что сейчас спорить с ним нельзя.

«Вот на старости и пожить бы нам спокойно», — думал-то Иван Савельевич не столько о спокойной жизни, сколько о том, чтобы умереть здесь, на родине. Однако и знал, что жена ни за что не согласится уехать из Ленинграда, и поэтому не настаивал, а решил, что просто напишет в завещании, чтобы его похоронили в Мазаеве, рядом с отцом, раз уж не отыскалась могила матери. Хоть и не были они никогда близки, виделись всего два-три раза после войны и даже переписывались редко, а все же это отец. Как уже говорилось, Савелий Федотович прожил восемьдесят семь лет, прожил беспутно, безалаберно, был четыре раза женат, и последняя его жена родила дочку, когда было ему за семьдесят, а жене — сорок. Несмотря на свою беспутную жизнь, он никогда не бывал у врачей, так что после его смерти в местной поликлинике не оказалось его карточки. А умирал он в

полном сознании, то есть с сознанием того, что умирает. Он вытребовал Ивана Савельевича, дождался его приезда, отгоняя смерть, попросил водки и, выпив полный стакан, спокойно сказал:

— Кончаюсь я, Ваня.— И поманил пальцем, чтобы Иван Савельевич нагнулся пониже.— Теперь только понял я, сынок, что по-дурному жил, не как от бога людям велено. Все обмануть кого-то хотел, а выходит так, что обманул сам себя... Вот тебе: золотой — он ведь золотой, куда его не разменяешь. А разменял — тьфу, медяки одни, хоть вроде и те же деньги. Всегда помни про то и детям передай, и внукам своим. Да... Ты вот что, ты налей-ка мне еще малость, в груди печет сильно.

— Может, не надо? — усомнился Иван Савельевич, понимая в общем-то, что теперь это не имеет никакого значения.

— Ты хоть и начальник,— проговорил Савелий Федотович строго,— а все одно мне сын. Слушай, что говорят тебе.

Иван Савельевич послушался, налил отцу еще полстакана.

— Это другое совсем дело. Что-то я еще хотел тебе сказать... Все мои бабы, кроме твоей матери, стервы были, хоть про покойников и не говорят худое. А мне все одно, раз и сам, считай, уже покойник.— Тут он даже улыбнулся: — А эта, теперешняя, из стервей стерва, каких свет не видывал. Ты вот что, Ваня, ты не знайся с ними, они тебе и твоим детям со внуками никто. Может, и дети ихние, которые от этих стервей рождались, и не мои вовсе. Ты мать свою помни, Катерину. Она-то была святая женщина. Отыщи ее могилу и попроси за меня прощения. Любил я ее, вот те крест — любил. А меня уж схорони по-людски, сынок. Уважь старость мою, хоть я и не достоин. И не смотри, что столько долго жил. Это-то в наказание за беспутство мое. Лишняя жизнь, сынок, всегда бывает в наказание за грехи. Оттого тощие и живут долго, наврде меня. Маются, на злобность исходят совсем, а смерти-то им бог не дает... Знаю, что и ты не сахарный, от меня много чего худого взял, но семью, гляжу, бережешь, и это ладно. Остальное-то простится, бог милостив к тем, кто других не обижает... Ты вот что, ты сунь-ка руку под матрас, там дырка, она через край зашитая... Я сам зашивал... Нашел, что ли?.. Дальше руку-то суй, дальше... Я мешаю, поверни меня

чуток... Ладно, я сейчас уже помру, ты и достанешь... Там пакет лежит, в матрасе, в нем три тыщи рублей... Это твоим внукам, правнукам моим, стало быть, от меня... Копил вот, берег... Не хочу, чтобы этой стерве достались... Ну, теперь, кажись, все... Прощай, сынок. А целовать, когда помру, не надо... Жалеть да целовать надо живых, мертвым-то что...

Никаких денег в матрасе не было, хотя дырка была. Иван Савельевич, разумеется, не стал искать, он сказал жене отца, уже вдове, что покойный велел ей взять спрятанные деньги, а она усмехнулась только на это.

— Какие там деньги,— сказала она.— Бредил он, заговаривался перед смертью, не в себе уж был.

— Мне показалось,— возразил Иван Савельевич,— что отец был в полном сознании. Вы все-таки посмотрите, а то сожжете матрас вместе с деньгами. А там три тысячи.

— Три тыщи! — рассмеялась она.— Откуда им взяться, ежели он пропивал все. Ох и намучились мы с дочкой с вашим родителем. Да хоть и сами взгляните, чтобы потом не думали.— Она вытащила из-под покойника матрас (Иван Савельевич отвернулся в ужасе, однако не остановил ее), показала дырку, которая не была зашита, сунула туда руку и обшарила все.— Пусто,— сказала она.— Попробуйте.

— Что вы,— сказал Иван Савельевич.— Значит, действительно бредил.

— Еще как бредил! — подхватила она.— Он уж сколько дней заговаривается, все про какой-то золотой говорил, а у нас и на поминки-то денег нет...

— Вот возьмите,— сказал Иван Савельевич, вынимая бумажник.— Двести рублей хватит? У меня, к сожалению, больше нет с собой, но я могу выслать потом...

— Спасибо вам большое, дай бог вам здоровья. А хватить-то хватит, не беспокойтесь.

Уезжал Иван Савельевич из родного города с тяжелым сердцем. А пробыли они там еще четыре дня после того, как похоронили Савелия Федотовича.

И после отъезда жены ничего не изменилось в порядке жизни. Напротив, если раньше иногда случались мелкие нарушения распорядка, которые Иван Савельевич допускал вполне сознательно, уступая же-

не и чтобы сохранить душевное равновесие, то теперь, оставшись один, он соблюдал раз и навсегда заведенный порядок без каких-либо отступлений и послаблений, хотя приходилось самому ходить за покупками в магазин и готовить пищу, да ведь и возраст изымал из жизни свое, так что требовательность к себе пришлось повысить.

Да, старость все настойчивее и чаще напоминала о себе. Пожалуй, именно к старости Иван Савельевич обнаружил, что многое в окружающей жизни не удовлетворяет его, смущает как-то... И прежде всего это заметно в отношениях людей друг с другом. По мнению Ивана Савельевича, в этих отношениях стали проявляться отчужденность и неуважительность, граничащие с дерзостью, люди становятся расхлябанными, несобранными, а все это неминуемо ведет к аморальности и безнравственности. Что говорить, когда аморальность уже сделалась как бы нормальным явлением, ее даже не замечают, хотя она бросается в глаза всякому человеку, который сам придерживается строгой морали. Взять молодежь. Нет, в целом Иван Савельевич не имеет ничего против молодого поколения, оно сумело показать свои лучшие качества на многих участках жизни, этого нельзя отнять, а все-таки в поведении значительной части молодежи есть что-то отталкивающее, вызывающее негодование и чувство стыда. К примеру, ходят по улицам в обнимку и даже целуются на эскалаторе в метро! Допустим, это крайнее проявление невоспитанности, неуважения к окружающим, что, увы, свойственно нынче молодым. А эта учительница, которая при электрическом свете ходит перед окнами голая?.. Что это такое?.. И самое страшное, думает Иван Савельевич, что безнравственность эта находит защитников в лице людей немолодых, солидных. Хотя бы вот Головин. Вместо того чтобы возмутиться поведением учительницы, он свел все к шутке. Ему, видите ли, весело, смешно ему, а дело-то серьезное, требующее принятия каких-то мер, ибо на нее смотрят не только взрослые, что тоже не оправдывает аморальность учительницы, но и дети, а дурной пример, как известно, заразителен.

А почему заразителен именно дурной пример?.. Иван Савельевич, задав себе этот вопрос, не знал, как на него ответить, хотя знал, что этому должно быть разумное объяснение. Но где, где оно, это объяснение?.. Не найдя его в мудрости других, а он пересмст-

рел горы литературы в поисках ответа, Иван Савельевич попытался разобраться самостоятельно. И он пришел к неожиданному,— можно сказать, к парадоксальному выводу: человек, заражаясь дурным примером, следуя ему, вовсе не считает этот пример дурным. Ибо вряд ли кто-нибудь станет поступать заведомо дурно, то есть дурно по убеждению. Наоборот, каждый, поступая так или иначе, рассуждал Иван Савельевич, наверняка убежден, что поступает правильно, а правильное не может быть дурным в принципе, потому что тогда не было бы правильным...

Это был лабиринт, из этого лабиринта, куда Иван Савельевич сам же себя и загнал, не было выхода. То есть выход, разумеется, был, однако Иван Савельевич найти его не мог. Не мог он выбраться из лабиринта без потерь и уступок своим принципам, ведь получалось, что человек постоянно и сознательно идет на компромиссы. Делая приятное и удобное для себя, человек либо поступает моралью, либо причиняет неудобства и неприятности окружающим. А должно бы быть соответствие: что хорошо одному, то хорошо всем. Мир задуман гармонично, тогда как всякий компромисс разрушает гармонию, а тут уж недалеко и до хаоса, до индивидуальной морали и нравственности, когда каждый делается себе судьей...

Конечно, любые примеры, взятые из жизни в общем, еще ничего не доказывают, потому что за этими примерами только голые, разрозненные факты и ничего больше, а если обратиться к своей семье?..

Иван Савельевич, будучи человеком последовательным и настойчивым в добывании истины, даже если истина могла оказаться для него невыгодной, обращался за ответом на мучивший его вопрос к опыту своей семьи, во всех отношениях считавшейся вполне благополучной, хорошей семьей, но и здесь — увы — находил подтверждение тому, что заразителен именно дурной пример. Вот сделалось модным и чуть ли не престижным (вообще-то Иван Савельевич не любил этого слова, догадываясь, что за ним маскируется самый обыкновенный карьеризм, стремление казаться лучше, чем в действительности, жажда выделиться, обратить на себя внимание и так далее) разводиться, менять жен и мужей. Строго говоря, сам по себе развод в некоторых случаях не является, конечно, аморальным явлением, ибо никто не застрахован от ошибок, но когда это принимает массовый, повальный ха-

ракти, когда молодые люди, создавая семью, заранее учитывают возможность развода, готовы к нему, — это уже тревожный, опасный симптом какой-то социальной болезни... Взять старшую дочь Ивана Савельевича. У Татьяны был прекрасный муж: умница, не пил и не курил, отличный семьянин, вообще человек безупречный, а дочь разошлась с ним. Разошлась несмотря на то, что он-то не хотел развода, был категорически против. Ну, допустим, она встретила другого мужчину, полюбила его — бывает, хотя это еще не оправдание для развала семьи, только повод. Так ведь и этого нет! Татьяна просто разошлась, просто заявила мужу, что не желает больше с ним жить. Теперь живет одна. И к чему это привело?.. А к тому, к чему и должно было привести: Ирина, внучка Ивана Савельевича, крайне легкомысленно относится к замужеству, нисколько не задумываясь о том, что замужество — очень серьезный шаг в жизни. В девятнадцать лет собралась замуж, даже не закончив учебу. И это допускает Иван Савельевич, но ведь жених-то ее какой-то несерьезный мужчина, в нем нет необходимой надежности, все шутит, острит, к тому же он был уже женат и старше Ирины на семь лет. Работает лифтером, что, между прочим, также не украшает молодого человека.

Иван Савельевич, познакомившись с этим «женихом», пытался поговорить с внучкой, однако разговора не получилось, и это сильно беспокоит его.

— Дедуля, — смеясь, сказала ему Ирина, — ты у нас замечательный человек, тебе должны при жизни поставить памятник, но в людях ты ничегошеньки не понимаешь, прости меня!

— Возможно, я чего-то не понимаю в современной военной стратегии, — возразил Иван Савельевич. — Но это не означает, что не понимаю и людей...

— Дедуля...

— Не перебивай меня, пожалуйста, — попросил он мягко. — Совершенствуется вооружение, меняется стратегия, и это вполне естественно. Что было хорошо вчера — плохо сегодня и уж совершенно никуда не будет годиться завтра... Однако что же такого изменилось в жизни вообще, что я перестал понимать...

— Ой как много изменилось, дедуля! — воскликнула внучка. — Ты просто не представляешь, как много!..

— А конкретно? — настаивал Иван Савельевич.



— В частности, изменились и взгляды на семью,— сказала она.

— Вот именно,— грустно усмехнулся Иван Савельевич.— Семья перестает быть ячейкой, основой...

— Миленький, хорошенький мой дедуленька, не надо! — Ирина сбняла его.— Ты все равно не поймешь, да тебе и не надо понимать. Тебе не нравится Игорь, да?..

— Не нравится.

— Видишь, а мне нравится.

— И что же тебе нравится в нем?

— Да разве можно сказать, за что любишь человека?!

— Разумеется. И не только можно это сказать, но нужно это знать.

— Какая же это любовь, дедуля! — воскликнула она удивленно.

— Вот ты говоришь, что он работает лифтером...

— Механиком по ремонту лифтов, а не лифтером. А потом... Разве это имеет значение, дедуля? Был бы человек хороший.

— И ты уверена, что он хороший человек? — с сомнением проговорил Иван Савельевич.— Почему же от него ушла жена?

— Это их дело,— сказала Ирина.— Может быть, она была плохая, я не знаю. А может, они не подошли друг другу.

— Раньше почему-то все подходили друг другу...

— То было раньше. Давай не будем об этом, а? Я тебя очень прошу. Когда ты узнаешь Игоря получше, ты обязательно изменишь о нем мнение. Я тебя уверяю.

— Не думаю,— сказал Иван Савельевич.— Поступай как хочешь, однако мне твое замужество не нравится. Рано тебе еще замуж.

— А это запрещенный прием, дедуля! Сколько было бабушке, когда она вышла за тебя?..

— Тогда было другое время,— не подумав, сказал Иван Савельевич. И тотчас пожалел об этом.

— Сам признал, что было другое время!

— С вами трудно разговаривать. У вас на все есть ответ. Ты с отцом встречаешься? — спросил он.

— Изредка.

— Как он живет?

— Нормально.

— Он женился?

— Что ты! — Ирина взмахнула рукой. — Он ведь однолюб, несовременный человек. Он никогда больше не женится, по-моему. Влюблен в мать по уши.

— Ирина! — строго сказал Иван Савельевич и укоризненно покачал головой. — Ты уже взрослая, а ведешь себя... Объясни хоть ты мне, что произошло, почему они разошлись?

— Понятия не имею. — Она пожала плечами.

— Они ругались?

— Нормально, как все.

— Но в чем же дело?..

— Я думаю, что на сексуальной почве. Хотя за чем им, старикам, это?..

Иван Савельевич растерянно посмотрел на внучку и промолчал. Он понял, что продолжать разговор бессмысленно. Да и небезопасно. А она заспешила вдруг, поцеловала его и убежала. Он подошел к окну в надежде, что Ирина помашет ему, однако она не помашала, даже не оглянулась. Им ни к чему всякие там сантименты, с обидой подумал Иван Савельевич. Им чужда нежность, потому что они живут в другое время, а мысль о том, что нежности нужны старикам, им не приходит в голову...

Не ей, то есть внучке, но именно им.

Вот и сын ничем не радует Ивана Савельевича, хотя на него он возлагал большие надежды. А теперь, в старости, о нем и думать бывает стыдно. Тоже развелся с женой (прямо какое-то семейное бедствие, одна Надежда, средняя дочь, живет с мужем), связался с женщиной, у которой, оказывается, есть законный муж и ребенок, но и с ним говорить на эту тему бесполезно. Иван Савельевич пытался воздействовать на его совесть и честь, объяснял, что такой образ жизни, какой ведет сын, глубоко аморален и бесчестен, что он не только унижает свое человеческое, мужское достоинство, но также втаптывает в грязь безнравственности честь их фамилии, на что сын, громко рассмеявшись, ответил:

— Ты безнадежен, отец. Твой поезд давным-давно ушел, а ты все еще трепыхаешься...

Более всего Ивана Савельевича поразило в словах сына то, что они почти в точности совпадали со словами внучки, хотя Ирина-то в сущности еще ребенок, ей можно что-то и простить, а сын — взрослый мужчина, обязанный отвечать не только за себя, но и за близких своих. Но о какой ответственности мо-

жет идти речь, если он и мысли-то свои излагает каким-то вульгарным языком!..

— Возможно, что мой поезд и ушел,— сказал Иван Савельевич, не позволяя себе расслабиться и накричать на сына. Это было бы неуместно.— Однако моя совесть чиста, Виктор. А ты... Насколько мне известно, у этой женщины, с которой ты сожительствуешь, не считаясь с законами нравственности, есть муж...

— Э-э, батя! Теперь не говорят — муж и жена. Теперь говорят — партнеры. Усек? Такие вот пироги.

— Я бы попросил тебя не пользоваться жаргоном в разговоре со мной,— сказал Иван Савельевич.— Оставь это для своей...

— Отец, но ведь ты ее не знаешь.

— И не хочу знать!

— Вольному — волюшка,— усмехнулся сын.— А что касается нашей знаменитой фамилии...— Тут он даже подмигнул Ивану Савельевичу.— Кажется, дед Савелий был далеко не промах по части женского пола, а?.. И давай не будем, отец. Есть такое понятие — любовь...

— Любовь? — почти закричал Иван Савельевич, негодуя.— Не тебе, сын мой, говорить о любви.

— А почему бы и не мне?

— Потому что любовь не может быть безнравственной, аморальной, а лишать ребенка отца — безнравственно...

— И кто же доложил тебе, что я лишаю ребенка отца? Подать сюда этого негодяя!.. У тебя, батя, все расставлено раз и навсегда по установленным местам, а жизнь не хочет влезать в такую кладовую. Тесно ей там. Так вот, докладываю: Юра — это сын моей теперешней жены — видится со своим отцом, и довольно даже часто. Более того: его отец бывает у нас. Мы с ним в нормальных отношениях. Тебя устраивает такой расклад?

— Не устраивает,— сказал Иван Савельевич.— Знакомство и встречи с человеком, от которого ушла жена к тебе, это явление не нормальное, а...

— Понятно,— сказал сын.— Ты мыслишь категориями времен царя Гороха, отец. Умные, интеллигентные люди...

— Мне кажется, у нас с тобой в корне различные понятия об интеллигентности.

— Кстати, и в этом я не вижу ничего из ряда вон,— сказал сын.— Все течет, все изменяется.

— Но не понятия о чести и достоинстве.

— Видишь ли, отец, в чем-то я согласен с тобой. Но дело в том, что и честь, и достоинство тоже понятия временные. И социальные, между прочим. Даже профессиональные...

— Объясни,— потребовал Иван Савельевич.

— Объяснить это трудно... Скажем, так. У военных почитается за добродетель беспрекословно подчиняться приказам старших начальников. Я правильно излагаю?

— Дальше,— сказал Иван Савельевич.

— Но если я беспрекословно, не вдаваясь в существо дела, буду выполнять все приказы своего начальства, грош мне цена.

— Ты увел разговор именно от существа дела.

— А в данном случае существо очень простое, отец: я люблю эту женщину, она любит меня, а все остальное не имеет никакого значения.

Сын, дочь, внучка... Да что они, если его жена, бабушка троих внуков, решила на такое, что Ивану Савельевичу никогда бы и в голову не могло прийти. Вот и получается, что раз есть пример родителей и даже бабушки, отчего же не заразиться этим примером детям и внукам?! И не имеет решительно никакого значения, что дети как бы переняли дурной пример раньше, чем его подали старшие. Дело в воспитании вообще, в отношениях между старшими и младшими, в поступках старших, ибо именно поступки родителей определяют поведение детей, их мировоззрение и отношение к жизни...

Иногда, устав от круговерти мыслей, которые уносили бог знает куда, в какие дали и лабиринты, Иван Савельевич говорил себе: ты жил, делал свое дело, как правило, добротнo и всегда честно, никогда не задумываясь ни о чем таком, что тревожит тебя сегодня, и тебе не мешало это жить и работать, а значит, можно жить и не обременяя себя размышлениями... Верно, кое-кто полагал тебя человеком не очень интеллигентным, не очень образованным (и это правда), но полагали-то как раз люди, которые сами делали гораздо меньше и хуже, чем делал ты, а порой и вовсе не делали ничего. Ибо рассуждения о деле, какими бы пра-

вильными они ни были, не могут заменить собственно дело. Но вот настало время, и ты сам пустился в рассуждения, и это еще полбеды, когда бы твои рассуждения были предисловием к нему. Нет же, ты просто рассуждаешь, в общем-то понимая, что изменить ничего не можешь, и это означает либо близкий конец — в виду скорой смерти едва ли не все поддаются искушению осмыслить не что, даже если осмысливать и нечего вовсе, подвести итоги, рассчитывая на положительный баланс,— либо полное бессилие, неумение воспользоваться накопленным опытом, а это уже значит, что жизнь мало чему научила тебя и что опыт твой не нужен и тебе самому. Но раз он не нужен даже тебе, кому же еще он мог бы понадобиться, этот опыт, из которого нельзя извлечь конкретной, реальной пользы...

А всякую иную пользу Иван Савельевич отвергал, не замечая, однако, что слишком часто конкретное путает с сиюминутным. Только происходило это не потому, что ему не хватало образованности, но потому, что от него-то всю жизнь требовали именно сиюминутной, мгновенной пользы, ведь он был солдатом. С семнадцати лет. Армия вырастила его, армия воспитала, хотя и до вступления в армию Иван Савельевич был привычен почти к армейским порядкам: несмотря на то что отец пил и вообще вел разгульный образ жизни, семью свою он держал в строгости, а мачеха — вторая жена отца — добавляла от себя, как бы отыгрываясь на пасынке за мужа, который и ей не давал спуска. Так что, привыкнув дома ходить по струнке и беспрекословно подчиняться старшим, Иван Савельевич несколько не тяготился армейской службой. Natura его не протестовала, и не было нужды насиловать характер. «Раз положено, значит, нужно», — сказал он себе (после говорил многим другим), и этого ему хватило на всю жизнь. Люди, мало знавшие Ивана Савельевича, обычно замечали лишь внешнюю, очевидную сторону его характера, замечали поступки, уже совершенные им, не замечая той нелегкой, порой мучительной внутренней борьбы, какая постоянно происходила в его душе. Просто он умел не показывать, не афишировать своих сомнений, оставляя их при себе, как отработанный материал, как издержки, а люди-то думали, что он вообще, в принципе свободен от всяких сомнений. Вот отсюда и заблуждение насчет консерватизма Ивана Савельевича и даже будто бы

косности, насчет никому не нужной и вредной бескомпромиссности. А ведь на самом деле кажущийся консерватизм его был не столько проявлением характера, сколько выработанной привычкой поступать, действовать не так, как хочется лично ему, но так, как того требуют от него конкретные обстоятельства. Говоря языком армейским, как того требует обстановка. И уставы, разумеется. Это — прежде всего. Однако Иван Савельевич и при этом никогда не забывал о возможных последствиях своих действий, хотя бы действия его и были только выполнением приказа. Он не искал за свои удачные действия похвалы, не искал наград, зная, что заслуженные награды сами найдут его, зато всегда был готов принять на себя вину за неудачи и ошибки подчиненных. Он помнил, что и самый незначительный поступок сегодня может иметь неожиданно значительные последствия завтра. Потому-то мысль о том, что настоящее — это мост, перекинутый из прошлого в будущее, привлекала Ивана Савельевича. Привлекала своею простотой и завершенностью. И еще, пожалуй, тем, что, не ущемляя интересов и заслуг ныне живущих, все-таки не давала приписать себе больше, чем сделано в действительности, чем положено по праву и по совести. Сегодняшние деяния, убежден Иван Савельевич, обретают подлинный смысл и значение в будущем, ставши деяниями прошлого.

А по своим убеждениям он не был ни консерватором, за которого его часто принимали, ни тем более либералом. Этого слова — либерализм — он вообще терпеть не мог, потому что именно либерализм, который иногда путают с демократизмом, порождает безответственность и хаос. А Иван Савельевич, как уже было сказано, исповедовал порядок и ясность во всем. Одинаково в большом и малом, независимо от сиюминутных потребностей. И прежде всего во взаимоотношениях между людьми. Ибо все начинается с человека и в нем же кончается. Тем труднее, ожесточеннее была борьба, происходившая в душе Ивана Савельевича, ведь боролся-то он с самим собой, а что же может быть проще уступки самому себе!.. Он старался не уступать, но если обстоятельства заставляли его идти на компромисс со своими убеждениями (а такое в жизни случалось, никуда не денешься), если он и поступал вопреки здравому смыслу, то делал это не по своей воле и всегда более совестью. А делал все-таки

хорошо, как от него требовалось. Совсем напрасно кое-кто думает, что жить с такими принципами, с какими прожил Иван Савельевич, легко. Нет, нет и нет. Безусловно выполняя все, что положено было выполнять — и как начальнику и как подчиненному, — он действовал вполне сознательно, понимая смысл и цель жизни как выполнение возложенного на него долга, однако сознание его далеко не всегда легко примирялось с этим. Нужно быть очень сильным; целеустремленным и убежденным в своей правоте человеком, чтобы подняться выше мнения тех, кто по своему невежеству или легкомыслию готов кидать камень в таких людей.

Иван Савельевич был именно сильным и целеустремленным человеком. Он с юности воспитывал в себе волю, понимая, что в какой-то момент борьбы исход ее решит более сильная, воспитанная воля, а отнюдь не чувства и уж, конечно, не чувствительность. А что такое воля?.. Это и есть упорядоченность, дисциплинированность, ибо ничего нет труднее, чем регламентировать собственную жизнь, подчинить ее железным правилам, а в конечном счете обрести власть над своими же человеческими слабостями, которыми природа для того, может быть, и наделила столь щедро людей, чтобы они пребывали в постоянной боевой готовности. Не кто другой, как люди с повышенным чувством долга и ответственности, часто отказывающие себе в удовольствии просто жить, именно эти люди творили Историю, добывали опыт и знания для всего человечества, защищали его от гибели. Примеров тому не счесть, их можно черпать повсюду, и один из самых ярких, по мнению Ивана Савельевича, конечно же, пример Александра Васильевича Суворова, нечеловеческой воле которого, целеустремленности и самоограничению мы обязаны многими славными победами русского оружия. А можно при желании углубиться и дальше. Да если разобраться, даже религия и сам бог понадобились людям тоже как носители и организаторы определенной системы отношений, как символ, эталон природы. Удивительно, что нередко и умные люди, заслуживающие уважения и признания за свои дела, поступают тем не менее вопреки здравому смыслу, следуя в своих поступках подчас не за сознанием долга, но за чувствами гнева, жалости, родства, идут на поводу личных симпатий и антипатий, совершая при этом множество ошибок, впадая в заблуждения,

которых не только могли, но обязаны были избежать. Одно дело — ошибки и заблуждения, которые можно объяснить независимыми от человека причинами (это же служит и их оправданием), и совсем другое дело, когда они результат стихийности поведения, результат неуправляемого характера или — еще хуже — результат сомнения, самовлюбленности.

Увы, далеко не все понимают эту истину. В том числе и близкие Ивана Савельевича. Отчасти и поэтому на склоне лет, когда люди особенно нуждаются в общении, в поддержке близких, он остался один. Правда, и раньше жена часто и надолго оставляла Ивана Савельевича, чтобы в нормальных, как она считала, условиях воспитывать сначала детей, а потом и внуков. Но в этом была хоть какая-то необходимость, освященная традициями и оправданная от века заведенным порядком — для того и живут на свете бабушки, чтобы растить внуков. Теперь же случилось немислимое, чего при всем своем желании Иван Савельевич ни понять, ни объяснить не может. А понять и объяснить надо, ибо иначе не обрести равновесия духа и столь необходимого на старости лет покоя. Да что там, впрочем, покой, не в покое дело. Это только так говорится, будто бы на старости лет хочется покоя, а в действительности хочется Истины. Истины именно с большой буквы, потому что она на всех одна и нельзя от нее ни отломить, ни отщипнуть кусочек для себя, для оправдания своей жизни.

Человек должен не оправдания искать перед людьми и собственной совестью, он должен жить так, чтобы оправдания были не нужны.

Отчего же тогда беспокойно на душе Ивана Савельевича, отчего же он не спит по ночам, мучается, пытаясь найти допущенную им ошибку, ошибку, которая привела в конце концов к развалу семьи, отчего завидует тайно, не признаваясь в этом даже себе самому, Головину, в семье которого царят мир и порядок, хотя по справедливости и по здравому смыслу этого просто не может быть...

Нельзя сказать, что Иван Савельевич хорошо знает Головина, что близок с ним, а все-таки и нагляделся на него, понял кое-что и мог бы, если бы его попросили, дать Головину исчерпывающую характеристику, в которой никогда бы не написал, что тот «хороший семьянин». Скорее, наоборот. Да и по части моральных устоев надо подумать еще. Вообще, есть в этом



человеке что-то несерьезное, что-то такое, что мешает Ивану Савельевичу до конца верить Головину, но вместе с тем заставляет думать о нем, а это верный признак того, что человек либо в корне порочен, двуличен, либо талантлив. Хотя... Да, да, именно так: можно быть порочным человеком и уметь строить свои отношения с окружающими — пожалуй, даже нужно обязательно уметь строить эти отношения, ибо в противном случае порок тотчас даст о себе знать, — а можно быть очень талантливым и, несмотря на это, жить в постоянной конфронтации с окружающими — талант уже сам по себе конфликтен...

Мысль эта пришла в голову Ивану Савельевичу, когда он одевался в прихожей, чтобы выйти в магазин, и показалась эта мысль ему настолько глубокой, всеобъемлющей, что он решил записать ее, не надеясь на свою память. Он снял ботинки и вернулся в комнату. Точнее сказать, хотел вернуться, однако, открыв дверь, остановился чуть ли не в испуге.

На его письменном столе сидел огромный — так показалось Ивану Савельевичу — сиамский кот.

— Ррр-ню,— проурчал кот и попытался лизнуть мешочек, который болтался у него на груди, прикрепленный к ошейнику.— Ррр-ню,— еще проурчал он и ударил хвостом по столешнице.

— Ты откуда здесь взялся? — вырвалось у Ивана Савельевича.

Кот прошелся по столу, обнюхал стопку бумаги, огляделся и, спрыгнув на пол, подошел к Ивану Савельевичу и потерся о его ноги.

И вот тут-то Иван Савельевич догадался, что это и есть Ипполит, с которым его обещал познакомить Головин.

— Ты Ипполит? — на всякий случай спросил он. И ему показалось, что кот ответил «да». — Как же ты попал ко мне на второй этаж? И окна у меня закрыты. — Он взглянул на окна. Одна форточка все же была открыта.

Ипполит снова потерся о его ноги, и Иван Савельевич понял, что кот явился не просто так, а по делу. Он наклонился — не без некоторой опаски, ибо был наслышан о злобности сиамских кошек, — и вынул из нагрудного мешочка клочок бумаги. Ипполит тотчас вскопчил на стол, со стола — на форточку и исчез.

— Чертовщина какая-то, — пробормотал Иван Савельевич.

Наверное, где-то под окнами стоит и сам Головин, иначе как бы кот смог найти его, Ивана Савельевича, окно?.. Он набрал номер телефона Головина и, к величайшему своему удивлению, услышал его голос.

— Слушаю,— сказал Головин.

Иван Савельевич осторожно положил трубку.

А на бумажке было написано: «Угостите Ипполита рыбьим хвостом. Он предпочитает минтая. И не обижайте его, он все-таки умный».

— И это называется директор! — в сердцах воскликнул Иван Савельевич и порвал записку.

А если признаться, визит Ипполита немало удивил его. Более удивил, чем раздосадовал. Разумеется, он не верил ни в какую там чертовщину (этого еще не хватало), но ведь не верил он и в способность кошек к осмысленным действиям, а для того, чтобы принести записку в нужную квартиру, да еще влезть в квартиру через нужную форточку, рассуждал Иван Савельевич, необходимо как раз осмыслить свои действия, то есть сознательно выполнить приказ хозяина. Но возможно ли такое?..

Получалось, что и такое возможно. Но тогда возможно многое, что в принципе возможным быть не может, не должно. Ибо, допуская возможность невозможного в каком-то одном случае, мы тем самым уже как бы обязаны допустить такую возможность и в другом, и в десятом случае. Отступив на шаг, будь готов отступить и на второй.

А почему, собственно, под окнами должен был стоять Головин, вдруг сообразил Иван Савельевич. Почему не его внук-сорванец, например? Просто наверняка внук, это так естественно. Правда, оставалось загадкой, каким образом кот нашел нужную форточку, но это уже частности, которые можно обдумать и потом. Допустим, все другие форточки были закрыты... Конечно, и в этих рассуждениях оставались некоторые пробелы, требующие объяснения, однако главное Иван Савельевич для себя объяснил и, успокоившись немного, отправился в магазин.

Выйдя на улицу, он незаметно так, исподтишка посмотрел на окна и с удовольствием и даже со злорадством убедился, что действительно все другие форточки с этой стороны дома были закрыты. Чего же тогда проще, подумал Иван Савельевич, закинуть kota на балкон, а уж с балкона-то он найдет дорогу в форточку, потому что деваться ему больше некуда. Одна-

ко и это здоровое, реалистическое объяснение, к тому же объяснение единственно возможное, не вполне успокоило Ивана Савельевича, ибо он не мог допустить, чтобы взрослый человек, занимающий в обществе заметное положение, ради только озорства позволил себе подобную выходку. Значит, за всем этим что-то кроется. То есть это значит, что Головин, запуская кота в форточку, не просто озорничал, но преследовал какую-то определенную цель. Скорее всего, и даже наверняка, он и заходил к Ивану Савельевичу также с какой-то определенной целью. Возможно, на рекогносцировку, вдруг догадался Иван Савельевич, и ему сделалось смешно. Да и как было не посмеяться!.. Ведь Головин наверняка придумал эту глупую затею, чтобы ошарашить, мистифицировать — вот именно, мистифицировать — его, а он не поддался этой детской мистификации, он сразу понял все, и теперь Головин напрасно ждет, что Иван Савельевич станет возмущаться и требовать объяснений или — того несообразнее — станет рассказывать всем, какой умный, какой ученый у Головина кот.

А все от безделья. И торчание возле пивного ларька в окружении подозрительных личностей, и рискованные анекдотики, до которых так падки обыватели, и эта почти хулиганская выходка с котом, и вообще все поведение Головина, которое — будь он женщиной — можно было бы назвать легким. Но ведь безделье, когда вокруг столько дел, безнравственно, аморально уже само по себе, подумал Иван Савельевич, и тут же решил, что нужно будет пригласить Головина и поговорить с ним серьезно о его общественном лице. Разумеется, не всякое дело можно доверить такому человеку, как Головин, однако найти такое дело, которое соответствовало бы характеру и умонастроению Головина, вполне возможно. Да вот, кстати, вконец запущена работа с подростками, а это крайне важный участок общественной работы, почему бы не поручить это дело Головину? Тем более он все равно якшается с мальчишками и в нем много ребячества, так что ему, как говорится, и карты в руки. Пусть организует подростков и направляет их энергию в нужное русло, чтобы не носились сломя головы по двору, не били в парадных и на первых этажах стекла, а то скоро совсем проходу от них не будет. Какая-то дикая орда, кочевники какие-то. Идешь и не знаешь, когда и откуда вылетит шайба либо выкатится футбольный мяч пря-

мо под ноги. Но это, конечно, мелочи, если шайба не попадает никому в лицо, а настоящее беспокойство Ивана Савельевича подростки вызывают по вечерам, когда они собираются в парадных, под лестницами. Опять же ничего страшного (хотя и беспокойно), если они только поют и бренчат на гитарах, но ведь могут играть в карты, распивать вино, а там, где вино и карты,— жди неприятностей посерьезнее...

Иван Савельевич вышел в отставку вскоре после рождения внука, поэтому жены не было в это время с ним. Конечно же, она уехала в Боровичи, к Надежде, как будто Надежда не смогла бы родить без нее. Но дело вовсе не в том, что жена уехала — к этому-то Иван Савельевич давно привык,— а в том дело, что уехала она накануне его отставки, прекрасно зная, что вопрос решен и что оставались какие-то формальности.

А служил Иван Савельевич последние годы в штабе одного из отдаленных соединений. Жена, кстати сказать, была недовольна его службой, вернее, его должностью, словно это была и не его, а ее должность, и на этой почве у них возникали даже споры. Жена обвиняла Ивана Савельевича в отсутствии самолюбия, требовала, чтобы он подал рапорт об отставке (он и подал в конце концов, однако не потому, что так хотела жена, а потому, что сам понял — пора), а он в свою очередь пытался доказывать жене, что солдат не выбирает ни должность, ни место службы,— на то он и солдат, что кто-то все равно обязан делать то, что делает он...

Но что правда, то правда: Иван Савельевич раньше занимал должности повыше, и в душе он был, чего уж там скрывать, немножко обижен, однако обида эта не давала ему права подвергать сомнению правильность назначения. Ибо существует закон: старший начальник всегда больше знает и, следовательно, дальше видит. Рядовой видит только то, что находится непосредственно перед его окопом, перед его ячейкой; ротный командир — то, что перед позициями его роты, а командир, например, дивизии, видит уже то, что находится перед фронтом всей дивизии, то есть перед фронтом многих рот. Соответственным образом каждый принимает и решения: солдат — за себя, ротный — за роту, а командир дивизии — за всю дивизию. И не дай бог, если солдат начнет вертеть голо-

вой, чтобы увидеть то, что делается рядом с ним; ротный будет наставлять комбата, а командир дивизии станет учить, как правильно действовать, командующего армией...

Примерно так Иван Савельевич объяснял жене, почему он согласился принять назначение на должность, добавив еще при этом, что в общем-то никто и не спрашивал его согласия, ибо в армии не принято спрашивать — в армии просто выполняются приказы, но разве можно что-нибудь доказать, объяснить женщине, тем более жене, если она заранее не хочет принимать никаких объяснений, если она уже убедила себя в чем-то...

— Вот именно, — усмехнулась жена.

— Что, «вот именно»? — не понял Иван Савельевич.

— А то, что от тебя и не ждали согласия. Тебе дали понять, что пора увольняться...

— Я запрещаю! — вспылил он. — Запрещаю обсуждать действия...

— Не бойся, Иван, — снова усмехнулась жена. — Я не собираюсь обсуждать действия твоего начальства. Я обсуждаю твои действия, а ты — мой муж. В твоих уставах ничего не говорится...

— Это не мои уставы, — с нажимом сказал Иван Савельевич.

— Твои, теои, Иван, — быстро подхватила жена, не дав возможности закончить мысль. — Потому что ты и в доме подчиняешься им. Вообще ты не служишь, а живешь по уставам.

Может быть, именно тогда он совершил какую-то ошибку, не найдясь, что возразить на этот выпад жены?.. Недаром же она теперь поставила ему в вину, что он якобы превратил дом в казарму. А возразить было просто: служит плохой солдат, а хороший — службой живет. Так было всегда в русской армии, так есть теперь и так будет всегда. Этим и сильна, нужно было сказать, наша армия.

Отчего же он не сказал этого?..

Да оттого, что был вынужден продолжить мысль и еще сказать, что настоящая командирская жена никогда не станет упрекать мужа в том, что он хороший солдат. А подобное замечание непременно привело бы к ссору, ибо жена не простила бы Ивану Савельевичу такого оскорбления, а ссор, тем более ссор по пустякам, ничемных ссор, он терпеть не мог. И вообще, ка-

кие могут быть обсуждения того, что обсуждению не подлежит.

А кончилось тем, что Иван Савельевич, осознав необходимость и полезность этого шага, сам, никем не понуждаемый, подал рапорт об отставке. Отставку, как говорили в старой армии, приняли, и жена узнала об этом едва ли не раньше Ивана Савельевича. Гарнизонная жизнь есть гарнизонная жизнь.

Провожали Ивана Савельевича с большим почетом, как и подобает провожать солдата, отдавшего армии, с служению Родине всю жизнь. Прибыл даже заместитель командующего округом, который на торжественном обеде в честь Ивана Савельевича сказал знаменательные слова. Он сказал, удивленно оглядывая присутствующих, что офицер отдает армии, и значит, Родине, не только свою жизнь, но и жизнь своей жены. То есть как бы две жизни. И предложил поднять бокалы за офицерских жен...

А после, нагнувшись к Ивану Савельевичу, тихо спросил:

— Я что-то не вижу твоей супруги. Почему ее нет?

Вот здесь Ивану Савельевичу сделалось и стыдно за жену, и одновременно он пожалел, что Маша не слышала таких проникновенных слов.

— Она больна, — солгал Иван Савельевич, ругая себя нещадно за эту вынужденную ложь.

— Надеюсь, ничего опасного?

— Ей уже лучше.

— Привет передавай. И скажи, что, когда буду в Ленинграде, обязательно зайду в гости.

Разумеется, Иван Савельевич ни словом не обмолвился жене, чтобы не вызывать ненужных распросов.

По правде сказать, он плохо представлял себе, как живет его семья без него, потому что редко бывал в Ленинграде. Прежде всего, разумеется, этому мешала служба, однако надо признаться, что и не любил Иван Савельевич поездки в Ленинград. Всякий раз, приезжая туда, он узнавал что-нибудь новое, и всякий же раз это новое не доставляло ему радости. Напротив, сплошные неприятности. То у сына, на которого Иван Савельевич возлагал особенные надежды, не ладилось с учебой — он бросил сначала университет, а потом и политехнический институт; то разводилась с мужем дочь Татьяна... Вот разве что Надежда, средняя дочь, не вызывала беспокойства. Зато с тещей своей Иван

Савельевич не мог прожить вместе и двух дней и, хотя никогда, даже в самых потаенных мыслях, даже во сне, не пожелал теще ничего худого, не говоря уже о смерти, он все-таки вздохнул свободно, когда она умерла. Во всяком случае, ничуть не огорчился. Впрочем, этому удивляться не приходится, ибо прожила теща очень долго: она скончалась в день своего рождения (помнится, Иван Савельевич как-то мимоходом еще подумал, что нужно же так суметь!) — ей исполнилось девяносто два года. До самой смерти она оставалась ж и з не способной и не нуждалась ни в чьей помощи...

То, что увидел Иван Савельевич дома, приехав в Ленинград насовсем, повергло его в глубокое уныние.

У них была большая четырехкомнатная квартира на Моховой. Когда-то эта квартира принадлежала родителям тещи, потом их потеснили — оставили две смежные комнаты, но со временем соседи выехали, и квартира снова стала отдельной, однако теперь она принадлежала Ивану Савельевичу, хотя теща этого не признавала. Впрочем, он и не оспаривал никогда этого, понимая, что для тещи это не просто жилплощадь, не просто крыша над головой, но живая память, история ее семьи. Более того, Иван Савельевич всегда толковывал детям своим, что они должны не только любить бабушку, а уважать. И уважать не только ее, но и пращуров по линии бабушки. Хотя бы потому, говорил он, что у них есть родословная, и этой родословной нужно гордиться. Стоит, наверное, заметить, что это было совсем не трудно для Ивана Савельевича, ибо во всяком случае тестя он сам действительно уважал. Вообще он считал, что заслуги человека перед обществом, его роль в жизни общества нельзя ставить в зависимость от взаимоотношений с кем бы то ни было в быту. Подлинная ценность человека определяется отнюдь не тем, как он прожил в понимании своих близких, насколько был хорош или плох для них, а тем, что сделал он реального для общества в целом. Так что, если рассматривать предков тещи по мужской линии, надо прямо признать, что они сделали много, будучи в трех поколениях солдатами. Оттого, возможно, стал солдатом (или почти солдатом) и тесть Ивана Савельевича.

Итак, ко времени, когда Иван Савельевич приехал домой после отставки, в квартире жили дочь Татьяна с дочкой Ириной и сын с женой. Впрочем, сын прак-

тически не жил здесь, и жена называла его «приходящим мужем». Иван Савельевич не сразу и понял, что означает — «приходящий муж», и тогда сноха объяснила, что он «связался с какой-то шлюхой и пропадает у нее». Татьяна же (она в конце концов развелась с мужем) совсем не занималась ни воспитанием Ирины, ни домашним хозяйством, тоже, отметил Иван Савельевич, была «приходящей матерью и хозяйкой», а в довершение всего не ладила с невесткой. Они постоянно ссорились, оскорбляли друг друга, невестка при этом впадала в истерики, не стесняясь тогда в выражениях, а после бродила тенью по квартире в невымыто грязном халате, на котором не было даже пуговиц, непричесанная, с обмотанной махровым полотенцем головой. Ирина водила домой толпы ребят, и никто, абсолютно никто, не обращал внимания на Ивана Савельевича, как будто его и не было вовсе, так что и питался Иван Савельевич кое-как, чаще — всухомятку, потому что не успел привыкнуть к общественным столовым. Разве что Татьяна заметила его приезд — ей пришлось съехаться с Ириной в одну комнату. Стоит добавить, что полы в квартире, похоже, не натерались вообще никогда, а ремонт не делали лет двадцать.

Первые дни Иван Савельевич молча наблюдал за этим безобразием, пытаясь понять, что же такое происходит, не вмешивался ни во что, но терпения его хватило ненадолго, и он решил собрать «семейный совет», воспользовавшись тем, что объявился сын. Между прочим, именно сын и высказался язвительно по поводу «семейного совета».

— Так отдадим Наполеону Москву или не отдадим? — развалясь в кресле, сказал он. — Кстати, отец... Ты как считаешь, Михайло Илларионович угощал участников совета в Филях или они советовались...

— Осторожно, ты, медведь! — сказала Татьяна. — Поломаешь кресло.

— Что кресло, — отмахнулся он, — когда решаются судьбы народов.

— Мне кажется, Виктор, — проговорил Иван Савельевич, стараясь сохранить спокойствие, — что всем нам сейчас не до шуток. — Он краем глаза ухватил, как поморщилась Татьяна, и это вызвало в нем раздражение. К тому же она не удосужилась даже подняться с дивана, так и лежала с книгой в руках. — Встань и положи книгу, — сказал он.



— Справедливое замечание,— прокомментировал сын.— Я всегда говорил, что моя сестренка плохо воспитана.

— Не хуже тебя,— ответила Татьяна.— Мне не хочется вставать, отец. Мне так удобнее.

— Зато мне так неудобно,— сказал Иван Савельевич.

— Пожалуйста,— пожимая плечами, проговорила Татьяна, показывая равнодушным своим видом, что она не подчиняется требованию отца, а лишь уступает ему.

От внимания Ивана Савельевича это не ускользнуло, однако он решил на этот раз промолчать, чтобы не сводить важный разговор к выяснению отношений.

— Первый вопрос к тебе, Виктор,— сказал он, поворачиваясь к сыну.

— Я внимательно тебя слушаю, отец. Записывать не надо?

— Не ерничай, а объясни мне...

— Извини, папа,— вмешалась Татьяна.— Ты не правильно употребляешь слово «ерничать». Оно означает...

— Вот сейчас сестренка процитирует Даля! — весело воскликнул сын.— Валяй, это интересно.

— Сейчас ты ответишь мне,— сказал Иван Савельевич,— что у тебя происходит с женой?

— Они существуют по принципу «кто кого»,— рассмеялась Татьяна.

— Не лезь,— оборвал ее брат.— Не твое дело.

— И мое! — возразила она.— Если ты не хочешь жить с этой мегерой, пусть она уходит отсюда и не портит наш семейный микроклимат. Сам болтаешься где-то, а она занимает две комнаты! Барыня отыскалась.

— Прогони ее, я не против. Даже спасибо скажу.

— Спать с ней будешь ты, а прогонять я?

— Спи ты, если хочется.

— Одну минутку!..— Иван Савельевич поднял руку.— Я вижу, что у вас тут идет настоящая война...

— Бой местного значения,— усмехнулся сын.

— Я просил не перебивать,— нахмурился Иван Савельевич.— Она тебе жена или не жена?

— Видишь ли, отец, все зависит от точки зрения.

— Как это прикажешь понимать?

— Формально, то есть с точки зрения гражданско-

го права, вроде бы жена. А фактически, как говорится, де факто, не жена.

— В таком случае,— спросил Иван Савельевич,— почему ты не оформляешь развод?

— В голову не приходило. Это ведь волокита какая! Надо куда-то идти, что-то писать, кому-то доказывать, что я не верблюд, а у меня для этого нет времени. Я закурю?..— И он посмотрел на Татьяну.

— А мне-то что, кури сколько влезет,— сказала она.

— Потерпишь,— сказал Иван Савельевич.— Здесь спит ребенок. И вот что, Виктор: сегодня же ты разберешься с женой. Это безнравственно — сохранять хотя бы и формальные отношения с женщиной, которую ты считаешь чужой. Подумал бы, как твой пример может повлиять на Ирину.

— Думать — это не его стихия,— усмехнулась Татьяна.— А разобраться с этой мегерой не так-то легко. Она требует, чтобы ей отдали одну комнату.

— С какой стати? — удивился искренне Иван Савельевич.

— По закону, отец,— сказал Виктор.— Ты просто в армии отстал от жизни. Ей положены какие-то меэры жилплощади, раз она считается моей женой и постоянно прописана.

— Вот именно, она считается твоей женой, а квартира между тем принадлежит нам с матерью,— сказал Иван Савельевич. Он никак не мог взять в толк, о чем ему говорят, но чувствовал, уже чувствовал, что попал в какой-то водоворот, в какой-то заколдованный круг, откуда будет трудно выбраться.

— Все, кто проживает в данной квартире и постоянно здесь прописан, имеют равное с остальными право на жилплощадь,— объяснил сын.— Это закон. А закон, как тебе известно, отец, сродни телеграфному столбу: обойти можно, но перепрыгнуть его... Увы!

— Иначе говоря, ты сделал из этой женщины хозяйку нашей с матерью квартиры, не сделав ее своей женой. Отсюда вытекает, насколько я понимаю ситуацию, что нам с матерью негде жить, а она скоро должна вернуться от Надежды...

— Тебе дадут квартиру,— невозмутимо ответил сын.— А мы тут как-нибудь разберемся.

— Но почему мне должны давать квартиру?

— Ты заслужил.

— Все, что я заслужил,— сказал Иван Савельевич назидательно,— я уже получил. Больше ничего мне не положено. Кроме пенсии.

— Ты все-таки полковник.

— Военское звание, даже самое высокое, не дает права получать больше, чем имеют другие.

— Не может быть, чтобы не было каких-то льгот,— с сомнением сказал сын.

— Да подожди ты! — перебила его Татьяна. — Хотела бы я знать, как ты собираешься разбираться со своей мегерой? Учти, братец, мне нужна двухкомнатная...

— Может, тебе нужен Зимний дворец? А не согласишься на Таврический?

— Ты привел эту дуру-бабу в дом, ты и разбирайся с ней. А я не намерена портить жизнь себе и ребенку из-за каждой...

— Ты сама не лучше!

— Прекратить! — крикнул Иван Савельевич. — Я не позволю, чтобы в моем доме... Я наведу порядок... — Он задыхался от гнева. — Это не дом, а черт знает что! Не хочу и не могу этого больше видеть. Сегодня же я уезжаю в Боровичи и убедительно прошу — прежде всего это касается тебя, Виктор, — чтобы к моему возвращению в доме был порядок и чтобы не было посторонних. У меня все. — Он встал и вышел из комнаты.

В Боровичах Иван Савельевич пробыл всего неделю. Возможно, он пробыл бы и дольше, однако и там, у Надежды, тоже было мало хорошего. То есть не было должного порядка. Все, в том числе и зять, были заняты новорожденным, как будто родился не просто ребенок, которому жить обыкновенной жизнью в обыкновенном же мире, а, по крайней мере, наследник престола. Нет, Иван Савельевич не против того, чтобы о детях заботились, чтобы их ласкали и даже иногда баловали — на то они и дети, однако необходимо соблюдать чувство меры, но о каком чувстве меры можно говорить, если за целую неделю жена не нашла времени поговорить с ним о делах, а когда он попытался начать такой разговор, она отмахнулась, сказав, что сейчас ей не до этого. Делайте, дескать, что хотите, ей безразлично, а она, пожалуй, поживет у Надежды, пока не подрастет внук...

С зятем, правда, поговорить удалось. Но зять не мог посоветовать ничего дельного. У него своя жизнь, свои заботы.

— Плюньте, Иван Савельевич, и оставайтесь у нас,— сказал зять.— Места хватит. Да и спокойнее здесь, чем в Ленинграде. А какая рыбалка, если бы вы только знали!..

Все это так, соглашался Иван Савельевич. И дом у зятя большой, оставшийся после родителей, с мансардой в две комнаты, с просторной верандой, с водяным отоплением, газом и водопроводом, и очень даже возможно, что Иван Савельевич согласился бы остаться в Боровичах (тем более жена только и мечтает об этом), но, во-первых, беспокоила его внучка, воспитанием которой Татьяна совершенно не занималась, предоставив девочку самой себе, а ей всего тринадцать лет, во-вторых, не хотел он жить у кого-то, хотя бы и у дочери. Не потому, что чувствовал бы себя иждивенцем, а потому, что не чувствовал бы себя хозяином, имеющим право первого голоса. Он не сомневался, что зять относился бы к нему с уважением, что никогда бы не дал понять, что он, Иван Савельевич, живет в его доме, однако существо дела от этого несколько не изменилось бы, а он был бы вынужден примириться с уже заведенными в доме порядками, которые его не устраивали.

— Спасибо тебе,— сказал он зятю.— Но я поеду в Ленинград. Ирина меня сильно беспокоит. Возраст у нее переломный, а Татьяна совсем ее забросила.

— Ирочка молодец,— похвалил внучку зять.— Она очень самостоятельная и трудолюбивая. За нее не нужно беспокоиться.

— Не знаю,— с сомнением возразил Иван Савельевич.— Мне показалось, что девочка слишком самостоятельная.

Жена, когда он собрался уезжать, только и спросила:

— Уже? Ну вот, опять нам не удалось поговорить.

В квартире, вернувшись в Ленинград, Иван Савельевич застал ремонт. Снохи не было. Оказалось, что все-таки согласилась на развод без претензий на жилплощадь и уже выписалась. Но при этом вытребовала у сына всю мебель, какая была в их комнатах, и автомашину — старенький «Москвич».

— Черт с ней, с мебелью, но зачем ты отдал машину? — возмущалась Татьяна.— Ну и дурак.

— Не машину, а полмашины. К тому же освободил тебя от общения с этой мегерой.

— Отдал бы деньгами.

— А где их взять — это раз...

— Занял бы.

Иван Савельевич не вмешивался в этот спор, он был вполне удовлетворен тем, что вышло так, как требовал он. Ни мебель, ни машина его не интересовали. Хотя если бы сын обратился к нему, он помог бы ему деньгами. Впрочем, сын и обратился, но деньги ему понадобились не для того, чтобы откупить свою часть автомашины.

— Эту женщину я выставил, — сказал он. — Цена, правда, высоковата за одну маленькую ошибку молодости, а бывшая моя супруга не стоит и ломаного гроша... Ладно, переживем. А у меня к тебе просьба, отец.

— Я тебя слушаю.

— Оглядываясь вокруг да около, я постепенно прихожу к выводу, что всему нашему многолюдному семейству здесь будет несколько тесновато...

— Ты что, не умеешь коротко и ясно выразить свою мысль?

— Могу, но... Объективно получается, что я здесь лишний. Смотри: ты с матерью, Татьяна с дочкой...

— В квартире можно разместить роту, — заметил Иван Савельевич.

— Она большая вообще, отец. А комнаты?.. Что это: смежные по двенадцать метров, у Татьяны семнадцать и пятнадцать...

— Тебе мало пятнадцати метров?

— А Ирина?

— А Ирина будет жить с нами, — сказал Иван Савельевич.

— Это ты так решил?

— Именно я так решил.

— Допустим. А если я надумаю сделать вторую попытку?

— Какую попытку? — не сразу понял Иван Савельевич.

— В смысле если я женюсь во второй раз?

— Так что ты хочешь от меня?

— Не можешь ли ты дать мне займы две тыщи? Завтра вернуть не обещаю, но в принципе верну обязательно.

— Зачем тебе две тысячи? — спросил Иван Савель-

евич, все еще не догадываясь, куда клонит сын. Все-таки он действительно был далек от обычной жизни.

— На первый взнос в кооператив. Я узнавал, это возможно. А если бы ты сходил...

— Нет,— резко сказал Иван Савельевич.

— Хорошо, хорошо, отец! Не надо никуда ходить, я сам все сделаю. А как насчет казначейских билетов?

— Деньги я тебе дам. Сколько нужно, столько и дам. Но учти, что я делаю это отнюдь не ради тебя, а ради Ирины. Ей действительно лучше быть от тебя подальше.

— Благодарю, отец. Я знал, что ты у нас, в общем-то, молоток.

— Что за жаргон, Виктор! — поморщился Иван Савельевич.— И учти, чтобы все было абсолютно законно. Я проверю.

— Даю слово, что все будет сделано в рамках соцзаконности и нашей высокой морали.

— А без своих глупых шуток ты все же обойтись не можешь?

— Винават, товарищ полковник! В ближайшее время исправлюсь.

Таким вот образом устроились квартирные дела (временно, как выяснилось, устроились), и Иван Савельевич взялся за дальнейшее воспитание внучки, полагая, что уж коль дети выросли и успели нарожать детей вне его поля зрения, то внучку-то он вырастит сам и даст ей должное воспитание. Слава богу, Татьяна не имела ничего против и даже как будто обрадовалась, что ее освободили от утомительных родительских обязанностей. Правда, внучка поначалу дичилась Ивана Савельевича, пытаясь по-прежнему вести независимый, излишне самостоятельный образ жизни, однако очень скоро они поладили, нашли общий язык, и этому, надо признать, в немалой степени способствовал совсем не девичий характер внучки. Глядя на нее, Иван Савельевич думал иногда, что лучше бы Ирине родиться мальчишкой. Ему нравилась ее настойчивость в достижении поставленной цели, хотя настойчивость в быту, граничащая с обыкновенным непослушанием, подчас сильно огорчала; нравилась и прямота, откровенность суждений, хотя опять же нередко прямота эта была не следствием твердых убеждений внучки, основанных на глубоком, всестороннем знании предмета, о котором она судила, а как раз наобо-

рот — следствием незнания, либо знания поверхностного... Впрочем, недостатки эти Иван Савельевич считал исправимыми, относил на дурное воспитание и оттого любой успех Ирины невольно приписывал себе, точнее говоря — своему методу воспитания, а вот всякий неуспех — дочери.

Но вообще-то у внучки было больше хорошего, чем худого, и это радовало, обнадеживало Ивана Савельевича. И еще он радовался тому, что внучка не слишком поздно попала к нему в руки, и ему как-то не приходило в голову, что Ирина такая именно потому, что мать дала ей большую свободу и не опекала ее по мелочам...

Ровно в семь утра Иван Савельевич садится к письменному столу. Садится с двойственным, странным чувством удовлетворения и неуверенности. Ему приятно сознавать, что занят он полезным, нужным делом, приятно располагаться за этим замечательным столом, который именно письменный, рабочий стол, сделанный руками настоящего мастера в расчете на то, что за ним будут трудиться, но и страшно приближаться к столу, потому что написать воспоминания оказалось гораздо труднее, чем просто вспомнить. К тому же Иван Савельевич и неопытен в этом деле, и не знает, что можно сегодня предавать гласности, а чего нельзя, для чего еще не наступило время.

Ну казалось бы: садись и записывай, что видел в жизни, что пережил, о чем думал, рассказывай честно, не прячься за спины других, о событиях, свидетелем и участником которых ты был, ведь жизнь Ивана Савельевича так богата разными событиями, в том числе и отнюдь не рядовыми, а вот не пишется, не рассказывается, хотя Иван Савельевич и не помышляет написать занимательно, как это умеют другие. Честно говоря, он не раз уже пожалел, что вообще согласился на это, однако отказаться теперь уже не может. Ибо, взявшись за какое-то дело, он всегда доводил его до конца. Иначе нельзя. На свете и без того слишком много начатых и незаконченных дел. Возможно, этим и объясняются некоторые недостатки нашей жизни. Вот где-то он вычитал или слышал очень мудрые слова: путник, однажды вышедший из дому, должен куда-то прийти. Предельно точно и коротко сказано о важном. Может быть, о самом важ-

ном, потому что не сделанное тобой так и останется несделанным...

Март на исходе. Ярко, совсем по-весеннему (летом солнце, как заметил Иван Савельевич, скорее жаркое, чем яркое) светит солнце, небо, словно освободившись от притяжения земли, поднялось высоко-высоко и сделалось голубым, чистым, точно весна помыла его, и кровь как бы энергичнее, быстрее совершает вечный свой круговорот, вызывая желание и острую потребность двигаться, идти куда-то, делать что-то и даже (тут Ивану Савельевичу делается немножко стыдно) смотреть на женщин, которые после долгой зимы, после слякотной погоды кажутся особенно привлекательными, милыми и нежными. Они сняли теплую зимнюю одежду, делавшую всех женщин — молодых и не очень, красивых и некрасивых — похожими друг на друга, и мир вдруг преобразился — стал теплее, уютнее...

Хочется жить.

Иван Савельевич никогда не считал себя человеком сентиментальным, чувствительным, однако с приходом весны он всегда испытывал душевный подъем, необъяснимый прилив энергии, у него как будто оттаивала душа, и, случалось, он неожиданно для себя останавливался посреди улицы, стоял и смотрел с умилением и наивной восторженностью, как весело резвятся на асфальте воробьи, радуясь первому теплу, как суетливо хлопочут скворцы, обустроивая свои дома, как лениво потягиваются на солнышке, не обращая внимания на близко снующих воробьев, разомлевшие кошки. Или вдруг тянулся рукой, чтобы потрогать набухающие липкие почки на молодых саженцах, в которых зрела, впитывая силу земли и солнца, новая жизнь. Или вовсе уж присаживался на скамейку возле парадной, когда там не было никого, и просто сидел, не думая ни о чем, но прислушиваясь к жизни, вглядываясь пристально в маленький кусочек окружающего его мира...

Великое это дело, весна. Она не просто пробуждает, не просто торопит людей и все живое, напоминая о быстротечности времени, о краткости нашего бытия, но понуждает к действию, заставляет жить.

Иван Савельевич, как было уже сказано, был чужд всякой мистики, иррациональности, он никогда не верил в приметы и предзнаменования — он был реалистом, твердо и уверенно стоял на земле, зная, чего хо-



чет, во имя чего живет и борется, зная и то, что всякому, даже самому странному, явлению есть разумное, логическое объяснение, однако и на него весна действовала каким-то именно странным, необъяснимым образом, вызывала из темных, потаенных глубин сознания ассоциации, которые неожиданно и причудливо связывали забытое прошлое с настоящим, и тогда какой-то незначительный факт из сегодняшней жизни вдруг высвечивал, оголял в памяти нечто такое, что, казалось бы, и без того должно быть постоянно с ним. А вот спроси, например, Ивана Савельевича зимой, когда и как он впервые встретился со своей будущей женой, он вряд ли сумел бы ответить. То есть он ответил бы, разумеется, что было это очень давно, когда он служил на Дальнем Востоке, а может, уже в Белоруссии, что она приехала на лето к своему отцу, который был полковым врачом, и это, пожалуй, и все, что он помнил, а вот подробности первой их встречи, хотя они очень важны, как-то забылись, отчего встреча эта со временем потеряла свою неожиданность и некоторую даже романтичность...

А встретились они весной. Это была чудная, на редкость теплая, солнечная весна. Еще более теплая и солнечная, чем нынешняя. Служил тогда Иван Савельевич все-таки в Белоруссии, его часть стояла недалеко от границы. Незадолго до встречи с будущей женой он прибыл сюда, вернувшись из Испании. Возможно, поэтому он держался подчеркнуто сурово.

Марии едва исполнилось девятнадцать. Она была по-юношески восторженной и доверчивой, от нее исходила, как бы излучалась в окружающее пространство, неумемная энергия молодости, здоровья и оптимизма, она смотрела в мир глазами человека, только начавшего открывать этот мир, который виделся ей понятным и ясным, несмотря на свою сложность и противоречивость, и потому Иван Савельевич принял ее как всего-навсего девочку, чуть ли не ребенка. Правда, очаровательного ребенка, который вызывал некоторое неудобство, некоторое стеснение, что ли, чего прежде он не испытывал. Сам он к двадцати восьми годам многое пережил, многое успел: боролся в Средней Азии с басмачами, воевал в Испании, был даже в плену у фалангистов, но бежал и благополучно вернулся на Родину. И еще Иван Савельевич был единственным в полку орденноносцем. Мария постоянно жи-

ла в Ленинграде с матерью, которая не выносила гарнизонной жизни, а скорее всего, не любила мужа.

Встретились они просто на улице, на территории военного городка. Он удивился, увидав незнакомую девушку в расположении части, хотел спросить, как она сюда попала, однако Мария опередила его.

— Вы и есть тот самый командир Иванов, который воевал в Испании? — спросила она непринужденно и рассмеялась почему-то. — Я сразу узнала по ордену, папа рассказывал про вас. Но вы несколько не похожи на строгого командира.

— Почему не похож? — глупо удивился он и вот тут впервые почувствовал какое-то стеснение, неуверенность.

— Потому что смутились, — сказала она. — И еще вы хотели спросить, кто я такая, верно?..

Но Иван Савельевич уже овладел собой и догадался, что она дочка военврача Якубовского, с которым они квартировали по соседству.

— Я знаю, кто вы, — сказал он.

— Ой не лукавьте, товарищ командир! Вам совсем не к лицу лукавство. Приходите вечером к нам на чай, хорошо? Мы с папой будем ждать. Про Испанию вы расскажете? — И, улыбнувшись, она упорхнула. Именно упорхнула, и это отметил сам Иван Савельевич. Возможно, потому он подумал так, что на ней было легкое, воздушное платье.

Мария влюбилась в него не за красоту или статность — никогда он не отличался ни красотой, ни живостью характера, ни веселостью нрава или красноречием. Напротив, был он, скорее, грубоват чертами лица, с характером замкнутым, тяжелым для окружающих: малоразговорчивый, постоянно озабочен делами по службе, чаще хмур, чем весел и улыбчив. А влюбилась Мария просто потому, что не могла не влюбиться. Она хотела любви, ждала ее и, еще не полюбив никого, как бы у же любила. Она создала в своем воображении образ героя, за которым, не оглядываясь и не мучаясь сомнениями, пошла бы хоть и на край света, ей оставалось лишь встретить живого, реального героя своих грез, человека, который бы соответствовал воображаемому ею образу. Впрочем, и не совсем ею. Или не только ею. Это было время кумиров, время рождения принципиально нового человека, когда превыше всего ценились энтузиазм, личное мужество, готовность к самопожертвованию, когда интеллигент-

ское происхождение и образованность чуть ли не предавались анафеме, а Иван Савельевич, тогда краском Иванов, — выходец «из низов», несколько грубоватый, лишенный всякого аристократического лоска, но мужественный и сильный человек, орденоседец (что само по себе в те годы высоко ценилось), был как бы воплощением всего возвышенного, героического, о чем могла мечтать впечатлительная Мария. Боевой командир, с лицом волевым, перечеркнутым шрамом — память о борьбе с басмачами, чуточку неуклюжий, неловкий на земле, преображающийся, когда гарцевал в седле, заметно стеснительный, как все сильные, уверенные в себе люди, — это ли не идеал для девушки, воспитанной матерью в обстановке ленивого благополучия, выросшей в окружении слабовольных, равнодушных, манерных поклонников материного артистического таланта, который, в чем Мария была всегда убеждена, начисто отсутствовал!.. Может быть, и даже наверняка, Ивану Савельевичу не хватало умения и ловкости держаться непринужденно в обществе, в особенности в обществе женщин, не хватало элементарной культуры, однако эти недостатки казались Марии даже милыми, симпатичными, потому что подчеркивали искренность, естественность его поведения. И оставляли ей возможность заняться всерьез именно культурным воспитанием мужа. А это так интересно, так возвышенно и прекрасно — воспитывать взрослого, сильного человека, которого боятся окружающие. К тому же Ивана Савельевича высоко ставил отец, а отца Мария обожала и считала самым умным, самым авторитетным для себя человеком, хотя росла в сущности без него. А может быть, именно поэтому, ибо к матери она относилась сдержанно, порицала ее постоянное брюзжание по поводу происходящего в мире и явную леность. Сама Мария в молодости кинула от активности и жажды деятельности. Правда, жажда эта была умозрительной, абстрактной, ибо ничего реально она не делала.

— Вот человек, перед которым я готов стать на колени, — с пафосом говорил отец об Иване Савельевиче.

Надо заметить, что сам он поначалу, когда свершилась революция, был немного растерян, не до конца поняв случившиеся перемены, но почувствовал (все же военный человек) твердую руку новой власти, уверенность ее представителей и защитников в своей

конечной правоте, в справедливости дела, которое они делали. Он быстро смирился с этими переменами и принял новый порядок. И не просто смирился и принял, но захотел служить этому порядку. Он хорошо знал историю и потому не мог не сознавать, что прежний уклад российской жизни так или иначе более существовать не может, ибо изжил себя, скомпрометировал, и что для оздоровления нации нужна принципиально новая система, создать которую способны только люди сильные, убежденные в своих идеалах. Иван Савельевич был именно таким человеком, плоть от плоти тех, кто бесстрашно и жертвенно бросил вызов угнетателям великого русского народа. Поэтому, пожалуй, Алексей Владимирович и не замечал, не хотел замечать тех недостатков, которые проявлялись в характере Ивана Савельевича уже тогда.

— Такие люди, дочка, творят Историю с большой буквы,— говорил он Марии. Себя он, естественно, к таким людям не причислял. Он считал себя только попутчиком и не стеснялся этого.— Они пишут страницы истории России своим потом, своей кровью, а это значит, что пишут навечно. Они возвысят Россию. Уже возвысили. Хотя многие из них отдали свои жизни, а многие еще отдадут.

— Папа, но он же совсем не интеллигентен,— лукаво возражала Мария.— Он мужик и увалень.

— То, что ты называешь интеллигентностью, неживное. И неглавное. Вообще, мне кажется, мы путаем интеллигентность с аристократизмом, приписываем несуществующие качества людям не потому, что они действительно умны, образованны, интеллигентны, а потому, что у них так называемое высокое происхождение. Это нелепо и в корне несправедливо. Я бы сказал, что это одна из основополагающих несправедливостей нашего прошлого. Да, Иванов не станет обливаться слезами жалости, глядя на неустроенный, ослабленный и изувеченный социальными болезнями мир. Он построит новый. Он не станет произносить трагические монологи в защиту обездоленных и несчастных. Он защитит их делом и, не задумываясь, принесет на жертвенный алтарь собственную жизнь. Но обрати, дочка, внимание: он не жертвенник по своей природе, нет! Он — боец и жизнелюб. Но свое благополучие ставит в зависимость от благополучия народа...

— Папа, папа,— сказала Мария, усмехаясь,— ты

впадаешь в патетику.— А самой было приятно, что отец говорит об этом.

— Приглядишься к этому человеку, и ты очень многое поймешь. Возможно, поймешь главное.

Она пригляделась и поняла, что влюбилась. Случись это чуть позднее, когда она стала бы опытнее, когда бы в ней проснулись женская стыдливость и достоинство, уравновесив импульсивность характера и некоторую экзальтацию, унаследованные от матери, и какую-то бесшабашную отчаянность — и ее любовь осталась бы с ней: Иван Савельевич хоть и обратил внимание на нее, хоть и чувствовал себя скованно в ее присутствии, однако ему и в голову прийти не могло, что эта юная красавица, живущая пока что без ясной цели, может стать его женой, подругой, товарищем на всю долгую жизнь. К тому же он был значительно старше ее и рядом с нею ощущал себя если и не стариком, то вполне зрелым, пожилым человеком, для которого такие юные создания, как дочь полкового врача Якубовского,— дети еще, строительный материал для создания собственно человека...

А весна была в разгаре. Она звала любить и быть любимым, звала действовать, но Иван Савельевич, поглощенный всецело заботами службы, не замечал ни весны, ни перемен, наметившихся уже в его душе. Все это он станет замечать и понимать гораздо позднее, в преклонном возрасте, когда появились время и возможность как бы вернуться в давнее и полузабытое прошлое, начать жизнь — мысленно, разумеется,— сызнова, прослеживая ее повороты и скачки шаг за шагом, шаг за шагом, словно бы подводя окончательные итоги или ревизуя сделанное.

Мария, не дождавшись его пробуждения и не надеясь на его смелость, однажды подошла к нему сама.

— Поверьте,— сказала она,— что я понимаю всю нелепость ситуации, и прошу вас не осуждать меня и не смеяться надо мною. Вы обещаете мне это?..— И так открыто, так честно посмотрела ему в глаза, что он смутился.

— Обещаю,— ответил он чуть ли не заикаясь, потому что ситуация действительно была странная.

— Я люблю вас,— сказала Мария и вспыхнула вся. Но тотчас овладела собой и добавила: — Если вы хотите этого, я могу стать вашей женой.

После, в редкие моменты подлинной близости, которая только и способна вызвать исповедальную иск-

ренность, ни Мария, ни Иван Савельевич не могли вспомнить, что ответил он тогда на ее предложение. Может быть, удивился?.. Во всяком случае, с ним произошло нечто необычное, нечто выходящее из ряда вон, ибо иначе она не стала бы его женой. Трудно предположить, что он отвесил поклон, приложил руку к груди и ответил на ее признание, что тоже любит. Это было бы не в его характере, и значит, с ним что-то случилось — он на какое-то время оказался выбитым из привычной колеи и потерял власть над событиями. Впрочем, тут нечему особенно удивляться, ибо никогда прежде Ивану Савельевичу не приходилось сталкиваться ни с чем подобным, он никому не признавался в любви сам и тем более не слышал признаний от женщин...

Строго говоря, садиться за такую большую и трудную работу, как написание воспоминаний, следовало не весной, а осенью. Тогда за долгую зиму работа сдвинулась бы с мертвой точки, на которой застрял Иван Савельевич, и теперь ничто не смогло бы ему помешать, отвлечь его внимание. Во всяком деле, тем более в незнакомом, за которое берешься впервые, очень важно втянуться в работу, почувствовать ее вкус, а отчасти и увидеть хоть какие-то результаты.

Неначатое легко бросить, сделанное бросать жалко.

Иван Савельевич взглянул в окно. Возле помойки кучились мальчишки, что-то горячо обсуждая. Наверняка изобретали очередную проказу. И снова Иван Савельевич подумал о Головине и наказал себе сегодня же переговорить с ним, пусть-ка займется мальчишками, организует их. Именно они, и именно весной, доставляют больше всего хлопот. С наступлением первого тепла они высыпают на улицу, как воробьи на оттаявший асфальт, и это было бы совсем не плохо, даже наоборот, — хорошо, когда дети проводят много времени на свежем воздухе в движении: они укрепляют свое здоровье и набираются сил для дальнейшего, так сказать, прощедения жизни, однако за ними необходим постоянный присмотр, иначе, предоставленные самим себе, они натворят такого, что потом не расхлебаешь до следующей весны. А вот присмотра как раз и нет, и они делают что хотят, что подскажет им их неумемная фантазия. Опять же хорошо, что ре-

бята обладают фантазией — это может сильно пригодиться в жизни, только фантазию эту нужно направить в полезное русло.

А между тем находятся взрослые люди, утверждающие, что неуправляемость, стихийность поведения детей обусловлены природой, что в этой стихийности есть своя логика и даже необходимость для нормального вызревания личности. Будто бы навязанные, внешние извне нормы поведения и морали не могут приобрести устойчивый характер, ибо в человеке изначально заложен дух противоречия, некая противоборствующая сила, и потому к устойчивым, осознанным представлениям о нормах поведения человек должен прийти самостоятельно. Утверждение более чем странное, в особенности если учесть, что Иван Савельевич слышал это на лекции, которую читал кандидат философских наук, то есть ученый-материалист. Ведь если продолжить эту абсурдную мысль, то можно уйти так далеко... Нет, что касается Ивана Савельевича, он никогда не согласится с подобным умозаключением, которое правильнее было бы назвать умозлоключением. Ибо только внушение — постоянное, каждодневное, — подкрепленное примерами из жизни и, разумеется, личным примером воспитателя, может воспитать настоящего человека, может помочь сделаться личностью, сознательно и безусловно воспринимающей требования, предъявляемые обществом своим членам. Все другие «теории» либо от недостатка ума и практического опыта, либо от нежелания заниматься трудной проблемой воспитания подрастающего поколения.

Да, проблема очень трудная, сложная. Ее не решить наскоком. А точнее, не решить никогда, потому что каждое следующее поколение в чем-то отличается от поколения предыдущего и прошлый опыт далеко не всегда оказывается пригодным. Это обстоятельство, надо признать, несколько смущает Ивана Савельевича. Оно как бы пробивает брешь в его рассуждениях, не согласуется с его убеждениями, как бы отстраняет за ненадобностью его богатый опыт и его знания. Но в таком случае, беспокойно думает он, сумеет ли Головин выполнить столь ответственную задачу? То есть сумеет ли Головин организовать мальчишек, направить их активность, их энергию на правильную дорожку, если даже он, Иван Савельевич, не уверен в своих силах? Сейчас его отношения с ребятами панибратские, свободные от каких бы то ни было обязанностей,

ведь между воспитателем и воспитуемыми всякое па-  
набратство исключается...

Надо посоветоваться с товарищами, решил Иван Са-  
вельевич. Как бы не наломать дров.

И еще Ивана Савельевича сильно тревожат осен-  
ние посадки — сорок тополей и двадцать шесть кустов  
душистой акации. Огромный труд вложен в эти по-  
садки. В том числе и его личный труд. Не так-то про-  
сто было достать саженцы, привезти их, а после орга-  
низовать людей. А вот вытоптать газоны, поломать,  
сгубить неокрепшие растения — никакого труда не со-  
ставляет. Соберется орава мальчишек, пробегутся раз-  
другой вокруг дома — и ничего не останется, как по-  
сле нашествия саранчи.

На одном из заседаний домового комитета Иван Са-  
вельевич поставил вопрос об ограждении колючей про-  
волокой молодых посадок, с ним многие согласились,  
поддержали его, но не согласился главный инженер  
жилконторы. Пришлось вступить с ним в спор, чего  
вообще-то Иван Савельевич старался избегать.

— Этого делать нельзя, — заявил главный инже-  
нер. — Представьте себе, товарищи, если кто-нибудь  
напорется на вашу колючую проволоку! Это подсуди-  
мое дело. Кто будет платить за травму?

— Одну минутку, — остановил его Иван Савелье-  
вич. — Зачем же ходить там, где ходить не положено?  
Для этого существуют дорожки.

— Мало ли что существует. А люди делают по-  
своему. Дети и пьяные не очень-то разбираются, где  
положено ходить, а где не положено.

— Странно вы рассуждаете. Давайте, в таком слу-  
чае, возьмем под свою опеку пьяниц, организуем для  
них...

— Режим наибольшего благоприятствования, — с  
трудом выговорила Мозгалева и, довольная собой, ог-  
ляделась по сторонам.

— Вот именно, — усмехнулся Иван Савельевич.

— Не надо придираться, товарищи, — сказал глав-  
ный инженер спокойно. — Поймите, что это не поло-  
жено. И отвечать за последствия придется администра-  
ции жилищной конторы, а не вам. Я не хочу идти под  
суд. И не хочу, чтобы чей-то ребенок остался калекой  
на всю жизнь. Вы попробуйте объяснить детям, что  
колючая проволока представляет опасность.

— У детей есть родители, — возразил Иван Савелье-  
вич. — Они и должны объяснить, что можно делать,



а чего делать нельзя. Есть, наконец, учителя, воспитатели, а вот у этих тополей...— Тут он показал на окно.— У них нет защитников, кроме нас с вами.

— Иван Савельевич, вы говорите удивительно правильные вещи,— вздохнул главный инженер.— И все-таки нам никто не позволит строить во дворе оборонительные сооружения и проволочные заграждения. Далеко не всякое средство оправдывает и самые благие намерения. И давайте закончим обсуждение этого вопроса, у меня нет времени.

— У всех нет времени,— заметил недовольно Иван Савельевич.— Здесь собрались не бездельники, как вам известно. А мне, товарищ Фетисов, не совсем ясна ваша позиция. Вы, кажется, служили в армии?..— Он сказал это просто так, чтобы подчеркнуть неясность, зыбкость позиции, занятой главным инженером, ибо прекрасно знал, что тот служил в армии, был майором.

— Позиция моя абсолютно ясная,— ответил главный инженер.— Никаких проволочных заграждений я не допущу. И в армии я служил, Иван Савельевич. Но двор не плац, а дети, прошу прощения за каламбур, не оловянные солдатики, которых можно расставлять как угодно.

— Странно, товарищ Фетисов. Очень странно вы рассуждаете. И потом эти ваши намеки насчет оловянных солдатиков...

— Да где вы их видели, оловянных-то солдатиков? — высказался кто-то с места.— Я тут внуку хотел купить, весь город обошел — нигде и в помине нету. Одна пластмасса. Их не то что где угодно, а вообще на ноги не поставить.

Реплика эта внесла какой-то веселый, шуточный настрой в разговор, все заулыбались, задвигались, стали обсуждать вовсе уж отвлеченные проблемы, главный инженер выскользнул из красного уголка, а Иван Савельевич вдруг подумал обескураженно, что примерно то же самое, что сказал главный инженер, часто, особенно в последнее время, говорила и жена, когда оправдывалась за свое неумение жить в строгом порядке или обвиняя его в непонимании людей.

Она удивительно быстро освоилась с новым для себя положением жены командира, сделалась активной общественницей, организовывала какие-то кружки,

курсы, участвовала в гарнизонной самодеятельности, сама окончила курсы медсестер, вообще первое время была удобной во всех отношениях командирской женой. Однако все круто изменилось, когда родилась Татьяна. Иван Савельевич стал замечать, что в доме нет порядка, и вместо прежней жены явилась как бы совсем другая женщина, растерянная и неорганизованная. Он молча смотрел на растрепанную жену, на разбросанные по квартире вещи, ее личные вещи, которые можно было встретить в самых неожиданных и неподходящих местах, и в нем нарастало раздражение, неудовольствие. Однако он сдерживал себя, не позволял раздражению выплеснуться наружу, хотя и страшно уставал от беспорядочной, бессистемной жизни, от этого хаотического быта. Растерянность жены он относил тогда на ее молодость, неопытность, не подозревая о том, что как раз прежнее ее состояние правильное было бы отнести на счет молодости, и поэтому легко согласился отпустить жену на время в Ленинград, к матери. (Кстати, рожать она ездила тоже домой.) Тем более обстановка на границе была напряженной, и Иван Савельевич, взвесив все, решил, что, возможно, так действительно будет лучше.

Подкрепляя свою просьбу, жена говорила, что в гарнизоне нет необходимых условий для грудного ребенка, нет даже педиатра, оттого и получается все как-то нескладно...

— Ну что ж, детям в отличие от взрослых необходимы минимальные удобства, ты права, — сказал Иван Савельевич. — Поезжай, поживи некоторое время в Ленинграде. Но помни, что ты не просто женщина, не просто мать, а жена командира Красной Армии и поэтому должна в любую минуту быть готовой ко всякого рода неожиданностям и невзгодам, а также должна служить примером для окружающих. Будь строже по отношению к себе, Мария, и это даст тебе моральное право требовать с других. Надеюсь, пребывание среди бойцов и командиров кое-чему тебя научило и это пойдет тебе на пользу.

По правде говоря, он не отпустил бы жену в Ленинград, если бы не тревожная обстановка на границе, вблизи которой располагался гарнизон, и если бы к тому времени не уволился в запас тесть. На него Иван Савельевич полагался почти как на себя и мог спокойно доверить ему жену и дочку. А вот на тещу он положиться не мог. Хотя и встречались они всего-

то два раза, но этого вполне хватило, чтобы понять, какая пропасть лежит между супругами. Тесть — четкий, подтянутый, во всем дисциплинированный человек, лишенный каких бы то ни было корыстных побуждений, владеющий собой, своими чувствами, страстями, умеющий подчинить свои желания необходимости, а теща... Да что там говорить! Более неорганизованной, более безалаберной и пустой женщины Иван Савельевич не встречал за всю свою жизнь. Нет, когда бы тесть не уволился, он ни за что не отпустил бы жену в Ленинград, к этой женщине, ставшей по какому-то недоразумению женой порядочного человека. Все ее интересы ограничивались рамками затхлого мирка, куда не проникал свежий ветер новой жизни, где нормальному человеку и дышать-то затруднительно, не то что жить. Честно говоря, Иван Савельевич удивился, как выдерживает подобное тесть, человек совсем иного склада.

В сущности, теща ведь тоже не жила — она витала, и даже ее внешний вид как нельзя более соответствовал этому витанию. Никогда Иван Савельевич не видел ее нормально одетой, причесанной, но всегда она бывала в халате, которого хватило бы на троих, столь необъятен был этот атласный халат, всегда с накрученными, но не прибранными волосами, с обязательной папироской во рту, которую она вынимала, кажется, только за едой. Теща без конца жаловалась то на головные боли, то на боли в пояснице, ворчала на мужа, что он, врач, не может вылечить ее мигрень и подагру (тесть как-то признался Ивану Савельевичу, что жена его абсолютно здорова), а сама часами напролет болтала по телефону со своими приятельницами о всякой чепухе, прикармливала бездомных кошек, отчего в комнатах стоял мерзкий сивушный запах, и соседи (милые люди, настоящие труженики) отворачивались, проходя мимо двери. А вот приготовить обед, заштопать носки, сменить в керосинке фитиль она не умела или не хотела. Типичная старорежимная дамочка, думал о ней Иван Савельевич, однако молчал, уважая ее старшинство и тестя. Вообще он был противником семейных раздоров и уж тем более открытой конфронтации.

Вскоре после отъезда жены пришла телеграмма с сообщением о смерти тестя — он скончался неожиданно от «разрыва сердца», и это, признаться, несколько не удивило Ивана Савельевича. Он выехал на похоро-

ны с твердым намерением забрать жену с дочкой к себе, и тотчас после похорон, буквально на следующий день, велел жене собираться.

Жена запротестовала, стала доказывать, что не может оставить мать одну в таком состоянии, что это было бы бесчеловечно с ее стороны...

— Всё, Мария,— строго сказал Иван Савельевич.— Твоя мать не нуждается в опеке.

Возможно, он и напрасно сказал это, однако теща, похоже, действительно не нуждалась в опеке. По крайней мере, никто бы не догадался, не зная этого, что накануне она похоронила мужа, ибо все осталось прежнему: и замызганный халат, и накрученные волосы, и папироска во рту.

— Ты несправедлив к маме,— возразила жена.— Просто она сильная, мужественная женщина и умеет скрывать свои чувства.

— И тем не менее, Мария, я не оставлю тебя здесь,— повторил Иван Савельевич.

Наверное, теща подслушивала у двери, потому что, войдя в комнату, сразу включилась в разговор.

— Я знаю, что вы недолюбливаете меня,— сказала она Ивану Савельевичу.— И все-таки прошу вас оказать уважение. Если не по отношению ко мне, то по отношению к памяти моего мужа и отца вашей жены. Оставьте Машеньку хотя бы на сорок дней. Вы атеист, я знаю, но ведь ваша вера не запрещает вам уважать традиции других, не так ли?..

Что ж, с этим Иван Савельевич готов был согласиться. И хотя очень уж ему не хотелось оставлять жену, он пошел на уступку, предупредив, однако, ее, чтобы после сорокового дня она выезжала немедленно.

— Хорошо,— сказала жена.— Если ничего не случится.

— А что может случиться? — настороженно спросил он.

— Мало ли,— вздохнула жена.

Он уехал к месту службы один, и это, может быть, была ошибка, которую никогда уже не удалось исправить. Разумеется, ни через сорок дней, ни через шестьдесят Мария не приехала. Сначала будто бы заболела мать, а потом и дочка. О болезни дочки жена прислала даже заверенную врачом телеграмму, так что формально для сомнений у Ивана Савельевича не было повода, хотя он и догадывался, чувствовал, что телеграм-

ма заверена просто знакомым врачом, кем-нибудь из друзей покойного тестя.

Именно живя с матерью (и тогда, и после) Мария окончательно потеряла себя, сделалась со временем нянькой, пожизненной прислугой сначала при Татьяне, а потом и при Надежде, и при Викторе. Когда они выросли, стали взрослыми, уже не Мария руководила их поступками, а они руководили ею. Впрочем, это выяснилось не скоро, спустя годы и годы, для этого потребовалось пережить войну и еще много чего, а тогда казалось, что, оставив жену в Ленинграде, Иван Савельевич как бы нечаянно, не думая об этом, поступил в итоге правильно: тесть скончался в марте, а в июне началась война...

И все же — теперь иногда укоряет себя Иван Савельевич — жизнь у них могла бы сложиться иначе, если бы он не уступил жене. Тем более семьи командиров их гарнизона удалось эвакуировать.

А теперь вот он один. И конечно же, неожиданное решение жены уехать к Надежде было принято не столько самой женой, сколько той же Надеждой. Ей опять понадобилась нянька, и она приказала — именно приказала — матери приехать. А жена только подчинилась. Да она и не могла не подчиниться — выполнять чужие желания давно стало для нее привычным, естественным делом. Разумеется, Надежду поддержали и Татьяна, и Виктор. В этом-то смысле сестры с братом всегда были заодно, всегда выступали единым фронтом, так что со стороны можно даже подумать, что между ними царят мир и согласие. Только это не более чем видимость. Иван Савельевич отлично знает, что в действительности все обстоит совсем иначе. Каждый из них живет сам по себе, все они выросли эгоистами, что вполне понятно, если принять во внимание условия, в которых они воспитывались, все думают сначала о себе, о своем благе, а после уже о других. Если вообще о других думают. Быть может, в меньшей степени это относится как раз к Надежде, она добрее Татьяны и Виктора, более совестливая и отзывчивая — этого у нее не отнимешь, а все же переманила мать, позабыв о ее возрасте и возрасте самого Ивана Савельевича, и тот факт, что они, то есть Надежда и ее муж, звали и зовут его тоже в Боровичи, по сути дела ничего не меняет. Ибо не исключено, что и зовут-то они потемку, что знают — он не согласится...

Тяжело думать об этом, обидно. Тем более тяжело

и обидно, что, присматриваясь к жизни, Иван Савельевич вынужден отметить, что эгоизм, себялюбие стали вообще явлением распространенным. Нет, нет, он вовсе не хочет обвинить всех подряд — это было бы несправедливо, однако нельзя и не признать, что равнодушные и пассивность по отношению ко всему, что не приносит личной выгоды, сделались обычными, по крайней мере, в общественной жизни. Простой пример: попробуй-ка созвать людей на воскресник! Каждый найдет тысячу и одну причину, чтобы не пойти. Все хотят жить с максимальными удобствами, красиво жить хотят, но приложить руки к созданию красоты желающих немного. Как будто явится вдруг некий дядя и сделает за людей то, что сделать они обязаны сами. В том-то и дело, с горечью думает Иван Савельевич, что никто не признает себя обязанным, все считают себя вправе только требовать.

Мысли эти отвлекают от работы, мешают сосредоточиться, внушают постоянную тревогу и беспокойство. А никуда не денешься от них, хотя Иван Савельевич и понимает, что надо бы отрешиться, пренебречь общественными заботами на два-три часа в день. Не получается. А кое-кто еще и обвиняет его в мелочности, вместо того чтобы самим проявить минимум заботы об интересах общественных и об элементарном порядке. А если разобраться, эти люди сами же и погрязли в обывательской грязи, в мелочности, в борьбе уже не за простое благополучие быта, что не подлежит осуждению, но за излишества и... первенство среди себе подобных. Потому-то они и недовольны активностью Ивана Савельевича, его гражданской принципиальностью. Нет, не ему мешают жить те же подростки, которые болтаются по улице, не зная, чем себя занять, а мешают людям, чьи интересы ограничены стенами собственной квартиры. В том числе и родителям, которые живут в страхе за сохранность своего древесностружечного полированного рая. В том-то и беда, что взрослые озабочены не будущим детей, до которого им как будто и дела нет, а строительством этого самого рая, не подозревая о том, что ни машина, ни сверкающая мебель и зеркальные полы не могут украсить жизнь. Ибо это всего лишь обман, подделка...

Или другой пример. Иван Савельевич пытался собрать осенью деньги на саженцы акации и на доставку саженцев (в этом, надо сказать, ему помогала вдо-

ва Мозгалева), однако собрать удалось всего-навсего — стыдно признаться — двадцать три рубля. Он заплатил свои деньги. Нет, ему не жалко денег. Ему горько за людей. У всех была одна отговорка: лишних денег в семье нет, еле-еле дотягивают от получки до получки и вообще озеленять двор они не обязаны... Может быть, и не обязаны. Но ведь и государство не в состоянии сделать все сразу. А что касается денег... Вот если в ближайшем универмаге «дают» какой-нибудь дефицит, эти самые якобы безденежные люди простаивают целыми днями в очереди и не жалеют никаких денег, чтобы купить лишнюю пару сапог, а то и вовсе ничемную — зато хрустальную! — вазу, неизвестно для чего предназначенную. Уж во всяком случае, вазы покупают не для цветов. Иван Савельевич бывал во многих квартирах, но цветов что-то не заметил.

Или прав сын?..

Однажды Иван Савельевич завел с ним разговор о жизни, об отношении к общественному, гражданскому долгу, однако сын не понял его, словно бы они разговаривали на разных языках. Выслушав, язвительно сказал:

— Все просто, отец.

— То есть?..

— Стар ты, вот и не замечаешь собственных недостатков, зато замечаешь недостатки у других.

Возможно. Старость действительно накладывает определенный отпечаток на человека, с этим Иван Савельевич спорить не станет, как не станет спорить и с тем, что собственные недостатки люди склонны не замечать или делать вид, что не замечают. Но ведь он ни в чем не изменился, и это тоже бесспорно. Он остался таким же, каким был всегда, всю жизнь, а это означает, что изменились другие люди...

Иван Савельевич поднялся из-за стола, подошел к окну и опустил штору. Так спокойнее и мысли не рассеиваются. Прозрачный желтый полумрак (Иван Савельевич любит желтый цвет, поэтому у него и шторы желтые, и обивка на диване) как бы отделяет от дворовой жизни, как бы умиротворяет, унося мысли в прошлое. В памяти живо и явственно возрождаются большие и малые события, участником которых был Иван Савельевич. Много и хорошо потрудился он на

своим веку, сил не жалел и жизни, и повсюду, куда забрасывала его беспокойная военная служба, оставлял о себе добрую память. Частично этапы жизни его запечатлены на фотографиях, которые хранятся в семейном альбоме, а также в документах и газетных вырезках, которые собирала жена. Ему-то некогда было заниматься этим.

Вспомнив про альбом, Иван Савельевич достал его из шкафа, положил на стол перед собой и открыл тяжелый переплет. На первом же листе он увидел себя совсем еще юным красноармейцем рядом с боевыми друзьями-товарищами, тоже молодыми. Все были в лихо сдвинутых набекрень буденовках и с шашками. Никого из этих товарищей давно нет в живых. Двое погибли во время Отечественной войны, третий умер несколько лет назад. Но когда, при каких обстоятельствах они сфотографировались?.. Скорее всего, решил Иван Савельевич, в Ташкенте, на базаре, когда они ехали на ликвидацию басмачества. Однако уверенности в этом не было, и он подумал, что странная все же штука — человеческая память. Ведь каждого из боевых друзей, запечатленных на снимке, он помнит по имени, о каждом многое мог бы рассказать, хотя с тех пор минули десятилетия, а вот когда именно они сфотографировались — вспомнить не может. А вспомнить обязательно хочется, как будто это имеет какое-то значение.

Впрочем, может, и имеет. Иногда самый незначительный факт или эпизод тянет за собой цепь других фактов и эпизодов, которые оказываются очень важными для осмысления прошлого вообще.

На кухне приглушенно играет радио. Иван Савельевич любит тишину и поэтому никогда не включает его на полную мощность. Но и совсем не выключает, убеждая себя в том, что оно ему необходимо, чтобы не чувствовать себя совсем уж одиноким и брошенным. На самом же деле он боится прозевать, прослушать случайно какое-нибудь важное сообщение...

Батальон, начальником штаба которого был в то время Иван Савельевич, получил приказ прикрывать отход частей дивизии.

— Продержитесь до двадцати трех ноль-ноль, — сказал при этом сам комдив, — и тоже отходите. Но продержитесь, чего бы это ни стоило!



И батальон продержался.

При отражении очередной и последней на этом рубеже атаки немцев погиб комбат, и Иван Савельевич принял командование батальоном. В двадцать три с минутами он приказал командиру взвода связи выяснить по радию, можно ли стходить (проводной связи не было), на что младший лейтенант ответил, что им запрещено работать на передачу. А поскольку новых приказов не поступало, Иван Савельевич распорядился начать отход.

В нескольких километрах от ранее занимаемых позиций батальон напоролся на немцев и с боем вынужден был отступить в лес. В этом бою погибли командир взвода связи и штабной радист. Батальон оказался в окружении. Выходили три недели, шли по лесам и болотам, уклоняясь от встречи с противником, — берегли боеприпасы для последнего боя, когда нужно будет прорываться через передний край.

Из окружения Иван Савельевич вывел сто двадцать человек. Все были с личным оружием, удалось сохранить и штабные документы. Правда, сам Иван Савельевич был тяжело ранен, и его переносили через передний край на самодельных носилках.

И вот тут, когда самое страшное, как казалось, осталось уже позади, выяснилось, что все-таки батальон не выполнил последний приказ командования, переданный ему по радию. А приказ этот гласил: держать оборону еще до рассвета, прикрывая шоссеиную дорогу на левом фланге батальона, где заняла позиции и противотанковая батарея. В результате эта батарея была смята немецкими танками, которые провались в ближние тылы дивизии...

Что произошло в действительности, как получилось, что этот последний приказ не был принят по радию, — так и осталось невыясненным. Иван Савельевич почти четыре месяца пролежал в госпитале, написал дюжину объяснений, в том числе и о том, как и когда погибли комбат и командир взвода связи, когда именно — до двадцати двух тридцати или позднее — он принял командование батальоном, видел ли сам убитого радиста... Он понимал, что все это необходимо для выяснения истины, ибо невыполнение приказа даже в мирное время является тягчайшим воинским преступлением, хотя и не чувствовал за собой никакой вины. А впрочем, вина была: приказ был передан, когда он уже вступил в командование батальо-

ном и, значит, должен отвечать по всей строгости за действия своих подчиненных...

И он ответил, даже не допуская мысли о том, что поступают с ним слишком жестоко, несправедливо.

Ивана Савельевича понизили в звании и направили в запасной полк, где он «проболтался» еще около месяца, пока не получил назначение.

С тех пор он всю жизнь боялся прослушать какое-нибудь важное сообщение по радио, поэтому никогда не выключал его.

А воевал он хорошо, получил три ордена и закончил войну в звании майора на должности начальника штаба стрелкового полка.

О своей семье Иван Савельевич не знал ничего до самого конца войны. Оказалось, все они эвакуировались из Ленинграда и жили на Урале, где он и разыскал их...

Вдруг он услышал до боли, до слез знакомый мотив «Каховки». Он закрыл глаза и так сидел, раскачиваясь в такт песне, и губы его сами собою шевелились, повторяя с небольшим опозданием слова. Запаздывал он не потому, что не знал текста, но потому, что ему хотелось петь так же хорошо и правильно, как поет артист. А голос у артиста был молодой, сильный, и Иван Савельевич, чувствуя какое-то неприятное, тяжелое давление в груди, старался не замечать этого, отдаваясь настроению, вызванному песней. На короткое время он забыл обо всем на свете — о больших и малых заботах, которые поглощали все его силы, о семье, которая у него вроде и есть, а в то же время как бы и нет ее, — и казалось ему, будто стоит он в общем строю товарищей-сратников, ушедших из жизни и продолжающих жить, с которыми защищал Родину, с которыми прошел всю большую войну, утвердившую ценой миллионов жизней и его право называться не просто солдатом, но солдатом-освободителем, стоит рядом с такими же, как он сам, ветеранами, и слезы текут, текут по его щекам, а он совсем не стыдится этих слез, хотя никогда в жизни, сколько помнит себя, не плакал...

«Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались...»

Все, все помнит Иван Савельевич. Помнит до мельчайших подробностей. Да и как забыть, как выкинуть из головы, если это — вся твоя жизнь, отдан-

ная от начала и до конца, который близок уже, служению своей Родине, своему народу. И неплохо служил, если его помнили и знали в родном городе Мазаеве. По правде говоря, он был приятно удивлен и растроган тем, что там его знают. Местные школьники собрали о нем много интересных материалов, которые бережно хранились в краеведческом музее. Значит, не напрасно он жил, боролся, страдал, терпел и ненавидел...

Может быть, вдруг подумал Иван Савельевич, встрепенувшись в кресле, в котором чуток вздремнул под еле слышную музыку, может быть, есть смысл начать воспоминания с поездки в город Мазаев, с той поездки, когда ему вручили символический ключ от Мазаева, как почетному гражданину города?..

На вокзале его встречала большая делегация земляков во главе с председателем исполкома. Тут же, на перроне, ему и вручили символический ключ. Поезд, с которым Иван Васильевич приехал, стоял в Мазаеве всего пять минут, однако пассажиры высыпали из вагонов, толпились вокруг, привлеченные такой торжественной встречей, и это тоже было приятно, тем более были здесь и те, с кем Иван Савельевич играл в вагоне в преферанс. Потом его возили по городу, показывали новые жилые кварталы, новый же Дворец культуры, который произвел на Ивана Савельевича очень сильное впечатление своей огромностью и красотой, прекрасную больницу, школу, детский комбинат... Председатель райсовета рассказывал с гордостью, что им удалось добиться разрешения строить в городе только здания по индивидуальным проектам, чтобы не нарушать сложившийся архитектурный ансамбль, ибо город Мазаев — это один из старейших городов, имеющий большое историческое и культурное значение... Иван Савельевич плохо разбирался в этих тонкостях, — на его-то взгляд, лучше бы строить побольше, хотя бы и панельных, домов, однако радовался и гордился вместе с председателем райсовета.

В тот же день он выступал на общегородском слете пионеров. Там ему повязали пионерский галстук, как почетному члену пионерской дружины имени В. И. Чапаева, и это особенно растрогало Ивана Савельевича, потому что пионером ему быть не пришлось.

Может быть, начать тогда воспоминания с этой встечи?..

Получился бы очень естественно и поучительно. Мальчишкой он уехал из родного города (точнее сказать, убежал от тирании мачехи и пьяницы отца), беспризорничал, воспитывался в детском доме, побывал и на севере, а вернулся теперь уважаемым человеком, прошедшим большой, славный путь, вернулся не просто на круги своя, к могилам предков, чтобы тоже умереть здесь, но в новую жизнь, в новую и замечательную, за которую и боролся.

С трепетом Иван Савельевич взял ручку и решительно написал: «Два года назад я был приглашен посетить город Мазаев, где родился 7 сентября 1910 года...»

Написал и задумался, вспоминая, точно ли это было два года назад. Всякая неточность, хотя бы она и не имела принципиального значения, была противна Ивану Савельевичу, ибо — по сути своей — была маленькой ложью, а там, где появилась пусть самая крохотная ложь, неминуемо появится и другая. Простил себе одну слабость — простишь и другую. Это закон жизни.

Он принялся искать в папке с документами вырезку из районной газеты, в которой было напечатано интервью с ним и его фотография.

«...Наш корреспондент встретился с Иваном Савельевичем Ивановым и взял у него интервью.

**ВОПРОС.** Что вы испытали, приехав в родной город в качестве почетного гражданина?

**ОТВЕТ.** Чувство огромной благодарности за оказанную честь и гордость за своих земляков, строящих со всем нашим народом, со всей нашей многонациональной страной коммунизм.

**ВОПРОС.** Вы встретились со своими старыми знакомыми, друзьями детства?

**ОТВЕТ.** Знаете, встретил одного своего товарища! Прямо удивительно, ведь прошло так много лет. По сути прошла целая жизнь. Это — Федор Никифорович Пантелеев. Сейчас он тоже на пенсии. А когда-то, очень давно, мы вместе с ним гоняли голубей и... лазали за яблоками. Федор Никифорович замечательный человек, всю жизнь он трудился, вырастил шестерых детей...

**ВОПРОС.** Федор Никифорович тоже ветеран войны, кавалер двух солдатских орденов Славы, награжденный также и медалью «За трудовую доблесть». Вам, наверное, было о чем вспомнить, поговорить?

ОТВЕТ. Старым людям вообще есть о чем вспоминать и разговаривать. А мы ведь не виделись больше полувека!

ВОПРОС. Раз уж речь зашла о воспоминаниях, не могли бы вы вспомнить свой самый счастливый и самый трудный день в жизни?

ОТВЕТ. Я думаю так: самый трудный день позади, о нем, пожалуй, не стоит вспоминать. А самый счастливый, надеюсь, еще впереди...»

Здесь Иван Савельевич чуточку покривил душой, не рассказав о своем самом трудном дне. Это было, когда он вывел из окружения батальон и узнал, что, не выполнив приказа, стступил. Главное — этот день мог бы и должен был бы стать для него самым счастливым днем, а вот — не стал...

«ВОПРОС. А если все же попытаться выбрать из прожитых самый счастливый день?

ОТВЕТ. Девятое мая сорск пятого года...»

Нет, Иван Савельевич никогда не жаловался на судьбу, не считал себя обиженным. Что там! Он готов был служить хотя бы и рядовым, лишь бы служить, лишь бы иметь право называться солдатом. Он понимал, что командиром может быть только тот, кто остается им в любом положении, при любых обстоятельствах, для кого нет различия между службой и так называемой личной жизнью. В конце концов, у солдата есть одно неоспоримое право — право умереть за Родину, за свободу и счастье своего народа. И даже не умереть, а погибнуть.

Ибо солдаты не умирают.

Перечитав интервью, Иван Савельевич подумал, что именно здесь, в этом интервью, ключ к его прошлому, хотя само по себе интервью показалось ему теперь наизыным и каким-то даже нескладным. А может, в нем ключ и к будущему тоже, потому что день вчерашний неразрывно связан с днем завтрашним. Жизнь нельзя разделить на прошлое, настоящее и будущее, вся жизнь — одно целое, и пока человек жив, он не должен предаваться воспоминаниям. То есть не должен позволять себе жить только прошлым, иначе окажется, что и самый счастливый день уже позади.

А если так, стоит ли и нужно ли тогда жить дальше?..

Мысль эта показалась глубокой, интересной, и за-

хотелось тотчас, немедленно поделиться ею с кем-нибудь. Иван Савельевич подумал, что надо написать жене. Несмотря ни на что, она поймет его. А пожалуй, она понимала его всегда, только не хотела из пустого упрямства признаваться в этом, превратно объясняя для себя чувство человеческого достоинства. Она путала достоинство с упрямством, стремясь к личной независимости в отношениях с ним, не подозревая о том, что подлинная независимость бывает лишь тогда, когда человек сознательно признает превыше всего долг и умеет побороть свое честолюбие, а также признавать собственные ошибки.

Можно сказать и так: независимость — это есть осознание своей зависимости и своего долга перед обществом и окружающими...

И тут Иван Савельевич услышал звон разбиваемого стекла. Он поморщился, досадуя, что помешали довести мысль до логического конца, встал и раздвинул шторы на окне. Однако не увидел ничего, зато до слуха его донеслись голоса, он даже узнал басовитый голос дворничихи, и догадался, что стекло разбили в его парадной. Он накинул на плечи пальто и вышел из квартиры.

Возле парадной, как он и предполагал, дворничиха держала за воротник мальчишку лет десяти — двенадцати. У помойки толпились другие мальчишки. Под ногами хрустели осколки стекла, выбитого в парадной двери. Тут же валялась шайба, а у мальчишки в руках была клюшка.

— Ага, вот уж Иван Савельевич покажет тебе, бандиту, где раки зимуют! — сказала дворничиха, увидав Ивана Савельевича.

Он молча нагнулся, поднял шайбу и положил в карман.

— Это ты разбил стекло? — спросил он у мальчишки.

— Не я, — ответил тот, насупившись.

— Тогда кто же?

— А почему я знаю? Я не видел...

— Допустим, стекло разбил действительно не ты, — стараясь держаться как можно спокойнее, с должным достоинством, проговорил Иван Савельевич. — Однако у тебя в руках клюшка, стекло разбили шайбой, следовательно, ты играл вместе с другими мальчишками. А это означает, что ты не мог не видеть, кто именно разбил стекло.

— Да что там толковать, они разбили, и все тут! — сказала дворничиха и сильно дернула мальчишку за воротник. — Одна шпана.

— Не дергайте, больно же, — сказал мальчишка и поморщился.

— Ишь, больно ему!..

— Минуточку, — остановил ее Иван Савельевич и обратился снова к мальчишке: — Ты сознаешь, что бить стекла — нехорошо? Кто-то изготовлял стекло, кто-то вставлял, в конце концов, оно стоит денег, на него затрачен труд...

— Ну... — произнес мальчишка и удивленно посмотрел на Ивана Савельевича.

— Что значит «ну»?

— Ну, понимаю.

— Вот и прекрасно, что понимаешь. Выходит, ты вполне разумный человек и способен рассуждать здраво. Кто все-таки разбил это стекло?

— Не знаю, — повторил мальчишка, снова насупившись.

— Вы только поглядите-ка на него! — возмущенно сказала дворничиха. — Врет пожилому человеку и не краснеет! Я же говорю, что все они заодно, хулиганье проклятое. В колонию их надо загнать, а то житья никакого от них нету.

— Саму тебя надо в колонию, — огрызнулся мальчишка и показал дворничихе язык.

— Да ты еще...

— Подождите вы, — недовольно сказал Иван Савельевич, — я же просил вас. А ты веди себя прилично. — Он пристально посмотрел на мальчишку, и тот спустил глаза. — Что же у нас с тобой получается? А получается, что ты не хочешь говорить правду. Вам не объясняли в школе, что честность и правдивость определяют достоинство человеческой личности?

— Чего-о? — переспросил мальчишка с интересом.

— Обманывая меня, ты тем самым обманываешь себя. Хуже того, обкрадываешь, ибо теряешь свое достоинство и уважение окружающих. А ведь твоя жизнь только еще начинается...

— Я не обманываю, я правда не видел.

— В таком случае неправду говорит Нина Афанасьевна.

— Еще чего не хватало! — возмутилась дворничиха. — Всякий шкет будет врать, а я, выходит...

Иван Савельевич не дослушал ее.

— Ты где живешь,— спросил он мальчишку,— и как твоя фамилия?

— Да в тридцать шестой они живут, Николаевы их фамилия,— подсказала дворничиха.

— Твои родители сейчас дома или на работе?

— На работе,— буркнул мальчишка.

— Опять же врёт! Мать у него совсем не работает, недавно из магазина пришла, я сама видела,— затараторила дворничиха.— А отец у него «дальнобойщик», вчера из рейса вернулся, значит, дома, потому что...

— Какой еще «дальнобойщик»? — удивился Иван Савельевич.

— Шофером работает на дальних рейсах.

— Понятно. А ты все-таки врешь, оказывается? — Иван Савельевич наклонился к мальчишке.— И кто же научил тебя обманывать взрослых? Кстати, ты почему не в школе?..

— Я во вторую смену.

— Ты пионер?

— Ну...

— Тебя, что же, в пионерской организации учат обманывать? Вот я тоже, кстати, почетный пионер...

— Кто их там учит,— вмешалась дворничиха.— Они сами кого хошь научат. Хулиганье, оно и есть хулиганье. Третьего дня, слышали?.. Мужчину возле торгового центра избili чуть не до смерти такие вот, как он. Сначала окна бьют в парадных, а после...— Тут она взмахнула рукой, которой держала мальчишку, он чуть оттолкнул Ивана Савельевича и бросился бегом к помойке, к товарищам.

Дворничиха рванулась было за ним, однако Иван Савельевич остановил ее.

— Не надо бегать,— сказал он.

— Я бы их всех! — она погрозила ребятам метлой.

— Кстати, вы бы выбирали выражения, когда разговариваете с детьми, Нина Афанасьевна, а то воспитываем, воспитываем и сами же показываем дурной пример.

— Шпана это,— решительно заявила дворничиха, поморщившись презрительно.— И нечего с ними цацкаться.

— Они не шпана и не хулиганы,— возразил Иван Савельевич.— Ими просто никто всерьез не занимается.— Он укоризненно и вместе с тем с сожалением взглянул на мальчишек, которые обсуждали что-то



горячо возле помойки, вздохнул и направился в тридцать шестую квартиру.

Ему открыла женщина, и он сразу узнал ее: недели две назад она приходила в домовый комитет, жаловалась на мужа, который будто бы сильно пьет и терроризирует ее и ребенка. Вдове Мозгалевой поручили разобраться, но пока она не представила отчет. Теперь вот Иван Савельевич подумал как-то мимоходом, что как же этот Николаев сильно пьет, если работает шофером, да к тому же на дальних рейсах?.. Одно из двух: либо жена его преувеличивает, либо надо немедленно сообщить по месту работы. Придется поторопить Мозгалеву, как бы не вышло чего худого...

— Здравствуйте,— поздоровался Иван Савельевич.

— Здравствуйте...— неуверенно ответила хозяйка.

— Извините за беспокойство, я насчет вашего сына.

— А что случилось?! — Она не испугалась, обратил внимание Иван Савельевич, а насторожилась.

— Бы не волнуйтесь, ничего особенного не случилось, просто я хотел бы поговорить и выяснить...

В прихожую вышел мужчина. Был он в майке, в тренировочных штанах, обвисших на коленках, и лицо было заспанное. Похоже, проснулся от голосов. Или от звонка.

— В чем дело, Мария? — спросил он.

Иван Савельевич отметил, что хозяйку зовут так же, как и его жену. Это совпадение показалось ему любопытным, и он почувствовал расположение к ней, потому что ему нравилось имя жены.

— Насчет Борьки,— сказала женщина.

— Кто-то разбил в парадной стекло, Нина Афанасьевна утверждает, что ваш сын играл вместе с ребятами...

— А пошла она куда подальше, эта ваша Нина Афанасьевна! — зло выкрикнула хозяйка.— Сплетни разводит по дому, а лестница никогда не убирается...

Да, свои обязанности дворничиха выполняет действительно из рук вон, подумал Иван Савельевич. Нужно поставить вопрос перед администрацией.

— Не тарахти,— одернул мужчина жену.— Борька, что ли, разбил стекло?

— Этого я пока не знаю. Но совершенно очевидно, что он был среди ребят, они играли в шайбу, следовательно, он должен знать, кто именно разбил.

— А где он сам?

— Убежал.

— И правильно сделал! — сказала хозяйка.

— Не таракти! — повторил мужчина. — Иди обед готовь, мне скоро уходить. Мы разберемся без тебя. — Он взял ее за плечи, развернул и подтолкнул в кухню.

— Я понимаю, что существует мальчишеская солидарность, — продолжал Иван Савельевич, думая при этом, что в семье Николаевых, кажется, отношения действительно далеко не нормальные. — Но дело в том, что в компании есть довольно взрослые ребята, а ваш сын...

— Все ясно, — сказал мужчина. — Я поговорю с Борькой. Он скажет мне правду. Если разбил он, заплатим, какие разговоры.

И тут в прихожую выбежала его жена.

— Не дам ребенка бить, не дам! — закричала она. — Пусть сами ищут виноватых, для этого милиция есть! Чуть что, сразу Борьку тянут...

— Исчезни, сказано! — повернулся мужчина к ней.

— Извините, я пойду, — пробормотал Иван Савельевич. Пожалуй, он был уже и не рад, что зашел сюда. — Кстати, — все-таки спросил он, — вы не могли бы завтра принять участие в субботнике? Двор нужно привести в порядок.

— Я бы с удовольствием, — сказал мужчина и развел руками. — Но сегодня уезжаю на охоту. Завтра открытие, не могу пропустить...

— А вы? — обратился Иван Савельевич к хозяйке.

— У меня и без ваших субботников делов по горло. Пенсионерам нечего делать, вот пусть и наводят порядок.

— Извините.

Иван Савельевич спустился вниз, минуя свою квартиру. Дворничихи не было, а осколки стекла так и валялись под ногами. Мальчишки, когда он появился, бросили гонять шайбу, столпились и стали что-то кричать. Должно быть, что-то оскорбительное. Однако Иван Савельевич не обращал на них внимания. Он привык к тому, что мальчишки недолголюбивают и, пожалуй, немного побаиваются его. Он прощает их, на то они и дети. Но ведь недолголюбивают его и многие взрослые, а это совсем непонятно и даже обидно. Иногда появляется желание объяснить людям, как ошибаются они в своей к нему неприязни. Старается он не деля себя, для них же. Ему лично ничего не нужно, он свое прожил и получил все, что заслужил. А мо-

жет, и больше, чем заслужил. В сущности неприязнь взрослых людей действительно требовала объяснений... А с другой стороны, что же тут объясняться, если это прямой результат невоспитанности, отсталости и равнодушия. То есть именно тот случай, когда надо не объяснять, а воспитывать. Хотя бы и взрослых. Заблуждается тот, кто считает, будто бы нравственный рост человека, его гражданское возмужание происходит сами собою, без вмешательства извне, без трудностей и борьбы. Это упрощенный, наивный подход к жизни и ее противоречиям. Само по себе ничто не происходит — ни хорошее, ни дурное. Всякое видимое явление, сколь бы простым оно ни казалось, есть следствие строго определенных причин и сложнейших взаимосвязей. Взять тех же мальчишек, которые опять играют в шайбу. Было бы непростительной ошибкой сделать допущение (только допущение), что их распушенность, неуважительное отношение к старшим как бы беспричинны и явились на свет вместе с ними. Вовсе нет.

Причины есть, их надо искать в низком нравственном, моральном уровне родителей. И здесь возникает проблема, перед которой Иван Савельевич пасует: вмешательство посторонних в личную, внутрисемейную жизнь людей ограничено рамками той же морали, хотя иногда такое вмешательство крайне необходимо. Было время, когда не считалось неэтичным, некорректным строго спрашивать за поведение в семье, и это, по мнению Ивана Савельевича, никому не мешало жить. А если кому-то и мешало, так именно людям низких моральных качеств. То есть тем, кого и нужно постоянно воспитывать и направлять.

И тут он увидел Головина. А увидав, обрадовался даже, подумав, что тотчас, не откладывая, и поговорит с ним насчет мальчишек.

— Я вас категорически приветствую! — сказал Головин, протягивая сильную руку.

— День добрый, Владимир Федорович.

— А я к вам собрался зайти...

— Милости прошу, — сказал Иван Савельевич. Впрочем, в дом-то приглашать Головина не особенно хотелось.

— Да нет, раз встретились, здесь и поговорим.

— Слушаю вас.

— Вот уезжать я собрался, — сказал Головин. —

Поеду обратно на север. Надоело все к чертовой матери. Вы бывали на севере?

— Нет, не пришлось.

— Много потеряли! А то махнем со мной, а?.. Что вам здесь, морока одна. И климат гнилой.

— Староват я, знаете.

— Бросьте, мы с вами еще поживем! А кто это стекло высадил?

— Вот.— Иван Савельевич показал на мальчишек.

— Ну и сорванцы, честное слово. С другой стороны, играть-то им негде, Иван Савельевич. Все распланировали, засеяли-засадили, а про мальчишек вроде и забыли.

— Есть стадионы, спортивные площадки...

— Это — где-то у черта на куличках. А надо здесь, в своем дворе. Ладно, я вот что хотел спросить. Вы не возьмете моего Ипполита? Хотя бы на время, пока я там устроюсь? А лучше насовсем, а то он боится холода. Не хочу оставлять дочери, она ненавидит зверей. Животных — другое дело! — Он рассмеялся.— Да вы не бойтесь, он умница и ласковый, с ним никаких забот. В уборную в унитаз ходит...

— Вы меня ошарашили прямо...— прсбормотал Иван Савельевич.— Я не знаю...

— Давайте так договоримся: я пришлю Ипполита, пусть поживет дня три-четыре, а вы решите и скажете мне. Хорошо? Кстати, вы не знаете, когда с учета можно сняться?..

— По-моему, Георгий Павлович сейчас на месте,— ответил Иван Савельевич, имея в виду секретаря партбюро.

— Тогда я пошел, а Ипполита пришлю позднее.

Как ни странно, но Головин не нарушил ход рассуждений Ивана Савельевича. Вернувшись домой, он продолжал думать о современных нравах. В последнее время он вообще что-то часто думал об этом, и всегда мысли его, чем бы ни были они вызваны, возвращались к собственной семье. Он часто спорил с женой именно из-за воспитания детей, ибо, по мнению Ивана Савельевича, жена слишком уж баловала их. Раньше — своих, а теперь вот — внуков. Безусловно, дети нуждаются и во внимании, то есть нуждаются в нем более, чем взрослые, и в ласке, но всему существуют разумные пределы, ограничения, и эти ограниче-

ния прежде всего относятся как раз к воспитанию, потому что воспитание — не просто выращивание человека, умеющего свободно держаться в обществе и знакомого с элементарными требованиями социальной среды, предъявляемыми к отдельно взятой личности, но подготовка человека к разумной, активной деятельности на благо всего общества. Мать обязана постоянно помнить и думать о том, что наступит время, когда ее ребенок, став взрослым, будет отвечать за себя и за свои поступки, что жизнь потребует от него не столько умения правильно сидеть за обеденным столом, сколько умения — и мужества! — принимать самостоятельно решения и выполнять их, умения противостоять соблазнам и собственным слабостям, не бросаться в крайности и не пасовать перед трудностями, а преодолевать эти трудности. Однако качества эти не даруются людям от рождения вместе с жизнью, они приобретаются в процессе жизни вместе с опытом и знаниями и во многом, очень во многом зависят от воспитания.

Татьяна не получила должного воспитания, не усвоила должных уроков в раннем детстве и в результате выросла эгоисткой, какой-то несобранной, в чем похожа на бабушку, и нисколько не стыдится этого. Справедливости ради надо сказать, что недалеко от Татьяны ушли и Надежда, и Виктор (Виктор в особенности), но если по отношению к сыну и старшей дочери Иван Савельевич мог быть достаточно требовательным, строгим, а когда необходимо — и жестким, то с Надеждой все сложнее... С нею он всегда по возможности был сдержан и мягок, чтобы только не обидеть ее, не оскорбить хотя бы намеком. А дело в том, что Надежда была не его дочерью. То есть юридически он ее отец, даже в свидетельстве о рождении это записано, но фактически это не так. Когда Иван Савельевич вскоре после окончания войны разыскал семью на Урале, жена была беременна, и хорошо еще, что этого не замечали ни окружающие, ни знакомые, ни тем более дочка. Поэтому тайна сохранилась, и никто, кроме Ивана Савельевича и, разумеется, жены, не подозревает об этом. Знала еще и теща, но ее давно нет. Объяснила свою беременность жена очень просто: будто бы она получила извещение (которое затерялось где-то) о том, что Иван Савельевич пропал без вести, писем от него действительно не было, зато жизнь была трудной и голодной, и когда за ней начал

ухаживать «хороший человек» — слова жены, — который обещал к тому же уладить дела с бывшей семьей и жениться на ней, она не смогла отвергнуть его ухаживания, ибо должна была подумать не только о себе, но и о больной матери, и прежде всего об их дочке...

Иван Савельевич спокойно и с достоинством выслушал эти правдоподобные объяснения, не взяв даже во внимание тот факт, что он и сам-то не знал адреса жены, откуда же его знать тем, кто посылал извещение, спросил только, где находится этот «хороший человек» и как жена намерена поступить в создавшейся ситуации...

Жена очень убедительно расплакалась и сказала, что его призвали в армию и что писем от него нет.

Больше он никогда не говорил об этом. А вот она, случалось, напоминала, говоря, что он придирается к Надежде. Если же Иван Савельевич, возражая, резонно отвечал, что с Татьяны и Виктора он требует гораздо больше, чем с Надежды, что вообще более строг по отношению к ним, жена и тут умела обвинить его:

— Вот, вот, ты от всех требуешь слишком многого!

— Требовательность, в том числе и повышенная, никому еще не помешала в жизни. И я должен заметить тебе, что у ребят, несомненно, имеются положительные качества, которых я не отрицаю. Однако этих качеств недостаточно, чтобы стать настоящими, полноценными людьми. И если уж воспользоваться твоим словечком «слишком», то мы должны признать, что слишком мало требуем от себя. Поэтому и наши дети...

— Уж к тебе-то это не относится, — вздыхала жена. И усмеялась. Словно признавая, что Иван Савельевич с себя самого требует больше, чем с других, она как бы и сомневалась в этом.

— Относится и ко мне, Мария. В первую очередь относится, — говорил он. — Хотя бы потому, что это мои дети, и я несу наравне с тобой ответственность за их воспитание. А следовательно, за их будущее. И будущее их детей.

Он не лгал, не кривил душой, все они для него — и Татьяна, и Надежда, и Виктор — были равны, он ничем не выделял Надежду (разве что, как уже говорилось, требовал с нее меньше, однако делал это так, чтобы не заметили дети), ибо она-то вовсе не виновата в том, что где-то у нее был другой отец.

— Люди все такие разные, не похожие друг на друга, Иван, а ты примеряешь всех на себя. Так нельзя.

— Выходит, по-твоему, мораль, нравственность, вообще правила поведения должны приспосабливаться к каждому из нас в отдельности?.. Подумай, что же получится, если у каждого будет своя мораль и своя нравственность! Если каждый будет поступать не в соответствии с общепринятыми нормами поведения, выработанными обществом, а по своей прихоти!..

— А мне иногда кажется, что мы с тобой разговариваем на разных языках,— говорила жена.— Когда ты кого-то ругаешь за провинность, я молчу. Хотя не всякая провинность...

— Всякая, Мария. Всякая.

— Пусть всякая. Но при чем тут нравственность, при чем тут твоя мораль? Ведь ты обвиняешь ребят в том, чего они не сделали.

— Во-первых, как я уже заметил тебе, не бывает моей или твоей морали — она общая для всех,— начинал сердиться Иван Савельевич.— Во-вторых же, ты просто слепая. Или притворяешься слепой, что еще хуже. Наши дети, к сожалению, любят только себя. Поступая хорошо, они делают это отнюдь не потому, что иначе не могут, что это для них естественно, а потому, что это им выгодно. В крайнем случае, ничего не стоит. Вот о чем мы обязаны помнить. Это страшнее откровенного хамства, ибо приучает жить двойной жизнью.

— С тобой трудно разговаривать и невозможно спорить.

— Может быть, и не надо спорить?..

— Надо, Иван. И очень жаль, что я не умею тебе доказать, как ты бываешь не прав.

Вспоминая сейчас об этих разговорах, Иван Савельевич не находил за собой никакой вины, но именно отсутствие вины более всего и смущало его. Свою-то вину, когда бы она была, он мог бы признать, свои ошибки — пусть частично — он мог бы исправить. А как исправил бы ошибки других, если эти другие тоже не считают себя виновными?.. Получается, что виновных нет совсем, но ведь так не бывает, вот в чем дело.

Он постоял в прихожей, подумав, не дойти ли все-таки до жилконторы, а то вечером там никого не застанешь, а надо бы сказать, чтобы вставили в парадной стекло, и заодно напомнить главному инженеру о его обещании прислать плотника для починки штакет-

ника, которым огорожены молодые посадки. Штакетник, между прочим, тоже поломали ребята. Впрочем, решил он, и сейчас вряд ли кого-нибудь застанешь на месте, потому что прием граждан был утренний и теперь все заняты личными делами. Бегают по магазинам, по мастерским и поликлиникам, хотя время и рабочее. А стоит сделать кому-нибудь замечание, начинаются жалобы на маленькую зарплату и... на нехватку рабочих рук! Да откуда же ей взяться, большой зарплате, когда никто не хочет трудиться...

Конечно, на все это можно и не обращать внимания, можно махнуть рукой, благо, и в самом деле его это как бы и не касается, однако Иван Савельевич твердо и навсегда усвоил, что все дела общие, чужих просто нет. А в стороне он быть не может.

В квартире было тихо, уютно. В репродукторе чуть слышно играла музыка. И в ванной из крана капала вода. Иван Савельевич прошел туда, чтобы взглянуть, сколько накапало: он поставил ведро и засек время. Потом нужно будет пригласить главного инженера или начальника жилконторы, пусть посмотрят, что значит всего один неисправный кран. Словами их не проймешь, отмахиваются. Мелочи, дескать, не до них. А вот по телевидению рассказали, что Ленинград занимает чуть ли не первое место в мире по расходу воды на душу населения, и Ивана Савельевича очень заинтересовала эта необычная информация. Ему показалось, что, рассказывая, какой-то специалист с центральной водопроводной станции гордился этими данными, а ведь если разобраться — гордиться и нечем, потому что никто не подсчитывал, сколько воды утекает зря из-за неисправности тех же кранов. Нет, это не то первенство, которым можно и нужно гордиться.

Солнце заметно сместилось к западу. Оно светило теперь прямо в глаза. Пришлось снова зашторить окно. Слишком яркий свет, как шум, тоже мешает сосредоточиться.

Иван Савельевич вернулся к столу.

До ухода на улицу он собрался было написать жене, но теперь вдруг расхотелось. Да и нечего, в общем-то, писать, новостей у него никаких нет, а писать о том, как движется работа... Он виновато посмотрел на стопку чистой бумаги. Если подумать, жену никогда не интересовали его дела. В лучшем случае она проявляла вежливый интерес, когда дежурно спраши-



вала о делах. Ну что ж, пусть живет так, как ей хочется, он не станет мешать. Она всю жизнь отстанбала это право, теперь может пользоваться им сколько угодно...

В голове не было ясности, хотя нужно было бы поработать еще, и сколько бы Иван Савельевич ни заставлял себя вернуться мысленно в прошлое, мысли его упрямо вращались вокруг сегодняшних забот, а заботы эти странным образом никак не увязывались ни с прошлым, ни с будущим. Они были как бы сами по себе, как бы изолированные от потока жизни, от общих проблем, которые волнуют людей, но если это так, вдруг с испугом подумал Иван Савельевич, если заботы, волнующие его, не являются частью общих забот, тогда... Тогда важность и значимость этих его забот оказываются под сомнением...

Возможно ли такое? Ведь он всю свою сознательную жизнь занимался только важными, только большими делами...

И тут он понял, что просто устал. Переутомился. И ему необходим отдых.

Под еле слышимую музыку, которая ласково убаюкивала, он быстро и крепко заснул. И ему приснился сон из собственной жизни. И так все было во сне явственно, так реально и с такими подробностями, как если бы он видел этот памятный эпизод не во сне, а в кино либо по телевизору. А приснилось Ивану Савельевичу, как он среди других генералов и офицеров был на приеме у маршала Жукова и как разговаривал с маршалом, который узнал его. «Не тот ли ты Иванов, — спросил Жуков, пристально взглядываясь в лицо Ивана Савельевича, — который осенью сорок первого нарушил приказ и отвел батальон с занимаемых позиций?..» Врать было бессмысленно, да и не врал никогда Иван Савельевич, поэтому, смело и прямо глядя в глаза маршалу, он ответил: «Так точно, тот самый Иванов!» — «Молодец, что говоришь правду, — похвалил маршал. — Вижу, искупил свою вину и всевал неплохо...» Потом пожал руку и отошел.

Было как-то не по себе оттого, что маршал укорил его за давний проступок, стыдно было других командиров, которые с интересом смотрели на Ивана Савельевича, но в то же время он испытывал чувство большей гордости...

Он преснулся неожиданно, словно бы кто-то толкнул его.

В самом деле, почему бы не начать воспоминания именно с этой, во всех отношениях памятной, встречи? Разумеется, все было не совсем так, как приснилось Ивану Савельевичу, однако прием был в действительности, и Жуков действительно подходил к нему (впрочем, подходил маршал ко всем поочередно, всем ждал руку и у всех хоть что-то спрашивал) и спросил даже, откуда у Ивана Савельевича такой шрам на лице. Не след ли это от пашки, спросил он, на что Иван Савельевич ответил, что да, след от басмаческой пашки, а маршал сказал, что раньше он тоже был кавалеристом...

Иван Савельевич поднялся с дивана, подошел к столу и быстро стал листать альбом, отыскивая фотокарточку, на которой вместе со всеми, кто присутствовал на приеме, был заснят. Но фотокарточки в альбоме почему-то не оказалось, и тогда он вспомнил, что сдал ее сыну, чтобы тот переснял ее на больший формат и заодно чтобы сделал еще несколько копий. Одну он обещал подарить музею в городе Мазаеве. Строго говоря, сама по себе фотокарточка не имела большого значения, написать о встрече и разговоре с маршалом Жуковым можно и без нее, и все же он решил немедленно позвонить сыну, подумав, что Виктор, при его безалаберности и необязательности, мог фотокарточку и потерять. Кстати, он взял ее уже с месяц тому назад. А фотокарточка, между прочим, еще и с автографом Жукова. Скорее всего, наверное, с факсимильным, но это не меняет существа дела...

Сына дома не было. Его новая жена, или сожительница (Иван Савельевич не помнил даже ее имя), сказала, что он на работе.

— Простите, а кто его спрашивает? — поинтересовалась она. — Может, передать что-то надо Виктору Ивановичу?

Иван Савельевич понимал, что она поступила правильно, что точно так же поступил бы и он сам, а все-таки почувствовал непонятное раздражение оттого, что она спросила.

— Его отец, — резко сказал он.

— Иван Савельевич? — удивленно воскликнула она.

И опять же не было ничего противоестественного в том, что она удивилась — он впервые звонил сыну сюда, однако он не сдержался.

— В отличие от жен и мужей, которых можно менять, отец бывает только один,— холодно и внушительно проговорил он. И тотчас подумал, что вот у его Надежды два отца, хотя она и не знает об этом. Разумеется, настоящий отец он, потому что именно он вырастил и воспитал Надежду, но кровь-то в ней не его...

А жена Виктора как будто и не заметила колкости.

— Знаете, а я ведь собиралась звонить вам...

— Вы собирались звонить мне?! — Теперь удивился Иван Савельевич. — И что же вам помешало сделать это?

— Просто вы опередили меня.

— В таком случае я вас слушаю.

— Вы ведь знаете, что Татьяне Ивановне сегодня исполняется сорок лет...

Об этом Иван Савельевич забыл. Конечно, он мог бы сделать вид, что помнит, однако признался, что запамятовал, и даже поблагодарил невестку... Или как там ее? В этих тонкостях Иван Савельевич вовсе не разбирался. Кто деверь, кто сват, а кто сноха — ему было безразлично.

— Вы слушаете меня, Иван Савельевич?

— Слушаю.

— Так вот, мы с Виктором подумали, что не купить ли нам с вами совместный подарок? Ерунду какую-нибудь дарить не хочется...

— Разумеется,— сказал он. — А что именно вы хотите купить?

— Я тут присмотрела симпатичный перстенок, бабуся одна продает, а в комиссионный нести не хочет. Мы обсудили... — Она помолчала недолго и потом, словно решившись на что-то, сказала: — Ладно, теперь уж все равно. Я купила этот перстенок, но нам с Виктором дорого. Надежда Ивановна тоже присоединяется, и Мария Алексеевна. Он стоит триста пятьдесят рублей...

— Хорошо, я дам сто рублей,— сказал Иван Савельевич. И вдруг его осенило: каким образом сын с женой договорились с Надеждой и матерью? Ведь они же в Боровичах...

— Вы приедете к Татьяне Ивановне?

— Не знаю, пока не знаю. У меня много дел.

— Как же, Иван Савельевич! Все соберутся, а вас не будет...

— Кто все?..— чувствуя сухость во рту, спросил он.

— Влетит мне, они хотели сделать вам приятный сюрприз... В общем, буквально полчаса назад приехали и Мария Алексеевна, и Надежда Ивановна с мужем. Все приехали. Только вы не выдавайте меня, ладно?

Значит, прибыли. Очень красиво, ничего не скажешь. Приехала жена и даже не дает о себе знать, как будто так и надо. Ну что ж, это вполне соответствует манере ее поведения. Другого и ждать от нее не приходится. Приятный сюрприз решили ему сделать! А не подумали, насколько приятен ему будет этот сюрприз. Где им там думать, собрались все, разговор теперь, а он...

Зазвонил телефон. Иван Савельевич дернулся от неожиданности и торопливо схватил трубку.

— Я слушаю.

— Ну, здравствуй, Иван,— услышал он голос жены. И ему сделалось вдруг необычайно приятно, он тотчас забыл про все обиды, настоящие и выдуманные, про все ссоры, сколько бы их ни было в их жизни, потому что это был родной, милый голос, и он живо представил себе, как жена стоит возле телефона (она всегда разговаривает по телефону только стоя), неловко держит трубку, не прижимая ее к уху, как это делают обычно все, а на отлете, чтобы видеть микрофон.— Не получился сюрприз, не выдержала. Тебе Леночка не звонила?..

Какая еще Леночка, удивленно подумал Иван Савельевич, но сразу и догадался, что речь идет о жене Виктора, с которой он только что говорил. Да, о жене — они зарегистрировали брак, просто он не пошел на свадьбу, потому и забыл об этом.

— Ты почему молчишь, Иван? Ты меня слышишь? — В голосе жены он распознал беспокойство.

— Слушаю.

— Ну, как ты там один, справляешься?

— Нормально,— сказал он.

— Устал, наверное... Как идет работа?

Вопрос этот был неожиданным, Иван Савельевич никак не мог бы предположить, что жена заинтересуется его работой.

— Идет помаленьку,— ответил он.

— А питаешься как?

Хотелось сказать, что хватается он более чем нормально, что у него вообще все хорошо, просто замечательно все, но дело все-таки не в питании и даже не в работе, бог с ней, с этой работой, человечество ничего не потеряет, если он не напишет воспоминаний, и не приобретет, если напишет, а дело в том, что он страшно скучает без жены, без внуков и даже взрослых детей, что не находит себе места от этой скуки и тоски и вовсе не может работать без привычной безалаберности в доме, которая сама по себе противна ему, однако, как он теперь понял, есть какая-то необходимость и в безалаберности, раз ему ее не хватает, что в конце-то концов ничто, никакая мелочь не подлежит изъятию из жизни.

— Питаюсь хорошо, — сказал он.

— В столовой или готовишь сам?

— Когда как. Чаще готовлю сам.

— Правильно делаешь, — вздохнула жена. — В столовых ужасно кормят. У меня, если я поем в столовой, начинается изжога. А как твое сердце, Иван?

Ну вст, и про сердце вспомнила. Сначала про еду, потом про сердце.

— Пока работает.

— Ты что, не в духе?

— Почему ты так решила?

— Говоришь как-то...

— Но ты же прекрасно знаешь, что я всегда в духе, — сказал он.

— Что верно, то верно, — опять вздохнула жена. — Ты умеешь держать себя в руках. Тебе позавидовать можно.

Иван Савельевич снова представил жену, ее огорченное лицо, рассеянный, виноватый взгляд, обращенный как бы в никуда, и снова ему захотелось сказать жене что-то теплое, нежное, сказать какие-то слова, которых он, быть может, никогда не говорил ей, даже в начале их совместной жизни, и не потому не говорил, что не испытывал к жене никогда нежности, а потому, что не было этих слов в нем...

— Ты помнишь, что сегодня у Татьяны день рождения? — спросила жена.

— Леночка напомнила, — почему-то сказал он.

— Значит, она звонила? Она тебе говорила что-нибудь?

— Говорила.

— Тогда ладно, до вечера, Иван.

— Я не знаю, смогу ли приехать.

— Надо смочь, — сказала жена. — Такой день. Вот тут Ирина вырывает трубку, пока.

— Привет, дедуля! — сказала весело внучка.

— Привет, привет. — Он улыбнулся.

— Ты давай в темпе, дедуля, не тяни резину.

— Это значит, что я должен быстро собраться и ехать? — спросил он.

— Абсолютно.

— А ты скоро родишь мне правнука? — Он любил внучку и, по правде сказать, очень жалел, что они живут не вместе. И они, наверное, жили бы вместе, но жить с Татьяной было невозможно. Она превратила дом в какой-то салон (вот где сказались наследственность по материнской линии и негодное воспитание!), у нее постоянно толклись какие-то личности — вроде художники, журналисты, актеры, которые раздражали Ивана Савельевича своим внешним видом уже, развязными манерами, к тому же Татьяна разрешала всем курить в квартире, и дышать было нечем. Ладно, возможно, и это выдержал бы Иван Савельевич ради только того, чтобы находиться все время рядом, вместе с внучкой, однако она сама и сказала как-то, что лучше им — Ивану Савельевичу и матери — разъехаться, потому что они раздражают друг друга, но при этом не согласилась жить с Иваном Савельевичем (у него-то была идея взять Ирину к себе), а захотела остаться с матерью, объяснив ему, что нельзя бросать мать одну, и пообещав, что каждый день будет навещать.

Обещание свое она выполняла две недели, не больше, а потом у нее появились неотложные дела, она стала приезжать все реже и реже, к тому же завелся этот жених не жених... Все равно Иван Савельевич нежно любит внучку и нисколько не корит ее за то, что она осталась с матерью. Наверное, она поступила правильно...

— Насчет правнука придется потерпеть, — смеясь, сказала внучка. — Перечешемся как-нибудь. Да ведь ты и не любишь Игоря, а?..

— Люби не люби, — вздохнул он.

— Образовываешься, дедуля. Это хорошо. Давай в темпе. И надень парадный мундир, ладушки?

— Это пожелание твоего... Игоря? — спросил Иван Савельевич. Отчего-то ему казалось, что ее жених любит не столько Ирину, сколько именно его мундир.

— Это мое пожелание,— сказала Ирина, и он слышал в ее голосе обиду.— Передаю трубку бабуле, у нее важная информация для размышлений.

— Правда, Иван,— сказала жена,— приезжай-ка ты поскорее. Есть новости.

— И что это за новости?

— Потом, все потом. В общем, ты нужен сегодня здесь.

— Только сегодня?

— Ах, вечно ты...

— А у вас вечно какие-то тайны. Ты не могла бы заехать сюда, кстати?

— Надо же здесь помочь, Иван. Татьяна, сам знаешь, никудышная хозяйка. Мы с тобой еще успеем поговориться. Тебя когда ждать?

— Не раньше двадцати.

— Ты с ума сошел!

— Если возобновлять эту тему, Мария, в чем я не вижу острой необходимости, то с ума сошел...

— Извини,— сказала она.

— У меня сегодня заседание домового комитета.

— А разве нельзя отложить?

— Но с какой стати? — спросил он.

— Но ведь не каждый день у дочери бывает день рождения.

— Во-первых, это наше семейное дело и оно не имеет никакого отношения к тем людям, которые придут на заседание, во-вторых, и домовый комитет собирается тоже не каждый день...

— Ты прав, Иван,— молвила жена.— Тогда до вечера. Но постарайся все же пораньше. И трубку не клади, с тобой еще хочет поговорить Гриша.

— Давай сюда Гришку!

— Здравия желаю! — сказал внук.

— Здорово, брат Григорий. Как жив-здоров, как успеши на общеобразовательном поприще? Все нормально?

— Так точно, товарищ полковник!

— Молодец.

— Ты приезжай поскорее,— скороговоркой зашептал внук.— Тут такое!.. Ирка собирается замуж, тетя Таня ругается, все психуют...

— Постой, Григорий,— остановил его Иван Савельевич.— Доложи четко и ясно.

— У Пальмы родился щенок, хорошенький такой, но почему-то всего один,— сказал внук.

— Отставить!

— Мы еще не решили, как его назвать, может, назовем Мирта...— Только теперь Иван Савельевич сообразил, что кто-то, очевидно, мешает внуку говорить, слушает его разговор, и подумал, улыбнувшись, что внук — парень не промах, его не проведешь.— Они говорят, что твою квартиру надо отдать тете Тане, потому что ей одной хватит, а чтобы Ирка с мужем была здесь, а тебя надо увезти к нам в Боровичи, потому что ты все равно старый, а молодым нужно жить... Я хочу оставить щенка себе, но мама не разрешает, а папа за меня...

— Я тебя понял,— сказал Иван Савельевич.— Когда приеду, доложись все по порядку.

— Ты приезжай скорее, я соскучился.

— Постараюсь,— пообещал Иван Савельевич.

— В форме? — спросил внук.— Со всеми орденами?!

— Со всеми, со всеми.

— Ура! — закричал внук.— Будет твой любимый пирог с капустой, бабушка тесто месит, а папа капусту режет. Он велел передать тебе привет, сам подойти не может. А Иркин жених ничего себе...

— Потом поговорим,— сказал Иван Савельевич.

Солнце скатилось за крышу соседнего дома. В комнате сделалось совсем сумрачно. Иван Савельевич раздвинул шторы, и под самым своим окном увидел водопроводчика Курочкина и плотника, который всего неделю назад поступил на работу и фамилию которого Иван Савельевич еще не знал. Они стояли посреди двора и беседовали о чем-то. Похоже, Курочкин рассказывал что-то смешное, а плотник хохотал. Отчего-то появилась злость на Курочкина и плотника.

Иван Савельевич снял трубку и набрал номер главного инженера.

— Иванов говорит.

— Очень приятно,— ответил Фетисов.— Чем обязан, Иван Савельевич? Если насчет заседания...

— Нет. Скажите, из вашего окна видна моя парадная?

— По-моему, да. Стекло в понедельник вставим, я в курсе.

— Хорошо,— сказал Иван Савельевич.— И все-таки подойдите и взгляните в окно.



— Не могу, шнур короткий. Или обождите у телефона.

— Ладно, посматривайте потом. Как вы думаете, чем в данный момент занимаются Курочкин и новый плотник?

— Где-нибудь на заявках, я не в курсе. Но если нужно, я выясню у техников. А в чем дело, Иван Савельевич?

— Дело в том, что вы полагаете, что они на заявках, а они стоят под моим окном и рассказывают анекдоты. Между тем люди жалуются, что водопроводчиков не дозваться... Кстати, и у меня за три часа набезжало почти полное ведро, а в третьей квартире...

— Я разберусь, — сказал Фетисов. — В третьей квартире Курочкин сегодня был. Они там сами выворотили все.

— В седьмой не греют батареи...

— Тоже сделали, — устало проговорил Фетисов.

— И штaketник до сих пор не отремонтировали, хотя вы лично обещали мне. Поломают все насаждения. Два тополя уже обломали.

— Все равно под бульдозер эти насаждения пойдут.

— То есть как это под бульдозер?!

— Я как раз хотел вам сегодня сказать об этом. Приходили озеленители. Оказывается, мы все сделали не по плану.

— Ну, знаете!.. — только и смог выговорить Иван Савельевич.

— Жилконтора, к сожалению, тут ни при чем. Я же предупреждал вас, Иван Савельевич, что такое может случиться.

— Посмотрим. Выясним. — И он положил трубку.

Черт знает что, думал Иван Савельевич. Столько затрачено трудов, так хорошо все распланировали, и близко к окнам тополя специально не сажали, а теперь, выходит... Нет, надо еще разобраться. Надо сходять — и немедленно — в исполком. План — дело серьезное, но, возможно, его разрешат изменить. В конце концов, никаких правил они не нарушали, когда делали посадки, зато сажали тополя и кустарник так, чтобы это было удобно людям.

А поработать опять не удалось. Иван Савельевич подошел к столу. Альбом лежал открытый, с большой, в полный лист, фотокарточки на него смотрел он сам, молодой уже, в форме, со всеми наградами. Он опять

стал вспоминать, когда и по какому случаю фотографировался в этот раз (надо заметить, что вообще-то он не любил позировать), однако память была глуха, и он пожалел, что нет жены, которая, безусловно, помнит все лучше его и могла бы оказать ему неоценимую помощь в работе над воспоминаниями. И тут же вспомнился недавний разговор с внуком и его слова о том, что его, Ивана Савельевича, хотят увезти в Боровичи, потому что он старый, ему все равно где жить, вернее (тут он усмехнулся), доживать, а квартира нужна, чтобы Ирина могла жить отдельно от матери. Что ж, дело житейское, он ничуть не обижается, и он может, разумеется, поехать в Боровичи, почему бы, в самом деле, и нет?.. В Боровичах ему даже нравится. Может он и квартиру уступить ради внучки, он все готов ей отдать, хотя и не нравится ему ее будущий муж, но это в конце концов только ее дело, ей жить с этим парнем, а все же что-то и противилось в нем этому, все же обидно было, что все решили без него, как будто он уже умер...

Иван Савельевич прошелся по комнате.

Ладно, он сделает вид, что ничего не знает, ни о чем не догадывается, что выход из положения, найденный без его участия, нашли они все вместе, и его самолюбие будет спокойно. Более того, он первый заговорит на эту тему. Им так будет легче. Да и Гришку он любит не меньше Ирины, так что ему совсем не плохо жить с ним. И зять прекрасный человек, и вообще...

Хотя живут они там как-то не так. Безалаберно живут. Вечно сидят без денег, а получают немало, никогда не знаешь, приготовит Надежда обед или придется есть всухомятку. Очень мягко и осторожно, чтобы нечаянно не обидеть дочку, Иван Савельевич в последний свой наезд в Боровичи высказал ей свое мнение на этот счет, надеясь, что Надежда поймет его правильно, а она чуть не рассмеялась ему в лицо.

— Отец, ты прожил большую и прекрасную жизнь,— сказала она,— мы все гордимся тобой, поверь!.. Но ради бога, отец, не мешай нам жить так, как мы хотим.

— Я не собираюсь вам мешать,— ответил Иван Савельевич, не показывая своей обиды.— Но высказать свое мнение считаю себя обязанным.

— И мнения не надо. У нас свои головы на плечах и свой ум.

— Как хочешь,— сказал он.

Тут вмешался зять:

— Я понимаю, Иван Савельевич, что многое в нашей жизни вам не понятно, но что же поделаешь? Такова жизнь.

— Это разве жизнь? Вот чем вы руководствуетесь, организуя свой быт? Какими принципами?

— Мы честно живем и честно работаем. И это главное. А быт — личное дело каждого.

— Мне кажется,— сказал Иван Савельевич,— что я тоже прожил честную жизнь, однако жил совершенно иначе.

— Вполне естественно! — подхватил зять.

— Что же в этом естественного, если дети отказываются от опыта отцов, если сознательно ломают традиции...

— Но согласитесь, что повторять чью-то жизнь, хотя бы и самую прекрасную, неумно.

— Нет, позволь не согласиться! — воскликнул Иван Савельевич.— Младшие всегда брали пример со старших, а никак не наоборот. В этом и есть преемственность традиций и сила народа, общества.

— Все верно, но и... неверно. Общество сильно как раз тем, что человек не повторяет в миллионный раз уже пройденный путь, но каждое новое поколение делает шаг вперед. Иначе мы должны были бы повторять и ваши ошибки.

— Выходит, наш опыт, который мы наживали в трудной борьбе, никому не нужен? — удивленно спросил Иван Савельевич.

— Отчасти именно так. Ваш опыт — это ваш опыт. А мы приобретаем свой, учимся у вас, заметьте, но не повторяем. Это же элементарно, Иван Савельевич! Это диалектика развития...

— Красиво звучит, ничего не скажешь. Только ваша жизнь... Чему вы можете научить своих детей?

— Всему, что взяли от вас, чему научились сами. Недостающее наши дети приобретут без нашей помощи.

— Отдайте мне Гришку,— вдруг сказал Иван Савельевич.

— Как это отдать вам Гришку?

— Мы будем жить с ним вдвоем. Мария Алексеевна у вас, а он у меня. Я воспитаю его.

— Спасибо, но Гришка вырастет у нас. А вы тоже переезжайте к нам, места хватит.

— Нет,— ответил Иван Савельевич.— Не хочу быть лишним человеком.

— А это вы зря,— обиделся зять.— Вас никто лишним не считает, и мы были бы искренне рады...

— Ты неправильно понял меня. Иждивенчество мне действительно не грозит, но я привык к определенному порядку. Да и поздно менять привычки и убеждения. Я вообще никогда не менял убеждений и горжусь этим. У меня есть свои обязанности...

— У всех есть обязанности, Иван Савельевич.

— И какие же вы отводите мне?

— Что говорить. Пустой разговор.

— Не совсем пустой,— возразил Иван Савельевич.— Вот я смотрю на вашу — и не только, к сожалению, на вашу — жизнь и невольно задаю себе вопрос: разве это нормальная жизнь? Вы живете как на привале или как будто сидите на станции и ожидаете поезда. Сколько вы вдвоем получаете?

— Достаточно,— ответил зять.

— Но у вас долги.

— Да разве в этом дело?

— И в этом тоже. Ибо неумение распорядиться средствами говорит о том, что вы просто-напросто не умеете организовать свой быт.

— Вы, безусловно, в чем-то правы, мы многого не умеем, но опять же с позиций вашего опыта, вашей точки зрения...

— Ну что ж, выходит, у нас разные точки зрения на жизнь.

— Жизнь гораздо многообразнее, чем это представляется и вам, и нам тоже.

В это время в комнату вошел Гришка. Он взглянул на отца, на мать и вдруг спросил у Ивана Савельевича:

— Дед, что такое алаберный зануда? А то папа с мамой...

— Гриша! — сказал зять, нахмутив брови.

— Марш отсюда! — прикрикнула Надежда, краснея.— Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не совалялся...

— Минутку, Надежда,— остановил ее Иван Савельевич, догадываясь, что речь-то идет именно о нем. Ему бы рассмеяться, как-то приласкать внука, пошутить, но вместо этого он назидательно проговорил: — Такого слова — «алаберный» — нет в русском языке. Есть слово безалаберный...

— А они все время про тебя говорят, что ты аллаберный зануда...

— Григорий! — повторил зять.

— Ладно, ладно, уйду.

— Мы вместе уйдем, — сказал Иван Савельевич. И опять он знал, что нужно все свести к шутке, не показывать своей обиды, что, в конце концов, ни зять, ни Надежда не имеют ничего против него, что у них действительно другая жизнь и нельзя навязывать им свою, они же взрослые и в сущности хорошие, работающие люди, а если что-то делают не так, как хотелось бы ему, в этом нет ничего страшного или противосущественного — это можно не принимать, но считаться надо, хотя бы потому, что он старше и опытнее их...

Тем не менее он ушел вместе с внуком.

Уезжая из Боровичей, он был убежден, что больше никогда не приедет сюда, пусть живут как им заблагорассудится, лишь бы не видеть этого. Однако со временем обида если и не забылась вовсе, то притупилась и не вызывала уже досады. Мало ли в каждой семье случается мелких недоразумений. Нельзя же всякое недоразумение, всякий спор возводить в ранг оскорбления, ведь тогда было бы невозможно жить на свете. Конечно, нельзя и отступать со своих позиций, в жизни необходимо придерживаться твердой линии, но уступка еще не отступление. Даже напротив, иногда уступить — значит одержать победу.

И вот теперь, когда Иван Савельевич узнал от внука о намерении близких увезти его в Боровичи, причем увезти не ради него, а чтобы Татьяне и внучке проще было устроиться с жильем и чтобы у Надежды появилась вторая нянька (это именно так, он нисколько не сомневался), прежняя, почти забытая обида вновь пробудилась в нем, и мысль о том, что близкие сговсрились за его спиной и сговорились, разумеется, давно, только делали вид, что никакого сговора нет, — эта мысль вынуждала его вспоминать не один этот эпизод, но и другие эпизоды и недоразумения, которые, безусловно, подтверждали, что против него всегда существовал сговор, что он никому не нужен, что он попросту мешает им всем жить так, как они хотят.

Однако Иван Савельевич не допускал, что в этом сговоре принимают участие Ирина и Гриша, и это радовало его, вселяло надежды на будущее...

По радио сказали, что московское время — шестнадцать часов тридцать минут. Услышав это, Иван Савельевич взволновался и машинально посмотрел на часы. Снова день прошел впустую, снова он не успел ничего сделать.

Времени оставалось в обрез.

На восемнадцать назначено заседание домового комитета, а перед заседанием нужно собрать группу народного контроля. А еще необходимо подкорректировать сообщение, с которым Иван Савельевич намеревался выступить на заседании домового комитета, и уточнить кое-какие данные. Он сокрушенно вздохнул и стал прибираться на письменном столе. Конечно, можно оставить все как есть, утром все равно садиться за работу, однако в квартире не должно быть и малого беспорядка, а разложенные на столе бумаги отчего-то особенно раздражали Ивана Савельевича.

Неожиданно и потому слишком резко зазвонил телефон.

— Слушаю.— Он был уверен, что опять звонит кто-нибудь из его близких.

— Вечер добрый, Иван Савельевич.— И он узнал по голосу председателя группы народного контроля, Малашина.— Мы тут решили сегодня не собираться,— сказал тот.— Как-нибудь в другой раз...

— Это кто же решил и почему?

— Вообще,— ответил Малашин.— Срочных вопросов нету, а сегодня хоккей. Вы не забыли? Наши с чехами играют.

— Ну знаешь, Федор Федорович!..— выдохнул Иван Савельевич гневно.— От кого угодно я мог ожидать такого, только не от тебя. Ты же военный человек, а идешь на поводу... Сказал бы мне Головин про хоккей, я бынисколько не удивился...

— Да бросьте вы, ей-богу! В понедельник соберемся, во вторник, что изменится!.. Ничего не горит, наводнения, кажется, тоже не предвидится. Давайте лучше ко мне, Иван Савельевич. Вместе и поболеем за наших. Сегодня нашим нужна только победа.

— Боюсь, Федор Федорович, что по такому случаю нам придется продолжить разговор на партбюро,— сказал Иван Савельевич.

— Вы это что, серьезно? — спросил Малашин.

— Разумеется, серьезно. Когда речь идет о деле, я никогда не позволяю себе шутить, пора бы уж знать об этом.

— Да мне-то, если разобраться, все равно. Я могу и прийти. Другие не придут, напрасно время потеряем.

— Значит, с этими другими и разговор будет.

Иван Савельевич не просто был удивлен, он был раздосадован, оскорблен и, не дослушав Малашина, который пытался что-то объяснить, положил трубку. От волнения и негодования положил ее неудачно, криво, однако не заметил этого.

С возмущением он думал о том, что за такое равнодушное, если не сказать легкомысленное, отношение к порученному делу надо немедленно вызывать Малашина на партбюро, взгреть как полагается и, возможно, освободить даже от обязанностей председателя группы народного контроля. Ведь если каждый на своем участке работы станет относиться к делу столь же безответственно, вся общественная работа пойдет насмарку, и деятельность жилконторы окажется без постоянного, повседневного контроля, а они, деятели из жилконторы, только и ждут этого. Совсем не хотят работать, как будто...

И тут позвонили в дверь. Пришла Федулова, которая на протяжении многих лет состояла бессменным заместителем председателя домового комитета, была первой помощницей Ивана Савельевича, в высшей степени исполнительный и инициативный, его правой рукой. На Федулову можно положиться как на самого себя. Она не подведет.

— Господи, Иван Савельевич, что у вас с телефоном? — даже не поздоровавшись, взволнованно заговорила Федулова. — Набираю, набираю, и все занято. Уж не случилось ли что, подумала. — Она вздохнула с облегчением. — Ведь у вас телефон не заблокирован?..

— Я недавно разговаривал с Малашиным, все было в порядке, — сказал Иван Савельевич. Он подошел к аппарату: — Трубку плохо положил.

— Ну!.. — сказала Федулова и покачала головой. — Так можно до инфаркта довести, ведь мы с вами люди немолодые.

— Просто вы слишком чувствительны, Екатерина Аркадьевна. Что со мной может случиться? — Он улынулся и пригласил: — Проходите в комнату.

— А я ведь к вам по делу. — Федулова прошла в комнату, присела и расстегнула пальто. — Спешила так, что совсем запарилась, прямо как из бани... Не перенести ли нам заседание, Иван Савельевич? Все

равно народ не соберется. Уже Шевцов звонил, говорит, что плохо себя чувствует. Потом Красиков...

— И он плохо себя чувствует? — усмехнулся Иван Савельевич, уже догадываясь, в чем дело. — Вчера я его в магазине видел, пуд картошки тащил...

— Сегодня наши с чехами играют, — сказала Федулова и развела руками.

— Опять с чехами!

— Нет, сегодня первая игра, — поправила Федулова. — И нашим нужна обязательно победа. А чехов устраивает ничья.

— Да хоть десятая, Екатерина Аркадьевна, хоть десятая! Меня совсем не интересует, кого устраивает победа, а кого — ничья. Важное общественное мероприятие мы собираемся перенести из-за игры в хоккей. А вы подумали, какой резонанс вызовет такое безответственное решение?.. — Вдруг Иван Савельевич почувствовал колкую боль в груди и поморщился.

— Что с вами?! — испуганно спросила Федулова. — На вас прямо лица нет...

— Ничего, ничего... — пробормотал он, устраиваясь в кресле. — Это сейчас пройдет.

— Нитроглицерин у вас есть? Или хотя бы валидол?

— Не надо, — сказал Иван Савельевич.

— Вы очень много работаете, а в наши годы это даром не проходит. Нужно и о себе подумать...

Ее монолог, который — это Иван Савельевич знал хорошо — мог продолжаться часами, как и монологи вдовы Мозгалевой, к счастью, прервал опять телефонный звонок. Федулова буквально схватила трубку.

— Алле!.. — сказала она. — Вам кого надо?.. Разумеется, это квартира Ивана Савельевича Иванова... Я его заместитель... Передаю трубку.

Звонил сын.

— Привет, отец. Что это у тебя за заместители в доме объявились? Вот расскажу матери... — Он рассмеялся.

— Короче, — сказал Иван Савельевич.

— Женщины мне доложили, что ты приедешь не раньше восьми. Это поздноато, отец.

— Я приеду сейчас, — неожиданно сказал Иван Савельевич.

— Прямо сейчас?

— Вызову такси и приеду. У тебя все?

— Тогда хоккей! — воскликнул сын.



— Что, что?..— переспросил Иван Савельевич и снова услышал колющую боль в груди.

— О'кэй, как говорят французы на привокзальной площади в Рязани,— ответил сын.— Вот Гришка вырывает трубку.

— Дед, ты уже в форме? — спросил внук.

— Почти. А ты в порядке?

— В порядке.

— Молодец,— похвалил Иван Савельевич.— Придется на вечерней поверке объявить тебе благодарность. Жди, скоро прибуду.

Он положил трубку и взглянул на Федулову.

— Переносим заседание? — спросила она.

— Как хотите,— сказал он.— Но я прямо должен заявить, что это никуда не годится. Игра в этот хоккей, оказывается, для нас важнее дела. За такое...

— Если вы настаиваете, Иван Савельевич, давайте не будем переносить. Но вы, как я понимаю, собираетесь в гости?

— Какие там гости! — махнул он рукой.— Просто старшей моей дочери сегодня исполнилось сорок лет. Надо поздравить.

— Да что вы говорите! В таком случае я поздравляю вас, дорогой Иван Савельевич. От всей души поздравляю. Подумайте, нашим детям уже по сорок, а мы все еще работаем...

— Работаем-то из рук вон плохо.

Иван Савельевич встал и подошел к окну. За окном было пустынно. Даже мальчишки исчезли куда-то. Весна была ранняя, снег почти совсем сошел, и молодые тополя, словно тростинки, как-то бесприютно, сиротливогнулись под резкими порывами ветра. Жалко их было Ивану Савельевичу, столько сил ушло, а теперь...

Может, и в самом деле уехать в Боровичи, отрешенно подумал он. Тихо там, спокойно, леса вокруг, рыбалка...

Проводив Федулову, он достал давно ненадеванную форму и переоделся. Потом вызвал такси, подумав при этом, что следовало поступить наоборот — сначала вызвать такси, а потом уже переодеться, чтобы не терять напрасно время. Ведь нужно еще заехать за цветами...

Тут он вспомнил, как впервые пришел в дом тещи. Пришел с цветами, тоже купленными впервые.

— Здравствуйте, здравствуйте...— тыкая недску-

ренную папиросу в блюдце из-под варенья, проговорила теща с усмешкой. — В баню, что ли, собрались?..

Мария вспыхнула и отвернулась.

— Почему в баню? — недоумеваю, спросил Иван Савельевич. — Я к вам...

— Мама, я прошу! — сказала Мария.

— Цветы держите, молодой человек, как веник.

Он так и не научился правильно держать цветы. Более того, до сих пор не знал, как их нужно держать. Пожалуй, больше никогда и не покупал цветов. Но сегодня купит большой букет роз.

Такси обещали дать в течение тридцати минут. В ожидании звонка Иван Савельевич бесцельно бродил по квартире. Он как-то рассеянно думал о том, что все-таки зря согласился написать воспоминания, не его это дело. Совсем не его. Он привык выполнять ясную, конкретную работу, когда результат бывает налицо. Да и вряд ли, если задуматься, жизнь его представляет особенный интерес. Просто ему повезло в жизни. Ну, воевал. Так воевали все, кого призвали воевать. Защита Отечества не подвиг — обязанность. Ну, служил. Что ж из того? Другие работали, обеспечивая армию, в том числе и его, всем необходимым. Каждый занимается своей работой, и это главное.

Да, он хорошо выполнял свой долг, а вот семью, нормальную, здоровую семью, создать не сумел, не получилось. И не сумел именно он. Это надо признать честно. Теперь у каждого своя жизнь, свои заботы, свои радости и тревоги, а ему всегда хотелось, чтобы все было общим. А может, так и должно быть?..

Мысль эта, неожиданно пришедшая в голову, поразила Ивана Савельевича, привела в смятение какой-то простотой, очевидностью, и он стоял посреди тесной прихожей, пытаясь найти веские, безоговорочные аргументы против этого и чувствуя уже, что таких аргументов ему не найти... И вдруг с лестницы крик:

— Изверг, убийца!..

Иван Савельевич открыл дверь. Было тихо. Он подумал, что ему показалось, хотел закрыть дверь, но тут крик повторился...

— Люди, помогите-е!..

Кричала женщина где-то выше. Иван Савельевич, держась за сердце (снова покалывало), взбежал двумя этажами выше и догадался, что кричат в квартире Николаевых, где он побывал сегодня. Так и есть: из-за закрытой двери слышалась какая-то возня, похо-

жая на драку, дверь то приоткрывалась чуть, то закрывалась.

— Не пушу!.. Я все про тебя знаю! На охоту придумал, а сам только за дверь и к этой своей... намылишься!.. У-у, изверг!..

— Отойди, добром прошу! — сказал мужской голос.

— Стреляй, стреляй, убийца, все равно не пущу!

— Папочка, родненький, не надо!.. — раздался детский плачущий голос, и вмиг Иван Савельевич представил разъяренного, потерявшего над собой контроль Николаева с ружьем, а представив все это, понял, что угрозы Николаева, наверное, нешуточные, такой человек в гневе может пустить в ход и оружие...

Между тем боль в груди сделалась нестерпимой, словно кто-то залез туда чем-то острым и зазубренным, однако Иван Савельевич не обращал на это внимания. Правым плечом он навалился на дверь, которая не поддавалась его усилиям. Ноги ослабели, потемнело в глазах.

— Откройте!.. — сказал он и, с трудом поднимая руку, ударил в дверь кулаком раз, другой.

— Кого там еще несет?.. — Николаев распахнул дверь.

— Оружие!.. — прошептал Иван Савельевич. Он попытался протянуть руку, чтобы отнять у Николаева зачехленное ружье, но силы оставили его окончательно, и он медленно осел на пол.

— Господи, что же это?.. — закрывая руками заплаканное лицо, проговорила хозяйка.

— Папа! — сын Николаевых со страхом смотрел на Ивана Савельевича, который повалился на бок и затих.

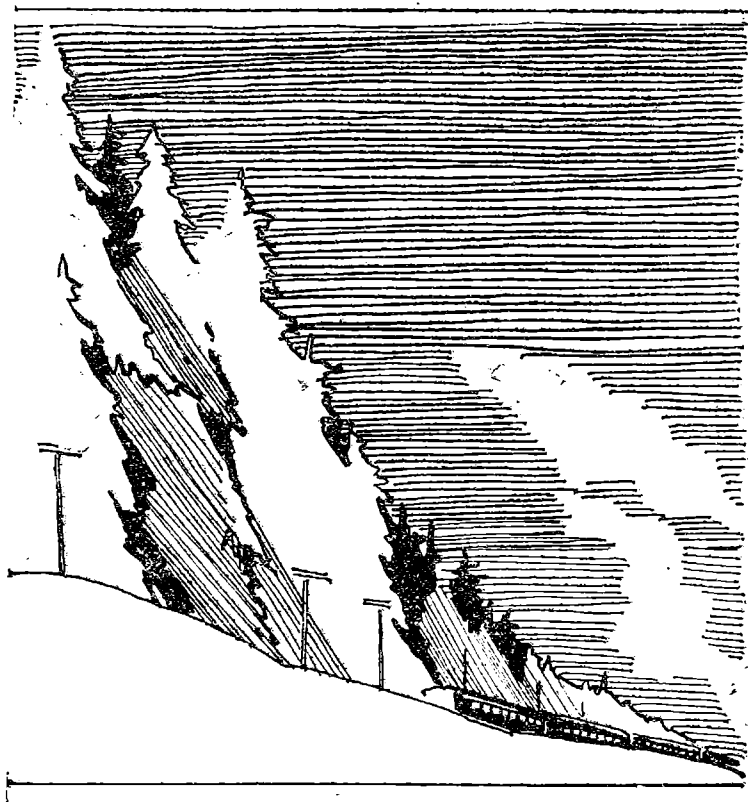
— Вот тебе и открытие сезона, — отбросив ружье, сказал Николаев. — А, черт! Хоть бы заряженное было!.. — Он наклонился, с трудом перевернул Ивана Савельевича на спину, расстегнул парадный мундир и стал делать массаж. — «Скорую» вызывай, быстро! — велел он жене.

— Откуда же я вызову?..

— Беги к нему, у него, наверно, открыто. И скажи, что человек без сознания, умирает!.. — Он взял вялую руку Ивана Савельевича и попробовал найти пульс.

Но пульса не было...

## Дорога в Угорск



Виктора Алексей Ильич выделил в толпе еще в Ленинграде, во время досадки в поезд. Он прохаживался взад-вперед по платформе, по самому ее краю, чтобы не мешать пассажирам, спешащим к своим вагонам, и непрерывно курил. Бросит окурок на свободный путь и тотчас прикуривает новую сигарету. Алексей Ильич почему-то подумал тогда, что вот раньше, в пору его детства, если взрослые курили непрерывно, то прикуривали новую папиросу от старой, докуренной до «фабрики», а теперь всякий раз щелкают красивыми зажигалками. Может быть, это также штрих сегодняшней жизни — пустяковый, далеко не каждому заметный,

но тем не менее штришок, этакая деталька, отметил Алексей Ильич, и ему сделалось приятно оттого, что он не пропустил эту малость, обратил на нее внимание, ибо считал себя человеком наблюдательным.

Виктор то и дело поглядывал на свои часы, сверяя их с вокзальными, и это выдавало его нетерпение, его боязнь, что тот, кого он ждет, опоздает к отправлению поезда. Он как бы не доверял своим часам или надеялся, что его часы идут неверно, спешат, а значит, еще вполне достаточно времени...

Когда Виктор (там, на перроне, он был еще не Виктором для Алексея Ильича, а просто молодым человеком) шел к локомотиву, он явно торопился, спеша как можно скорее пройти этот недлинный путь, зато, возвращаясь назад, в конец состава, шел медленным, прогулочным шагом, словно показывая, что никуда не спешит, а у девятого вагона останавливался и долго выглядывал кого-то в толпе поверх голов. Он был настолько высок — метр восемьдесят пять, если не метр девяносто, — что ему не приходилось даже приподниматься на носках. Вообще он был подтянутый, ладный, — как говорится, спортивный, в красивой импортной куртке и в джинсах, в нем угадывалась разумная физическая сила хорошо, но не нарочито тренированного человека, лицо волевое, решительное, уши почти идеально правильной формы, волосы нормального черного цвета, а лет ему, определил Алексей Ильич, что-то около тридцати. Он наверняка пользуется вниманием женщин, их благосклонностью и поэтому сам женщин не замечает. Ему не грозят никакие неврозы — это психически здоровый, толерантный тип, представитель, так сказать, немногочисленной категории современных мужчин, с которыми Алексею Ильичу приходится встречаться не очень часто, и почти всегда вне дома.

Алексея Ильича постоянно окружают либо коллеги, наблюдение за которыми не представляет никакого интереса, либо люди нездоровые, с какими-то психическими расстройствами, с отклонениями от нормы. Среди них, разумеется, бывают люди умные, талантливые, — на взгляд непрофессионалов, вполне здоровые, однако это именно больные люди, подчас очень серьезно. Возможно, и поэтому Алексей Ильич любит дорогу, любит новые места. Там он встречает по-настоящему здоровых людей, не обремененных комплексами, не уставших от конфликтных, стрессовых ситуаций и

не склонных к излишнему самоанализу, утомляющему не только их, но и окружающих, близких им людей. Здоровые, полноценные люди интересны Алексею Ильичу уже потому, что они здоровы. К тому же случайные попутчики или соседи по гостиничным номерам не знают его профессии, и он может, не опасаясь надоевших вопросов о лечении мигрени, бессонницы, об учении Фрейда, о полезности аутотренинга и жалоб на плохое здоровье собеседников, удивлять их своими познаниями в медицине. И не то, чтобы ему нравилась роль этакого эрудита-всезнайки, вовсе нет, просто он предпочитает говорить о вещах, известных ему, сохраняя при этом инкогнито. Ведь рядом всегда может оказаться профессионал, который по каким-то причинам также скрывает свою профессиональную принадлежность, так что лучше оставаться в глазах посторонних людей знающим скромным дилетантом, чем невеждой и болтуном. Иначе говоря, Алексей Ильич по возможности не вступал в споры о литературе, например, или о музыке, хотя вообще-то совсем, совсем не плохо ориентировался в той же литературе. Зная хорошо английский язык, он кое-что читал и в подлинниках.

Случалось, кто-то спрашивал его, где и кем он работает, и тогда Алексей Ильич, оценив обстановку, отвечал неохотно, что работа у него малоинтересная, незаметная, рядовая работа, так что и уточнять-то неловко, право... агент по снабжению, бухгалтер, какой-нибудь инспектор-инструктор — словом, обыкновенный служащий невысокого ранга... Обычно собеседник понимающе кивал головой, бормотал что-то и с извинениями, смущаясь, спешил уверить, что его несколько не интересует место работы и занимаемая должность Алексея Ильича, а спросить об этом пришлось к слову, и он понимал, что принимают его как раз за служащего высокого ранга или за человека, занятого на секретной, особо важной работе.

Дело тут вовсе не в самолюбии, не в повышенном тщеславии, просто Алексей Ильич знает, как это бывает в жизни. Такая уж у него профессия — знать о людях больше, чем им хотелось бы этого, и даже чуть больше, чем они знают о себе, а скрывая свою настоящую профессию, он мог безбоязненно, ничем не рискуя, наблюдать людей в их естественном состоянии.

У него вошло в привычку начинать свои наблюдения еще на вокзале или в аэропорту (впрочем, самолета

тов он не любил, а может, и побаивался летать, поэтому предпочитал ездить на поездах), и он всегда являлся туда загодя, с запасом времени, чтобы, освободившись от предотъездной суеты и спешки, спокойно и как бы на правах здешнего аборигена, не рискуя и самому сделаться объектом наблюдения, изучать других. Именно на вокзалах, в аэропортах, в толпе вообще человек, одержимый общей целью, общим движением, раскрывается наиболее полно, ибо на какое-то время теряет присущую всякому осторожность, стыдливость, теряет воспитанность и даже врожденную интеллигентность и не боится сделать что-то не так, как свойственно ему, потому что делает так, как делают все. Алексей Ильич оказывается в исключительно выгодной позиции, и главное — никто не догадывается об этом его преимуществе. Стоит себе человек в сторонке и стоит, никому не мешает, никого не трогает, и его никто не замечает, зато он-то замечает все, и его изощренный, тренированный мозг фиксирует каждую мелочь. Он видит не просто передвижения толпы, ее хаотическую жизнь, на отдельных участках этого броуновского движения, и за короткие мгновения, пока выбранный им человек находится в поле его зрения, успевает многое узнать о нем. Возможно, разгадывание, узнавание маленьких секретов, как бы раздевание людей, которые не подозревают об этом, доставляет и некоторое удовольствие Алексею Ильичу (у кого из нас нет своих слабостей и пороков!), однако в принципе это всего лишь профессиональный интерес, не более того. Ну, скажем так: он знает о постоянно окружающих его людях едва ли не все, в том числе, разумеется, и то, что не принято выставлять напоказ, он мог бы, когда бы захотел, использовать эти знания с выгодой для себя, но никогда не позволил себе ничего подобного хотя бы и в мыслях только. Прежде всего, не позволил, сообразуясь с врачебной, с профессиональной этикой. Впрочем, Алексей Ильич глубоко убежден, что врачебная этика мало чем отличается, если отличается вообще, от этики, как таковой...

Виктор, которого он не терял из виду, вдруг напрягся весь и быстро пошел навстречу кому-то, в сторону вокзала. Проследив за его взглядом, Алексей Ильич сразу же отыскал в толпе девушку и понял, что Виктор и эта девушка спешат навстречу друг другу. Он подхватил ее на руки, неловко держа букетик гвоздик, она обняла его за шею, и даже издали было вид-

но, как она обрадовалась встрече. А все же Виктор ждал не ее, понял Алексей Ильич, потому что он по-прежнему кого-то высматривал в толпе. Скорее всего, эта девушка — его сестра, а ждал он просто женщину.

Объявили «пятиминутную готовность», и провожающие, подчиняясь не столько просьбе покинуть вагоны, сколько боязни уехать вместе с теми, кого они провожали (между прочим, подумал Алексей Ильич, многим из них именно это и нужно было бы сделать), вывалились на перрон и прильнули к окнам с наружной стороны. Алексей Ильич вошел в тамбур, а Виктор до последнего мгновения оставался на перроне. Он стоял с сестрой, обняв ее за плечи, но все так же с нетерпением и надеждой смотрел в начало платформы, где еще появлялись опоздавшие пассажиры. Сестра что-то говорила ему, и он согласно кивал головой, а когда поезд тронулся с места, Виктор неловко поцеловал сестру, сунул в руки ей букетик гвоздик и впрыгнул в тот же вагон, в котором ехал Алексей Ильич. Потеснив плечом проводницу, он выглядывал наружу, а когда проводница закрыла дверь, отошел в противоположный угол тамбура и достал сигареты.

— В рабочем тамбуре курить запрещается, — сказала проводница.

Виктор улыбнулся и щелкнул зажигалкой.

— Одну сигарету в порядке исключения, — сказал он.

— Все вы исключения, как я погляжу. — Проводница как-то участливо, с каким-то пониманием посмотрела на него, вздохнула и ушла в вагон.

Следом за нею ушел и Алексей Ильич. Теперь, в тесном пространстве тамбура, наблюдать за Виктором было бы бестактно. Да и бесполезно. Он будет стоять у двери, повернувшись к Алексею Ильичу спиной, и будет беспрерывно курить, а это уже малоинтересно, ибо это — вполне стандартное, почти что рефлекторное поведение. Именно так ведут себя в подобных обстоятельствах девять из десяти мужчин, обманутых женщинами. А что Виктор ждал женщину — сомневаться не приходилось. Потому что только женщину умеет и может ждать мужчина, хотя, скорее, уж женщина должна была бы так ждать его. Но чего не случается в нашей жизни, с усмешкой подумал Алексей Ильич, где очевидное вдруг оказывается невероятным, а вроде бы невероятное — обыденным... Поэтому он всегда вно-



сил поправки в свои дорожные наблюдения. Ведь насколько верно то, что в дороге люди открываются до конца, до изнанки, не стесняясь рассказывать о себе такое, что никогда не расскажут знакомым, настолько же верно и то, что в дороге проще натянуть на себя любую маску, сыграть перед случайными попутчиками любую роль. Привычная роль иногда надоедает, тогда хочется снять одну маску и заменить другой или вовсе остаться хоть на недолгое время самим собой. А возможно, что человек и не носит вообще никакой маски и не играет никакой роли, то есть он всегда таков в действительности, каким кажется близким, знакомым, друзьям и врагам, просто всем им отчего-то очень хочется, чтобы человек был другим, разумеется — лучшим, но если лучшим, значит, и настоящим. Наивная и бесперспективная попытка совместить желаемое с действительным, и слава богу, что наивная и бесперспективная, ибо тут происходит подмена понятий: говорят и думают «лучше», а подразумевают «удобнее». Причем удобнее не тому, о ком думают, в ком хотели бы видеть только хорошее, но всегда — себе. Правда, люди — за редчайшим исключением — не замечают этого и даже не подозревают об этом, уверенные в том, что заботятся о ближнем, и здесь кроются причины многих конфликтов, и такие конфликты тем тяжелее, запутаннее, чем больший разрыв между желаемым и действительным. И не было бы тут проблемы, когда бы каждый соотносил свои требования к другому с возможностями этого другого, с его, а не своими установками. Но в том-то и дело, что у каждого свой здравый смысл и свой стереотип. Однако попробуй объяснить человеку, доказать, что он не прав, если человек убежден, что прав. Попробуй внушить простую мысль, что конфликтной ситуации можно избежать лишь в том случае, когда одна сторона уступит другой, если человек твердо знает, что уступать должны именно ему, потому что... он прав!

Алексей Ильич прошел в купе. (Он ехал в вагоне «СВ». Он любил дорожный комфорт и никогда не жалел денег на билеты.) Там сидела женщина лет тридцати. Она подняла голову, взглянула на него и смутилась.

— Здравствуйте,— сказал Алексей Ильич.

— Здравствуйте,— неуверенно ответила она.

Женщина была симпатичная, даже красивая, пожалуй, и он подумал еще, что вот и готовое приключение,

можно слегка поухаживать, то есть нельзя не поухаживать, потому что это так естественно, когда мужчина ухаживает за женщиной, он хотел уже представиться, однако она опередила его.

— Проводник обещала поменять места,— проговорила она.— Вы не будете против, если вас переведут в другое купе?— И как бы незаметно поправила юбку, натянув ее пониже, чтобы закрыть колени, но юбка была слишком коротка для этого, и женщина, разумеется, знала, что коротка, и Алексею Ильичу сделалось смешно, и теперь он подумал: слава богу, что не придется ехать в одном купе с нею. К тому же на каждом пальце у женщины было по перстню с большими синтетическими камнями.

— Не буду,— сказал Алексей Ильич. Он сел и достал из портфеля книгу. А женщина с интересом наблюдала за ним. Он знал, что именно с интересом, как знал то, что с ней теперь легко заговорить, что она охотно откликнется и почти наверняка можно пойти к проводнице и сказать, что ничего не надо менять, что они поедут вместе с этой женщиной, потому что, как говорится, его соседка работает вместе с ним, они прекрасно знакомы и так далее. Но это поддергивание юбки, но эти перстни...

— Вы куда едете?— спросила женщина, закидывая ногу на ногу и уже не беспокоясь о том, слишком ли открыты колени или как раз.

— До конца,— буркнул он не очень-то вежливо.

— А вот я сюда ехала тоже с мужчиной, не удалось поменяться местами, так он оказался такой обходительный...

— Бывает.

— Я к мужу на свидание приезжала.— Она как-то неестественно, игриво рассмеялась.— Он плавает у меня, их пароход стоял неделю в Ленинграде.

Дверь мягко, без щелчка отодвинулась, в купе заглянула проводница.

— Гражданка,— обратилась она к женщине,— вы можете перейти в третье купе на шестое место. Там еще мамаша с ребенком.

— А без ребенка нету свободных мест?— разочарованно спросила женщина и быстро взглянула на Алексея Ильича.

— Нету,— сказала проводница.— Так будете переходить или передумали?

— Придется, что же делать...

— Тогда переходите. А вы на ее место,— сказала проводница кому-то в коридоре и, отступив в сторону, пропустила в купе Виктора.

— Счастливо доехать,— уходя, сказала женщина Алексею Ильичу.

— Вам тоже.— Он положил книгу на столик.

— Меня зовут Виктор.— Он небрежно бросил на диван небольшой чемодан.

— Алексей Ильич.

— Вот и лады. Что же вы выпустили такую красотку? — спросил Виктор, усмехаясь.— С такой можно хоть на Дальний Восток.

— Думаете?

— Тут и думать нечего.

— Она, между прочим, едет от мужа.

— Это она вам сказала или вы по обручальному кольцу поняли?

А вот обручального кольца среди перстней Алексея Ильич не заметил, и он мысленно похвалил Виктора за наблюдательность.

— Она сказала.

— Все правильно.— Виктор подмигнул.— Раз замужняя, значит, нечего бояться. Это у них сигнал такой — действуйте, дескать.

Любоспытный тип, подумал Алексей Ильич. Циник или напускает на себя?.. Интересно, кто он по профессии? Инженер, рабочий, тренер по какому-нибудь виду спорта?.. Отчего-то ни одна из пришедших на ум профессий, которую можно было бы приложить к Виктору, не показалась ему подходящей, хотя, безусловно, он мог быть и инженером, и рабочим, и тренером, и летчиком, и моряком. Он мог быть кем угодно, догадался Алексей Ильич, вот в чем дело. У него очень динамичная нервная система, поэтому он легко, без всякого напряжения адаптируется в любых ситуациях, и это его свойство создает впечатление излишней раскованности и даже невоспитанности...

— В Угорск? — спросил Виктор.

— В Угорск.

— В командировку?

— Почему вы решили, что именно в командировку?

— В Угорске я каждую собаку знаю, а вас никогда раньше не видел. На отдых туда не ездят, так что...

— Угадали.— сказал Алексей Ильич, хотя ехал в

Угорск именно отдохнуть. У него осталось от отпуска десять недогуленных дней. Старый приятель, с которым они вместе учились в институте и, случалось, вместе же разгружали вагоны на товарной станции, пригласил на недельку, пообещав хорошую рыбалку. Он работал в Угорске заведующим горздравом, а вообще-то он прекрасный врач и вообще прекрасный человек и товарищ. Алексей Ильич никогда не бывал на севере и принял предложение.

— Надолго к нам?

— Как дела сложатся.

— Первый раз?

— Первый.

— Скучота у нас,— вздохнул Виктор.— В Угорске можно работать, а жить...— Он взмахнул рукой.— Шахты, сопки, тундра. Баб и тех мало. Да и смотреть на них тошно. Как на эту, которая переселилась на мое место.

— Чем же она вам так не понравилась? — спросил Алексей Ильич.

— Слишком вульгарна.— Виктор поморщился да же.— А вы не обратили внимания, сколько на ней золота? На пальцах, в ушах, на шее...

Алексей Ильич рассмеялся громко и сказал:

— Гениальное наблюдение. Вы не Шерлок Холмс?

— Нет, я не Шерлок Холмс. И вообще все просто, слишком просто, чтобы быть гениальным.

— Однако обычно говорят, что все гениальное — просто...

— Ерунда! — сказал Виктор.— Если допустить, что так оно и есть, тогда придется допустить слишком многое.

— Интересно,— проговорил Алексей Ильич.— Например?...— Это уже был не разговор, но начиналось собеседование, и он понимал, что поступает в сущности бестактно, ибо Виктор не подозревает об этом, однако привычка оказалась сильнее.

— Все хорошее по-своему и красиво, верно? — Виктор смотрел на Алексея Ильича испытующе, словно тоже задался целью проверить его.

— Пожалуй,— согласился Алексей Ильич.

— Но не все красивое обязательно и хорошее, так?

— Так.— Он улыбнулся снисходительно, уж чересчур наивны были рассуждения Виктора. А впрочем, тут же подумал он, наивность эта не столь и наивна, если вдуматься. Из этой наивности, как черноголовник

из густого мха (Алексей Ильич был страстный грибник), чуть-чуть проглядывает какая-то мысль, здравый смысл. По крайней мере, в общепринятом его значении. В самом деле, не всякая красивая вещь хороша, то есть функциональна, тогда как всякая хорошая вещь в то же время и красива именно своею функциональностью. Красивой деревянной ложкой есть из тарелки неудобно — удобно из миски, — следовательно, нельзя сказать, что это хорошая ложка. Она просто красива, и все.

Он не простак, вовсе нет, думал Алексей Ильич о Викторе, хотя и несколько прямолинеен. Пожалуй, его мозгу не хватает аналитизма. Он рассматривает и оценивает явления только в целостном, сейчас существующем виде, не учитывает беспрерывно происходящих изменений, отсюда и прямолинейность его суждений, их афористичность. (Афористичность вовсе не обязательно признак подвижного ума, высокого интеллекта, как иногда считается.) Ведь понятия «красиво» и «хорошо» очень приблизительны, обиходны, они не отражают сути вещей и явлений. Это скорее стереотипизация, чем объективная оценка. Сильный же, аналитический ум расчленяет явление на составляющие его причины и следствия, как бы разбирает по кирпичикам, выявляя суть, — можно сказать, генотип явления, и создает новую модель, которая зачастую не совпадает с ныне существующей. Точнее говоря, с общепринятым стереотипом. Быть может, здесь и заложено коренное различие между умом обычным, рядовым интеллектом, и умом выдающимся, гениальным. Гений одновременно живет как бы в двух мирах, в двух измерениях, один из которых существует для всех, а второй только для него. Разумеется, есть и отклонения в ту и в другую сторону. Например, есть просто одаренные люди, способные самостоятельно мыслить, делать выводы и проникать на некоторую глубину явления, и есть люди бездарные, тупые даже, не способные вообще замечать явления, а вот между этими интеллектуальными полюсами располагаются все остальные, так называемые нормальные люди со средними способностями, и для них-то всякое явление есть всего лишь изначальная данность. Хорошо — это хорошо, плохо — это плохо, а почему хорошо и почему плохо — не имеет существенного значения...

— Та женщина, которая неохотно покинула вас, —

продолжал Виктор, улыбаясь,— по обычным меркам, красивая. Мужчина прежде всего ищет именно красивую женщину, верно?... Но я бы не пошел с ней в театр. Да ей и не нужен театр как таковой, разве что свое золотишко показать, а мне она не нужна в театре.

— Логично,— сказал Алексей Ильич.— Однако ваши выводы слишком скоропалительны.

— Нет,— возразил Виктор.— Стоящая женщина не станет надевать на себя такое количество золота и напяливать такой дурацкий парик.

— Разве она в парике? — удивился Алексей Ильич. Этого он тоже не заметил.

— Разумеется. Она в с я в парике.

## II

Кто-кто, а Алексей Ильич прекрасно знает, что понять и объяснить умного человека — дело очень сложное. Уж слишком велик соблазн понять, чтобы это было просто. Не случайно поэтому, что действительно умные люди, обретая, например, вторую, литературную жизнь, как бы теряют свой большой ум и делаются вполне ординарными, порой даже глуповатыми и пустыми, как игрушка с дистанционным управлением. (Тут нет никакого противоречия, ибо сама по себе игрушка пуста и глупа, она ничто, а «умно» управление. По сути дела, роботы, как таковые, сначала появились в литературе, а после уже, спустя многие века, к идее робота пришли ученые-технократы.) Сам Алексей Ильич — человек безусловно умный, талантливый, и это признают не только друзья и доброжелатели Алексея Ильича, но также и его враги. Более того, если спросить членов ученого совета, тех, кто голосовал против его избрания на должность старшего научного сотрудника, они тоже скажут, что он умница. То есть он настолько умен и талантлив, что игнорировать это, не замечать просто-напросто невозможно. Можно прослыть дураком. Да ведь оно и приятнее, и ощутимее для самолюбия, когда удастся «свалить» умного противника, тут, согласитесь, есть чем гордиться. Опять же не страшно, если «свалить» не удастся,— всегда можно успокоить свою нечистую совесть тем, что «валить» ум... безнравственно, аморально. Пусть живет.

А врагов и недоброжелателей у Алексея Ильича хватало и хватает. Каждый понимает, что следующий

шаг старшего научного сотрудника — это звание профессора, а кто ж не считает прежде всего себя достойным этого звания! Дело-то ведь не в звании вообще, но в том, что дает это звание. А дает оно многое. В том числе и высокую зарплату, и еще более высокие гонорары. Существует мода, вроде как на автомобиль «Волга», на дачи в престижных пригородах, на престижных же — лучше «выездных» — мужей, на профессоров. К примеру, женщины с достатком и с положением готовы платить любые гонорары даже за выдавленный прыщ, лишь бы этот злонамеренный прыщ был выдавлен профессором. В крайнем случае, под его руководством. Это же так приятно и так шикарно, черт возьми, позвонить супруге Ш. и, между прочим (как бы между прочим!), сообщить ей, что сегодня была у профессора Х., а еще приятнее заметить, как о ничем не значащем пустяке, что профессор Х. забегал навестить... «Ты представляешь, дорогая, он такой, оказывается, милашечка, такой симпатюлечка, этот Х., что никогда бы не подумала, право. И всего-то навсего какой-то там эскулап (хорошо, если не эскалоп), а не дурак. Увидел мой кулон — ну тот, помнишь, который Гриша притащил из Бисау, — и говорит: какая у вас прелестная вещица. Одевается, правда, в массовку, но вообще ничего, я не ожидала...»

Так вот, Алексей Ильич знает наверное, что скоро станет профессором. Должен стать. Его теперешний руководитель и учитель профессор А., ученый с мировым именем, член-корреспондент, прекрасный диагност и клиницист, но человек преклонного возраста, давно собирается уйти в отставку. И не просто уйти, не просто освободить профессорскую вакансию, но при условии, что это место займет именно Алексей Ильич, и никто другой. Разумеется, никто не может дать стопроцентной гарантии, что так оно и будет, — все же на должность профессора избирают тайным голосованием, а у Алексея Ильича слишком даже много недоброжелателей, чтобы он легко прошел сквозь тернии ученого совета, — однако немного найдется смельчаков, которые решились бы пойти наперекор мнению члена-корреспондента А. Уж очень высок и непререкаем его научный авторитет, а он к тому же и активный член ВАКа...

— Я бы, голубчик вы мой, еще поработал, — признавался он Алексею Ильичу. — Не весь порох отсы-

рел в моих пороховницах...— Он дребезжаще смеялся и скрюченным указательным пальцем стучал себя по лбу.— Но я хотел бы быть совершенно уверенным, что после меня наша с вами клиника останется в надежных руках. Пока я жив, голубчик вы мой, и пока обладаю некоторой властью, они не посмеют забаллотировать вас. Не посмеют! — Тут он грозил им пальцем.— Уж я-то, поверьте, знаю этих неврофитов, все они трусы и подпевалы.— Словечко «неврофиты» было самым страшным ругательством в устах профессора А., и мало кто знал, что означает этот придуманный им неологизм. Означал же он, по определению А., людей с непомерно большим самомнением и с недоразвитой совестью.

— Но, Владимир Михайлович...

— Не смейте мне возражать, молодой человек! — сердился профессор.— Я старше вас почти вдвое, так что извольте помолчать, когда я говорю. И откуда взялась эта манера возражать старшим?

— Извините.

— А вы не извиняйтесь, а возражайте. Именно — возражайте, если у вас есть собственная точка зрения. Что вы сказали?

— Ничего, я слушаю вас.

— Надо слушать. Так вы утверждаете, что добро и зло пребывают рядышком?.. Нет, голубчик, я категорически не согласен с этим ошибочным и весьма опасным утверждением. Ка-те-го-ри-чес-ки! Этак мы с вами и вовсе потеряем всякие ориентиры, сотрем границы между нравственностью и безнравственностью. Я заклинаю вас, голубчик вы мой Алексей Ильич, не станьте, когда меня не будет, тоже... неврофитом. Не поддавайтесь им. Не уступайте своих позиций. И учтите, что открытого боя они не примут. Они будут наступать на ваши позиции скрытно, этакими куриными шажками, так что вы не сразу и заметите это.

Но какая же, в конце концов, разница тем же членам ученого совета, могут подумать люди неискушенные, кто именно из сотрудников руководимой профессором А. клиники займет со временем его место? Тем более в научной компетентности и в таланте врача никто из них Алексею Ильичу не отказывает, а второго, равного ему претендента пока не видно. Но в том-то и дело, что насколько авторитетно и уважаемо имя профессора А. в медицинском и в научном



мире вообще, настолько он неприемлем для многих его коллег. Будучи человеком глубоко порядочным, представителем старой школы исцелителей, профессор А. был еще и человеком эксцентричным, неуправляемым, как говорили о нем, так что никогда нельзя угадать, куда его занесет. Например, ходили слухи, что он не берет гонораров, хотя не всегда отказывается консультировать престижных больных, в том числе и женщин с достатком и с положением.

— Знаю, голубчик, что поступаю, дурно, — признавался профессор Алексею Ильичу, — а не умею отказывать. Слаб человек, слаб. Да и как не быть ему слабым, если его веками запугивали всякими карами небесными и внушали ему смирение. На иную дамочку с сережками из дутого золота смотрю и думаю, что лечиться ей надобно не у меня, а у станка или на свиноферме, что выбирать надобно было себе в мужа не того мужчину, который имеет отдельный кабинет, черную «Волгу», высокий оклад и часто выбывает в командировки за рубежи, а того, кто имеет обыкновение ночевать дома. Простите за цинизм, но иначе не могу. Вместо того чтобы сказать такой дамочке правду, выдаю глупейшие рекомендации, которые ей-то, этой дамочке из сплава меди неизвестно с чем, во всяком случае, не помогут. Не уступайте, голубчик, отказывайте решительно. Будьте принципиальны и настойчивы.

И... тут же приглашал Алексея Ильича на очередную консультацию, и представлял его как крупнейшего специалиста, который непременно поможет, потому что если кто-то вообще в состоянии помочь, то это именно он, Алексей Ильич. Приглашал, возможно, и для того, чтобы показать, как поступать не следует, устраивая нечто вроде суда чести над собственной слабостью и неустойчивостью. Но главным образом для того все же, чтобы обеспечить Алексею Ильичу поддержку в будущем. Ибо был и не совсем белой вороной, как считали в институте, то есть был все же от мира сего и знал — увы, — что иногда от всяких дамочек зависит даже больше, чем от прямого начальства и от умных, дальновидных людей. Что там! Профессор А. знал и вкус черного хлеба, и вкус картошки в мундирах без соли, и то, что несмотря на дороговизну, картошку выгоднее покупать на рынке. Меньше отходов.

Много лет у него тяжело болела жена, без песто-

ронней помощи она не передвигалась, несколько раз в день ей нужны были инъекции, нанимать же домашнюю работницу (дети давно жили отдельно, растили уже своих детей) профессор А. не хотел из принципа. Правда, сиделку он все-таки нанимал, поскольку жену нельзя было оставить одну, и еще вызывал для большой уборки квартиры женщину (всегда одну и ту же) из «Невских зорь». Все остальное делал сам. Даже стирал всякие мелочи, с трудом освоив стиральную машину. Постельное белье, скатерти, которые обожал, и сорочки носил в прачечную. Помогали и соседи, и дворничиха, изредка приезжала дочь или сноха, но это была помощь добровольная, неоплачиваемая, и потому он принимал ее, не мучаясь тем, что покупает чью-то помощь, и покупает потому, что имеет возможность. Обедал он в институтской столовой, а сварить утром чашку кофе, приготовить яичницу было совсем просто. Сложнее было с питанием жены, однако и с этой проблемой он успешно справлялся. Покупал на рынке фрукты, свежие овощи, парное мясо и, пользуясь книгой «О вкусной и здоровой пище», научился прекрасно готовить. Да и много ли нужно было тяжело больной жене. А для себя профессор из этих дорогих продуктов ничего не делал, считая это непозволительной роскошью для здорового человека. Он вообще стремился обходиться малым, только необходимым, и это также приписывали его чудачествам. А это вовсе не очередное чудачество, как думали некоторые, но принцип — тратить на себя не более того, что имеют возможность тратить окружающие. Он даже стыдился своей коллекции пластинок, но тут уж ничего не поделаешь, ибо хорошая музыка была его страстью, и страстью, пожалуй, единственной. Не считая, конечно, работы.

Разумеется, Алексей Ильич перенял не весь огромный опыт и не весь запас знаний своего учителя (и самый выдающийся ум не может впитать в себя все чужое знание), однако был он хорошим врачом, честным ученым и порядочным человеком. А это главное. Никакие знания сами по себе и никакой опыт не могут сравниться с обыкновенной человеческой порядочностью. Так учил Алексея Ильича профессор А., и никакому гению история никогда не простит его злодеяний. Тут нет выбора, потому что нельзя положить на одну чашу весов добро, а на другую — зло.

Ибо и добро и зло самоцельны. Творящий зло не может творить добро, как иногда кажется. Это противоречит человеческой сущности. Так что лучше забыть гения, чем забыть сделанное им.

Алексей Ильич выступил однажды (не будучи ни старшим научным сотрудником, ни доктором наук, что давало бы ему какое-то право критиковать коллег, стоящих выше его) на общеинститутском собрании, и заявил с трибуны, что в их коллективе, призванном исцелять людей, не всегда делается это на основе медицинских показаний. То есть не всегда необходимая помощь оказывается больным, в первую очередь нуждающимся в этом. Бывают случаи, сказал он, когда в клиниках находятся люди, которые могли бы лечиться амбулаторно, некоторые из них госпитализируются в обход существующих правил, а больные, которых действительно нужно госпитализировать, тем временем месяцами ждут своей очереди, и это ожидание отнюдь не улучшает их состояние... Выступление Алексея Ильича вызвало не бурю восторгов, сопровождаемых аплодисментами (на что он, признаться, и не рассчитывал), и не взрыв негодования (чего он в общем-то ожидал), оно вызвало всего лишь негромкий шорох в рядах, саркастические ухмылки всепонимающей части в целом здорового коллектива, покачивание еще не поседевших голов, удивленно-вопросительные переглядывания обладателей степеней и званий и тихое, этакое стыдливое покашливание в президиуме. И то правда: Алексей Ильич обвинял голословно, как заметил ему после собрания директор, беря его под руку, обвинял всех, в том числе и людей весьма, весьма уважаемых, тогда как если подобные факты и имеют место, то лишь как исключение и каждый такой случай непременно известен и руководству института, и руководству... э-э... более высокому, ибо согласитесь, что никакие правила не могут предусмотреть всего. Таким образом, дорогой Алексей Ильич, ваше выступление ничего, кроме очевидного вреда, принести не может. И прежде всего вам, вашему реноме...

Они шли рядом от административного корпуса, где находится конференц-зал, к лечебному корпусу по дорожке, усыпанной опавшими листьями каштанов и собственно каштанами, из которых больные делали украшения. Идти было приятно, словно они просто гуляли в парке или в загородной роще. Стояла ред-

костная для ленинградского октября погода, ветер дул с юго-запада, так что дым и гарь соседнего с институтом завода относил к Неве, поэтому и воздух был чистый, влажный, как в парке или в роще.

Возможно, что кто-то, используя свое служебное положение, нарушает правила и... врачебную этику в корыстных целях, однако подобные факты неизвестны руководству института, иначе были бы приняты самые строгие меры, дорогой Алексей Ильич, но если о таких фактах известно вам, их нельзя замалчивать...

Директор провожал Алексея Ильича в его клинику, и все видели, конечно, что он именно провожает, а это значит, что необдуманное, излишне эмоциональное выступление не пошатнуло позиций Алексея Ильича, не лишило поддержки со стороны дирекции и лично директора, который также и председатель ученого совета, а потому «неврофитам» не стоит пока высываться.

Вы обязаны помнить, ласково и проникновенно говорил директор, не выпуская локоть Алексея Ильича (они стояли уже у входа в лечебный корпус, в виду всех окон, откуда за ними внимательно наблюдали и сотрудники, и больные, которые тоже знали о выступлении), что всякое ваше слово, сказанное публично, воспринимается и как слово самого Владимира Михайловича, а посему вам следует быть особенно осторожным и осмотрительным, ибо имя Владимира Михайловича...

Директор тоже был учеником профессора А.

— Простите,— сказал Алексей Ильич,— но вы, очевидно, меня превратно поняли. Я говорил от своего имени. А что касается врачебной этики...

— Не беспокойтесь, я-то понял все правильно,— возразил директор и приобнял Алексея Ильича за плечи, по-дружески так приобнял, чтобы никто из наблюдавших за ними не подумал, что он выговаривает подчиненному. Совсем нет! Они просто мирно беседуют о делах.— Надеюсь, все, кому нужно, также поняли вас правильно. Но, как говорится, на каждый роток!..— Он улыбнулся и похлопал Алексея Ильича по спине.— Люди, они разные-всякие бывают, не правда ли? Но вы не расстраивайтесь, ничего. Все случается в жизни, а жизнь и есть лучший наш учитель и поводырь. Работайте, дерзайте, у вас прекрасное и ясное будущее. Кстати, как ваша докторская?

— Заканчиваю,— ответил Алексей Ильич, совершенно подавленный этой директорской заботой и приительским обхождением.

— Вот и замечательно! Я убежден, что ваша защита пройдет с подобающим ученикам Владимира Михайловича блеском. Да, о выступлении. Вы, разумеется, имели в виду больную Н.?

— И ее,— сказал Алексей Ильич.

— Я отлично понимаю вас, дорогой. Но...— Директор развел руками.— Вы не хуже меня знаете, чья она племянница. Однако мы подзадержались с вами, надо работать, работать. Это — главное.

Вскоре после этого Алексей Ильич представил к защите докторскую диссертацию, но блеска, о котором говорил директор, не получилось. Зато были попытки объявить диссертацию сомнительной с точки зрения чистоты экспериментального материала и самостоятельности соискателя. И все же нужное количество голосов Алексей Ильич набрал. Спустя год диссертация вышла отдельной монографией, тотчас была переведена на несколько иностранных языков, что безусловно укрепило позиции Алексея Ильича в научных кругах, сделало ему имя, но и дало повод «неврофитам» шептаться, что подобное проталкивание своего ученика и сотрудника со стороны уважаемого профессора А. выходит за рамки и тому подобное.

Ну что ж, «проталкивание», если таковым считать естественную и общепринятую в науке помощь учителя своим ученикам и продолжателям, имело место быть, как говорится, в действительности. Более того, и диссертация, и монография («Тяжелые формы невращения. Патогенез, клиника») не так скоро нашли бы признание в ученом и медицинском мире, когда бы не авторитет профессора А. и его помощь. И мешали бы этому «неврофиты», несколько не беспокоясь о том, что где-то страдают живые люди, которым методы лечения Алексея Ильича, обобщенные в диссертации и монографии, могут помочь. Что же касается несамостоятельности работы (еще кое-кто зло смеялся, называя работу «несамостоятельной несостоятельностью», имея, похоже, в виду и преклонный возраст профессора А.), то это абсолютная неправда. Во-первых, сам профессор А. занимался преимущественно неврозами навязчивых состояний, фобиями, так что воспользоваться его результатами Алексей Ильич,

строго говоря, не мог; во-вторых, он никогда бы не позволил себе опубликовать работу только под своим именем, если бы в этой работе принимал участие кто-то еще, хотя бы даже аспирант. Сделать это ему не позволила бы его порядочность, его научная добросовестность. Впрочем, как выразился профессор А., сие понятие «неврофитам» не дано.

— Как не дано понять и того, голубчик, почему вы не берете гонораров. Возможно, они и поняли бы вас, когда бы вы имели всего в достатке. Ну, там дачу на Карельском перешейке, автомобиль... Что еще?.. Кстати, признайтесь старику: вам хочется иметь дачу и автомобиль?

— Хочется, — признался Алексей Ильич.

— И правильно, что хочется. Должно хотеться, а как же иначе? Иначе вам, голубчик, следовало бы полечиться в нашей клинике. — Он весело рассмеялся, ему понравилась собственная шутка. — Только на кой черт все это, если вы лишите себя сна! Другим вот сон возвращаете, а себя лишите... Можно... Знаете, голубчик, можно ведь продать свою совесть. Товар вроде бы пустяковый, никому не нужный, но, уверяю вас, что они очень дорого дадут за вашу совесть. На все про все хватит и еще останется внукам. Нет, вы лучше найдите способ лечения совести, заставьте страдать бессонницей «неврофитов», ведь они не страдают, не правда ли?.. Человечество высоко оплатит такую вашу заслугу! Пойдите, но почему же вы не смеетесь? — почти сердито спросил профессор. — Разве это не смешно в самом деле — страдающий от бессонницы «неврофит», потому что у него... пробудилась совесть? По-моему, голубчик, это очень даже смешно, надо смеяться. Смех полезен от всех недугов.

— Смешно, — сказал Алексей Ильич, — только...

— Что только?

— Совесть нужно лечить, если не поздно, другим путем.

— Ну, ну, это любопытно! Вы уже разработали методику?

— Просто нужно гнать из науки, и тем более из медицины.

— Э-э, голубчик вы мой, это даже слишком просто, чтобы быть истиной. Нет, тут вы не совсем правы. Это казачий метод — наступать лавой, нагоняя страх. Во-первых, среди наших с вами коллег с нечи-

стой совестью есть прекрасные специалисты, и это нужно учитывать. И не мешало бы как-то объяснить этот феномен. Во-вторых, куда же прикажете им деваться, нашим неврофитам? Там, куда вы их собираетесь прогнать, тоже нужны люди с бодрствующей совестью.

— Но вы сами всегда говорите, что никакая гениальность не искупает зло...

— Не искупает — да, — сказал профессор. — Но коль скоро общество дало человеку знания, пусть он расплатится с обществом своим трудом. Не давайте неврофиту творить зло, но заставьте, если он способный, его работать. Между прочим, должен вам признаться, голубчик, что ваш покорный слуга не так свят, как вам кажется. Я тоже брал гонорары. Да и теперь, случается, не отказываюсь.

— Шутите, Владимир Михайлович?

— Отнюдь. Если я консультирую больного дома, в свободное от служебных обязанностей время, то есть расходую на него свое личное время, почему же и не принять скромный гонорар? При условии, разумеется, что я помог больному. В конце концов, всякий полезный труд должен оплачиваться. В этом нет ничего предосудительного и противозаконного. Но избави вас боже, голубчик, пользоваться своим положением и пристраивать в клинику своих больных, которых вы ведете на дому. Избави боже. А к сожалению, люди, которые обращаются к вам за помощью в неофициальном порядке, именно на это и надеются. Совсем недавно. Консультировал я одну даму. Больна, больна... Хотя в ее случае вполне бы справился невропатолог из районной поликлиники. Не желает лечиться в районной поликлинике. Бог с ней, коль скоро ей хочется, чтобы ее пользовал член-корреспондент. — Профессор иногда любил щегольнуть этим своим званием, но всегда только в ироническом смысле. — Допускаю, что я знаю и умею больше районного невропатолога и что мое посещение имеет психотерапевтический эффект. Дал нужные рекомендации, выписал лекарство и посоветовал все же в дальнейшем обращаться в поликлинику. И что вы думаете?.. А как же, говорит она, насчет клиники? В обычном порядке, ответил я, если вы настаиваете на госпитализации. Возьмите направление, вас назначат на отборочную комиссию... Еще я объяснил ей, что больные в клинике видят меня лишь в коридоре, когда я

прихожу на работу и ухожу с работы, а лечат их другие врачи, вовсе не профессора. Так она заявляет мне, что зачем же приглашала меня и зачем я приходил! Пришлось вежливо откланяться, не получив честно заработанного гонорара. Впрочем... — Тут он рассмеялся. — Гонорара-то мне и не предложили. Как я ругал себя, что не напомнил. Нужно было напомнить. В таких вот случаях вы не стесняйтесь, нечего. Ведь вас приглашают на консультации?

— Приглашают, — сказал Алексей Ильич.

— И никогда не берете гонорара?

— Я никогда не хожу к больным домой.

— Отчего же?.. Иногда это даже полезно, голубчик вы мой. Привычная обстановка, в которой находится больной, многое может сказать врачу. В ином доме побываешь — и в музей ходить не надо. Только в музеях эти дамочки охраняют наше с вами добро, а дома — свое. Грустно это, голубчик. Очень грустно. Ведь не сеют и не пашут, как говорится. Я понимаю, что вопрос непростой, а все же на месте властей подумал бы об этом..

### III

Поезд уже порядочно отошел от Ленинграда, за окном утвердились леса. Проехали знакомую с давних времен станцию, и Алексей Ильич вспомнил, как мальчишкой, вскоре после войны, ездили со старшим братом сюда к отцу. Родители жили врозь, и отец работал на лесозаготовках. Однажды — было это году в сорок седьмом — Алексей Ильич поехал один. Брат заболел, а ему вдруг приспичило ехать. Он вообще любил отца, и тогда ему больше всего на свете хотелось, чтобы отец и мать помирились. Казалось, это так просто: взять и помириться. Правда, была еще тетя Клава, вместе с которой отец жил на лесопункте и о которой мать «не могла слышать», но ведь можно было, например, чтобы она переехала в Ленинград, в их комнату, а они с матерью — к отцу... В тот раз мать запретила ему ездить, она боялась за него (Алексею Ильичу было девять лет), однако он сбежал и уехал. От станции до лесопункта нужно было пройти около десяти километров лесом. Где-то примерно на полпути он увидел волка. Волк стоял над дорогой, на песчаном взгорке, и смотрел на него. Сделалось страшно и некуда было бежать. Он остановил-



ся и тоже стал смотреть на волка. У него теплилась надежда, что кто-нибудь подойдет или подъедет (случалось, им с братом везло, и они от станции до самого лесопункта подъезжали на машине), но дорога была, как назло, пустышка. Нужно было на что-то решаться. Он осмотрелся, увидел камень, поднял его и, прицелившись, бросил в волка. Не попал, конечно. Волк ощерился, сморщив морду. «Уходи!» — закричал Алексей Ильич, и тут услышал приближающийся рокот мотора. Кто-то ехал со стороны лесопункта. Волк тоже услышал. Он как-то неловко попятился, насторожив уши, показал снова зубы, потом повернулся и потрусил в густой ельник. Из-за поворота выехала полторка, из кабины выпрыгнул отец. И вот тогда только Алексей Ильич заплакал. Позднее он узнал, что каким-то чудом мать сумела дозвониться до лесопункта и сообщила отцу, что он уехал к нему один. А родители, в самом деле, помирились и оставшуюся жизнь прожили очень хорошо. Умерли они почти одновременно: сначала — отец, а следом за ним, всего через полгода, — и мать.

— Вот грибные места где! — проговорил Алексей Ильич, вздыхая.

— Под Ленинградом кругом грибные места, — сказал Виктор.

— Ну уж нет, — возразил Алексей Ильич со знанием дела. Он был заядлым грибником. — На Карельском вроде и должны быть настоящие грибы, а поедешь... — Он снова вздохнул. — На каждую сыроежку три грибка.

— В том-то и дело, что народу много. На один квадратный метр пятеро с корзинами.

— Логично, — согласился Алексей Ильич. — А вы не любитель?

— Я не собиратель, я потребитель, — рассмеялся Виктор.

— Все мы потребители. Где-то я недавно вычитал — кажется, у Тимирязева, — что все живое потребляет, а производят только растения.

— Глубокая мысль, — сказал Виктор. — На то он и Тимирязев. Не желаете подтвердить эту мысль экспериментально? — Он достал из сумки «Адидас» сверток и развернул его. Там были пирожки. — К сожалению, одна закуска. Насчет выпивки мать не побеспокоилась. Она у меня человек строгих правил. Угоститесь, — предложил он.

— С удовольствием.— Алексей Ильич взял пирожок, попробовал и похвалил: — Отменные пирожки!

— Это хобби матери. Супу может не сварить, а пироги — всегда пожалуйста.

— А вы женаты?

— Слава богу, холост.

Все правильно, подумал Алексей Ильич. Иначе и быть не может. Такие мужики долго не женятся. У них слишком большой выбор. Они боятся потерять право выбора и не хотят поэтому связывать себя обязательствами. Многие вообще так и не женятся. Сначала перебирают женщин, а после, достигнув определенного возраста и приличного уровня комфорта, уже боятся взваливать на себя семейную обузу, чтобы не нарушить привычный комфорт, не подозревая, что эта обуза имеет и свои преимущества.

— И не были женаты? — все же спросил Алексей Ильич.

— Бог миловал.

— Что же так?

— Да вот так.— Виктор пожал плечами.— В каком-то старом фильме герой говорит: «Дураков у нас нет, поищите их в другом месте». Я согласен с этим героем.— Он усмехнулся.

— Но человек не может нормально существовать без семьи,— возразил Алексей Ильич.— Это природное.

— Личная свобода мне лично дороже такого нормального существования.

— Самообман, иллюзия свободы, не более того. На самом деле одинокий человек никогда не бывает свободным. Если хотите, он раб своей иллюзорной свободы и уже потому не свободен. Кстати, если я не ошибаюсь, на перроне вы ждали именно женщину...

— Угадали, я ждал сестру. И тоже кстати: я сразу понял, что вы следите за мной. Будем, как говорится, квиты.

Алексей Ильич почувствовал неловкость, как если бы его уличили в поступке аморальном, неэтичном. Пожалуй, ему даже сделалось стыдно.

— Правильнее сказать — наблюдал,— возразил он. Виктор громко рассмеялся.

— Конечно же наблюдали! Наши агенты всегда только наблюдают, а следят — ихние.

— Какие ихние? — глупо переспросил Алексей Ильич.

— Ну, иностранные, которые осуществляют про-  
иски.

— А у вас острый язык.

— Это не я придумал.

— С вашего разрешения, я возьму еще пирожок?  
Уж очень вкусные.

— И без разрешения можно. Даже нужно,— ска-  
зал Виктор.

Это были любимые пирожки Алексея Ильича, с капустой. Возможно, любимые потому, что жена очень редко их пекла. Как, впрочем, и с мясом и с морковью. Разве что на скорую руку сотворит что-нибудь вроде шарлотки или «минутки» — изобре- тение эмансипированных хозяек, которые чем больше утверждаются в правах на общественный престол, тем меньше делаются похожими на собственно женщин. Нельзя сказать, что Алексей Ильич был в принципе прстив эмансипации, что хотел бы видеть жену просто домохозяйкой, домоправительницей, однако бесспорно и то, что, приобретая общественную значимость, женщина и теряет многие присущие именно женщине качества. Разумеется, все тут неоднозначно, спорно, вариантов столько, сколько на свете женщин — замужних женщин,— однако проблема существует, и проблема серьезная. Имея постоянно дело с нездоровыми женщинами, Алексей Ильич хорошо это знает. Самое главное, что в большинстве своем страдают как раз те женщины, которые все еще пытаются совме- стить общественные обязанности с обязанностями же- ны, матери. Наверное, когда-нибудь эта проблема бу- дет успешно решена, система сегодняшних отношений, уклад современной жизни да и экономические, право- вые установки диктуют свои требования, но пока ба- ланс явно отрицательный. Вот одна из больных Алек- сея Ильича перед самым его отъездом откровенно призналась, что ей надоел «этот бег по сильно пере- сеченной местности». (Между прочим, очень умная женщина, кандидат наук, доцент.) Знаете, говорила, я временами чувствую себя каким-то оно, и прекрасно понимаю мужа, когда он бывает недоволен мною. Кто бы знал, как я мечтаю стать просто женщиной, бабой и никем больше! Варить щи с сушеными грибами — муж обожает щи с сушеными грибами,— следить за его срочками, чтобы не надевал по второму разу, за- вязывать ему галстук, потому что сам он не научил- ся, ходить по квартире с влажной тряпкой и в весе-

лом фартучке, как рисуют на картинках, провожать детей в школу, болтать с подругами по телефону, пока упревает мясо, встречать по вечерам мужа свежей, в аккуратной прическе, потчевать его пирогами, а не яичницей или «славянской трапезой»... Когда я смотрю на молодых, красивых студенток, с которыми люблю самый взыскательный мужчина мог бы найти настоящее счастье, мне делается жаль и их, и тех мужчин, которые станут их мужьями. Хочется сказать им: бросьте, милые, конспекты, не забивайте свои головы ненужной вам химией... А, что там! Мне и самой не нужна эта химия. Мне нужна нормальная семья.

Алексей Ильич посоветовал ей оставить работу, в конце концов имея мужа, директора НИИ, можно позволить себе не работать, на что она, разведя руками, сказала: «Уже не могу. Привыкла скакать с трамвая на троллейбус и в обратном порядке. Привыкла вечно куда-нибудь не успевать и чувствовать себя независимой. Это ведь дает нам, бабам, право на упреки мужей отвечать, что, если им не нравится, могут уходить. Как будто кто-то из нас действительно этого хочет! Знаете, Алексей Ильич, это что-то вроде наркотиков или ваших.. транквилизаторов...»

— Простите,— потревожил его Виктор,— вы кто по профессии? Если, конечно, это не секрет.

— Да как вам сказать...

— Не писатель случайно?

— Почему вы так решили?

— В Угорск часто приезжают писатели. Они шефствуют над нашим объединением, вот я и подумал.

— Нет, я не писатель,— сказал Алексей Ильич.— Я занимаюсь специфическими проблемами.

— Понятно,— сказал Виктор.— А то мне давно хотелось поговорить с писателем. Хорошо бы с фантастом.

— Вы любите фантастику?

— Читаю. Там все крепко закручено, интересно. Обыкновенные книги, реалистические, как-то скучновато читать. Все это я и сам знаю. А фантастика...

Алексей Ильич как раз не любил фантастику.

— Если разобраться,— сказал он,— в фантастике нет ничего собственно фантастического.

— То есть как это нет? — удивился Виктор.— Если, например, герои живут и действуют через тысячу лет после нас...

— Ну и что? — Алексей Ильич пожал плечами. — Так называемые писатели-фантасты ничего нового не придумывают. В лучшем случае, более или менее точно прогнозируют, основываясь на чужих знаниях. А это, на мой взгляд, дело не литературы. Мне, знаете, наплевать, на чем и куда полетят наши дальние потомки. Да это и не имеет никакого значения. Каков будет человек — это другое дело. Но именно этого в фантастике нет. То есть нет человека будущего, раз уж мы заговорили о будущем.

— А он что, будет другой, не такой, как мы с вами?

— Не знаю. Думаю, что его психика безусловно будет отличаться от нашей с вами. Но сколько бы фантасты ни изошрялись, какие бы внешние формы ни придавали тем же инопланетянам, их психика — обратите внимание — ничем не отличается от нашей. Разве что примитивизмом, а это уже совсем смешно. Мне пытаются внушить, что какие-то там пришельцы из дальнего космоса представляют высокоразвитую цивилизацию, до уровня которой нам еще шагать тысячи лет, а я-то вижу, что этого просто-напросто не может быть...

— Потому что не может быть никогда? — усмехнулся Виктор.

— Нет, потому что их уровень мышления гораздо ниже моего, — сказал Алексей Ильич. — К счастью или к сожалению, человеческий разум устроен таким образом, что он не в состоянии, то есть в принципе не может, вырваться за пределы реального. Всякая попытка нарушить этот фундаментальный закон природы заведомо обречена на провал. Так что фантастического в строгом понимании этого слова в мире не существует. Как только человек заносит ногу, чтобы перешагнуть границы реального, его сознание отключается.

— Сходит с ума, что ли? — спросил Виктор.

— Скажем, так.

— Мрачно.

— Отчего же? Наша психика пока не в состоянии принять и осмыслить информацию об ирреальном, и природа предусмотрела жесткую систему защиты. Кто знает, что мы увидим там?.. Значит, сначала должен перестроиться разум. Возможно, у природы есть тайны, которые нам рано открывать. Не готовы мы к этому. Все знают, например, что Вселенная бесконечна.

А укладывается эта бесконечность в вашем сознании?..

— Ну... Я принимаю это к сведенью,— нашелся Виктор.

— И тем не менее вам иногда кажется, что где-то все же есть конец, верно?

— Кажется, это точно! — рассмеялся Виктор.— Вы что, под мою черепашку заглядывали?

— Все проще,— сказал Алексей Ильич.— Мне тоже кажется. А дело в том, что в окружающем нас, реальном мире все имеет начало и конец. Бесконечность — величина для нас абстрактная. Природа, наверное, могла бы сотворить человека бессмертным...

— Нельзя, рожать перестанут. Испугаются тесноты.

— Вот. Или без конца станут воевать. Каждый с каждым, дети с родителями.

— Отец — какой-нибудь неандерталец, а сын — академик! Хорошенькое дельце. Здрасьте, вот мой папа! А он — в шкуре и рычит на всех. Лучше не думать об этом, страшно делается. Хотя и помирать тоже... — Виктор почесал в затылке.

— Страшно? — прищурился Алексей Ильич. Он-то мог позволить себе прищуриться, потому что хорошо знал, что такое смерть, и уж, во всяком случае, не испытывал перед смертью обычного страха.

— А черт его знает, страшно или нет,— пожал Виктор плечами.— Не очень, пожалуй. А вот интересно... — вдруг оживился он.— Если приговорить человека к смертной казни и отложить исполнение приговора на неопределенное время. Сможет он жить или повесится? Но если разобраться, мы все от момента рождения приговорены к смерти, просто исполнение приговора откладывается. И ничего, живем, веселимся!.. Парадокс, а?

— Нет никакого парадокса. Неизбежность смерти запрограммирована в нашем сознании. Естественную смерть человек воспринимает как закономерность и поэтому не думает постоянно о ней.

— А когда человек в молодости умирает от болезни?

— Он не знает, как правило, этого. А приговоренный к смерти судом знает, что приговор могут привести в исполнение в любую следующую минуту.

— Я тоже могу попасть под трамвай.

— Но можете и не попасть. В этом принципиальная разница. От каждого может уйти любимая жена. То есть с каждым такое может случиться. Однако мы не переживаем, не мучаемся, живем спокойно, потому что, зная, что жена уйти может, все-таки верим, что не уйдет. Но если человеку при женитьбе сказать, что жена рано или поздно уйдет обязательно, вряд ли человек станет жить спокойно.

— Ну, это-то пустяки,— сказал Виктор и пренебрежительно махнул рукой.— Сегодня она любимая, завтра — нелюбимая. Вообще, в наше время говорить о любви... Какая там любовь, одни сплошные расчеты!

— Что вы, Виктор,— возразил Алексей Ильич.— Любовь существует, без нее человечество было бы неполноценным, уродливым.

— Так оно и есть неполноценное!

— Почему же? — удивился Алексей Ильич.

— Постоянно какой-то обман происходит. Все время кто-то кого-то обманывает. И больше — женщины. Они как-то устроены так, что не могут дня прожить, чтобы кого-нибудь не обмануть, особенно нашего брата, мужика. Любовь осталась в прошлом веке.

— Вы не правы,— спокойно сказал Алексей Ильич.— Изменилось наше отношение к любви, это верно, а сама любовь...

— А что это такое? — спросил Виктор.

— Относительно устойчивое чувство, обусловленное потребностями одного субъекта... — Он остановился, сообразив, что говорит глупость, и почувствовал неловкость.

Виктор с интересом смотрел на него.

— Трудно это объяснить,— проговорил Алексей Ильич.

— Секс,— сказал Виктор.— И больше ничего.

— И секс тоже. Но не только.

— Еще деньги.

Ну вот, мы и приблизились к тому, что нас занимает на самом деле, подумал Алексей Ильич. А то все ходим, ходим по кругу. Значит, и у этого породистого молодого человека, от которого за версту пышет здоровьем и силой, есть свои проблемы, связанные с женщиной. Никогда бы не предположил этого. Проблемы, скорее, должны были бы быть у его женщин. Интересно, интересно. Теперь его нужно вывести из состояния уверенности, из состояния равновесия, и он

обязательно раскроется. Обычно сильные, самоуверенные люди раскрываются до конца. Они подолгу носят проблемы в себе, и уж если решатся поделиться ими, то буквально выворачивают себя наизнанку.

Алексею Ильичу приходилось встречаться с мужчинами, в которых раньше, до встречи с ним, никто не разглядел бы и намека на чувствительность, на простую человеческую слабость. Волевые, решительные, ни в чем не знающие сомнений, убежденные в том, что им все доступно, что они все могут, что и живут-то они для того, чтобы переделать, перекроить мир, организовать на свой лад. Как правило, это люди даровитые, наделенные способностью увлекать окружающих, подчинять своей воле. Побудительным мотивом их действий всегда остается дело, и потому эти люди чаще всего занимают достаточно высокие должности. Они прирожденные руководители, лидеры. Можно подумать, наблюдая таких людей в обыденной, повседневной жизни, что их ничто не сломит, не выбьет из колеи, что для них не существует непреодолимых препятствий и неразрешимых проблем, а они зачастую ломаются (этот термин Алексей Ильич часто использует в своих работах) на житейских пустяках. Достигнув очень высокой степени социальной адаптации, они оказываются как бы вовсе незащитными в быту. Принято считать, что инфаркты — привилегия, сомнительная привилегия, именно руководителей, и с этим, пожалуй, можно согласиться, однако причины большого количества инфарктов среди этой категории мужчин, по мнению Алексея Ильича, нужно искать не на работе, не в служебных кабинетах, а дома, в семье. Адаптационный синдром — вот причина инфарктов, но этим вопросом, увы, никто серьезно не занимается.

По просьбе директора института Алексей Ильич недавно консультировал одну женщину, жену крупного руководителя. Бессонница, изнуряющие головные боли, приступы слезливости, утомляемость — словом, классический случай неврастения. Однако Алексей Ильич не нашел этого, женщина была практически здорова, о чем, после беседы с нею, он и сказал прямо ее мужу.

— Обычный невротизм, причин для волнения нет.

— А что это такое, доктор?

— Как вам объяснить... Эмоциональная неустойчивость, это пройдет.



— Ваши слова да богу в уши! — усмехнулся муж. — Ладно. Будем считать, что бог услышал. Чем я вам обязан?

— Ничем. А вы сами не хотите подлечиться? — спросил Алексей Ильич. Он обратил внимание, что хозяин дома чувствует себя как-то неуверенно в доме, излишне суетлив, растерян, долго не мог найти подходящие для коньяку рюмки, хотя они уже стояли на столе, потом пошел в кухню за спичками, а на телевизоре, тут же, в его кабинете, лежала зажигалка.

— Я? Подлечиться?.. — Он рассмеялся громко, но вдруг, перестав смеяться, повернулся лицом к двери и прислушался. — Жена терпеть не может, когда я громко смеюсь, — смущенно объяснил он.

— Понятно, — сказал Алексей Ильич. — Давайте я выпишу вам рецепт, попробуйте принимать лекарство...

— Увольте, доктор. Я здоровее быка, которого выпускают на корриду. Вы никогда не видели настоящей корриды?

— Нет.

— Захватывающее зрелище. Я видел в Испании. Мы были с женой в Испании...

— И на корриде были вместе? — спросил Алексей Ильич.

— Да! Она была в восторге.

— Вы извините, я пить не могу, у меня еще один визит, — солгал Алексей Ильич. — Вот на всякий случай мой телефон. — Он положил на стол свою визитную карточку.

— Я передам жене.

— Думаю, что вашей жене не понадобится. А на вашем месте...

— Чепуха, доктор. Бывает, конечно, как-то не по себе немножко. Но только дома. На работе как рукой снимает. Мужик живет работой. — Он подмигнул.

Спустя неделю Алексей Ильич случайно узнал, что у него случился тяжелейший инфаркт. Безусловный адаптационный синдром. Стабилизации не наступило, в результате — инфаркт, а ведь окружающие наверняка решили, что человек «сгорел» на работе. Конечно же, так считает и жена, не подозревая, что «сгорел»-то ее супруг именно дома. И уж если продолжать метафору, то «сгорел» от спички, которую зажгла она...

Итак, исподтишка глядя на Виктора, думал Алек-

сей Ильич, секс и деньги. Больше ничего. Что ж, весьма даже распространенное мнение. Особенно среди молодых, здоровых мужчин. Они уверены, что могут женщине дать и то, и другое, оттого так и думают. Приятно же, черт возьми, думать, что ты в состоянии удовлетворить любые требования! Это не только тешит самолюбие, но и как бы дает право презирать.

— Вы слишком категоричны, Виктор,— сказал Алексей Ильич.— Вероятно, вам просто не повезло с женщиной, она чем-то обидела или оскорбила вас...

— Меня обидела женщина?! — Виктор усмехнулся.— Не на того попали. Я эту породу двуногую насквозь вижу. Она еще за углом, а я уже вижу. Идет, вроде и не смотрит по сторонам, вроде в себя углублена, а сама мужиков высматривает. У них это главная цель в жизни — подходящего мужика найти. Засечет такого, и начинается театрализованное представление с участием одного актера. Актерки, вернее. Томность этакую на мордочке изобразит, усталость, интеллектуальную складку на своем узеньком лобике организует... Только плаката на плоских грудях и не хватает: «Не проходите мимо!»

— Обожглись? — улыбнулся Алексей Ильич.

— Не я, а об меня. Я как-то по глупости и наивности женился. Влюблен был! А потом заметил, что моя благоверная намылилась вроде чуток хвостиком вильнуть. Ну и с приветом, Маня, сказал я. До встречи на том свете. Тебе, милая, уже пора быть там, а я немножко подожду.

— Изменила?

— Только подумала, что можно подумать.— Виктор снова рассмеялся, и смех его был какой-то неприятный, злорадный.

— Суровый вы человек.

— На том стоим.

— А знаете, Виктор, женщины часто делают вид, что разлюбили, что у них есть другой мужчина или что может быть, если они захотят. Все это для того, чтобы вернуть внимание, любовь мужчины, мужа. Ведь мы в этом смысле наивны, как дети. Мое — со мной, никуда, мол, не денется, но если кто-то другой вмешался, тут мы вскидываемся. Жена, допустим, почувствовала, что вы охладели к ней, и принимает свои контрмеры. Мы принимаем ее уловки за чистую монету, а это всего лишь любовная игра, стремление сохранить...

— Знаем мы эти игры, — возразил Виктор. — Женщина никогда и ничего не делает просто так, понарошке. У них всегда и все на полном серьезе, все с определенной целью. Вот смотрите. Мужики могут, например, перекинуться в картишки без интереса, а женщина ни-ни! Ей хоть копейку, но поставь на кон. Не замечали?

— Не замечал, — признался Алексей Ильич. — Но я в общем-то и не играю в карты. — А сам подумал между тем, что в этом наблюдении есть рациональное зерно.

— У них такая психология.

— Какая же именно?

— Ну... Не наша! — улыбнулся Виктор.

— На то они и женщины.

— Я в другом смысле. Они как куры, все только к себе, к себе, все с выгодой.

— А вы не задумывались, что женщины не обязательно чьи-то жены, чьи-то любовницы, но обязательно матери и сестры?

Виктор странно как-то, словно бы не понимал, о чем идет речь, взглянул на Алексея Ильича и молча отвернулся к окну.

Сам Алексей Ильич был вполне доволен тем, как складывались у них отношения с женой. Были они всегда прочными, уважительными, такими и остаются. Он умеет не замечать недостатки жены, ее прощительные слабости, а она научилась не замечать его недостатки, прощать небольшие «грешки». А возможно, она и не знает об этих его «грешках». Догадываться, конечно, догадывается — вряд ли женщину можно обмануть до конца, — а знать, скорее всего, не знает. Все его связи «на стороне» (немногочисленные, впрочем, эпизодические) случаются только в отъезде, то есть вдали от дома. В чужом городе, среди не знакомых вовсе либо малознакомых людей Алексей Ильич иногда позволяет себе расслабиться, раскрепоститься, и если приглянувшаяся женщина не против короткого, без продолжения, романа, он идет на это. Возвращаясь же в Ленинград, он порывает всякую связь, выбрасывает из головы эту женщину, и разве что в редкие минуты лирического настроения, как он называет не без иронии это состояние, мельком вспомнит о ней. Но такое бывает очень редко. Между прочим, уезжая из дому, он не снимает, как делают некоторые его знакомые, обручальное кольцо. Он никогда и ничего

не обещает женщинам, не ругает свою жену, не говорит о ней пошлостей, не жалуется на нее (что также случается с другими) и решительно отказывается выслушивать жалобы женщин на своих мужей. Ничего дурного не говорит и не думает Алексей Ильич и о женщинах, с которыми бывает близок. У него хватает здравого смысла и воспитанности, чтобы не считать себя лучше других. Тем более лучше женщин, которые дарят ему хоть и мимолетную, но все же радость.

И все-таки был в жизни случай, единственный случай, когда ему захотелось продолжения романа.

Как-то вернувшись из командировки, где он пробыл около месяца, Алексей Ильич заскучал. Заскучал самым натуральным образом, — можно сказать, затосковал. Он даже во сне видел женщину, с которой познакомился в этой командировке, и ему захотелось вновь увидеть ее. Желание это было настолько сильное, подавляющее, что он вспомнил номер телефона, поехал на переговорный пункт и позвонил. Ответила сразу эта женщина, хотя телефон, как он знал, был служебный, а когда он назвал себя, она усмехнулась (совершенно точно — усмехнулась, тут Алексей Ильич не мог обмануться) и сказала, что он ошибся номером. «Сожалею, — сказала она, — но вы ошиблись номером». И тогда он понял, что никакого продолжения не будет, потому что она еще раньше поняла, что он не хочет продолжения, боится его, а теперь, когда он захотел, не захотела она. Ибо ничто так не оскорбляет женщину, как нежелание мужчины быть с нею, если она этого хочет. Она простит мужчине многое, — может быть, простит все, только не это.

Однако думать о жизни и даже знать жизнь — это одно. А собственно жизнь — другое. И Алексей Ильич устроил себе повторную командировку в тот город. Он показался этой женщине, и она узнала его — да ведь и не могла не узнать, — скользнула любопытным, холодным взглядом, в котором слишком заметно было презрение, чтобы не заметить его, и прошла мимо. Он все-таки хотел еще раз позвонить ей, объяснить, но понял, что этого делать не надо. Не потому, что боялся унизиться или показаться назойливым, а потому, что побоялся унижить ее. Если бы он позвонил, то дал бы тем самым понять, что не верит в ее искренность, считает, что она просто кокетнича-

ет. А он так не считал. Он знал, что она отвергла его, даже если и пожалеет потом об этом.

Пожалуй, это была первая женщина в его жизни, которая оказалась сильнее его. И он уважал ее за это. И немножко себя за то, что выбрал ее...

— Перевариваете мои откровения? — вдруг спросил Виктор с насмешливостью в голосе.

— Да нет, — ответил Алексей Ильич. — Сижу вот и думаю: с чего бы вы так возненавидели женщин? Вы молоды, здоровы...

— А, длинная и никому не интересная история, — отмахнулся Виктор. — Чепуха, словом.

— А все же?

— Приятель у меня есть, так вот он влюбился, как говорится, по уши. Бегал за ней, как собачонка, пока она не соблаговолила его заметить. Заметила-то она давно, только вид делала. А когда пришла пора распределяться после института, тут она и показала себя. Поженились, он поехал на север подработать на кооператив, а когда купили квартиру, она его выставила. Ей нужна была прописка и жилье, всего-то и делов.

— Пойдите, как она могла его выставить, если квартира его?

— А что ему, судиться прикажете? Лапоть он, идиот законченный.

— Можно и в суд подать.

— Не будет он судиться. Он еще надеется, что все уладится. Чего доброго, опять куда-нибудь смотается на заработки, машину ей купит и поднесет на голубом блюдечке с розовой каемочкой.

— С золотой, — машинально поправил Алексей Ильич.

— Один черт, — сказал Виктор. — Она и машину заглотила, ей что? Они же как шуки во время жора. Не на меня нарвалась, я бы ей устроил веселый день физкультурника!

— Ваш приятель не прав. Подлость нельзя прощать. Никогда и никому. Если, разумеется, это действительно подлость...

— Вы сомневаетесь?

— Я не об этой женщине, вообще. А что касается ее... Вот ваш приятель раз простит, два простит, и она решит, что в жизни все дозволено, по крайней мере ей, что ее желания превыше законов нравственности...

— Да она давно все решила! — воскликнул Виктор. — Такие и рождаются не по желанию и воле родителей, а когда это им выгодно. И плевать она хотела со своего одиннадцатого этажа на законы нравственности и вообще на все и на всех. У нее свои законы. Таких надо убивать, а не судиться с ними. Убивать, — повторил он.

Пожалуй, он и в самом деле мог бы убить, окажись на месте незадачливого друга, почему-то подумал Алексей Ильич. Не в буквальном, конечно, смысле. Впрочем, покалечить все равно мог бы. И уж во всяком случае, от квартиры не отказался бы. А скорее всего, просто не допустил бы до этого. И она наверняка не пошла бы за него замуж. То есть коль скоро она знала, чего хочет и чего добивается, следовательно, должна была знать, за кого нужно выйти, чтобы добиться своей цели. Печально, однако она не исключение, совсем нет. Напротив, очень даже распространенный тип современной женщины с запросами, женщины меркантильной и целеустремленной. Они не любви ищут, не семью строят, они устраиваются в жизни, как на выгодную работу. В этом Виктор скорее прав, чем не прав, хотя и теперь Алексей Ильич не разделял его откровенного цинизма и ненависти к женщинам вообще. И потому не разделял, что во многом виноваты именно мужчины — они делают женщин такими, — и потому еще, что этих женщин жаль. Они умеют устроиться в жизни, но не умеют устроить свое счастье. Они добровольно лишают себя счастья, лишают главного — чувства, страсти, они ведь и любовников заводят — если заводят — непременно нужных, непременно полезных, а потом приходят в клинику лечиться «от нервов». Их не судить надо, а жалеть, ибо несчастный человек достоин именно жалости, сострадания.

Приятель Виктора тоже знакомый тип. Излишне сентиментальный, чувствительный не в меру и, разумеется, мнительный. Неврастеник с выраженными сензитивными задатками. Такие люди склонны к алкоголизму, хотя действительными алкоголиками становятся нечасто. Они мучаются угрызениями совести после каждой выпивки, им трудно дается отрезвление, они страдают от мысли, что будто бы доставляют массу хлопот и неприятностей окружающим, близким людям, однако снова тянутся к выпивке (если уж однажды пристрастились), потому что состояние алко-

гольной эйфории помогает им уйти от себя, от реальных проблем, которые требуют действия, в мир иллюзий. Нужно огромное терпение и нужна большая чуткость близких, чтобы жить с этими людьми (очень часто талантливыми и почти всегда неординарными) и чтобы... жили они. Как правило, они добрые, неагрессивные, всегда участливые, но в любой момент от них можно ждать поступков самых неожиданных. Это потенциалные самоубийцы. Причем для самоубийства может и не быть никаких внешних причин. Причины в них, в их душевном состоянии, которое постоянно как бы выше нормы. Они придумывают драматическую ситуацию, основываясь на каком-нибудь пустяке (им всегда что-нибудь кажется), проигрывают эту ситуацию, исполняя сразу несколько ролей, доводят ее до абсурда, поднимают чуть ли не до трагедии и, не найдя выхода из этой придуманной ситуации, принимают смерть...

#### IV

Как врач и как просто образованный, умный человек, Алексей Ильич не оправдывал самоубийц. Более того, он осуждал их, осуждал в принципе. Однако не мог не признавать (его врачебная практика не противоречила этому), что в жизни все-таки бывают ситуации, когда добровольная смерть является единственно разумным выходом, когда человеку не остается ничего другого.

Да, совсем не случайно у всех народов и во все времена самоубийц презирали и презирают, их даже не хоронят на общем кладбище в ряду тех, кто умирает естественной смертью или погибает. И все же люди почему-то решаются на этот последний шаг, в том числе и верующие.

Алексею Ильичу приходится встречаться и говорить с людьми, покушавшимися на свою жизнь, и он давно понял, что воздействовать на такого человека, обращаясь к его здравому смыслу с советом посмотреть на себя со стороны, — занятие пустое, никчемное. Никому не дано увидеть себя со стороны, и совет этот просто-напросто глупость. Как и совет поставить себя на место другого. У каждого свое место в жизни, каждый по-своему видит окружающий мир, у каждого своя шкала оценок. А мы — так считает Алексей Ильич — пользуемся усредненной шкалой, то есть подхо-

дим к совершенно разным людям с одной и той же меркой. Не оттого ли Алексей Ильич и чувствует себя неловко, когда беседует с теми, кто пытался покончить с собой?.. Он, словно воспитатель детского сада, вынужденный воспитывать взрослых людей, говорит общие слова, доказывает общие истины, а подобные доказательства могут воздействовать разве что на личность примитивную, для которой и стандартная, многократно клишированная истина остается истиной. Достаточно умный, самостоятельно мыслящий человек всегда ищет свою истину, и эта истина вовсе даже не обязательно совпадает с общепринятой. Разумеется, речь идет о проблемах личных, часто — интимных, о той сфере человеческой жизни, куда мы всего неохотнее допускаем посторонних.

Как-то Алексея Ильича попросили проконсультировать мужчину, принявшего смертельную дозу снотворного. Его спасли чудом. Он находился в реанимационном отделении спецбольницы, куда обычно ввозят с острыми отравлениями. Как правило, самоубийц из этой больницы переводят в психиатрическую лечебницу, но тут был особый случай, и психиатр, который уже консультировал этого мужчину, позволил Алексею Ильичу.

Мужчина был довольно молод (около сорока лет), прекрасно развит физически, образован, — по общим меркам и понятиям, прекрасно же устроен в жизни. У него было прочное положение в обществе, он пользовался некоторой известностью, был хорошо обеспечен материально, так что никаких очевидных причин для самоубийства у этого человека вроде бы и не было. В сущности он имел все или почти все, к чему стремятся другие, к тому же обладал острым, тренированным умом, умел сплотить вокруг себя самых разных людей, а в чем-то, пожалуй, и подчинить их своей воле. Он и здесь, в больнице, выделялся среди всех своей независимостью, здравомыслием, как объяснил Алексею Ильичу психиатр, к нему и медицинский персонал относился с уважением, хотя вообще-то в этой больнице отношения между пациентами и медперсоналом не отличаются взаимной вежливостью. Оно и понятно, ибо подавляющее большинство пациентов — окончательно спившиеся алкоголики, что называется потерявшие человеческий облик.

Алексей Ильич предложил мужчине лечь в их клинику. Тот, подумав, согласился.



— Под замок? — усмехнулся он.

— Нет, — возразил Алексей Ильич. — В нашей клинике нет замков. У нас свободный режим.

— Что значит свободный? — спросил В-в.

— Вас будут отпускать домой, в город.

— Что ж, давайте попробуем воспользоваться вашим гостеприимством. Это даже интересно.

Алексей Ильич встретился с женой В-ва. Встретился, вопреки обыкновению, не в клинике, дома. Она оказалась очень красивой, элегантной женщиной. На вопрос, чем она могла бы объяснить поступок мужа, она ответить не сумела.

— Сама не пойму, что с ним случилось.

— Вы не ссорились?

— К сожалению, мы и раньше иногда ссорились, — смущенно сказала она, и вот это ее смущение насторожило Алексея Ильича. В конце концов, нет ничего необычного в том, что муж и жена иногда ссорятся. В определенном смысле это даже бывает необходимо.

— А причина последней ссоры? Если, конечно, вы считаете возможным говорить об этом.

— Это нужно? — Она подняла на Алексея Ильича заплаканные и оттого, может быть, еще более красивые глаза.

— Я хочу помочь вашему мужу, ему необходима помощь.

— Хорошо, доктор. Только я не знаю, как об этом рассказывать. Это настолько личное, наше...

— Я ведь врач, — сказал Алексей Ильич.

— Да, да, конечно... Но я очень прошу вас, чтобы Сережа ничего не узнал.

— Само собой разумеется.

— Словом... — Она вздохнула глубоко. — Он изменил мне. Я случайно узнала об этом и... Обычная, наверно, история.

— Простите за нескромность: раньше такое бывало?

— Не знаю. Возможно. Думаю, что да. Но как-то все это было... Я не верила. То есть и верила и не верила. С женщинами такое бывает.

— Вы не хотели верить?

— Да, не хотела. — Она снова вздохнула.

— Почему же вы поверили в этот раз? — спросил Алексей Ильич. Он предполагал, что кто-то, какой-то «доброжелатель» или, скорее, «доброжелательница»,

сообщил ей о связи мужа с другой женщиной, и сообщение это было таково, что не поверить ему оказалось невозможным. Однако ответ ее ошеломил Алексея Ильича.

— В том-то и дело,— воскликнула она,— что Сережа сам признался! Ах, господи, зачем он это сделал?! Лучше бы я ничего не знала...

В этом она права, подумал Алексей Ильич. Лучше бы всем нам многого не знать. Увы, не всякое знание — благо.

— Он что, сказал вам, что собирается уйти к этой женщине?

— Нет, все наоборот. Это я сказала ему, чтобы он уходил. А он не хотел. Просил прощения, обещал, что этого никогда больше не будет. Я тогда взяла дочку и ушла сама к маме. Я понимаю, что сделала глупость, но, знаете... Это у нас, у женщин, бывает.— Она усмехнулась горько.— Ведь я уходила не для того, чтобы уйти от него. Попугать хотела, чтобы... Ну, что я могу сказать? Вы и сами все прекрасно понимаете.

— Он приходил к вам?

— Звонил несколько раз. У них с мамой натянутые отношения, он там не бывает никогда. В тот день раза три звонил. Я думала, что еще денек поживу у мамы, а он...— Она закрыла руками лицо и заплакала.

Что-то не сходилось в этой вроде бы обычной истории, которая необычно закончилась. Немного на свете найдется мужчин, от которых жена не уходила бы к маме, но чтобы это послужило причиной самоубийства... И еще это признание В-ва, что он изменил жене...

Коллега Алексея Ильича Вера Антоновна Г-ва, женщина решительная, жесткая и властная, высказалась на этот счет коротко и ясно:

— Послушай, он же дурак, твой В-в! Взял бы и ушел, раз жена хочет. Вообще, мужики — дураки. Что, баб мало, что ли?... Ты посмотри, от этого В-ва все наши сестры без ума, не говоря уже о больных бабах. Да я сама сбежала бы от своего Гриши, если бы В-в позвал меня. Это же мужик, каких теперь днем с огнем не сыщешь. А он — таблетки! Дурак, и все. Да и она хороша. Подумаешь, муж изменил.

— Не все так просто,— возразил Алексей Ильич.

— Алкоголик?

— Нет. Пьет мало.

— Состояние аффекта?

— Вряд ли.

— Ничего тогда не понимаю. Ты с ним уже беседовал?

— Собираюсь.

А по правде сказать, Алексей Ильич не чувствовал себя готовым к настоящей беседе. Какая-то неясность тревожила его, и он не очень четко представлял себе, как построить беседу, какую линию поведения избрать, а импровизировать не любил. Однако и откладывать разговор больше было нельзя, — В-в находился в клинике уже две недели.

И он пригласил В-ва к себе.

— Наконец-то сподобились! — насмешливо воскликнул В-в, войдя в кабинет. — А то я заждался. Сильно заждался. А мне интересно поговорить с вами.

— Всею свое время, Сергей Петрович. Все-таки вы находитесь в клинике и я ваш лечащий врач.

— Вы правы, всею свое время. А мы торопимся иногда жить.

— Именно, — сказал Алексей Ильич. — Как вам нравится в нашей клинике? Никаких неудобств не ощущаете?

— Помилуйте, Алексей Ильич, какие же неудобства! Первый раз в жизни вижу такую больницу. Не психолечебница, а модный курорт. И за путевку платить не надо, даже больничный лист оплачивают. Правда, поговаривают в кулуарах, что кое-кто за право находиться здесь платит гораздо больше, чем стоит самая дорогая путевка... — Он пристально смотрел на Алексея Ильича.

— Вы можете показать человека, который платил?

— Бог с вами, Алексей Ильич. Я, вообще, думаю, что это слухи.

— Я тоже так думаю. Кстати, вы разве раньше лежали в... психолечебнице?

— Почему вы спрашиваете об этом? — удивился В-в.

— Вы только что сказали, что первый раз в жизни видите...

— Больницу, доктор! Вообще больницу. А в больницах я лежал.

— Но не в психиатрических? Между прочим, Сергей Петрович, наша клиника тоже не психиатрическая.

— Не вижу большой разницы. Когда говорят о пограничных состояниях, мы вправе предположить и то, и другое, и третье. Но мы, кажется, отвлеклись?..

— Почему же.

— Насколько я понимаю, вы пригласили меня не для того, чтобы порассуждать на отвлеченные темы...

— А разве существуют отвлеченные темы? Коль скоро мы с вами заговорили о чем-то, следовательно, тема эта для нас не отвлеченная.

— Бывают, Алексей Ильич. Еще как бывают. А наш с вами разговор не случаен, вы направляетесь таким образом, чтобы извлечь как можно больше информации, не ущемляя моего самолюбия. Это наивно, доктор. На вашем месте я бы задал конкретные вопросы, ответы на которые вас интересуют.

— Пока я не извлек никакой информации, Сергей Петрович.

— И не извлечете, если будете ходить кругами. Итак, вопрос первый: что произошло? Я не ошибаюсь?

— Раз вы настаиваете на такой форме нашей беседы,— проговорил Алексей Ильич,— я вынужден согласиться.

— Вы вынуждены! — В-в рассмеялся громко.— Это у вас называется «диагностическое интервью», не так ли? Вас какое больше устраивает — управляемое или... исповедальное?

— Сергей Петрович, вы образованный, умный человек, и ваш поступок никак не согласуется...

— А все поступки образованных, умных людей должны согласовываться с каким-то стереотипом, да?

Алексей Ильич, честно говоря, побаивался, что В-в вспылит, станет протестовать против вмешательства в личную жизнь. Такой реакции можно, а пожалуй что и нужно было ожидать. В-в не привык отвечать на вопросы. Он привык задавать их другим. Однако он остался вполне спокоен. Попросил разрешения закурить, молча, сосредоточенно выкурил сигарету, потушил окурок пальцами и впихнул его в спичечный коробок. Потом спросил неожиданно:

— Жена рассказала вам все?

— А почему вы думаете, что я разговаривал с вашей женой?

— Но это же элементарно, Алексей Ильич! Мы договорились, что будем откровенны друг с другом, а вы...

— Вы часто ссоритесь?

— Часто — редко, много — мало... Относительные категории. А вам нужно нечто конкретное. А вы сами часто ссоритесь с женой или редко? Я вам скажу, что да, мы ссоримся часто. Какую же информацию вы почерпнете из такого ответа? Часто для меня, но, возможно, редко для вас.

— Это уже информация, Сергей Петрович.

— Какая?

— Я буду знать, как вы сами оцениваете свои отношения с женой.

— Интересно. Хотя я не регистрирую количество семейных ссор за определенный отрезок времени, но отвечу: два раза в год. Считаю, что это часто.

— Несерьезно, Сергей Петрович.

— Знаете, у меня есть хороший приятель, так вот он ссорится с женой перед каждым приемом пищи и обязательно на сон грядущий. Обратите внимание — живут они душа в душу. Выпустят, как говорится, пар и продолжают свою любовь. Это нормально или нет?

— Но вы же сами сказали, что они живут душа в душу. Значит, для них это нормально.

— Ну да, еще Лев Николаевич Толстой в своем романе «Анна Каренина» заметил...

— Это заметили до Толстого, — сказал Алексей Ильич. Он все-таки досадовал на себя. Беседа, или интервью, как верно подчеркнул В-в, явно не получилась.

— Фрейд? — прищурившись, спросил В-в.

— Зачем же так-то, Сергей Петрович. Ведь и вы знаете, и я знаю, что «Анна Каренина» написана гораздо раньше, чем Фрейд разработал свою теорию.

— В самом деле, — улыбнулся В-в. — А вы, кстати, как относитесь к Фрейду?

— По-разному, Сергей Петрович, по-разному.

— Понятно. Тогда давайте вернемся к нашим баранам. Вы хотите вывести какие-то закономерности, исходя из моей оценки наших отношений с женой, верно?

— Давайте все же договоримся, что каждый из нас занимается своим делом.

— Но в данном конкретном случае вы, простите, занимаетесь сизифовым трудом. Знаете, как работают шпионы? Берут трафарет, накладывают его на текст какой-нибудь им известной книги и — пожалуйста —

читают то, что зашифровано. Человеческую душу, Алексей Ильич, таким образом не прочтешь, это слишком примитивно. Это не сто сорок девятая страница из романа Достоевского «Идиот». Это — весь Достоевский, и даже сложнее. Вы к чему клоните? Собираетесь прочесть мне лекцию на тему, как безнравственно, аморально я поступил. Как недостойно человека пасовать перед обычными житейскими трудностями, что трудности надо преодолевать. В обыденной жизни это называется «взять себя в руки». Вот так бы и сказали прямо.

— Считайте, что сказал.

— Отвечаю: иногда понятие «взять себя в руки» адекватно понятию «пора кончать». Не задумывались об этом? Только не надо, убедительно прошу, о пессимизме, о минутной слабости, прочей чепухе, рассчитанной на подростков с неустоявшейся психикой. Кто доказал, что самоубийство — проявление слабости, безволия? Вдруг бывает и наоборот?

— Наоборот не бывает, — возразил Алексей Ильич. — И потом, вы же прекрасно понимаете, что это не выход из положения.

— А если все-таки выход?

— Для вас, возможно. Но остаются ваши близкие...

— Может быть, и для них это выход.

— Давайте начистоту?

— Я к вашим услугам.

— Умереть, в сущности, легче всего.

— Не спорю, — сказал В-в. — Однако представим такую ситуацию: человек оказался один в открытом океане. Он знает, что спасения нет, что он обречен. И все же продолжает бессмысленную с точки зрения здравого смысла борьбу, удлиняет переход из одного состояния в другое, увеличивает свои страдания. Проще глотнуть соленой водички — и все. В чем тут дело?

— Инстинкт самоохранения.

— Повторяю: нет никаких шансов... самоохраниться

— Инстинкт сильнее знания.

— Следовательно, человек в определенных ситуациях, скажем так, оказывается сильнее инстинкта. Выходит...

— Одну минутку, — перебил его Алексей Ильич. — Вы забываете, что именно инстинкт, сильнее которого вы оказались, многим людям помог буквально вы-

жить, помог найти разумный выход из безвыходного положения. Природа предусмотрела и такую возможность, наделяя нас с вами инстинктом. Согласитесь, что, пока человек жив, всегда остается какой-то шанс. Пусть мизерный, пусть даже призрачный, но — шанс.

— Согласился,— сказал В-в. И в его голосе Алексей Ильич уловил безразличие, усталость.

— Но тогда как же вы...

— Простите, доктор, я очень устал. Если позволите, я пойду отдохну. А наш диспут мы продолжим в другой раз. В удобное, как говорится, для договаривающихся сторон время.

— Вам плохо?

— Я же сказал, что устал. Может человек устать?

— Давайте-ка проверим давление,— сказал Алексей Ильич, подумав, что уж очень изможденный вид у В-ва, и лицо как-то сразу вдруг словно оплыло, под глазами набухли мешки, кончики рта опустились.

— У меня всегда нормальное давление, хоть в космонавты,— грустно пошутил В-в.

Но Алексей Ильич знал, что далеко не всегда. Несколько раз за время, пока В-в находился в клинике, у него подскакивало давление до ста восьмидесяти.

— Так я пойду? — В-в поднялся.

— Да, да, конечно.

Алексей Ильич был недоволен беседой. Он не задал В-ву самые важные вопросы, в числе которых и вопрос: любит ли он свою жену? Было такое впечатление, что В-в продиктовал свои условия интервью, если этот хаотический, какой-то беспредметный разговор можно назвать интервью. А теперь В-в и вовсе замкнется, уйдет, как говорится, в себя, и на откровенный разговор его будет не вызвать. В сущности, ему нечего делать в клинике, подумал Алексей Ильич. Строго говоря, он практически здоров. Закончим обследование, решил Алексей Ильич, и выпишем.

Но все же позднее, а вернее, когда было уже поздно, он понял, что из их разговора можно было извлечь полезную информацию. Чего-то он не заметил, что-то пропустил мимо ушей...

Перед уходом домой Алексей Ильич зашел в палату. В-в лежал на спине с закрытыми глазами, однако не спал.

— Вы, доктор? — не открывая глаз, спросил он.

— Как вы себя чувствуете, Сергей Петрович?

— Знаете, прекрасно. Мне стало легко.

— Давайте все-таки измерим давление.

— Пожалуйста, если это вам необходимо.

Давление было идеальное: сто тридцать на восемьдесят. Пульс семьдесят пять и хорошего наполнения.

— Я же говорил, что гожусь в космонавты,— так и не открыв глаза, сказал В-в.

А ночью В-в умер. От острой сердечной недостаточности.

Спустя две недели после его смерти Алексею Ильичу позвонила вдова и попросила разрешения зайти. Она была в черном — даже в черных нитяных перчатках и с черной вуалью на лице. Станным образом черное делало ее еще более красивой.

Она не сразу начала разговор. Долго сидела молча, выкурила сигарету (Алексей Ильич отчего-то был уверен, что раньше она не курила), потом неожиданно сказала:

— Это я виновата в его смерти. Я знаю, у него было здоровое сердце.

— Нет, у него было не совсем здоровое сердце,— возразил Алексей Ильич.— Правда, мы не успели закончить обследование...

— Не успокаивайте меня, не надо. Я знаю, что виновата.

— Никто не виноват. К сожалению, известны случаи, когда погибают действительно абсолютно здоровые люди. А ваш муж...

— Не спорьте, доктор,— тихо сказала вдова.— Он ведь очень любил меня... Как мне теперь жить? Ах, если бы не дочь! Все было бы просто...

А пожалуй, в словах вдовы заключалась истина. Или ббольшая ее часть. У В-ва был высокий порог чувствительности, эмоциональной чувствительности, а его поступки не всегда соответствовали его же нравственным, моральным установкам, отсюда — постоянное и гнетущее чувство вины перед другими, в частности перед женой, которую он, наверно, в самом деле любил. Безусловно, он был невротик, склонен к аффектации, что в конечном счете привело его как бы к раздвоению личности. Очевидно, выход из создавшейся ситуации был один — расстаться с женой, но сделать это В-в не мог. То есть не мог уйти, как это делают другие. И он принял решение уйти вообще. А дальше... Неужели все-таки развился тяжелый клинический невроз, который и привел к трагическому концу?



Да, объективно никто не виноват в его смерти. И все же Алексей Ильич в чем-то винил и себя. Он обязан был понять, почувствовать, что В-в уже перешагнул порог, разделяющий жизнь и смерть, что все равно он умрет, ничто не остановит его. Но тогда и не было острой сердечной недостаточности в том смысле, как это понимается обычно. Возникла психическая напряженность — В-в знал, что умрет, что должен умереть, и... умер. Его нужно было перевести на психиатрическое отделение. Впрочем, это вряд ли что-либо изменило бы. Он был не тем человеком, к которому применимы обычные методы лечения. Да и мало, слишком мало мы пока знаем о человеке, в особенности когда речь идет о человеке неординарном, талантливом...

— Доктор, вы можете дать справку, что он умер...— Вдова смотрела на него сквозь вуаль, он почти не видел ее глаз, и это мешало ему.— Ну, что я довела его до самоубийства?

Вот оно что, подумал Алексей Ильич, и ему сделалось страшно.

— Ваш муж скончался от острой сердечной недостаточности, — как можно спокойнее сказал он. — Это подтвердило и вскрытие, вы же знаете. Нет никаких оснований (есть основания, есть!) связывать его смерть с происшедшим раньше, так что успокойтесь. Подумайте о дочери, вам нельзя сейчас...

— Нет! — воскликнула вдова. — Вы ничего не знаете, а я знаю. Меня нужно судить. Не было у него никого, не было! Вы понимаете? Он наговорил на себя, а я, идиотка, поверила... Он сам остановил сердце. Он все мог, когда хотел...

— Это только трагическая случайность, — сказал Алексей Ильич.

— Да поймите же вы, что он освободил меня. Он не хотел меня мучить. Господи, а зачем мне такая свобода? Зачем вообще мне свобода, если его больше нет?..— Она уронила голову на стол и разрыдалась.

## У

А за окном прибывала ночь.

Алексей Ильич явственно так, зримо представил, как в этой непроглядной ночи мчится (именно мчится, другого слова не подберешь), похожий, должно быть, на страшное сказочное чудовище, их освещенный ог-

нями поезд, унося с юга на север не просто несколько сотен пассажиров, не просто случайных попутчиков, но судьбы людей. Ведь всякое перемещение человека в пространстве — это всегда и перемещение, изменение судьбы. Пусть ничтожно малые, но перемены. А иногда и резкие, крутые перемены. Да и кто знает, какой поворот человека ожидает послезавтра лишь потому, что вчера он был в Ленинграде, а завтра будет в Угорске. Может быть, поэтому в русской литературе так много дорог. И это вовсе не формальный прием, не отвлеченный символ. Вот даже у такого в общем-то статичного писателя, как Чехов, едва ли не лучшие вещи связаны с дорогой, с перемещением героев в пространстве. А у Чехова вряд ли могло быть что-нибудь случайное, необязательное. Алексей Ильич тоже любит дороги с их неудобствами и никогда не жалеет времени, проведенного в дороге, хотя многие считают это время потерянным, оттого и предпочитают не ездить, а летать. Но разве неожиданные встречи, новые люди не компенсируют эту мнимую потерю времени?..

— О чем задумались, если не секрет? — спросил Виктор.

— Сiju вот и думаю, что в любовь все-таки надо верить. Пожалуй, вера — это и есть сама любовь.

— Ну да, — иронически усмехнулся Виктор. — Вера, Надежда, Любовь. Красиво и бесполезно.

— Красивое не бывает бесполезным. Не случайно люди всегда мечтали о красивом.

— Вот именно, красивые мечты на фоне серой реальности.

— Реальность — это сам человек, — сказал Алексей Ильич. — А кстати, Виктор, о чем вы мечтаете? Если тоже не секрет.

— Как-то не задумывался. Ну... Мечтаю, например, иметь «Волгу». Еще лучше «мерседес» или «тойоту». — Он вздохнул и снова усмехнулся, и его усмешка на этот раз была какая-то вымученная, ненастоящая. Однако Алексей Ильич не заметил этого. — Кажется, как говорится, свое. Кому любовь, а кому сберкнижка. Вы, конечно, считаете, что все люди должны мечтать о благе человечества, о всеобщем мире на земле...

А он все-таки принимает меня за писателя, подумал Алексей Ильич. Не поверил. А писателей считает пустыми мечтателями.

— Да нет,— сказал он.— В общем-то, мечты человека действительно ограничены повседневными житейскими потребностями. Вы правы в том, что человек больше все же думает о благополучии своих близких. Вероятно, мы еще слишком молоды, чтобы каждый из нас осознавал себя частицей всего человечества и чтобы проникся общими для всех заботами.

— Проникся, а что дальше? Еще взрослеть, чтобы дорасти до осознания себя частицей... Вселенной?

— Ну, это вряд ли нам удастся. Мы погубим себя прежде, чем осознаем.

— Пустое,— сказал Виктор.— Допустим, я дорос, осознал себя частицей необъятного целого, проникся любовью к этому целому, мне стали близки и понятны заботы неведомых существ, обитающих на какой-нибудь планете Икс. Прекрасно?..

Алексей Ильич молчал. Он выжидал, что Виктор скажет дальше. Он не уловил хода его рассуждений.

— Черта с два! Тут-то и столкнутся мои интересы, интересы моих близких, о которых я обязан заботиться и так далее, с интересами этих существ...

— Каким же образом? — удивился Алексей Ильич. Мысль эта была для него неожиданной.

— Да мало ли. В результате каких-то там вселенских катаклизмов планета Икс сойдет со своей орбиты, например, и прямым ходом понесется на нашу грешную Землю. При столкновении должна погибнуть именно наша Земля. Взорваться, лопнуть, как воздушный шарик. А планета Икс останется целехонькой вместе со своими червеподобными, но разумными существами. Но можно уничтожить эту планету на дальних подступах к Земле. Разумеется, вместе с ее обитателями. И тем самым сохранить себя. Делайте выбор.

— Абсурдная проблема,— сказал Алексей Ильич.— Сюжет для фантастов.

— Почему абсурдная? Сегодня абсурдная, а завтра, глядишь, реальная.

— Если когда-нибудь такое станет возможным в принципе, найдется и разумное решение. Безвыходных положений не бывает. Вы рассматриваете свою гипотетическую ситуацию с позиций сегодняшнего человека, с позиций его психологии и морали,— проговорил Алексей Ильич чуть назидательно.— А человек будущего, на которого летит планета Икс, не будет стоять перед проблемой выбора в нашем понима-

нии. Он поступит так, как диктует ему его мораль, его понятия о нравственности и долге в полном соответствии с его психологией. И потом вы не учитываете, что перед обитателями планеты Икс также будет стоять проблема выбора. А два разума как-нибудь управятся с решением одной проблемы.

— В том-то и дело,— возразил Виктор,— что проблема у каждого своя, потому что каждый мечтает только о своем собственном бессмертии, цепляется за свою жизнь. Знаете поговорочку: а жить-то надо, надо жить. Тут все: и психология, и мораль, и философия.

— Не совсем так. Несмотря на кажущуюся примитивность, человек — существо очень сложное. Хотя бы взять вашего друга. Вот вас удивляют его поступки в отношениях с женой, они вам кажутся нелепыми, противоестественными, верно?

— Допустим...

— А для него это норма поведения,— сказал Алексей Ильич.— Он просто не может поступать иначе.

— А если может, но не хочет?

— Тем более. Значит, его понятия о нравственности не позволяют ему поступать так, как поступают все. Он живет в согласии со своей моралью, по своим внутренним законам.

— Не живет, а дает жить другим.

— Мне трудно спорить, вы своего друга знаете лучше, чем я. То есть я не знаю совсем. Хороший, уважающий себя врач никогда не будет ставить диагноз заочно, со слов других. И я нахожусь примерно в таком же положении врача-заочника. Но почему бы не допустить, что уровень развития психики вашего друга просто выше нашего с вами?

— Вы случайно не верующий? — спросил Виктор.

— Почему вы так подумали?

— Рассуждаете как-то... А теперь, говорят, даже модно быть верующим. Ударили по правой щеке — подставь левую. Да ст этих добреньких и высоконравственных вся мерзость на земле. Им в рожу плюют, а они утираются чистеньким платочком и говорят: «Благодарю вас».

— Это уже софистика, Виктор. Почему бы не предположить самое простое и ясное — ваш друг любит свою жену. А любовь...

— Сказки для восьмиклассниц,— рассмеялся Виктор.— Да и то сегодняшние восьмиклассницы пре-

красно знают, что в жизни нужна не любовь, а «выездной» муж.

Алексей Ильич не успел ничего возразить. В репродукторе, запрятанном где-то в тонкой стенке вагона, вдруг возник взволнованный женский голос: «Товарищи пассажиры! Срочно необходима медицинская помощь ребенку. Если среди вас есть врач, просим пройти в одиннадцатый вагон, ребенку очень плохо...»

— Вот так-то,— проговорил Виктор, поднимаясь.— Едем себе и едем, а в соседнем вагоне несчастье. Найдется врач, как вы думаете?

— Найдется,— убежденно сказал Алексей Ильич.

— А не сходить ли нам в вагон-ресторан, поужинать?

— Не хочется. Вы идите...

— Да, я схожу. Может, кого-нибудь встречу.

Он вышел. Едва за ним закрылась дверь, Алексей Ильич вышел вслед за Виктором.

Возле ребенка, мальчика лет шести-семи, уже хлопотали две женщины. Одна из них, как оказалось, была врач, а вторая — медсестра. Та, которая была помладше (медсестра), увидав Алексея Ильича, что-то шепнула женщине-врачу. И они отошли в сторону.

У мальчика был тяжелейший эпилептический приступ. Лицо уже посинело, изо рта, пузырясь, стекала розоватая пена. Мальчик был в коматозном состоянии, опасном для жизни.

— Спасите его, спасите, люди добрые! — кричала на весь вагон обезумевшая молодая мать.

— Ложку! — потребовал Алексей Ильич, протягивая руку, как это делает хирург, когда требует скальпель или иглу. Он как бы забыл, что это вагон поезда, а не клиника.— И уберите маму, она мешает. Успокойте ее.

Он с трудом разжал зубы мальчика, и тот забился в конвульсиях. Медсестра придержала его, чтобы не ударился головой. Спустя несколько минут мальчик успокоился, задышал ровнее, но пульс был слабый, еле прощупывался.

— Нужна инъекция...— пробормотал Алексей Ильич.

— Я сейчас сделаю,— сказала сестра.

— А вы кто?

— Я работаю медсестрой на детской неврологии.

— Ну и отлично. Где мамаша?

— Я здесь.

— Ребенок давно болен?

— Мы не знаем... Мы заметили с полгода назад, ночью...— Она всхлипывала и с надеждой смотрела на Алексея Ильича, верно угадав в нем спасителя своего сына.

— Где он лечится? Его нужно немедленно госпитализировать.

— Нам сказали, что его лучше всего отвезти в Ленинград, к профессору... Ой, забыла фамилию. Я посмотрю, у меня все записано...

— Не надо, я знаю,— сказал Алексей Ильич. Он понял, что речь идет о профессоре У-ве.— Ну и что, вы показывали мальчика профессору?

— Вот едем оттуда,— вздохнула мать.

— Что вам сказал профессор?

— Мы не попали к нему, нас не приняли.

— Как это не попали? — Алексей Ильич знал, что профессор У-в никогда и никому не отказал в помощи, что, бывает, он сутками не уходит из клиники, если этого требует состояние больного ребенка.

— У нас не было направления. А направление нам не дали,— говорят, что не имеют права. Да мы бы сколько угодно заплатили, если бы только знать кому...

— Пойдите вы! — резко сказал Алексей Ильич.— Кто вам говорил, что нужно платить?

— Все так говорят.

— Все, всё, всегда! Ерунда какая-то. Вы видели профессора, вы разговаривали с ним?

— Не пустили же нас. Сначала в регистратуре спросили направление, а потом регистраторша посоветовала обратиться к доктору, который там как раз был. Такой молодой мужчина... А он тоже сказал, что без направления профессор не принимает...

— Он сказал, она сказала! — уж вовсе выходя из себя, воскликнул Алексей Ильич.— Вы же мать и у вас тяжело болен ребенок! Как же вы могли уехать? Да...— Он махнул рукой, вдруг подумав, что все, в общем-то, понятно, что для этой отчаявшейся женщины профессор — бог, до которого простому смертному не добраться, а откуда ей знать, что профессор У-в — обыкновенный человек, и Человек к тому же именно с большой буквы. Ведь как раз этого-то ей никто не сказал.— Где вы живете?

— В Угорске.

— Как только завтра приедете домой, немедленно ступайте в горздрав, вам дадут направление.

— Мы были там.

— Ступайте прямо к заведующему, — раздраженно сказал Алексей Ильич.

— К нему тоже не попасть.

— Да вы что, с Луны свалились? Вам дадут направление, вы меня поняли? Как ваша фамилия?

— Сысоевы.

— А мальчика как зовут?

— Витя.

— Ну вот и хорошо. — Он повернулся к сестре: — Вы можете побыть еще некоторое время возле ребенка? Я найду попозднее. Или позовете меня, если понадобится. Я в девятом вагоне.

— Конечно, побуду, Алексей Ильич. Я еду в соседнем купе.

Он даже вздрогнул от неожиданности. Уж никак он не мог предположить, что его могут узнать в поезде.

— Вы меня знаете?

— Я же работаю на шестом отделении, — сказала она.

— Вот как? — удивился он. — Почему же... Впрочем, извините. — Ему сделалось стыдно, и он поспешил уйти, напомнив, что едет в девятом вагоне.

В тамбуре его догнала мать.

— Не знаю, доктор, как и благодарить вас...

— Это мой долг.

— Вот, возьмите... — И она протянула ему двадцатипятирублевую бумажку.

Он вспыхнул.

— Уберите деньги, — сказал он. — И не смейте никогда... Не вздумайте предлагать профессору, он просто выгонит вас вон.

— Простите, я хотела как лучше. Все берут...

— Не все! А те, кто берет, сукины дети. — Он едва не сказал «неврофиты». — И запомните, что берут потому, что дают. — Он распахнул дверь и шагнул на переходную площадку.

Виктор еще не вернулся из вагона-ресторана, и Алексей Ильич подумал, что это хорошо, — не надо объясняться.

Странно, конечно, но ему не хотелось, чтобы Виктор знал, куда и зачем он выходил.

Виктор вернулся почти тотчас за ним.

— Славно поужинал, — сказал он, улыбаясь. — На-

прасно вы не пошли. Был шашлык из нототении. Никогда не пробовали? И дружка одного встретил, поболтали малость. Да, говорят, что в поезде нашелся какой-то знаменитый врач, чуть ли не академик...

— Так уж и академик,— усмехнулся Алексей Ильич.— А что врач нашелся вообще, в этом нет ничего удивительного. В поезде несколько сот человек,— по теории вероятности, обязательно есть и врач. Наверно, и не один.

— Есть-то есть, а мог и не объявиться.

— Не мог,— возразил Алексей Ильич.— Это долг врача.

— Э-э! — рассмеялся Виктор.— Долгов у нас много, и разных, только отдавать их не любим.

— А вы пессимист.

— Я реалист. Я делаю реальную работу, ем реальный хлеб, я даже сны вижу реальные...— Тут Алексею Ильичу показалось, что Виктор усмехнулся.— Впрочем, со сном у меня неважно.

— Бессонница?

— Черт его знает.— Виктор пожал плечами.— Спать хочу, а не уснуть.

— Бывает. Хотите, дам таблетку? Сразу уснете.

— Тоже плохо спите?

— Держу при себе на всякий случай...

— А где берете? — спросил Виктор усмешливо.— Ведь снотворное по рецептам с круглой печатью.

— Все вам скажи! Есть возможность.

— Вот так везде: у одного есть возможность — у другого нет. Одного женщины просто любят, а другого... доят. Ладно, давайте таблетку, хоть усну.

— На женщин-то вам, кажется, обижаться не приходится? — ехидно сказал Алексей Ильич и достал таблетку этиминала натрия.

— Не жалуюсь,— ответил Виктор. Он взял таблетку и проглотил ее, даже не запивая.

— Запейте,— сказал Алексей Ильич.— Горько.

— Жизнь, она горчее, и то ничего. Думаете, подействует?

— Ложитесь и через десять минут будете спать, как младенец. Я выйду пока, укладывайтесь.

Он вышел и направился в одиннадцатый вагон. Мальчик спокойно спал, а мать и медсестра тихо разговаривали. Надо было спросить, подумал Алексей Ильич, как хоть зовут медсестру, снова чувствуя себя виноватым. Однако спросить постеснялся.



— Все в порядке, Алексей Ильич,— доложила она.— Вы не беспокойтесь, я поменялась местами, так что мы теперь совсем вместе.

— Хорошо,— сказал он.

— Извините меня, пожалуйста, я подумала...

— За что я вас должен извинять?

— Ну... Я знала, что вы едете в этом поезде...

— Вы сделали все правильно. Впрочем...— Он вдруг догадался, для чего позвали именно его.— Вы могли обойтись без меня.

Сестра покраснела.

— Вот и объяснили бы маме, что Иван Андреевич принимает всех.

— Я недавно работаю там.

— Ладно. Спокойной ночи. А вы,— обратился он к матери,— завтра же, слышите, ступайте в горздрав!

Она снова вышла за ним в тамбур:

— Доктор, скажите честно, это... лечится? Нам говорили, что это на всю жизнь...

— Во-первых, меньше слушайте, что вам говорят; во-вторых, я не специалист по эпилепсии. Вам все объяснит профессор У-в. Идите к ребенку.

— А Валентина Ивановна сказала, что вы тоже знаменитый и что к вам тоже не попасть.

Ага, подумал Алексей Ильич, сестру зовут Валентина Ивановна. Не выдержала, рассказала обо мне. И разумеется, убедила, что через меня можно выйти на профессора. Мудрецы, подумал он и улыбнулся невольно. А помочь, разумеется, надо. Похоже, у мальчика трудный случай.

— Скажите, у ребенка часто бывают приступы?

— Теперь стали часто.

— Ну как часто?

— Да почти каждую ночь,— всхлипнула мать.— Мы с мужем спим по очереди, чтобы не заспать.

— А в Угорске что же, не лечили совсем?

— Выписывали таблетки. Но вообще-то говорят, что нет специалиста.

— Понятно. Словом, как договорились,— сказал Алексей Ильич.

— Вот если бы вы записочку профессору написали...

— Никакие записочки, мамаша, не нужны, я уже говорил. Профессор примет вас обязательно сам.— И это тоже была правда: У-в в консультативные дни.

лично осматривал каждого ребенка и беседовал с родителями.— Вам не о чем беспокоиться.

— Спасибо, доктор. А к вам, если что, зайти можно?

— Можно в любом случае. Валентина Ивановна объяснит, как меня найти. Да, но я буду в Ленинграде дней через десять.

— Это ничего,— сказала мать.— У меня там живет двоюродная сестра, я все равно не уеду, пока Вита в больнице.

Когда Алексей Ильич вернулся к себе, Виктор действительно спал. И даже посапывал, как ребенок.

## VI

Приятель обещал встретить Алексея Ильича, у него была мысль прямо здесь, у поезда, и решить вопрос с направлением. Однако приятеля почему-то не было.

Виктор вышел вместе с ним из вагона и теперь тоже оглядывался по сторонам.

— По-моему,— сказал он,— за вами во-он та машина.— И он показал на «Волгу» с надписью: «Медицинская помощь» на борту.

Из машины вышел водитель и заспешил к поезду.

— А почему вы решили, что это за мной? — удивился Алексей Ильич.

— Все очень просто, доктор.— Виктор улыбнулся и подмигнул.— Счастливы вам. Как говорится, было приятно познакомиться.

— Раз вы уверены, что это за мной, поедemте вместе? — предложил Алексей Ильич.

— Мне рядом,— сказал Виктор.— Спасибо.— И быстро пошел к автобусной остановке.

Это называется поиграли в жмурки, едва не рассмеялся Алексей Ильич. Не такой уж он простачок, как мне показалось. Интересно, он раскусил меня до истории с мальчиком или после? Скорее, до, потому и ушел в вагон-ресторан, когда объявили по радио, что нужна помощь врача.

Подошел водитель медицинской «Волги».

— Простите, это вы Алексей Ильич? — спросил он.

— Да.

— Василий Федорович очень просил его извинить, что не смог сам встретить. У него срочная операция, но уже кончается. Я шофер, отвезу вас. Давайте портфель.— Он протянул руку.

— Что вы, что вы! — воспротивился Алексей Ильич. — Что-нибудь серьезное?

— Несчастный случай на руднике.

— Бывает?

— Все бывает, — сказал шофер. — Рудник, он и есть рудник.

Они сели в машину.

— Нам далеко? — зачем-то спросил Алексей Ильич.

— Около двадцати километров. Тут ведь два города — старый и новый. А вы разве никогда не были у нас?

— Нет.

— А я подумал... С Бабиным разговаривали, я и подумал, что вы знакомы.

— В одном купе ехали, — пояснил Алексей Ильич. — А вы его знаете?

— У нас все его знают. Хороший мужик. Он главный механик на первом руднике. Говорили, что будто уволился и совсем уехал. А я так и знал, что вернется. Вот с женой ему сильно не повезло. Хорошим всегда не везет.

Алексей Ильич начал догадываться, в чем дело, но все-таки поинтересовался:

— А что у него с женой?

— Да понимаете, женился, а жить негде. Его в институте кем-то оставляли, а он сюда, на север, махнул, чтобы на квартиру заработать. Квартиру-то купили, только она ему хвост показала. Так рассказывают, я сам не спрашивал. Ему бы, конечно, ее под зад коленом, а он оставил ей квартиру и опять сюда. Умора, если подумать. Да здесь побудете, и не такого наглядите. Север. — Он вздохнул. — Ну а бабы, они разные попадают. Кому ничего, повезет, а кому и сволочь достанется. Это как в лотерее. Но Бабина жаль, — настоящий мужик. Я работал у него на руднике, постом мне по здоровью запретили, вот и пересел на легковую. Уезжать-то на Большую землю рано. Полтора года надо прокантоваться еще. Мы куда, прямо домой к Василию Федоровичу или в больницу вас подбросить?

— Давайте в больницу.

— И вот скажите, почему бабы все командуют? Кажется, сколько их, бери любую, а оно вон как получается в жизни...

— Наверное, любит жену, — сказал Алексей Ильич

рассеянно. Он думал о том, что ошибся самым непро-  
стительным образом. Вот тебе и знаменитый врач, ус-  
мехнулся он, а понять человека не сумел. Он искрен-  
не верил, что никогда не ошибается в людях, и всегда  
считал, что как бы ни был сложен человек вообще, в  
принципе сложен, поступки его, реакцию на тот или  
иной раздражитель можно предугадать. Что касается  
этого Виктора Бабина, то он безусловно человек с до-  
статочно высоким групповым статусом, пожалуй, что  
и лидер по своей натуре, а такие люди крайне редко  
оказываются под влиянием других, тем более уж под  
влиянием женщины. И все же...

— В том-то и дело,— сказал шофер,— что мы  
слишком много их любим. А они пользуются. Но с  
другой стороны... Взять хотя бы мою. Ее хлебом не  
корми, только дай причину для воркотни. И бурчит,  
и бурчит, аж в голове звон идет. А уедет, останешься  
один — тоска зеленая берет. Да оно ведь, если поду-  
мать, бурчат-то они не зря. У них свои понятия о  
жизни, получается, что вроде они и правы. Кажись,  
приехали.— Он ловко, с каким-то даже шиком подка-  
тил к подъезду нового и красивого, как отметил Алек-  
сей Ильич, здания.

— Это и есть больница?

— Ну. Недавно построили. Василий Федорович до-  
бился. Раньше-то не больница была, а забегаловка. А  
теперь!

Приятель встретил Алексея Ильича в вестибюле,  
как раз закончилась операция.

— С приездом, старик. Я рад. А почему ты не до-  
мой?

— Да вот захотелось взглянуть на твой медицин-  
ский храм.

— Храм не храм, а показать не стыдно. Как выра-  
зилась одна санитарка, Елисеевский дворец! — Он рас-  
смеялся.

— Почему именно Елисеевский? — удивился Алек-  
сей Ильич.

— Теперь все телевизор смотрят, слышала что-ни-  
будь про Елисейские поля, а в Ленинграде побывала  
в Елисеевском магазине, остальное — собственная фан-  
тазия. Ну что ж, пойдём, покажу тебе Елисеевский  
дворец.

Больница произвела на Алексея Ильича очень хо-  
рошее впечатление, многому он искренне позавидовал,  
особенно, конечно, оборудованию, медицинским при-

борам, о которых в институте они могли лишь мечтать. Да и помещения — не чета институтским: простор, идеальная чистота, палаты маленькие — на трех человек, в каждой туалет и умывальник с душем.

— Да,— говорил он, покачивая головой,— шикарно живете. В такую больницу можно и президентов принимать, не стыдно.

— У нас закон, старик: к вечеру дня поступления больного должны быть готовы все анализы, так что лечить начинаем сразу, без привычной раскочки. Вот специалистов, настоящих специалистов, не хватает. В общем-то, едут к нам охотно, предложений навалом, деньги немалые здесь платят и с жильем никаких проблем, но мы кого попало не берем. Сам понимаешь, жизнь на севере нелегкая, работа у людей тяжелая, и мы обязаны быть на уровне столичной медицины. А может, и выше.

— Куда ты замахнулся! — улыбнулся Алексей Ильич.

— А что ты думал?.. У нас уже сейчас работают два доктора наук, четыре кандидата. Еще двое скоро будут защищаться.

— Смотри-ка...

— Мы такие! — с гордостью сказал Василий Федорович. — Потом покажу водолечебницу с бассейном, слюнки у тебя потекут. Вот сколько, например, ты имеешь в месяц в своем институте?.. Ладно, и так знаю. У нас ты получал бы в полтора-два раза больше. А насчет клинической практики...

— Послушай,— перебил его Алексей Ильич. — Тебе знакома фамилия Сысоевы?

— А что такое?

— В поезде, понимаешь, приступ у ребенка был, тяжелый. Они из Ленинграда возвращались. Вы что, направление к У-ву не можете дать?

— Не можем,— развел руками Василий Федорович. — Я, например, не имею права. Только через облздрав, а они запрашивают место в министерстве. Вон как вы себя обставили, на танке не подступишься!

— Ладно тебе бюрократизмом заниматься. Выпиши направление, я договорюсь с профессором У-вым. Возьмет ребенка.

— Смотри не подведи. А может, нет смысла к вам направлять?

— Ты с ума сошел!

— Я просто... Дело в том, что есть решение об от-

крытии на базе нашей больницы специальной клиники неврозов и детского отделения при ней. Сейчас собираем кадры. С руководителем хуже, хотя должность профессорская. У тебя на примете никого подходящего нет?..

— Ты меня пригласил отдохнуть или?..

— И отдохнуть тоже,— рассмеялся Василий Федорович.— Прощу!

Они как раз остановились у двери с табличкой: «Главный врач».

Кабинет также поразил Алексея Ильича, и он подумал даже, что, пожалуй, никогда не видел таких просторных, таких удобных для работы кабинетов. Здесь было все необходимое для работы, а когда Василий Федорович включил телевизор и на экране возникла операционная (шла операция), Алексей Ильич не смог подавить вздоха.

— А что за сложная операция была сегодня у тебя? — спросил он.

— Не было у меня операции, старик. Я ведь не хирург, как ты знаешь. Но ты мне был очень нужен здесь, извини.

— Выкладывай, что у тебя.

— Не проконсультируешь двух больных? Наши не могут разобраться, а приглашать кого-нибудь специально... Неизвестно, кто приедет. Вы же, корифеи, не ездите на такие консультации, вы только к высокому начальству выезжаете...

— Ладно, хватит. Где истории болезни?

— На столе справа.

— Хитер ты, брат Василий.

— Жизнь заставляет.

Алексей Ильич полистал истории болезни.

— Энцефалограммы есть?

— Есть. Мы приглашаем из области одного специалиста, он смотрел, но мне кажется, что он такой же специалист, как я шофер. Знаешь, жена уговорила купить «жигуленка», я на права сдал и в первый же день на столб наехал. У меня аллергия к машинам. А у тебя «Волга»?

— Нет у меня машины,— отчего-то раздражаясь, сказал Алексей Ильич.— Энцефалограммы давай и своих больных.

— Больные в коридоре ждут, а энцефалограммы сейчас принесут.— Василий Федорович, перегнувшись через стол, нажал какую-то кнопку, и на одном

из телевизионных экранов (всего их было четыре) тот час возникла женщина.— Зинаида Мокеевна,— сказал он,— скоро энцефалограммы принесут?

— Понесли,— ответила она.

— Хорошо, спасибо. А ты даешь, старик! Даю гарантию, что здесь через год будешь иметь «Волгу».

— Слушай, пошел ты к черту! Показывай своих больных, а я сегодня же уеду.

— Знаешь анекдот?.. Сообразили мужики на троих, вышли, и один из них собрался уходить. А те его за фалды: куда, дескать, а пообщаться?..

— С тобой пообщаешься!

— Я и толкую тебе: давай к нам. Когда еще ты станешь в Ленинграде профессором, а у нас — сразу. А охота? А рыбалка? Да от одной природы обалдеешь, старик. Между прочим, квартиру в Ленинграде бронируют, учти. Здесь сразу получаешь трехкомнатную с удобствами в прекрасном доме. Вон напротив, повернись к окну. И даже с мебелью и с цветным телевизором, если пожелаешь. А не пожелаешь, тащи свою мебель.

— Телевизор-то японский? — усмехнулся Алексей Ильич.

— Для такого, как ты, специалиста и японский достанем. Хоть австралийский. Поработаешь лет пять, создашь свою школу, старик, глядишь, в членкоры изберут... Чем ты у себя занимаешься сейчас?.. Бездельников от бессонницы лечишь? А на севере...

— Ты замолчишь? Мешаешь работать.

— И полная самостоятельность,— сказал Василий Федорович.

— Какая уж там самостоятельность, если ты будешь моим начальником!

— Номинально, старик, номинально. И скажу по секрету, только временно. Есть проект организации института.

— Какого еще института?

— Регионального, в системе Минздрава Союза. На севере специфические условия труда и жизни, так что... Да, я одного прекрасного мужика из Москвы вытащил, на днях приезжает. Молодой, перспективный, очень интересную диссертацию защитил по проблемам сензитивности...

— Слушай, сангвиник, мне это начинает надоедать.

— Думаешь, мне не надоело уговаривать каждого

мало-мальски стоящего специалиста? А ты и есть «мало-мальски», хотя и считаешься чуть ли не корифеем. Не обижайся, старик.

— На дураков не обижаются,— буркнул Алексей Ильич.

— Принимаю к сведению.

— А кстати, каким образом ты сам здесь оказался?

— Тоже приехал поохотиться и порыбачить,— сказал Василий Федорович и подмигнул.— Восьмой год рыбачу.

— Много наловил?

— С тобой вместе нормально.

— Меня еще поймать надо,— возразил Алексей Ильич.

— Это дело техники, старик. Учти: Ахметов, который первый придет, попал под обвал, трое суток был завален.

— С медикаментами у вас как?

— Любые.

В дверь постучали. Вошла женщина, которую, как показалось Алексею Ильичу, он видел в вестибюле больницы.

— Здравствуйте, Алексей Ильич,— кивнула она и улыбнулась.— Вот энцефалограммы. Мне можно остаться?

— Тамара Алексеевна — лечащий врач,— сказал Василий Федорович.

— Да, да, конечно,— буркнул Алексей Ильич и развернул энцефалограмму Ахметова...



## Сразу после войны

---



**И**ногда задумаешься: отчего вдруг пробуждается память, по какой команде?..

Довольно часто я бываю рядом с домом на Карповке, где когда-то, очень давно, я жил с родителями и братьями. Отсюда ушел отец, чтобы никогда уже не вернуться. В сущности, во дворе этого дома началась жизнь. А двор был прекрасный, с фонтаном посередине. Теперь фонтан не работает. Должно быть, в городе развелось много фонтанов, и этот сделался никому не нужным. С площади Льва Толстого я вижу окна бывшей нашей квартиры. В одно из этих окон я едва не вывалился (пятый этаж), когда мне было четыре года. Мать буквально поймала за ноги...

Реже, но тоже часто, я бываю на проспекте Газа. Здесь, почти на углу Обводного, есть сквер. Это как раз напротив новой проходной «Красного треугольника». Так вот, на месте нынешнего сквера до войны стоял уже тогда ветхий деревянный дом в два этажа. На втором этаже этого дома (в первом этаже была зубная поликлиника) мы и жили: мать, я и мои братья. Без отца. В отличие от двора на Карповке здешний двор вполне можно назвать трущобой. Тесный, грязный, с обязательными ленинградскими поленищами, со зловонной помойкой, которой пользовались не только жильцы, которых было много, но и поликлиника. Именно в этом дворе я учился драться, врать, ездить на «колбасе». То есть это была настоящая дворовая школа жизни, и дворник наш — здоровый крупный татарин — с полным правом мог бы выдавать нам аттестаты зрелости...

Господи, а сколько же раз за сорок-то лет я проезжал и даже проходил мимо красного кирпичного дома на проспекте Обуховской Обороны, также двухэтажного и также старого-престарого И всякий раз, проходя-проезжая мимо, я ненароком, как бы случайно, заглядывал в окна первого этажа (как смотрю на окна в доме на Карповке), в те самые окна, возле одного из которых — крайнего, углового, — стояла моя кровать, на которой я проспал два года...

И ничего.

То есть вроде бы я всегда и думаю, что вот здесь, на Карповке, я начинал жизнь хорошим, послушным ребенком из благополучной интеллигентной семьи; вот здесь, на месте сквера, я продолжил дворовое образование, но уже в роли обыкновенного ленинградского огольца, в меру хулиганистого, в меру вороватого (красть по мелочам мы лазали на территорию «Красного треугольника», благо дыр в заборе хватало, а крали мы неизвестно что, какие-то «штуки», совершенно нам ненужные), еще не осознавшего до конца, что такое безотцовщина; в этом старом особняке на проспекте Обуховской Обороны (стыдно признаваться, но я до сих пор не знаю, что это за особняк, кто построил его, кому он принадлежал до революции, а узнавать теперь специально, чтобы похвастать своей эрудицией, как-то не лежит душа) я прожил два года, очень важные для меня два года, однако никогда во мне не пробуждалось желания написать о доме на Карповке, на проспекте Газа или о доме на прос-

пекте Обуховской Обороны, который тогда назывался проспектом Крупской. Не о домах, где я жил, разумеется, идет речь. О времени.

Теперь понимаю, как много потерял, не затруднив раньше себя воспоминаниями. Ладно, детство с его розовой пеленкой ушло навсегда. Да и было оно у всех у нас, ленинградских огольцов, очень похожее, а наша память наподобие магнитной ленты — никакая запись не сохраняется в ней вечно. Время стирает все. Но два-то года, прожитые в красном кирпичном доме на проспекте Обуховской Обороны, ведь они, как я понимаю теперь, были едва ли не самыми важными в моей жизни! Ибо именно тогда, на пороге взросления, начиналось и наше становление, закладывался фундамент наших личностей. Пожалуй, только армия может сравниться по значению в моей жизни с теми двумя годами, которые я провел в «ремеслухе». Почему же я не собрался раньше написать об этих годах?...

Два и три — итого пять из прожитых пятидесяти четырех.

А может, все правильно. Может, раньше я еще не понимал так, как должно понять и прочувствовать, насколько важны были для меня эти два года, и память пробудилась как раз вовремя, когда не все стерлось, но уже отсеялось лишнее, мелкое, необязательное, когда пришло понимание. Может — кто знает? — это и есть та единственная точка на запутанной линии жизни, когда можно сказать, что настало время.

А дело было так.

Мне понадобилась справка, что я обучался в 1945—1947 годах в ремесленном училище, а после окончания ремесленного (июнь сорок седьмого) некоторое время работал на заводе кузнецом, и я поехал в отдел кадров этого завода. Поехал без всякой надежды получить нужную справку. Шутка ли, прошло почти сорок долгих лет, а факт моего ученичества и моей недолгой работы на заводе отнюдь не является фактом исторического значения, поэтому, так считал, так думал я, сведения об этом периоде моей биографии не хранятся в архивных фондах. Проще сказать, я поехал не столько затем, чтобы получить эту справку, сколько затем, чтобы получить справку о том, что «архивы не сохранились». Увы, таким справкам у нас иногда доверяют больше, чем человеку. Но дело сейчас не в этом. Дело в том, что я ошибся.

Архивы прекрасно сохранились. Более того, мне объяснили, когда я удивился, что они, эти архивы, хранятся вечно. Не будет меня, не будет моего сына, не будет его детей, а сведения о том, что я, такой-то такой-то, учился тогда-то в таком-то ремесленном училище, по-прежнему будут храниться. Выходит, что жизнь каждого из нас все-таки и факт исторического значения?..

Об этом стоит задуматься.

Принесли мое «Личное дело». Когда работница отдела кадров, симпатичная, терпеливая женщина, открыла ничуть не пожелтевшую папку, я увидел себя четырнадцатилетним подростком (кстати, других фотографий того времени у меня нет) в форменной фуражке с молоточками, в форменной же гимнастерке... Безусловно, это был я, но в то же время как бы и не я, но кто-то другой... То есть я смотрел с фотографии на себя теперешнего, смотрел на дедушку из далекого прошлого, когда был я хоть и старше своего внука, однако и много младше своего сына. Когда время от времени показываешь кому-нибудь семейный альбом и встречаешь на его картонных страницах себя начиная с трехмесячного возраста — это одно, а когда видишь себя четырнадцатилетним мальчишкой впервые за сорок лет (точнее, через сорок лет) — это совсем-совсем другое. Право же, в этом есть нечто мистическое, нечто такое, что не укладывается в сознании. Мне даже не захотелось попросить у милой женщины разрешения взять фотокарточку на память или хотя бы переснять ее. Пусть хранится вечно в одном-единственном экземпляре, а я когда-нибудь приду снова в отдел кадров и, сделав вид, что мне снова потребовалась справка (нам ведь часто требуются всякие справки), посмотрю на себя. Да, я непременно так и поступлю, когда внуку исполнится столько, сколько было мне тогда.

Я спросил, можно ли полистать «дело», и мне разрешили.

Тут хранились разные официальные бумаги — копия свидетельства о рождении (теперь могу признаться, что в этой копии допущена «ошибка» — прибавлен один год: иначе меня не приняли бы в РУ, потому что в сорок пятом мне было на самом деле не четырнадцать лет, а только тринадцать), анкета (подумать надо!), автобиография, характеристики, из которых я узнал о себе много такого, чего не подозревал

даже, копии приказов о зачислении, о перемещении и т. д., докладные, объяснительные, медицинские сведения и мое... изложение (оценка — четыре), которое я писал на вступительных экзаменах...

Пока я внимательно изучал бумаги, женщина из отдела кадров наблюдала за мной, я постоянно чувствовал на себе ее любопытный взгляд, а когда я, вздохнув, закрыл папку, она спросила:

— Ну что, интересно было, верно?..

— Еще бы! — сказал я искренне. — Ведь это...

Сейчас мне ясно, что именно в этот момент пробудилась наконец моя память и появилось желание зайти в тот красный кирпичный дом, в котором я прожил два года. Возможно, и написать что-то. Что написать — я еще толком не знал. Вообще.

— Написали бы, — проговорила женщина (она откуда-то знала, что я писатель). — Нынешней молодежи это было бы полезно.

Я промолчал.

А в дом меня не пустили. Теперь там то ли вычислительный центр, то ли машиносчетная станция. Чтобы войти в дом, нужно выписать пропуск, а чтобы выписать пропуск, нужны какие-то основания. Но какие у меня основания посещать вычислительные центры и машиносчетные станции? Как я смогу объяснить, что мне абсолютно необходимо побывать в этом доме, пройти по его коридорам, постоять у окна, возле которого стояла моя кровать?.. Да может быть, к окну-то и подойти нельзя, потому что на том месте стоит какая-нибудь машина?..

Я перешел проспект Обуховской Обороны, спустился по съезду к Неве, присел на гранитный столбик (когда-то здесь швартовались баржи с дровами и солью), закурил и долго-долго, покуда не затуманились от напряжения глаза, провожал медленно плывущие по Неве последние серые глыбы льда.

Вспомнить надо — ледоход на Неве!

Кто-нибудь, кому повезло увидеть это первым, вбегал, нет, врвался в общежитие и кричал:

— Ладожский лед пошел!

Никто и ничто, никакая официальная сила, будь здесь хоть сам директор училища, не могли остановить нас. Еще бы! Ведь пропустить момент, когда пошел ладожский лед, было бы гораздо большей потерей, чем даже пропустить очередной трофейный фильм. В этом зрелище было что-то магнетическое,

оно влекло, как влечет высота, как влечет незнако-  
мая вода, как влечет нас в террариум, хотя мы бо-  
имся змей... А к тому же на льдинах проплывали раз-  
ные любопытные вещи, оставшиеся от войны, и в са-  
мый первый момент, когда лед только-только пошел,  
можно было кое-что раздобыть, не очень рискуя  
жизнью.

Ладога идет!

Это были позывные, боевой клич, знакомый каж-  
дому ленинградскому мальчишке. Да что мальчиш-  
ке — поглазеть на ледоход собирались и толпы взрос-  
лых людей.

Вот интересно: хоть раз сняли кинооператоры на  
пленку это зрелище?..

Лениво покачиваясь, по Неве медленно проплыва-  
ли последние льдины. А ведь, пожалуй, с весны со-  
рок седьмого года я никогда не выходил на берег,  
чтобы посмотреть на ледоход. Даже в голову как-то  
не являлась мысль пойти и посмотреть. Теперь хожу  
каждую весну.

Однажды кто-то из ребят нашел на льдине алюми-  
ниевый солдатский котелок. Котелок был помят силь-  
но, и в нем была маленькая аккуратная дырка. И  
еще было крупно, явно не рукой гравера, нацарапано:  
«Иванов Петр, 2-й взвод». Не знаю, куда делся этот  
котелок. Скорее всего, мы его забросили за ненадоб-  
ностью. А нам бы его отнести в Музей обороны Ле-  
нинграда, ведь он принадлежал одному из Ивановых,  
которые ценой своих жизней дали нам возможность  
проводить ладожский лед...

Да кто же из нас тогда думал об этом! И в Музей  
обороны Ленинграда мы ходили только затем, чтобы  
п о л ю б о в а т ь с я оружием...

Я поступил в ремесленное в сорок пятом году. Это  
был первый послевоенный набор, и нам, будущим сле-  
сарям, токарям, кузнецам, формовщикам, было по че-  
тырнадцать-пятнадцать лет. Кое-кто был и постарше,  
а кое-кто — и помладше... Но это уже исключение.  
Нас кормили три раза в день, одевали и учили нарав-  
не с ремеслом уму-разуму. И еще были через день  
теоретические занятия по программе семилетней шко-  
лы (в РУ принимали с четырехклассным образованием)  
плюс черчение и спецтехнология. Сейчас, вспоминая  
то время, я думаю: учились ли мы по-настоящему  
или поступали в ремесленное только ради кормежки  
и одежды?.. Трудно сказать. Во всяком случае, нас

учили, старались учить. А может, это и не имело большого значения. Может, главное и заключалось в том, чтобы накормить, обогреть и одеть, оторвать от улицы, от вокзалов и поездов, от соблазнов и уголовщины послевоенных лет армию голодных, оборванных мальчишек и девчонок. Ведь большинство из нас были детьми блокады, у многих вообще не было родителей, а отцов — почти у всех...

Одевали нас очень даже прилично. Гораздо приличнее, чем одевают в нынешних ПТУ. Впрочем, это и понятно, ибо для нынешнего пэтэушника форменная одежда только форменная одежда, он не пойдет в ней в кино или на свидание, а для нас это была одежда вообще, единственная одежда, другой мы не имели. Зато нам и выдавали повседневную и парадную формы.

Повседневная: синие брюки и гимнастерка ха-бэ, ботинки на резиновой подошве, синяя же шинель и к ней меховая безрукавка. Парадная: черные брюки из тонкого сукна, шерстяные гимнастерки защитного цвета, бушлаты, какие носили моряки, ботинки на кожаной подошве и галоши. Ну, шапка-ушанка и фуражка.

Парадную форму мы частично «перелицовывали» на морской лад, а кое-что, что было избыточным, просто продавали...

У бушлатов, например, отрезались пуговицы, и в дальнейшем они крепились уже не нитками, а булавками, чтобы по вечерам и по выходным дням, когда не видит училищное начальство, можно было легко и быстро сменить жестяные белые пуговицы с молоточками на медные с якорями. Галоши, шерстяные гимнастерки и безрукавки (они подходили и под шинель, и под бушлат) мы продавали, что, разумеется, строжайше запрещалось, однако я не помню, чтобы кого-то наказали, хотя всем и все было известно. Да и рынок-то находился буквально под окнами училища. Нам тогда многое, слишком многое сходило с рук, прощалось. На вырученные деньги мы тут же покупали тельняшки, синие форменки и бескозырки или морские фуражки. Оставалось вставить в брюки клинья (не могу понять, где мы доставали на клинья материал?) — и получался распрекрасный клеш. У некоторых клеш доходил чуть ли не до полуметра! Таким вот образом мы из ремесленников превращались в заправских вроде бы матросов или юнг. Жаль толь-

ко, что бескозырки приходилось носить без ленточек, потому что погонов-то у нас не было, а носить бескозырку с ленточками разрешалось лишь при наличии погон. Конечно же, мы обманывали сами себя и таких же, как мы, подростков, но нам-то казалось, что нас все принимают за матросов!..

Выходит, отнюдь не только нынешние подростки любят «униформу» и одеваются по единому образцу. Выходит, мы не совсем правы, когда бьем себя в грудь, доказывая нашим сыновьям, что мы были другими в их возрасте, не как они, подразумевая при этом, разумеется, что были мы лучше их. Да нет, мы были точно такими же, какие бывают все подростки всего мира, с той только разницей, что между нашими мечтаниями и нашими возможностями, увы, лежала глубокая пропасть. А на родителей — вот это верно — полагаться не приходилось. Не было родителей, а если у кого-то и была мать, она, естественно, думала не о том, как бы моднее одеть сына, но как бы накормить его. Еще в отличие от наших сыновей мы всегда, постоянно хотели есть. Просто — есть. И тем не менее жертвовали также и едой, не только меховыми безрукавками и галошами, чтобы выглядеть красивыми, модными (с нашей точки зрения), мужественными, бывалыми и чтобы (из песни слова не выбросишь, иначе какая же это, к черту, песня!) скрыть от незнакомых людей, если уж нельзя скрыть от знакомых, свою принадлежность к «ремеслухе»...

Вот ведь как оно бывает в жизни: теперь-то теплее на душе делается, когда вспоминаешь об этой самой «ремеслухе». Ибо теперь и сознаешь вполне, что у многих из нас оказались бы окончательно изломанными судьбы, когда бы не «ремеслуха». И хочется, невозможно как хочется — честное слово! — низко поклониться всем любимым и нелюбимым нами людям, которые помогли нам стать тоже людьми: мастерам, преподавателям теории, комендантам, воспитателям, поварам и уборщицам... А и поклониться-то, пожалуй, уже некому. Время унесло этих людей.

Как жаль, что лучшие наши намерения мы оставляем на «потом», на «когда-нибудь». Это «потом» чаще всего обсрачивается «никогда»...

Все равно я пишу эту повесть-воспоминание. Пусть она будет моим хотя бы и запоздалым поклоном.



## Хлеб, хлеб, хлеб...

Где-то я слышал такое присловие: деньги любят счет, а хлебушек — уважение.

Вот наш тогдашний дневной рацион.

Завтрак: каша с маслом, макароны с сыром или что-нибудь в этом роде, сахар — 40 граммов, хлеб белый — 200 граммов, чай — сколько душе угодно; обед: первое — рыбное либо мясное, второе, третье, хлеб черный — 300 граммов; ужин: почти всегда винегрет без масла, хлеб черный — 200 граммов.

По тем временам это совсем даже не плохо. Скорее, хорошо. Вряд ли многие ленинградцы в сорок-то пятом году так питались дома. Но беда в том, что ужинали мы очень рано — часов в шесть, и никто, между прочим, не говорил, что на ночь есть вредно. Наоборот, считалось, что вредно ложиться спать с пустым желудком. В детстве матери пугали нас, что, если не будем есть перед сном, приснятся цыгане. А тут в шесть часов дадут несчастную ложку винегрета и на этом закончен день! А между тем в интригующих наши умы и сердца романах (многие из нас были постоянными читателями ближайшей библиотеки имени Крупской, и тогда же я, например, наряду с Конан Дойлом, Джеком Лондоном, Фенимором Купером и т. д. прочитал всего Шекспира, — как говорится, от корки до корки — полное собрание сочинений, но до сих пор не могу взять в толк, почему именно Шекспира, а не Пушкина либо Гоголя) из прежней и заграничной жизни мы читали, что всякие там князья, принцы и прочие маркизы в шесть часов вечера едва собирались обедать. Осенью и зимой еще ничего, еще куда ни шло — темнеет рано, на улицах холодно и мерзко, в бушлатике без меховой безрукавки не особенно разгуляешься, в синей же форменной шинели выходить в город стыдно, поэтому мы отсиживались в общежитии и часам к девяти укладывались спать, на радость коменданту и воспитателю. Эти вечерние часы были временем наших грез, снами наяву. Кто-нибудь, шумно вздохнув, произносит мечтательно и грустно:

— А вот до войны!..

И начинались рассказы о том, как и кто жил до войны. Разумеется, все безбожно ввали. Или не ввали, а выдумывали. Скорее, все-таки именно выдумывали, сочиняли, однако каждый верил тому, что рас-

сказывал. Я думаю, что человек по-настоящему врет один раз, самый первый, а после, рассказывая что-то в десятый, в сотый раз, он уже и сам свято верит, что так и было в действительности, что все это сущая правда. В определенном смысле наши рассказы и были правдой, ибо мы очень хотели верить этому, а правда там, где есть вера...

Из наших рассказов выходило, что до войны все без исключения жили прекрасно. Просто шикарно жили, именно как книжные маркизы и князья. Вставали когда хотели, ели также когда и — главное — что хотели. Пили, например, какао с пирожными, а то и вовсе горячий шоколад, хотя наверняка многие имели о какао смутное представление. Надо заметить, что мы (только ли мы?) немножко идеализировали, приукрашивали довоенную жизнь. Ведь в действительности та жизнь отнюдь не была легкой и во всем прекрасной. Хорошо помню, что мать поднимала меня и старшего брата в шесть утра и вела в ближайший магазин, где у нее уже была занята очередь за мукой, за сахаром или еще за чем-то. Война и особенно блокада как бы сместили в нашем сознании да и в сознании большинства взрослых понятия о плохом и хорошем, и людям казалось в те трудные послевоенные годы хорошим все, что было до войны. Это в общем-то естественно и объяснимо, ибо сравнивали мы условия жизни сорок пятого года с годом сороковым. Интересно вот что: такое искажение, идеализированное восприятие довоенного прошлого у многих сохранилось и поныне. То есть и поныне кое-кто продолжает верить, что перед войной жизнь была обеспеченнее, лучше, чем даже сегодня. А это большая неправда. Так, как мы живем сегодня, никто из нас не жил никогда. Не пили каждый день ни какао, ни кофе, колбаса твердого копчения и прочие деликатесы лежали в магазинах не потому, что всего было в изобилии, а потому, что не было денег, и пределом мечтаний в большинстве семей была никелированная кровать с шарами на спинках. Простенький детекторный радиоприемник имели далеко не все...

Но вернемся в комнату, где шестнадцать голодных мальчишек, распалая свое воображение, вслух мечтают о будущем, когда всего будет сколько душе угодно. Ничего, что наши мечты ограничивались едой. Все равно это были красивые, поистине розовые мечты.

Сколько можно съесть зараз колбасы? Или халвы, или печенья, или пирожков с ливером, или...

И вот однажды Ерема...

Вообще-то его звали Юрка, Еремеев Юрка. Но для нас он был Еремой, и все. Возможно, что многие и не знали, что на самом деле он Юрка. Сильный, спортивный, как сказали бы о нем теперь, очень волевой и целеустремленный. Как он попал в училище, я не помню, а до этого беспризорничал. Родителей у него не было. Он никого и ничего не боялся и вполне мог бы стать нашим вожаком — лидером, по нынешним понятиям. Если бы хотел этого. А он не хотел. Он жил как бы сам по себе, вне коллектива. Редко вступал в споры, не поддерживал обидных наших разговоров, никогда не рассказывал о себе (настоящий сибиряк, но об этом знали очень немногие) и всяким разговорам вообще предпочитал действие, поступок. Как-то утром, когда мы шли из общежития на завтрак (столовая находилась на территории завода), зашел разговор о том, можно ли влезть на заводскую трубу. Как водится, тотчас разгорелся горячий спор, и кто-то заявил, что запросто бы влез за воскресный рацион. Уже не помню, то ли никто не рискнул своим рационом, то ли «смельчак» струсил, — во всяком случае, спектакль не состоялся. А на другое утро, когда мы снова шли на завтрак, но спорили о чем-то другом, забыв о трубе, Ерема стоял там. Он именно стоял, размахивал шапкой (дело было зимой) и что-то кричал нам. Слов, разумеется, нельзя было разобрать, потому что стоял он на высоте метров в пятьдесят. Сбежалась куча народу, откуда-то появилось училищное начальство в лице старшего мастера, а Ерема, натешившись всеобщей растерянностью, начал спуск. Он долго слезал по наружной лестнице, а внизу его ждали не столько наши поздравления, сколько хорошенький нагоняй и обещание, что, если такое повторится, его немедленно выгонят из училища. Впрочем, он-то этого наказания не боялся. И потому, что, как говорилось, не боялся вообще ничего, и потому, что знал, наверное, что никто и никуда его не выгонит. Уж если кого-нибудь и выгоняли иногда из училища, то, во всяком случае, не беспризорников, не сирот...

Вот однажды Ерема, наслушавшись нашей болтовни, и высказал мысль, которая долго волновала нас всех.

— Остаться бы на ночку в Елисейском магазине, — сказал вдруг он. — Еще лучше — денька бы на три...

Елисейский магазин после войны торговал по коммерческим ценам, и там было поистине все, что душе угодно, о чем мог бы мечтать не только голодный мальчишка, но и взрослый человек. Бывая на Невском, мы никогда не проходили мимо, чтобы не поглазеть на витрины. Разноцветные головки сыра, круги и палки колбасы, горы апельсинов и много-много других вкусных вещей...

А нам бы хлеба досыта.

Кто-то высказал соображение насчет того, что остаться в магазине невозможно, что продавцы, уходя, тщательно осматривают каждый уголок, что будто бы внутри на ночь оставляют даже овчарок... (О сигнализации мы не имели понятия, да я и не знаю, была ли тогда сигнализация.) Все-таки после долгих дебатов мы пришли к выводу, что при желании всегда можно найти укромный уголок, где не отыщет никакая собака... И тут кому-то пришла в голову мысль, что в Елисейском не торгуют хлебом, а колбасу без хлеба есть не станешь. Но если и станешь, много ли съешь! Правда, нашлись и оптимисты, утверждающие, что на спор можно съесть три кило колбасы, но где их было взять, эти три кило колбасы. Да хотя бы и полкило.

Разговор об Елисейском магазине сделался ведущей темой наших вечерних грез. В конце концов мы решили, что хлебом можно запастись заранее, взять с собой. Осталось утрясти кое-какие мелочи, детали этой операции. Вполне возможно, что рано или поздно кто-то из нас решился бы осуществить эту безумную затею, ибо коллективный разум, да еще на голодный желудок, справился бы с мелочами, стоящими на пути к цели.

И вот Ерема исчез. После ужина он был, все его видели, а когда мы улеглись, его кровать оказалась пустой. Разумеется, мы разобрали постель, устроили все так, чтобы со стороны можно было подумать, что Ерема спит, накрывшись с головой (комендант или воспитатель обязательно делали вечерний обход комнат, проверяли, все ли на месте), а сами ждали. Мы, конечно, не очень-то верили, будто Ерема отправился осуществлять собственную свою идею, а все-таки... Позторяю: он был очень решительным и смелым.

Вернулся он рано утром, когда мы еще спали. (Влез в окно.) И притащил в мешке продукты. Не помню, что именно он принес, но хлеб был, это точно. (Пишу об этом, зная, что срок давности давным-давно истек, и не зная, жив ли Ерема.) Мы понимали, что он где-то украл все это богатство, но не спрашивали, где именно. Это нас не касалось. Зато не стали ломаться, когда Ерема вывалил продукты на свою кровать и пригласил всех «к столу». Самое удивительное, что никто не наябедничал, не выдал Ерему. Хотя конечно же среди нас были любители докладывать училищному начальству обо всем, что делается в общежитии по вечерам и по воскресеньям. Иначе откуда бы мастера, например, знали про нас буквально всё?.. А вот о «подвиге» Еремы не узнал никто!

Много позднее, когда мы уже закончили училище и работали на заводе, Ерема рассказал мне, что залез в столовую где-то в Рыбацком. Это была слишком рискованная шалость, однако шалостью-то его поступок, возможно, посчитали бы сегодня, а тогда Ереме грозила тюрьма, и как же это замечательно, что тайна не выплеснулась за пределы нашей комнаты. Об этом не узнали даже наши товарищи по группе, жившие не в общежитии. Ерема впоследствии стал прекрасным кузнецом, уважаемым человеком. А ведь если бы кто-то наябедничал, если бы выдал тайну, вся жизнь Еремы могла бы оказаться исковерканной...

Ну вот, хотел рассказать только о хлебе, а получилось о Ереме.

Как-то я заболел, лежал в общежитии, а Ерема приносил мне еду. Однажды он принес ужин, поставил на тумбочку миску с винегретом (миска огромная, а винегрета — на донышке) и, положив рядом хлеб, виновато сказал:

— Прости, ерунда такая получилась. Нечаянно уронил твою пайку, а там как раз только что лошадь... В общем, там куча была.

В голосе Еремы было столько неподдельной искренности, столько вины, что я поверил ему. Я оттолкнул хлеб. Я не мог его съесть. То есть я бы съел его, когда бы никто не видел этого, а тут почти вся группа окружила мою кровать...

— Так ты не будешь? — спросил Ерема.

Я молчал.

— Тогда я съем, ладно? — сказал он.

В моей голове происходила большая и сложная работа. С одной стороны, хлеб есть нельзя, ребята засмеют, потом до окончания училища не отмоешься, но, с другой стороны, если Ерема готов съесть эту пайку, почему же нельзя мне?.. И тут я сообразил, что ему вообще можно все, он ничего и никого не боится, его не посмеют дразнить, у него огромные, как кувалды, кулаки, но я-то не Ерема...

— Так будешь или нет? — в который раз спросил он.

Господи, думал я, хоть бы ушли все. Это было выше моих сил, и в брюхе урчало — желудочный сок делал свое дело...

Так меня заводили с полчаса, и только потом Ерема со смехом признался, что это был розыгрыш. Честно говоря, я не очень-то поверил этому, тем более пайка была подозрительно мятая, однако голод не тетка, голод победил мое недоверие, и я съел хлеб. По крайней мере, я знал, что дразнить меня не имеют права. Мальчишеские законы были жестокие, это правда. Но и справедливые тоже. Я ведь не видел, падал хлеб в лошадиную кучу или нет, но раз мне сказали, что нет, я уже ничем не рисковал.

Вообще-то теоретически мы не должны были быть голодными. Кормили нас по тем временам совсем не плохо. Ужин, конечно, был скудноватый, а вот завтрак... Эх, наши завтраки, завтраки! В том-то и дело, что очень редко удавалось съесть свой законный завтрак. Мы съедали кашу или макароны, а хлеб и сахар продавали. Ведь мы вступали в золотую пору юности, а вокруг появлялось столько соблазнов! Однако соблазны эти стоили денег, а где их взять?..

Странная деталь: хлеб почему-то резали ломтями во всю буханку, хотя ясно, что гораздо удобнее было бы резать буханку вдоль, а после делить на пайки. Ломти получались тонюсенькие, чуть ли не прозрачные. Несколько толще были горбушки, и мы по невведению считали, что в горбушках и весу больше. Каждый рвался к столу первым, чтобы успеть ухватить с подноса именно горбушку. Либо, если уж не повезло и не досталось заветной горбушки, пайку с довесками. (Зачем, собственно, мы так рвались к горбушкам, если все равно пайки свои продавали?..)

Довески тоже обладали магической силой, и у нас была даже песня...

Из раздачи пайка показалась.  
Не поверил я своим глазам —  
Шла она, к довеску прижимаясь,  
А в довеске было триста грамм..

Мы понимали — чего уж тут не понять, — что наши мечты о довеске, который бы был больше собственно пайки, — несбыточные мечты, но мы постоянно, всегда, круглые сутки (даже во сне) хотели есть, хстели мороженого, хотели ездить на Невский в кино, дружить с девчонками из токарной группы. Это особенно важно, ибо когда дружишь с девчонкой, нужно думать о двух порциях мороженого, о двух билетах в кино. Вот сейчас я вдруг подумал о том, что ведь мы были настоящими рыцарями в свои-то четырнадцать-пятнадцать лет, раз продавали свои скудные послевоенные пайки, чтобы купить девчонке мороженое и сводить ее в кино. Теперь я знаю, что это несравнимо больше, чем уступить женщине место в трамвае, и даже больше, чем вступить за женщину, когда ее оскорбляет какой-нибудь подонок...

Это легко сейчас написать, что мы продавали хлеб и покупали на вырученные деньги мороженое нашим девчонкам. Но как же трудно было продавать, когда у самого текли слюнки... А получается, что мы неосознанно, не понимая этого, еще как бы и оберегали наших замечательных девчонок, чьих-то будущих жен и матерей, — им не нужно было продавать свои пайки, чтобы полакомиться мороженым или сходить в кино. Это значит, что они не голодали, как мы. Это значит, что у них сохранилось для будущих мужей и детей чуть больше здоровья, чем у нас...

А впрочем, откуда мне знать! Очень даже может быть, что девчонки тоже продавали свой хлеб, чтобы купить, например, фильдекосовые чулки, — выдавали нитяные, хлопчатобумажные. Хотя я никогда не видел этого. А если бы и видел, это ничего не меняет. Просто девчонкам кроме мороженого и билетов в кино нужны были еще и чулки. Хлеб хлебом, а женщина есть женщина. Она всегда хочет быть красивой, привлекательной, даже если ей всего-то пятнадцать...

А фильмы, между прочим, после войны шли прямо шикарные: «Ты — мое счастье», «Где моя дочь?», «Девушка моей мечты», «Серенада Солнечной долины»... Теперь-то я знаю, что это были посредственные фильмы, рассчитанные на невзыскательный, испорченный вкус обывателя, мечтающего о «красивой

жизни», но тогда!.. Тогда мы смотрели эти по большей части трофейные фильмы по нескольку раз. Мы млели, мы задыхались от восторга, мы были уверены, что это и есть «настоящая» жизнь, что мы сами когда-нибудь станем жить также прекрасно. Лет десять назад, будучи в командировке, от нечего делать я пошел посмотреть фильм «Девушка моей мечты», который неизвестно почему и зачем вдруг снова объявился в прокате. Я не смог досмотреть этот фильм до конца. Это было хуже, чем просто плохо.

В кино мы ездили обязательно и только на Невский, хотя были кинотеатры и поближе. В «Колизей», «Гитан», «Октябрь»... Сейчас в любой из этих кинотеатров мне десять минут ходьбы неспешным шагом. А тогда — около часу езды в трамвае. Хлеб продавали в ближайшей булочной, не понимая, что продавать нужно было подальше от училища, ибо чем дальше, тем наверняка дороже стоила бы пайка. Мы сами и сбивали цены: как известно, чем больше предложений, тем меньше спрос, а значит, и ниже цены. Закон «свободного» рынка. Напрасно в курс теоретического обучения не ввели политэкономии...

И вот тут, в процессе купли-продажи, довески обретали свою магическую силу. И горбушки, наверно, тоже. Можно было из двух довесков один съесть, а один оставить для приманки покупателя. Взрослые, как и мы, свято поклонялись довескам. Должно быть, им также казалось, что без довеска не бывает полной пайки. Нас было легко проверить. Что стоило положить пайку на контрольные весы, которые в то время обязательно были в каждом магазине. Но этого наши покупатели почему-то не делали. (Также разумеется, что и мы могли ведь отрезать кусочек от пайки, чтобы из этого кусочка сделать два довеска, однако не отрезали...) Мы-то думали, что взрослые настолько глупы, что просто не догадываются, что мы умнее и хитрее взрослых, а в действительности они жалели нас, оберегали нашу мальчишескую честь. Иногда, правда, находилась среди постоянных покупателей какая-нибудь случайная женщина, которая пыталась воспользоваться контрольными весами, но уж здесь на ее пути и на страже нашего реноме возникали продавщицы из булочной. Они не разрешали пользоваться весами, потому что, объясняли они, хлеб куплен с рук, а это вообще строго запрещено. Если же особенно настырная покупательница



пыталась спорить, доказывать свои права, продавщицы грозились позвать милицию.

Где вы, замечательные продавщицы из нашей булочной, защитницы и добрые покровительницы ремесленников? Живы ли и помните ли мальчишек в синих шинелях, дежуривших у входа со своими пайками и малюсенькими кулечками, в которых было сорок граммов сахарного песка? Как поживают ваши дети и ваши внуки? Дай бог, чтобы им никогда не пришлось торговать хлебом ради того, чтобы съесть порцию водянистого и ледянистого мороженого. Дай им бог.

Бывало, придешь в булочную с пайкой, а кто-нибудь из продавщиц (их было три, кажется) непременно спросит:

— А сам-то ты ел сегодня?

У них, наверное, уже были дети, и эти их дети тоже хотели есть и хотели мороженого. Спросить бы, а они-то хоть раз побывали в кино на Невском?..

Если мне не изменяет память, пайка белого хлеба стоила шесть рублей, а черного — четыре. Брикет мороженого стоил, кажется, столько же. Выходит, нужно было продать и утреннюю, и вечернюю пайки, чтобы купить два брикета. А еще и папиросы нужны (почти все мы курили), и билеты в кино, и крем-сода хочется. Да мало ли чего нам хотелось! Соблазнов, повторяю, было много...

По воскресеньям нас кормили один раз: весь дневной рацион вместе с горячим, то есть вместе с приварком, выдавали в обед. Наверное, специально, чтобы мы могли подольше поспать. Но это шутка. Просто так было удобно работникам столовой и мастерам, обязанным и в выходной сопровождать свою группу в столовую. А им тоже хотелось отдыхать, и у них были свои семьи и свои дети, с которыми наверняка также хватало проблем. Или ни у кого из мастеров не было детей?.. Почему-то не припомню, чтобы чей-нибудь сын — мастера или преподавателя теории — учился с нами. А честно говоря, такой порядок кормления по выходным нас тоже устраивал. Хотя бы потому, что можно было спокойно, не держаась, поваляться до самого обеда в кровати, предвкушая скорое пиршество. А когда лежишь, не так остро чувствуешь голод. Конечно, «кишка за кишкой бегают с дубинкой», как в супе крупинка за крупинкой, а все-таки голод легче переносится лежа, чем на

ногах. Это проверено. После, налив животы щами и набив кашей (приварок-то мы съедали, хоть и не всегда), можно было продать сразу семьсот граммов хлеба, сорок — песку и ехать на Невский в десятый раз посмотреть какую-нибудь «Тетку Чарлея». Разумеется, с девчонкой.

Тут, может быть, самое время и место написать о том, что сегодня, когда я вижу на помойке куски и даже целые буханки хлеба, мне вспоминаются те давние годы. Но нет, не стану я писать этого. Зачем? Сегодня хлеб — это только хлеб, и все. А чтобы понять, что значила пайка хлеба для послевоенных мальчишек, когда, в общем-то, хлеб был, лежал у всех на виду в коммерческих булочных, были бы деньги; чтобы понять, почувствовать это, нужно продать хотя бы одну пайку, когда при одном взгляде на нее текут слюни, когда тошнит от голода, когда самая светлая твоя мечта — досыта наестся именно хлеба. Хорошо бы с хрустящей верхней корочкой. Впрочем, можно и без корочки совсем...

Словами не воспитаешь. Да и что слова, когда рядом со мной, например, почти дверь в дверь есть булочная и есть пивной бар — так вот, в булочной буханка хлеба стоит даже двенадцать копеек, а в баре нужно заплатить только за вход рубль пятьдесят копеек. (На эти полтора рубля дают кружку пива, сухой хвост от копченой скумбрии и пару сухариков.) При этом в булочной никогда не бывает очереди, а в бар начинающая часов с трех дня не попасть. Среди жаждущих заплатить полтора рубля за вход большинство именно подростки с девчонками. Не им ли, сытым, обихоженым, сплошь одетым в джинсы по сто с лишним рубликов и обутым в кроссовки «Адидас», надо рассказывать, что на самом деле стоил хлеб для их отцов?.. Все равно не поймут, потому что эти самые отцы и матери и выбрасывают на помойки хлеб.

Помню, мы с Еремой шли в булочную продавать хлеб. (Замечу, что вообще-то Ерема редко продавал хлеб, он был из тех, кто съедал все сам.) А по проспекту вели пленных немцев, с работы или на работу. Не в этом суть. Мы остановились посмотреть на живых немцев. Первое время, когда в Ленинграде появились пленные, все останавливались и смотрели, хотя зрелище было вовсе не из приятных. Немцы брели медленно, нестройными шеренгами, держа руки за спиной и опустив головы. Однако те, которые шли

ближе к тротуару, где стояли любопытные, в том числе и мы с Еремой со своими пайками, жадными глазами смотрели на нас. А точнее, на хлеб.

Они тоже хотели есть. Все хотели есть.

А Ерема был сирота, его отец погиб на фронте, а мать умерла от какой-то страшной болезни.

Он вдруг шагнул к краю тротуара и протянул первому попавшемуся немцу свою пайку. Потом резко повернулся и побежал прочь. Колонна на какой-то миг как бы остановилась, все немцы повернули головы, провожая глазами Ерему...

Когда я вернулся в общежитие, он лежал и плакал. Он лежал на животе, уткнувшись лицом в подушку, и плечи его вздрагивали. Ни до, ни после я не видел, чтобы Ерема плакал.

### **Девчонки, девчонки**

В среднем они были старше нас. И потому, что женщины вообще взрослеют быстрее, и потому, что их принимали в училище не с четырнадцати, а с пятнадцати или даже с шестнадцати лет. Однако эта разница в возрасте нисколько не мешала нам взаимно влюбляться, писать друг другу записки, назначать свидания, а при большой удаче и целоваться. К тому же среди мальчишек были и семнадцатилетние, многое узнавшие о жизни, прежде чем поступить в «ремеслуху».

Но вся беда в том, что девчонок было мало, всего одна токарная группа, и далеко не каждому из нас улыбалось счастье завести настоящую дружбу с девчонкой и ездить с ней на Невский. Мне посчастливилось один-единственный разок, да и то все организовала подружка моего старшего брата, который учился в этом же училище, только в другой группе. Его подружку звали Тамара. Вот она и познакомила меня с Наташей.

Была Наташа двумя, кажется, годами старше меня, чистейшая блондинка, с голубыми ясными и огромными глазами. По крайней мере, тогда мне казалось, что у нее огромные голубые глаза. А в общем-то, самая обыкновенная девчонка, разве что избалованная нашим вниманием. Но такими они были все. Правда, очень веселая еще была Наташа, какая-то жизнерадостная, смешливая, но нет, не пустая хохотушка, просто веселая, и, разумеется, ужасно краси-

вая. Я был на седьмом небе. Или еще выше. Бог знает, на каких высотах я витал со своим неожиданным счастьем! Ведь Наташа пользовалась даже бóльшим успехом, чем другие девчонки. Сейчас-то я понимаю, что она всегда была в центре внимания мальчишек вовсе не потому, что выделялась красотой, хотя тогда я думал именно так, а потому, что, как сказали бы теперь, была коммуникабельная, общительная. С ней, должно быть, было легче и проще, чем с другими.

И она согласилась поехать со мной в кино. Сначала я, как водится, написал ей записку (по совету, разумеется, Тамары) и предложил встретиться после теории возле ВДК (Володарский Дом культуры, теперь — Дворец культуры имени Крупской). Она ответила мне, тоже запиской, что придет. Вот там я и пригласил ее в кино. Она согласилась сразу, нисколько не ломалась. Видимо, Тамара все учла.

А были в «Титане», это я помню отлично. Перед началом сеанса съели по сливочному брикету и выпили бутылку крем-сода. (Интересно, куда подевалась некогда знаменитая и любимая ленинградцами крем-сода? Я не видывал ее уже лет тридцать. Может, крем-сода нет потому, что она очень дешевая?..) В тот день я был сказочно богат — продал на месяц вперед свои завтраки, но об этом чуть позже — и мог кутить на всю, что называется, катушку. Если бы в то время ходили такси, я бы, наверно, повез прекрасную Наташу в такси. Впрочем, такси, возможно, и бегали по городу, только мы не имели об этом представления и, скорее всего, не знали, что вообще существует такси. Я-то не знал, это точно. Пока был отец, нас, детей, иногда катал на машине — ЗИС-101 — его шофер. За город, к родственникам, мы также ездили на служебной машине отца, а когда его не стало, было вовсе не до машин.

Мы с Наташей ехали трамваем. Я даже заплатил за проезд, то есть купил два билета, хотя обычно мы билетов не покупали, — кондукторы не обращали на нас внимания. Но если попадался очень уж настырный кондуктор и требовал заплатить за проезд, мы отвечали, что «ваш нарком нашему наркому должен». Вот ведь помню всякие подробности того вечера, помню, как мы стояли на задней площадке прицепного вагона и сосредоточенно молчали, а Наташа выскребала на стекле — дело было зимой — какие-то

каракули, помню даже, что именно в тот вечер я не понял, вернее, забыл, что в «Титане» огромные настенные зеркала вместо стеновых панелей и едва не стукнулся лбом, то есть помню все, кроме фильма, который смотрели. Не помню и названия. Мне было просто не до фильма, и я не видел, что делается на экране. Я сидел рядом с Наташей, боясь шевельнуться. Мне не хватало воздуха, но я боялся дышать. Я взял Наташу за руку... Она не заметила этого, так думал я, и мы сидели, взявшись за руки, до конца сеанса. (Слава богу, раньше сеансы были длинные, не то, что нынче.) А когда неожиданно зажегся в зале свет, мне сделалось страшно стыдно, я испуганно отдернул руку, и всю обратную дорогу мы снова молчали, но теперь уже потому, что у нас была своя тайна. Я и подумать-то боялся, чтобы поцеловать Наташу на прощанье, хотя перед походом в кино получил на этот счет подробные инструкции от брата и Тамары. Я даже знал, что, когда стану ее целовать, она покраснеет, засмущается и пролепечет: «Ой, что ты делаешь, не надо!..»

От трамвайной остановки до общежития, где жили девчонки (мы жили в разных домах), метров двести, и этот путь мы также прошли молча. А когда стояли возле двери, когда я клял себя за нерешительность, за трусость, Наташа вдруг громко рассмеялась, щелкнула меня по носу и убежала, показав мне на прощанье язык... Я еще ничего не осознал, не понял, что же произошло, я все еще стоял у двери в полной растерянности, когда Наташа выглянула в форточку и крикнула со второго этажа: «Эх ты, ухажер!»

Больше я не решался никуда приглашать ее, вообще избегал встречаться с нею. Да она бы и не пошла, это ясно. У нее появился другой ухажер, постарше меня, должно быть решительнее и смелее, так что ей было с ним лучше, веселее. Ему, наверно, не делалось стыдно, когда в темном кинозале он брал ее за руку. Все правильно, ведь в тот год мне исполнилось только четырнадцать, хотя и считалось, что пятнадцать. Конечно, мы и в четырнадцать были почти взрослыми, война заставила нас повзрослеть раньше времени, но в чем-то мы оставались все-таки детьми.

Тамара почему-то сильно переживала мою неудачу, предлагала свести меня с Наташей для переговоров, помирить с ней, но я наотрез отказался. Вовсе не из-за принципа или обиды, я ничуть не обиделся, ибо

и не понял ничего. Скорее всего, я не успел влюбиться как следует, чтобы «на всю жизнь». Наташа мне только нравилась.

Спустя несколько лет я случайно узнал, что моя Наташа рано вышла замуж, родила двойню, а муж оказался прохвостом, попал в какую-то уголовную историю и его осудили на длительный срок. Тогда я подумал: ну почему, почему не везет хорошим, жизнерадостным людям? Несправедливость какая-то, дикая несправедливость — эти люди любят жизнь, а она их не любит. Где же взаимность, черт побери!..

А влюбился я во вторую зиму.

Меня отправили в санаторий трудовых резервов, который находился на Черной речке, под Зеленогорском (он еще назывался Териоки).

Здесь нас кормили уже не три, а пять раз в день. Почему-то давали два завтрака, обед, полдник и ужин. Причем все это было вкусно. Еще бы! Шоколад, сливочное масло, сыр, иногда — икра, а через день (почему именно через день?) к обеду давали понемногу хорошего вина для подкрепления, как нам объясняли, здоровья. Поскольку хлеб в санатории не имел цены — все были сыты, — а продавать на сторону некому — санаторий располагался в лесу, — обменным фондом были шоколад, масло, сыр...

Этот прекрасный санаторий, как я понимаю теперь, был организован для ослабевших, больных ремесленников, дошедших, что называется, «до ручки». Скорее всего, для тех, кто пережил блокаду. Однако, как это нередко у нас и бывает, направляли туда в основном отличников, а вовсе не больных. Правда, медкомиссию мы проходили в обязательном порядке, но у кого же из нас нельзя было найти какую-нибудь болезнь, если все мы были голодны и истощены! К тому же санаторий не имел определенного профиля. (Сегодня, наверно, его назвали бы «профилакторий».)

Итак, мы были сыты. В комнатах жили по двое. Ежедневно нам показывали кино, а два раза в неделю устраивались вечера отдыха с танцами. Иногда приезжали настоящие артисты. Разумеется, были и лыжи, и коньки (я отдыхал зимой), и финские сани, попросту — финки. Да, вот насчет артистов. Помню одного конферансье и его потрясающий юмор. (Нынче я понимаю, что это была самая откровенная халтура, а запомнил же! В чем тут дело?) Например: шел по улице поздно вечером жулик. И вдруг увидел

за окном большого гуся. Кто-то припас гуся к Новому году, а чтобы он не испортился (холодильников-то не было), подвесили его за окно, на мороз. Жулик, стало быть, увидел гуся, осматрелся и решил его стащить,— пригодится в хозяйстве. Только добрался до своей добычи, только хотел перерезать бечевку, как появляется милиционер. «Эй, гражданин,— спрашивает милиционер вежливо,— вы что там делаете?..» «Понимаете,— отвечает жулик,— здесь мой друг живет, завтра у него именины, вот я и решил сделать ему сюрприз — подарить гуся. Пусть думает, что с неба гусь опустился». «Да его же стащат, вашего гуся!— говорит милиционер.— Разве можно так оставлять!» «Черт возьми, и верно, стащат,— согласился жулик.— А я, дурак, и не подумал...» С этими словами он перерезал бечевку, взял гуся и пошел своей дорогой...

Под занавес конференсье продемонстрировал и вовсе потрясающую сценку. «Из старого-престарого восточного города в другой не менее старый-престарый восточный город вышел караван верблюдов,— таинственным шепотом начал он.— Первый верблюд прошел...— Тут конференсье вздыхал шумно.— Второй верблюд прошел...— Снова шумный вздох.— Третий... Пятый... Восьмой... И последний...» С этими словами конференсье, согнувшись, покинул сцену.

Это было ужасно смешно! И долго еще после этого представления мы повторяли эту сценку, а самой популярной кличкой на какое-то время сделалась кличка «последний верблюд».

Однако и лыжи, и финки, и концерты имели прикладное значение. Главное — танцы, так называемые вечера отдыха. Ведь в санатории было много девчонок из разных ленинградских училищ. Наверное, не меньше, чем мальчишек. Жили мы в разных корпусах, строгие воспитатели бдительно следили, чтобы мы не бегали друг к другу в гости, блюли нашу неокрепшую нравственность, вот мы и встречались на танцах.

Там я и влюбился. Влюбился без памяти и, разумеется, на всю оставшуюся жизнь. Ее звали Зоя, она, так же как и Наташа, была блондинка, только с коричневыми глазами, и училась в РУ... А впрочем, теперь, когда с той поры минуло сорок лет, можно открыть и эту тайну: Зоя училась в РУ-28, которое находилось на Старо-Невском, рядом с кинотеатром

«Призыв». Я увидел Зою на танцах, но я не умел танцевать, не умею и теперь, однако никогда больше я не жалел об этом так, как пожалел в тот вечер! И что же мне, несчастному, было делать... А она, конечно же, была самая красивая, у нее не было отбою от поклонников, и потому она танцевала беспрерывно, без отдыха, а я мог лишь издали любоваться ею, и не было у меня абсолютно никаких шансов хотя бы только заговорить, хотя бы только обратить на себя внимание. Вот тогда-то я впервые и узнал, что такое ревность...

Время от времени, когда в перерывах между танцами в центре зала появлялся затейник, который заполнял паузы сомнительными островами, Зоя, как и другие, выходила на улицу, и я знал, что она не просто выходит, чтобы подышать свежим воздухом, но что выходит она с поклонниками. Там, на улице, она целовалась (как же иначе!), и мне было до слез жалко себя. Я представлял, как после танцев кто-то из ребят пойдет провожать Зою в девчоночий корпус, как по дороге она снова будет целоваться... Я не выдержал этой муки. Я ушел. Я лежал один в темной комнате и придумывал самые невероятные способы завоевания сердца Зои из двадцать восьмого РУ. Однако все способы оказывались неподходящими, и тогда я решил, что лучше всего сломать руку или ногу, но сломать обязательно на ее глазах, и при этом не заплакать, не закричать от боли. Или вовсе взять и застрелиться. Пусть она увидит, как я люблю ее, и пусть подумает, полюбит ли ее еще кто-нибудь так, как люблю я. Да, это был верный способ, к тому же и осуществить эту затею было несложно, ибо у многих из нас хранилось оружие. Был и у меня пистолет ТТ, найденный во время «походов» за трофеями в места недавних боев — Красный Бор, Поповка, Навия, Апраксино...

Но что же будет потом, когда я застрелюсь?.. Получалась какая-то ерунда, и я уснул.

Сейчас трудно сказать, почему все-таки я не застрелился,— скорее всего, просто струсил или куда-то делся пистолет. Да и не в этом дело. Мои мучения длились не очень долго. Уже спустя два-три дня, когда был следующий вечер отдыха, затейник предложил сыграть в почту. В то время это была модная игра, ею увлекались даже и взрослые. Я понял сразу, что это мой единственный шанс. И я послал Зое



записку, в которой писал, что она давно — «с самого начала» — нравится мне, и спрашивал, нравлюсь ли ей я. Она ответила, что само по себе казалось мне победой, но ответила в общем-то уклончиво, хотя и не лишила меня надежды на будущее. В следующем своем любовном послании я предложил ей выйти на улицу, и тотчас вышел сам, испугавшись, что она ответит отказом. Пусть лучше видит, что я уже вышел, и ей не останется ничего другого, как выйти тоже...

И она вышла. А следом за ней — Олег, мой друг, с которым мы учились вместе, только в разных группах. Оказывается, он тоже писал Зое и тоже предлагал выйти, и вот теперь нас было двое, а она была одна, и ни я, ни Олег не знали, чье именно предложение приняла Зоя.

В тот вечер я впервые узнал, как приятно быть счастливым соперником и как может в одночасье сломаться мужская дружба. Поистине «ищите женщину»....

Мы с Олегом сразу оценили обстановку.

— Отойдем, — позвал он.

— Отойдем.

— Ты лучше не лезь к ней, — сказал он, когда мы отошли на такое расстояние, чтобы Зоя не слышала нас.

— Это почему еще? — спросил я.

— Я первый.

— Нет, — возразил я. — Я первее. Я с самого начала.

— Я с ней танцевал, — сказал Олег.

Разумеется, это был весомый, серьезный аргумент, но я не мог отступить.

— Ну и что, что танцевал? С ней многие танцевали. А она вышла со мной.

— Значит, не отстанешь? — спросил Олег.

— Ни за что на свете.

— Тогда давай стыкнемся.

Честно говоря, с его стороны это был неразумный шаг. Я был гораздо сильнее его, он это знал, но, видимо, тоже влюбился «на всю оставшуюся жизнь» и тоже не собирался ни отступать, ни уступать мне. Подобные выяснения отношений между нами были в порядке вещей. Они даже как бы поощрялись девчонками. Наверное, им было приятно, когда мы из-за них разбивали друг дружке носы, а иногда и похуже. Да и стоит ли удивляться этому, если все запоем читали

Вальтера Скотта и Майна Рида, если все мы буквально были помешаны на рыцарстве.

Итак, вызов был брошен и принят, теперь всякое примирение исключалось. Тем более прекрасная Зоя стояла поблизости и ковыряла ботинком снег. Вообще, все происходило на фоне ночного пейзажа, при яркой луне и, должно быть, со стороны выглядело вполне романтично.

Олег ударил первый. Я почти не почувствовал слабенького его удара, хотя удар и пришелся мне в скулу. Но разозлился и ударил изо всех сил. Олег упал в глубокий снег. Но тотчас вскочил и бросился на меня. Я ударил снова — и он снова упал, вскочил... Не знаю, понимал ли я тогда, что поступаю не совсем честно, не по-мужски, потому что мне-то ничего не стоило избить Олега, то есть я ничем не рисковал, принимая его вызов и заставляя валяться в снегу, а он рисковал. Впрочем, даже если я и понимал это, что мне оставалось делать? Мальчишеская честь не позволяла поступить иначе. Он первый предложил «стыкнуться» и первый бы назвал меня трусом, если бы я отказался.

Спасибо Зое. Она встала между нами и заявила, почти как взрослая женщина:

— Хватит вам, петухи!

Сейчас, только сейчас я подумал вдруг: что, если Зоя вышла тогда на улицу не ко мне, но к нам обоим? Что, если она выбрала не Олега, а меня после того, как мы выяснили отношения и «поле боя» осталось за мной? Тогда-то я бы возгордился, узнав об этом, а вот теперь мне сделалось стыдно, совестно как-то, хотя я не знаю, как было на самом деле, и всего лишь подумал, что могло быть так, но могло быть иначе.

— Скажи спасибо ей, — процедил сквозь зубы Олег, зажимая ладошкой разбитый нос. Он весь был в снегу, и мне захотелось отряхнуть его, но...

— Ладно, ладно, — сказал я. — Иди своей дорогой.

— Ты еще у меня попомнишь! — пригрозил он.

— Добавить, что ли? — спросил я.

И тут Зоя, взяв Олега за руку, ласково сказала:

— Хочешь, я познакомлю тебя со своей подружкой? Ты ей нравишься, она сама мне говорила. И она в сто раз красивее меня.

Извечная женская хитрость — раз кто-то еще красивее меня, значит, я все-таки красивая.

Ситуация была такова, что он должен был бы послать и меня, и Зою к черту или еще куда-нибудь и гордо уйти. Но почему-то было в порядке вещей принимать безропотно такие вот предложения, и Олег тоже согласился. Подруга Зои действительно была хорошенькая, хотя конечно же не шла ни в какое сравнение с самой Зоей, и мы с Олегом, несмотря на кажущуюся вражду, долго вместе ездили на свидания в РУ-28. Сначала в РУ, а потом к Дворцу пионеров, потому что ребята из РУ-28 однажды турнули нас так, что мы еле унесли ноги.

Мы с Зоей дружили до лета, и это был большой срок. Вот разве только мой старший брат дружил с Тамарой дольше, до самого окончания училища, и, кажется, они переписывались и потом (брата распределили в другой город), а когда брат приезжал в Ленинград в отпуск, они встречались. По-моему, они собирались и пожениться, но что-то у них не сладилось, и еще всего лет десять назад Тамара при встречах спрашивала меня о том, как поживает мой брат.

А в начале лета мы с Зоей расстались.

Мы ходили в театр, смотрели, как сейчас помню, «Собаку на сене». В то время я потихоньку сочинял стихи (начал сочинять, когда влюбился в Зою), и вот по дороге домой — мы всегда ходили до ее училища пешком, уже там я садился в трамвай — мне явилось новое стихотворение, и я стал складывать его, бормоча слова себе под нос.

— Что ты там бормочешь? — спросила Зоя, обиженная, наверно, моим невниманием. Ведь и она не знала, что я сочиняю стихи. Никто не знал.

— Да так, вообще... — смутился я.

— А я подумала, что подсчитываешь, сколько затратил денег, — вдруг сказала она и усмехнулась.

Мы были вдвоем, и я не знаю, не могу понять до сих пор, что такое случилось с нею. Обычно она была чуткая, добрая, внимательная. Скорее всего, просто пошутила неловко. А я обиделся. То есть обиделся — не то слово. Я был оскорблен, что называется, до глубины души — и на ходу вспрыгнул в проходящий трамвай. Постом — что уж греха таить — я раскаивался, ругал безбожно себя, что уехал, оставил Зою одну, я искал примирения, передавал через ее подружку записки, в которых клялся в вечной любви, я преследовал ее, покуда меня все же не поколотили

ребята из РУ-28... Но все же, если бы не пришло лето и если бы Зоя не уехала на каникулы домой (она была не ленинградка), мы бы в конце концов, наверное, помирились. Мне почему-то кажется и теперь, что Зоя тоже любила меня. Разумеется, мы любили друг друга так, как вообще можно любить в пятнадцать лет...

А осенью мы уже не вернулись в свои училища. Закончились два года, и каждый из нас получил назначение. Правда, я и после этого пытался разузнать, где работает Зоя, но почему-то мне не удалось это. То ли я не был достаточно настойчив, то ли стеснялся пойти в РУ-28 и там узнать, куда направили Зою, но следы ее я так и потерял.

А это была моя первая любовь. И знаем только я и бог, сколько не съедено хлеба во имя этой первой любви. Может быть, за эти несколько месяцев, пока мы дружили с Зоей, я не съел ни одной своей пайки. Да что говорить! За свою любовь я расплачивался не только хлебом и сахаром. Мне редко, очень редко удавалось поесть и каши или любимых мною макарон с сыром. Ибо все завтраки и все рационы до самого окончания училища я запродавал Бармалею. Деньги, полученные за это, были честно потрачены на кино, на морсженое, на крем-соду. Два раза мы с Зоей были в театре. Первый раз смотрели «Стакан воды», второй — и последний — «Собаку на сене».

В память об этой любви у меня на руке сохранилась наковка: «Зоя». Перед женитьбой я пытался вывести ее и в конце концов заколол, чтобы нельзя было прочесть имя. Я ведь не мог знать, как отнесется моя будущая жена к этой истории из моей биографии. А что она поинтересуется, кто такая Зоя, — сомневаться не приходилось. Теперь знаю, что хорошие, любящие жены очень даже терпимо относятся к тем девчонкам, которых мы любили впервые. Дело, конечно, и в том, что кто-то когда-то впервые любил и наших жен, но главное, я думаю, в том, что сама по себе любовь к женщине, если любовь эта была до них, если она не мешает любить их, вызывает уважение и у жен тоже.

Наверно, было бы интересно сегодня встретиться с Зоей, повспоминать, поговорить, узнать, как устроилась ее жизнь.. А может, и нет, потому что слишком много прошло времени, а мы-то тогда были просто девчонками и мальчишками, и вполне возможно,

что, влюбляясь, лишь подражали взрослым, не более того.

Мне шел шестнадцатый, а Зое — семнадцатый год, и мы тоже собирались пожениться. В таком возрасте все собираются пожениться. Как бы там ни было, но первое чувство всегда бывает глубоким и оставляет след (хотя бы и только в памяти) на всю жизнь. Ибо первое чувство — это чувство пробуждения...

## Хлеб и соль

Раньше я уже упоминал Бармалея, теперь хочу рассказать о нем подробнее.

В нашей группе он был самый старший. Официально было ему семнадцать, но наверняка он убавил себе год-другой. Это не трудно, когда беспризорник (Бармалей до ремесленного беспризорничал). попадал в детский приемник-распределитель. Сколько скажешь, столько и запишут. Если, разумеется, еще не выросла борода.

Не помню его настоящего имени. Бармалей и Бармалей, иначе мы его не звали, и он почему-то не обижался. (Взрослые же всех нас называли по фамилиям. Так вот, фамилию Бармалея я помню отлично, однако не хочу называть...) Он вообще был на редкость необидчивый, хотя запросто мог бы поколотить любого из нас, разве что кроме одного Еремы. Но и настойчив был, и упрям, и целеустремлен. Он занимался боксом и обладал умением приспособливаться к любым обстоятельствам, извлекать для себя пользу даже там, где другие извлекали одни неприятности. Скорее всего, поговорка насчет того, что нет худа без добра, придумана дальним предком Бармалея.

Умению этому, приспособливаться и извлекать пользу, его научила жизнь. Говорили, что до ремесленного он успел побывать и в колонии. Сам Бармалей об этом умалчивал, но все может быть. Думаю, что он был все-таки года двадцать седьмого рождения, так что уже в начале войны ему было четырнадцать, а это немало. Он не рассказывал о себе, а когда его спрашивали, улыбался. У него и улыбка была какая-то особенная — благодушная, располагающая, вовсе даже не «бармалеевская», хотя ответной приязни он все же не вызывал, — у него были маленькие, что называется заплывшие, и злые глазки.

Лицо расплывается в улыбке, а глаза, если хватит духу заглянуть в них, смотрят на тебя совсем-совсем недобро...

В училище он появился позднее всех, когда мы проучились уже месяца два и когда не называли ручник молотком, а кувалду — молотом. То есть мы, конечно, не постигли еще никаких секретов кузнечного ремесла, однако кое-что успели узнать.

Шел ноябрь сорок пятого года. Это я помню безусловно, потому что Бармалей пришел к нам тотчас после Октябрьских праздников, когда все мы были под впечатлением праздничного рациона.

На Бармалею была рваная-прерваная телогрейка, надетая прямо на майку, цвет которой нельзя было определить из-за грязи, хлопчатобумажные галифе, вернее, то, что когда-то называлось галифе, кепка с оторванным козырьком, а на ногах у него были то ли тапочки, то ли какие-то опорки. Чтобы представить, как был одет Бармалей, достаточно вспомнить любой фильм о беспризорниках двадцатых годов. Вот интересно: отчего-то нет фильмов о беспризорниках сороковых годов, хотя самих беспризорников было, по моему, не меньше и все они или почти все были сиротами. Я даже иногда думаю, что их, эту армию голодных, обездоленных и вороватых (из песни слова не выкинешь, да ведь и кормиться они чем-то должны были) мальчишек, чьи отцы погибли на фронтах, а матери умерли от голода, холода и болезней, либо угнаны были фашистами, что этих мальчишек — теперь взрослых людей, отцов и дедов — по праву можно и нужно также считать участниками войны. Ей-богу, кусок хлеба, который они крали у честных тружеников, доставался им не легче, чем другим, и был этот хлеб горьким...

Голод, говорят, не тетка, а взрослые почему-то заведомо не любили беспризорников, как будто они, эти мальчишки, были виноваты в том, что война выбросила их за борт нормальной жизни, лишила крова и семьи.

Но сейчас речь не об этом.

Не все ребята жили в общежитии. Некоторые, у кого были родители (чаще всего — только мать) и позволяли условия, жили дома, приезжая в училище на занятия. Поэтому вся наша группа и помещалась в одной комнате. Естественно, Бармалею, раз он появился последним и когда давно уже начались заня-

тия, досталось самое плохое место в этой комнате: у двери, далеко от печки, но близко от выключателя, а это означало, что ему придется гасить и зажигать свет. Дело пустяковое, а все же и неприятное, потому что нужно, например, встать с кровати, чтобы погасить свет. Однако Бармалей ничуть не расстроился, как должно было бы быть. Или не показал виду. Он внимательно осмотрел кровать, которая тоже оказалась самой никудышной, с порванной сеткой, на другой же день притащил с завода моток проволоки и аккуратно починил сетку. А еще через пару дней ему заменили старый, комковатый матрац на совершенно новенький волосяной. Мы спали на ватных. И еще ему выдали второе, дополнительное одеяло. И опять — новое. Все это было непостижимо, ибо вырвать что-нибудь у нашего старшего коменданта, который ведал имуществом, вырвать даже то, что положено, было не просто трудно, но почти невозможно. А вот Бармалей получил именно дополнительное, то есть лишнее, одеяло. До сих пор не могу взять в толк, как это ему удалось. Да еще и так скоро, едва он появился.

Впрочем, ему удавалось вообще все, что он задумывал. Мы очень быстро, увы, убедились в этой его способности.

Вполне понятно, что мы дружно и немедленно отправились к старшему коменданту тоже требовать дополнительные одеяла. В нашей угловой комнате на первом этаже было прохладно, а топили плохо. Наверно, не все положенные на нашу печку дрова попадали в нашу печку. С дровами было так же худо, как и с хлебом. Или еще хуже, потому что хлеб по карточкам выдавали всегда и без всяких очередей, а за дровами, даже имея на руках законные талоны, нужно было поохотиться, поездить.

Старший комендант, не вдаваясь в переговоры и объяснения, просто выставил нас прочь, а его жена (она работала обычным, дежурным комендантом) кричала нам вслед: «Бандиты! Ворье!..» Это она умела, и я еще вернусь к ней.

Обида наша и оскорбленное достоинство должны были найти выход. Отомстить старшему коменданту и его жене, в общем-то, мы не могли по-настоящему, хотя и знали несколько верных способов, а поскольку косвенным виновником нашей обиды был все-таки Бармалей, вся наша месть обернулась против него.

К тому же он был новенький и, как всякий новенький, просто обязан был получить крещение.

Шишка (разумеется, это кличка, на самом-то деле у него была фамилия Шишков) подвел к кровати Бармалея электричество от сорванной розетки. Делал это именно Шишка потому, что, во-первых, что-то понимал в электричестве, во-вторых, потому, что ему всегда доставалась самая неприятная работа. В каждом мальчишеском коллективе есть такие. Иногда в силу своей физической слабости, иногда по каким-то другим причинам.

Однако Бармалей, собираясь лечь спать, тотчас обнаружил подведенные провода, хотя они, как нам казалось, и были искусно замаскированы. Наверно, он ждал чего-нибудь подобного, потому оборвал провода спокойно, как бы даже и деловито, не сказав при этом ни слова. И лег спать. Его спокойствие и равнодушие к нам разозлили нас сильнее прежнего. И мы решили устроить ему «велосипед». Шутка эта, надо признать, далеко не безобидная, жестокая: между пальцами ног вкладываются (спящему, разумеется) клочки бумаги и поджигаются. Спросонья человек не вдруг сообразит, в чем дело, и начинает сучить ногами, как будто действительно едет на велосипеде. Боль адская, а сделать-то ничего невозможно.

Бумажки мы вставили так, что Бармалей не пошевелился даже во сне. А вот когда собрались поджигать, он открыл глаза. Оглядел нас опять же вполне спокойно, усмехнулся и сказал:

— Если еще раз какая-нибудь сука приблизится к моей кровати, я сделаю из него мелкий компот.— И, натянув на себя два одеяла, повернулся на бок, словно ничего не произошло.

Нас было много, мы уже почему-то успели невзлюбить его, а он был один. Безусловно, все вместе мы могли бы поколотить Бармалея, устроить ему «темную» например, могли бы выжить его из училища, но победителем тогда вышел он. Что случилось с нами?.. Думаю, Бармалей победил потому, что знал, чего хочет, знал, что надеяться может только на себя и был готов ко всему. Да ведь и справедливость в тот раз была все-таки на его стороне. Конечно, если бы с нами заодно был Ерема, дело обернулось бы иначе — он не позволил бы обзывать его сукой, однако Ерема никогда не принимал участия в наших проделках и не вмешивался в наши споры. Он был сам по



себе. И даже удивительно, как он сумел целых два года сохранять свое независимое положение, не поступившись и малой толикой этой независимости, пользуясь при этом безграничным авторитетом среди нас. Или его авторитет как раз и держался на независимости?.. Так, наверно, и было, только мы-то не понимали этого.

Вот и Бармалей не поступился своей независимостью. Он тоже не спешил сблизиться с кем-нибудь, подружиться, он так же, как и Ерема, не вступал в общие разговоры и споры, не искал нашего признания, тем более не заискивал, и его тоже побаивались, но в отличие от Еремы сразу и дружно невзлюбили. Конечно, дело тут было не в матраце и не в лишнем одеяле. В чем-то другом. Ведь если бы лишнее одеяло получил Ерема, никому бы и в голову не пришло считать себя обиженным.

В общем, нам не оставалось ничего, как объявить Бармалею молчаливый бойкот.

А страшное это дело, коллективный, да еще и мальчишеский, бойкот. Но никогда больше я не встречал человека, который бы столь равнодушно относился к бойкоту. Обычно человек, оказавшийся в положении, в каком оказался Бармалей, либо уходит, либо уступает. Бармалей плевал на все, он только посмеивался. Скорее всего, он уже тогда знал, что скоро мы сами придем к нему, что не он станет искать дружбы с нами и нашего расположения, а мы станем заискивать перед ним... Он был умен, хитер и обладал, как можно теперь понять, огромной волей. Он-то видел наши слабости, он изучал нас всех вместе и каждого по отдельности, и когда настало его время — а настало оно, повторяю, очень скоро, — умело, ловко использовал эти свои знания. И разумеется, он прекрасно понимал, что наша дружба, наша спаянность всего лишь видимость, что в действительности все мы жили сами по себе. Он был и старше и опытнее нас. Жизнь уже научила его тому, чему нам еще только предстояло научиться.

В том-то и дело, что мы не были в полном смысле коллективом, и Бармалей это видел. Так что нет ничего удивительного, что почти вся группа мало-помалу стала его вотчиной, что ли. То есть все мы, за исключением трех-четырех человек, сделались его вассалами, верноподданными, а тот самый Шишка, который подводил к кровати Бармалея электричество,

чистил ему ботинки, утюжил его брюки и даже давил угрей на его лице.

Произошло это просто, как-то буднично, никто и не заметил этого...

Неподалеку от общежития на берегу Невы выгружали с барж соль. Обычную поваренную соль. Увозили ее на машинах, так что соль лежала на берегу постоянно, зимой и летом. Горы соли. Баржи прибывали часто, машины с перевозкой не справлялись, и горы не убывали. Мы не обращали внимания на соль, ибо нам-то лично она была не нужна, а вот Бармалей, тот сразу смекнул, что к чему. Побродяжничав по стране, он в том числе узнал и цену соли. Он раздобыл мешок и однажды в ночь с субботы на воскресенье исчез. Тогда мы не подозревали даже, что он отправился воровать соль, которая и охранялась-то не очень чтобы строго. Набив мешок солью, он вернулся в общежитие, спрятав соль где-то во дворе. Утром поднялся чуть свет и поехал за город. Может быть, в Жихарево, в Войбокало или в Пупышево. Соль-то была дефицитом. Пол-литровая банка стоила тридцать рублей (все это мы узнали слишком поздно), почти столько же, сколько и наш двухдневный рацион. Уж не знаю, не могу сказать, сколько поездок сделал Бармалей, прежде чем дал понять, что у него водятся деньги. И деньги немалые...

Как-то Бармалей неожиданно предложил Селедке (кличка, конечно) поменяться местами. А у Селедки, между прочим, было лучшее место в комнате: недалеко от печки, но все же и не совсем рядом, и у окна.

Селедка не удостоил Бармалея ответом, ведь мы же бойкотировали его! Бармалей, по обыкновению улыбнувшись, сказал равнодушным тоном:

— Дам в придачу двадцать рублей.

Разумеется, двадцать рублей по тем временам — гроши, но и предлагали их как бы просто так, ни за что... И Селедка, недоверчиво взглянув на Бармалея, задумался. Да что там, все мы задумались, всем было интересно.

— Ладно, — сказал Бармалей, — оставляю и вторсе одеяло. Только старое.

— Тридцать рублей, — поборов сомнения, сказал Селедка. Он тоже был парень не промах. Однажды, чтобы не ходить на занятия, наврал, что у него умерла мать, его отпустили (вообще-то, он жил где-то за городом), и он уехал домой на несколько дней. А спу-

стя месяц в училище явилась его мать выяснить, как дела у сыночка.

— Слишком жирно, — возразил Бармалей.

— Ну как хочешь, — тоже изображая равнодушие, ответил Селедка.

Бармалей недолго подумал и согласился. Однако выставил еще одно условие — чтобы Селедка отдал ему завтрашнюю порцию сахару. Они сторговались. Бармалей перебрался на лучшее место, а мы узнали, что у него водятся деньги. И еще узнали, что можно продавать пайки не бегая в булочную. То есть можно продавать будущие пайки.

Бармалей поначалу совсем не тратил деньги. Он не ездил на Невский в кино, не покупал мороженое, не водился с девчонками и, конечно, не продавал свои пайки. Он любил хорошо поесть. Но раз у него были деньги, значит, кто-то должен был прийти к нему на поклон, иначе не бывает. И кто-то пришел и попросил у Бармалея взаймы. События, я думаю, можно реконструировать примерно так. Кому-то очень понадобились деньги, но и очень хотелось есть, так что жалко было расставаться с пайкой.

— А когда отдашь? — спросил Бармалей.

— Завтра.

— Хорошо. — И Бармалей дал деньги.

Наступило «завтра». Деньги надо отдавать, для этого — продать хлеб, а есть-то снова хочется! И если прежде, продав хлеб, мы все-таки и покупали что-то взамен, хотя бы и билеты в кино, то теперь деньги нужно было просто... отдать. Бармалей учел и это, он сжалился над своим первым должником и предложил не возвращать деньги, а отдать через неделю (!) воскресный рацион.

Нет, все-таки именно в этот раз мы вдруг сообразили, что у Бармалея можно разжиться деньгами и потом не возвращать их. Когда еще наступит срок отдачи пайки или рациона — деньги-то он дает сейчас, сегодня!.. Определенно, он чудак, этот Бармалей, считали, должно быть, мы. Ведь сегодня будущая пайка не стоит как бы ничего, ее ведь не продашь в булочной, а денежки — вот они, и на них немедленно можно купить мороженое, несколько штук папирос, сходить в кино. Да еще не оставшись сегодня голодным!

И кто-то шутя предложил:

— Бармалей, а Бармалей, купи у меня десять завтраков в феврале!

И он спокойно отозвался:

— Давай. По три рубля.

Конечно же, это был настоящий, форменный грабеж среди бела дня, потому что только пайка белого хлеба стоила шесть рублей, продавался также и сахар, а еще ведь и каша с маслом или макароны с сыром. Но мы не понимали этого, не понимали до тех пор, покуда не наступал день, когда приходил срок расплаты, когда нужно было отдавать завтрак, ужин или весь рацион. То есть когда вроде бы абстрактное будущее не становилось реальностью, именно сегодняшним днем...

Обеды, к счастью, не продавались. Ибо на завтрак мы могли и проспать, явиться прямо в цех либо на теорию, на ужин могли не успеть и отпраляться в общежитие, а на обед нас водили из цеха или из училища, из классов.

Сколько раз и до Бармалея я по утрам съедал одну кашу и выпивал несладкий чай? Не счесть. Но когда однажды утром Бармалей напомнил мне, что начиная с сегодняшнего утра и в течение ближайших десяти дней мне нет надобности ходить в столовую, что десять завтраков принадлежат ему, я по-настоящему понял, что такое хотеть есть. Если бы я не забыл, что продал эти завтраки, возможно, я бы приготовил себя к этому испытанию, но в том-то и дело, что я забыл и, как все, собрался идти в столовую. К тому же вечером я договорился встретиться с Зоей...

Да просто не мог я остаться без завтрака! Не мог, и все. Я бы умер, если бы не поел именно сегодня утром. И я попросил Бармалея не брать сегодня мой завтрак, взять в другой раз...

— Э, уговор дороже денег! — сказал он. И был, разумеется, абсолютно прав.

— Но какая тебе разница? — уговаривал я. — Начнешь получать долг не с сегодняшнего, а с завтрашнего дня! — Будто бы завтра мне станет легче.

— Завтра ты опять скажешь...

И я выпалил в отчаянии:

— За сегодняшний завтрак я отдам тебе два!

— Так и быть, — согласился он, проявив, как мне тогда показалось, несвойственное ему благородство.

А впрочем, я отнюдь не уверен, что предложение за один завтрак отдать два впервые сделал я. Может быть, первым был тот же Селедка. Или Шишка. Или

Метелица. Или еще кто-то. Да это и не имеет значения. Важно, что такая система вошла в нашу жизнь. И еще важно, что придумал-то это не Бармалей, а мы сами. Особенно этим пользовались те ребята, которые жили дома. Им и вовсе казалось удобным заложить будущие завтраки, ужины и воскресные рационы. Подумаешь, казалось им, утром из дому — прямо в цех, а вечером из цеха — домой. Ведь в училище можно соврать, что позавтракал дома, ну а дома думают, что накормят в училище. Однако дома вряд ли кому удавалось поесть, дома сами сидели голодные. В выходной ребят, живших дома, посылали за рационом. С тем чтобы приварск они съели, а хлеб привезли домой. Знаю это хорошо. Иногда мы с братом ездили к родственникам на выходной и всегда должны были привезти с собой хлеб. И вот когда я впервые явился без хлеба, потому что рацион задолжал Бармалею, у меня строго спросили, где хлеб, и столь же строго предупредили, чтобы впредь без хлеба не являлся. Все правильно — ни у кого не было лишнего куска, а откуда родственникам и матерям было знать, в какую зависимость мы попали к Бармалею. И вот здесь-то он развернулся во всю свою мощь. Хочешь не хочешь, а хлеб домой привезти обязан. А откуда его взять?.. И Бармалею уже не стало нужды делать из себя чудака или разыгрывать благодетеля. Его уже не устраивали два завтрака за один. Он требовал три.

В отличие от родственников (я-то мог и не ездить) и матерей мы к этому времени осознали, в какую попали зависимость, и нам было страшно заглядывать в будущее, которое не сулило ничего хорошего. Никуда не денешься, рано или поздно должно было прийти время, когда почти у каждого из нас вообще не останется ни завтраков, ни ужинов, ни воскресных рационов до самого окончания училища. А выхода не было. То есть выход был один: опять же идти на поклон к Бармалею, и случались дни, когда все завтраки, за всю группу принадлежали ему. Столько съесть он был не в состоянии, он съедал две-три порции каши, забирал себе хлеб и сахар, а остальное отдавал нам. Но не просто так. За это мы, получающие от щедрот его даром порцию каши или винегрет, таскали продавать его пайки, а деньги приносили ему. Вот сахар он не продавал. Он любил вечером попить чайку, макая в сахарный песок булку. Такой у него

был изысканный вкус. А еще ему чистили ботинки, гладили его форму, убирали за ним постель и даже рабстали за него. Мы хоть и учились, а все же и нам устанавливали какие-то нормы на работе. Бармалей и в кузнице почти ничего не делал. Его норму выполняли должники, за кашу и виногрет.

У него появились хорошие, дорогие вещи. Он, например, не менял на бушлате пуговицы — он просто купил себе настоящую морскую форму. Посреди комнаты он повесил «грушу», на которой отрабатывал точность ударов. А если хотелось, он в любое время мог поставить посреди комнаты того же Шишку и отрабатывать удары... на нем. А Шишка молчаливо терпел. Да и что же ему оставалось делать, как не терпеть, если он кормился только тем, что давал ему Бармалей.

После окончания училища мы с Бармалеем попали на один завод и жили в одном общежитии. Когда отменили карточную систему, он как-то очень быстро скис, опустил и вскорости совсем исчез. Не знаю, куда он делся. Скорее всего, сбежал с завода и вернулся к тому состоянию, в каком пребывал до прихода в училище. Его ведь кормил не собственно хлеб, как других людей, но отсутствие хлеба, его недостаток. Может, он сделался заурядным спекулянтom, но почему-то не думаю, что он стал вором. Все-таки он был торгаш, вымогатель по натуре, по своей психологии. А вор — это другое. Впрочем, вполне возможно, что Бармалей и не пропал, не потерялся среди себе подобных, но всплыл где-нибудь в каком-то новом качестве и до сего дня живет спокойно и безмятежно, вряд ли вспоминая о том далеком прошлом. Увы, такие люди живучи, они, что называется, непотопляемы, а Бармалей, как уже говорилось, отлично умел приспособляться к любым обстоятельствам, умел пускать свои паучьи корни глубоко и надежно. Была бы подходящая почва.

Признаться, меня совсем не интересует судьба Бармалея. Хотя любопытно было бы увидеть его сегодня. Занимает меня другое: ведь мы были не одни, вокруг нас постоянно находились взрослые люди. Неужели они не видели, не понимали, что творится на их глазах?..

Или не хотели видеть и понимать?

Пожалуй, им было не до нас, у них хватало своих проблем и забот, а училище для них было местом ра-

боты, местом службы и только. Как, впрочем, и для нас только местом, где кормят и одевают. Мы казались им бандой хулиганов, случайно оказавшихся здесь, а не где-нибудь еще, где, по их мнению, быть нам надлежало. Отчасти они были правы, однако главное, наверное, в том, что все они были людьми более менее случайными в роли педагогов и воспитателей. Возможно, это не касается собственно учителей, то есть преподавателей теории, ибо они-то как раз и не знали, как и чем мы живем, никто из них никогда не бывал в общежитии. Рядом с нами постоянно находились мастера (днем), воспитатели (вечером) и коменданты (круглые сутки)...

### **Воспитатели и воспитуемые**

Нашего старшего коменданта забыть невозможно. Хотя, казалось бы, прежде всего надлежит помнить мастера, который учил ремеслу. Но все дело в том, что со старшим комендантом мы общались все два года, а мастера часто менялись. В нашей группе их было три. К тому же старший комендант был знаменитостью, и его знаменитость выходила за рамки нашего училища.

У него не было одной руки, кажется правой. Вернее, не было кисти, вместо кисти — железка, похожая на вилку, всегда затянутая в черную кожаную перчатку. Не знаю, где и когда он потерял кисть, но мы считали, что на фронте.

Звали его, если мне не изменяет память, Николай Иванович. А знаменит он был своей строгостью, которая граничила с необузданной жестокостью, и красавицей-женой (не в ней ли и причина его жестокости?). Ее звали Мария Григорьевна, она была много младше мужа, работала дежурным комендантом (они и жили здесь же, в общежитии, занимали точно такую же комнату, как наша группа, только в противоположном конце коридора), и, если бы не откровенная злобность, ее ненависть к нам, мы все были бы безусловно влюблены в нее. Вот уже в каком возрасте мы если и не понимали, то чувствовали, что нет ничего страшнее, чем злая женщина. Чувство это, должно быть, мы впитываем вместе с материнским молоком. Ну да, первая женщина в жизни, которую мы видим и осознаем, — мать. А мать всегда добрая. Значит, все женщины должны быть добрыми...

Если бы так оно и было!

Так вот Николай Иванович очень ловко умел бить нас «по шеям». Он бил железкой, которая ему заменяла кисть, и всегда бил только по шее. Ударит разок — из глаз выплывают этакие радужные круги, разноцветные, как цвета побежалости, а голова гудит потом долго и назойливо. Однажды я ударился головой о буфер, который висел еще с войны возле нашей столовой. Спешил на ужин, забыл про этот чертов буфер и с разбегу врезался в него лбом. Буфер качнулся, издал протяжный, мелодичный звон, словно ударили по нему металлической «дубинкой» (она висела рядом), а не я ударился своим лбом. Но честное слово, мне не было так больно, как бывало больно тогда, когда я получал «по шеям» от старшего коменданта. Делал он это, надо сказать, довольно часто и, похоже, с удовольствием. Благо и повод для этого найти было нетрудно. Вот он зайдет в комнату, шумно потянет носом (ноздри у него раздувались широко, как «воротник» у кобры) и не дай бог если учует запах табачного дыма. Ну а поскольку сам не курил, запах чуял даже прошлогодний. И тогда «по шеям» попадало всем подряд, кто подворачивался под руку. Попадало и курящим и некурящим. Он не вникал, не разбирался, кто прав и кто виноват. Он действовал в полном согласии со своими методами и убеждениями, а убежден был в том, что все мы — без исключения — хулиганы. Такая у него была «педагогическая» установка, и он не отступал от своих правил. А если уж опоздаешь вечером к отбою, тут и вовсе деваться некуда, потому что двери он открывал и закрывал сам, лично. Либо его жена. Но в этом случае он стоял здесь же, рядом, готовый воспитывать провинившегося... Кто жил на первом этаже, было полегче — иногда мы лазали в окна.

Он ударит и непременно скажет совсем не злым голосом:

— Таким вот макаром.

А все же надо отдать ему и должное: он не был злопамятным — если сейчас увернулся от наказания, в другой раз наказывать не станет, и затрещина «выдавалась» только одна, вторая — никогда.

Теперь-то, оглядываясь назад, в то далекое прошлое, в общем-то, и понимаешь, что мы, наверное, заслуживали и большего. Сколько же мы делали вреда, сколько творили безобразий, действительно гранича-



щих с хулиганством, сколько мы попортили нервов людям, которые как-никак опекали нас, заботились о нас, в меру своих сил и умения чему-то учили... Как у них вообще хватало терпения возиться с нами? Наверняка у них была невысокая зарплата и карточки нерабочие (кроме, может быть, мастеров), а вот я, честное слово, не согласился бы ни за какую зарплату работать с теми сорвиголовами. Выходит, они по-своему любили нас?.. Или работали за прописку, за жилье?..

Первым мастером в нашей группе был очень добросовестный человек и хороший кузнец. Но никакой не педагог и не воспитатель. Он и сладить-то с нами просто-напросто не мог. Утром приведет в кузницу, и мы тотчас разбегаемся кто куда. Летом залезали на крышу и загорали. Зимой прятались по укромным теплым и темным углам, которых хватало в кузнице, и спали. Наш мастер побродит, побродит по цеху, отыщет двоих-троих и с ними занимается. А остальные вылезают из своих нор или спускаются с крыши к обеду. Иногда и он не выдерживал нашего нахальства, таскал кого-нибудь за ухо. Небольшо таскал, для остротки, а сам переживал потом. Нам, дуракам, полюбить бы его, пожалеть, а мы куражились, преисполненные гордости, что не мастер нами командует, а мы командуем им. Вот и разберись, кто же был более жесток и несправедлив: взрослые или мы?..

Этого мастера скоро сменили, пришел другой. Этот не был не только педагогом, но и кузнецом настоящим и на нас вообще почти не обращал внимания, занятый своими делами. Надо сказать, что как кузнец он был ни к черту, то есть работать не умел (или не любил), однако на всякие «рацухи», как теперь говорят, был изобретателен, за что его не любили не только мы, но и другие рабочие в цехе.

Третьим нашим мастером, который вел группу до конца, был Василий Васильевич Быстров. Он, так же как и его предшественники в этой хлопотливой должности, не имел специального образования (не знаю, имел ли он вообще «приличное» образование, какovým тогда считалось среднее или даже неполное среднее). Не думаю, что он владел секретами педагогики, как таковой, однако сумел каким-то непостижимым образом кому-то привить любовь к тяжелому, но и очень интересному ремеслу кузнеца, а в ком-то хотя бы пробудить любопытство, и если несколько выпуск-

ников из нашей группы впоследствии все-таки стали стоящими кузнецами, заслуга эта целиком, как говорится, и полностью принадлежит Василию Васильевичу. За полтора года (полгода ушло на поиски мастера), да притом неполных, ибо практика все же была через день, он не мог, разумеется, обучить ремеслу двадцать с лишним мальчишек, озабоченных не столько учебой, сколько едой и девчонками, и потому большую часть времени уделял тем, в ком разглядел будущих кузнецов. Нет, нет, это были отнюдь не любимчики Василия Васильевича, у него вообще не было любимчиков в том смысле, как это обычно понимается. Это были ребята не всегда и самые дисциплинированные, но обязательно способные, с его точки зрения, к ремеслу. Не зная педагогики, никакой там социологии-психологии, он производил как бы профессиональный отбор, руководствуясь единственно своей интуицией и преданностью делу. И по-моему, не ошибался. Или ошибался в пределах допустимого. Во всяком случае, насколько мне известно, хорошими кузнецами стали именно те ребята, в которых он и разглядел кузнецов.

А учил он по старинке, как учили в свое время, должно быть, и его, по принципу: «Делай, как я». То есть он не объяснял, а показывал. В моей жизни было два таких мастера, второй — А. Красоткин, который придерживался такого же принципа обучения, и надо сказать, что если я хоть чуточку был кузнецом, то обязан этим именно Быстрову и Красоткину.

В обращении Василий Васильевич был мягок, деликатен даже, был терпелив и терпим. На наше озорство, покуда оно не переходило границы только мальчишеского озорства, смотрел с пониманием, однако никогда не сюсюкал, не заигрывал с нами, но относился к нам с достаточной требовательностью и строгостью. Иногда мог быть и безжалостным, хотя, конечно же, никого не тронул пальцем, никого не оскорбил грубым словом. Свою безжалостность он умел выразить словом, обыкновенным словом, умел просто и доходчиво объяснить то, что другие наши воспитатели и учителя разъясняли долго, нудно, невразумительно и потому без видимой пользы. У нас в одно ухо влетало, в другое — вылетало. Видимо, можно сказать и так: Василий Васильевич, когда ему пришлось заниматься собственно воспитанием, то есть объяснять, «что такое хорошо и что такое плохо»,

обращался к человеку, к его разуму и совести, а не к объекту воспитания.

Думаю, что он все же был очень талантливым воспитателем, педагогом-самоучкой.

Самым запретным, но и самым интересным, захватывающим занятием было для нас подглядывание за женщинами в душевой. Мужской и женский душ разделялись довольно тонкой стенкой, и мы (может, кто-то еще и до нас) наделали в стенке дырок. Дырки эти время от времени заделывали, однако они тотчас появлялись снова. Разумеется, нам тысячу и один раз говорили, втолковывали, что заниматься подглядыванием неприлично, недостойно, стыдно, но эти объяснения не производили на нас никакого впечатления, тем более и кое-кто из взрослых рабочих занимался тем же. А нам было по пятнадцати лет. И вот однажды нас застал Василий Васильевич. Наверно, кто-то подсказал ему, чем мы занимаемся. (Завод работал в три смены, но мы, ремесленники, начинали свой рабочий день на час позднее, поэтому, когда мы приходили в цех, ночная смена, закончив работу, как раз мылась.) В душевой никого, кроме нас, нескольких мальчишек, не было — известно, что женщины моются гораздо дольше мужчин, — так что мы и не заметили Василия Васильевича.

— Очень интересно? — спросил он.

Мы отлепились от стенки и молчали. Нет, в тот момент нам еще не было стыдно, просто мы не знали, что ответить.

Он внимательно, как бы запоминая, оглядел нас и спросил кого-то (не помню, кого именно):

— А если бы там была твоя мать, ты стал бы заглядывать?

И все. Больше Василий Васильевич не сказал ни слова. Повернулся и быстро вышел из душевой, оставив нас одних, предоставив нам возможность решать, что делать дальше. Мы тихонько, не глядя друг на друга, побрели тоже прочь.

Клянусь, больше мы не занимались подглядыванием. А если среди нас все же находился слишком любопытный и его «засекали» — били. И били не жалея.

Много позднее я пытался разобраться, понять, за что же били? Ведь получается, что за наш общий грех и общий стыд. Мы были несправедливы, но иначе не могли, не умели. И это очищало нас от собственного греха. Ибо давно замечено, что самый стро-

гий, самый безжалостный и потому несправедливый судья — вчерашний соучастник...

Вот о Василии Васильевиче Быстрове, который многих из нас буквально поставил на ноги, я должен был бы написать в первую очередь. Специально написать о нем. Увы, я ничего не знаю о нем, кроме того, что он был у нас мастером производственного обучения, что до этого работал кузнецом, что мы его уважали и слушались, что... Хотел написать «любили», но не уверен, что это так. А признаваться в любви к человеку спустя жизнь... Ничего не хочется придумать, досочинять о нем, не лежит душа. Да ведь и что бы я ни придумал, вряд ли это будет лучше правды. Была ли у него семья, были ли дети?.. Конечно, все это нетрудно узнать теперь. Уж если сохранилось мое «Личное дело», в котором хранятся десятки нужных и ненужных бумажек, то «Личное дело» Василия Васильевича хранится тем более, и я уверен, что мне позволили бы заглянуть в него, и я бы узнал то, чего не знаю, и написал бы о Василии Васильевиче больше...

А нужно ли?

Быть может, иногда о хорошем человеке только-то и надо сказать, что он — хороший человек? Или я боюсь немножко, что, изучив «Личное дело», я узнаю о Василии Васильевиче такое, чего мне знать не надо? Жизнь щедра на сюрпризы, в том числе на сюрпризы далеко не праздничные, но дело не в этом, вовсе нет. Я взялся спустя сорок лет написать не просто повесть, не просто воспоминания, но именно повесть-воспоминание и потому обязан полагаться только на свою память, не прибегая к помощи документов и к рассказам людей, с которыми вместе учился. А Василий Васильевич Быстров живет в моей памяти именно как прекрасный человек (вот ведь я не помню ни имени-отчества, ни даже фамилии первого нашего мастера, помню только фамилию второго — не хочу ее называть...), хотя кого-кого, а меня-то он уж точно недолголюбивал. Опять не то. Относился он ко всем ровно и одинаково, — как я говорил, у него не было любимчиков. Просто он не принимал меня всерьез, чувствовал, наверно, что порядочного кузнеца из меня не получится (и не получилось, хотя я и отработал несколько лет кузнецом).

У него была отличная интуиция, и он по-настоящему любил свою профессию, поэтому не мог всерьез,

с уважением относиться к тем, кто его профессию не любил...

Я так до сих пор и не знаю даже, жив ли Василий Васильевич Быстров. Пожалуй, нет. Ведь прошло почти сорок лет с тех пор, как мы окончили ремесленное, а он и тогда был немолодым. Впрочем, все взрослые казались нам немолодыми, чуть ли не стариками казались они нам.

Но вернемся к нашему старшему коменданту (тут признаюсь, что не называю его подлинного имени, как не называю подлинных имен и некоторых других героев этой повести), уж его-то мы знали хорошо. Он жил вместе с нами.

Комендант был педагогом не лучше и не хуже остальных. Просто у него были свои взгляды на педагогику и воспитание. И свои же методы, которыми он и руководствовался, осуществляя собственные взгляды на практике. Обычно педагоги-практики пользуются методикой педагогов-теоретиков, то есть одни воспитывают, а другие размышляют о воспитании, а вот наш старший комендант совместил в себе обе эти ипостаси. Вполне вероятно, что его тоже когда-то воспитывали подобными методами, а коль скоро он считал себя человеком воспитанным, естественно, что и эти методы почитал как единственно действенные. По крайней мере, он ограничивался тем, что давал «по шеям», но никому на нас не жаловался, никого не оскорблял словом, как это постоянно делала его красавица-жена. О, она-то не стеснялась в выражениях, ничуть не стеснялась, хотя мы и были в сущности детьми. Она вообще была какая-то озлобленная, нервная, мнительная... Может быть, эти ее качества проявлялись не только в отношениях с нами. Может быть, по природе своей она и не была злой или грубой, а такой ее сделала война. Тем и страшна война, что она не только убивает, не только делает людей физическими инвалидами, но и калечит души, то есть и хороших, добрых людей подчас делает злыми. Как бы там ни было, а свою озлобленность Мария Григорьевна вымещала все-таки на нас. Это было безопасно и даже как бы удобно, поскольку мы всегда здесь, под рукой, и поскольку все мы, так считала она, «бандиты и ворье». А вот разглядеть наше горе за своим горем она не умела. Ей было это не дано. Нет, я совсем не в обиде на эту женщину. Увы, отсутствием элементарного милосердия страдают нередко и люди

в общем-то порядочные. Собственное горе, как известно, ослепляет многих...

Она бродила по общежитию даже тогда, когда было не ее дежурство. Должно быть, она считала себя полновластной хозяйкой, коль скоро жила здесь же. Бродила вечно чем-то недовольная, раздраженная, подслушивала у дверей, заглядывала в замочные скважины (с этой ее привычкой мы скоро научились бороться — затыкали скважины бумажкой), рылась в тумбочках, перетряхивала постели, и то и дело слышался ее визгливый голос: «Бандиты! Ворье!..»

А может, все дело в том, что у нее не было детей? Ей завидовали, что у нее есть муж, пусть даже калека, но живой муж, мужик, завидовали ее красоте, а она в свою очередь завидовала нашим матерям, живым и мертвым, потому что была женщиной, но не матерью, и вымещала зло, порожденное завистью, на нас?.. Поди-ка разберись, отчего одна женщина — сама доброта, а другая ненавидит весь мир...

Мы были беззащитны перед нею. И конечно же, перед ее ненавистью, природы которой она наверняка и сама не знала. Мы боялись обоих — жену и мужа, но самые большие беспорядки устраивали именно в ее дежурство. Мы ведь тем более не догадывались, что ее ненависть к нам — месть за то, что мы есть, что мы существуем, что мы родились, и, в свою очередь, мстили ей, вызывая с ее стороны еще большую озлобленность. Вот она — окружность, у которой нет ни начала, ни конца. Но окружность эта с острыми углами.

И все-таки она была красивая, эта женщина. Как ни странно и как ни обидно, однако в жизни подобное совмещение несовместимого встречается довольно часто.

Конечно же, о нашей комендантше болтали много и разное, как болтают, судачат о всякой красивой женщине. Кое-что, в общем-то не предназначенное для наших ушей, знали и мы. Например, что за ней ухаживает преподаватель физики. Мы охотно верили этой нелепой сплетне. Скорее всего, потому и верили, что было это нелепо. Вряд ли, как я понимаю теперь, они и знали друг друга. Преподаватели теории никогда не бывали в общежитии, так же как и работники общежития не бывали в здании, где мы занимались теорией. Преподавателям абсолютно нечего было делать в общежитии, а комендантам и воспитателям —

в учебном корпусе. К тому же это было и далеко — несколько трамвайных остановок. Но главное, очень сомнительно, чтобы такая красивая и молодая женщина, как Мария Григорьевна (ей было, вероятно, лет двадцать пять — двадцать шесть), могла заинтересоваться нашим физиком. Вообще-то он был замечательный, наш физик, мы его обожали, на его уроках, не в пример прочим урокам, всегда бывало тихо, но его внешность... Он был очень мал ростом, ниже многих из нас, пожилой, плешивый, с длинными, до колен, руками. Зато уши у него были несоизмеримо с ростом — большие, оттопыренные, и когда он стоял спиной к свету, они просвечивались насквозь. Я думаю, что его неприглядная внешность и была причиной сплетни насчет сожительства с красавицей-комендантшей. Страшнее такой мести нельзя было придумать ничего, а физика, по нашим понятиям, этим нельзя было оскорбить, потому что она-то красивая!

Вот знала ли она об этих сплетнях? И знал ли ее ревнивый муж?

Еще немножко о физике. Это был поистине добрейший человек, беззаветно любивший и нас, и свою физику. Бывало, заметит какое-нибудь шевеление на задних партах (случалось такое и на его уроках), прервет рассказ о трении или там о двояковыпуклой линзе на полуслове, оглянется удивленно и спросит, часто-часто моргая:

— Уже был звонок? А я прослушал...

А еще у него была страсть — он тренировал руки, вернее, ребра ладоней, и до того натренировался, что одним легким ударом раскалывал пополам кирпич. Когда его заводили на эту тему, он всерьез доказывал нам, что хорошо натренированной рукой можно сломать человеку шейные позвонки и убить быка. Зачем ему это было нужно? Скорее всего, таким способом он возмещал недостаток своего роста и общего физического развития. А нам было интересно, и скоро все мы заразились этой страстью. В столовой стучали в ожидании каши, на переменах пользовались подоконниками, на практике — наковальнями, в общежитии — спинками кроватей, на уроках других учителей барабанили по партам... Это была повальная эпидемия, как будто все мы собирались в будущем заняться ломанием шейных позвонков или убиванием быков. Но раскалывать кирпич никто не научился. А приостановил эту эпидемию директор училища. Должно быть,

от нашего неумного, постоянного стука у него болела голова (директорский кабинет находился близко от кабинета физики), и он предпочел, чтобы мы играли в чехарду и в «маялку». И я до сих пор не знаю, можно ли одним ударом убить быка?..

А однажды в коридоре общежития появилась на стене надпись: «Бармалей + М. Г.». Надпись быстренько кто-то стер, но уже пополз, пополз слухок, что физик вовсе ни при чем, что Марию Григорьевну видели в городе с Бармалеем. Сам Бармалей, конечно, молчал. Он всегда молчал, если речь шла не о деньгах. А нам очень хотелось верить этим слухам. То есть нам хотелось, чтобы это была правда. Однако нужны были доказательства, и мы организовали за Бармалеем слежку. Уж не знаю, почему за ним, а не за нею. Дежурили мы попарно, и многие ради этого записались в секцию бокса, куда давно ездил Бармалей. Секция была при спортклубе «Трудовых резервов», который находился на Конюшенной площади. Записался и я, и даже с интересом посещал занятия, пока...

Но по порядку.

В тот день мы дежурили вместе с Гуслеем-Гуслеей (это, как вы догадываетесь, кличка, а о самом Гуслее-Гуслее я еще расскажу подробнее). Он боксом не занимался и ждал меня (прежде всего Бармалея) на улице, промышляя окурки. Я вышел из спортзала пораньше Бармалея (он никогда не спешил и после занятий подолгу мылся), мы встретились с Гуслеем-Гуслеей и притаились в подворотне. Бармалей вышел из-за угла, спокойно огляделся и пошел по Желябова к Невскому. Мы осторожно, чтобы не выдать себя, шли за ним. И вдруг он исчез! Мы, ничего не поняв, пустились бегом. Тут-то он и перехватил нас, выскочив из темной парадной.

— А ну, идите сюда! — приказал он. Именно приказал, и мы не посмели послушаться. Да нам тогда еще и в голову не пришло, что он тоже следил за нами, то есть прекрасно знал, что мы идем за ним по пятам.

Нет, парадная все-таки была освещена крохотной лампочкой. По крайней мере, лицо Бармалея, как всегда расплывшееся в улыбке, и его глазки были видны.

Он молча взял нас за воротники и столкнул лбами. Не буду утверждать, что у меня из глаз посыпались искры, но больно было очень.

— Ну что, сыщики?.. — прошипел Бармалей. — Не надоело ходить за мной?



— Да мы...— пробормотал Гуслей-Гуслея.— Мы просто так, я ждал его...— Он кивнул в мою сторону.

— Ждал! — сказал Бармалей таким тоном, как будто собирался отправить нас в костер, как это сделал его родственник с непослушными Таней и Ваней, которые убежали от родителей в Африку.— Если еще хоть раз увижу, что ты ждешь его...— Он взглянул на меня и улыбнулся.— И остальным передайте.— На прощанье он наградил нас поочередно хорошими «хуками».

Так закончилась эта история. Больше за Бармалеем не следили, и те, кто записался в секцию бокса, мало-помалу вышли из нее. Все-таки ездить было далеко, а заниматься боксом на голодный желудок трудно. Я, например, поездил еще недолго, но после первых же соревнований (кажется, это была встреча с боксерами из секции Дворца пионеров), на которых мне здорово попало, также потерял к боксу практический интерес. С тех пор только «болею».

Насчет связи Бармалея с комендантшей сказать ничего не могу, но думаю, что все же это была сплетня. К тому же другие заботы заслонили интерес наш к личной жизни комендантши, а они съехали из общежития,— получили комнату, и Мария Григорьевна больше уже не работала у нас. Николай Иванович остался работать, и нам по-прежнему время от времени попадало «по шеям», но вроде бы реже, чем раньше, только в самых крайних случаях, когда вовсе оставить кого-то безнаказанным было нельзя. Видимо, наш старший комендант наряду со своими доморощенными методами воспитания исповедовал и всем известную истину о том, что наказание должно быть неотвратимым. А я по простствию жизни, ибо сорок лет — целая жизнь в сущности, когда уже вырастил собственного сына и заимел внуков, все чаще задаюсь вопросом: а так ли уж не прав был старший комендант? Бить, хотя бы и «по шеям» только,— плохо, непедagogично, однако, во-первых, еще хуже, когда бы он докладывал о всех наших проделках начальству, некоторые из которых наверняка подпадали под статьи УК РСФСР; во-вторых же, большинство из нас просто не поняли бы другого «языка». Да и неизвестно, кто кому сделал больше плохого — старший комендант нам или мы ему. В конце концов, он хотел нам добра, и это бесспорно. Иначе многие так и не окончили бы ремесленное училище...

## «Веселые игры» и разные другие события

Зачем, почему мы обращаемся к прошлому? И не просто к прошлому, не к прошлому вообще, но ищем в нем нечто главное, пренебрегая, как нам кажется, мелочами, ищем то, что повлияло на нашу дальнейшую судьбу и что может быть вписано отдельной строчкой в автобиографию. Нам порой думается: в главном — смысл, станция отправления, а все остальное вроде бы фон, подернутая туманом забвения перспектива. Все остальное тоже, конечно, было, но его могло и не быть или оно могло быть другим, все равно ничего не изменилось бы в жизни, потому что жизнь складывается... И вдруг поймешь, что это не так, совсем не так. Жизнь не партия в шахматы, где ни размер фигур, ни материал, из которого сделаны фигуры, ни площадь доски, на которой партия разыгрывается, действительно не имеют значения. В жизни все имеет значение, все имеет смысл. Да и кто с уверенностью может сказать, прожив жизнь, что там, в далеком далеке, в той самой обратной перспективе, было главное, а что — нет?..

Порой и самое незначительное событие, которое мы тотчас и забываем, чтобы уже никогда не вспомнить о нем, аукается в будущем, а порой...

Возможно, одним из главных, поворотных пунктов в моей биографии явился тот факт, что я поддался на уговоры брата и пошел учиться именно в это ремесленное училище. (Кстати сказать, сначала меня направили в группу формовщиков, но чуть ли не в первый же день я жестоко подрался с кем-то, не помню, с кем именно, и меня почему-то перевели в кузнецы). Точнее, перешел в это училище. Я поступал в ремесленное при фарфоровом заводе имени Ломоносова, и, по идее, — как понимаю сегодня — должен был бы стать художником по росписи фарфора (в детстве я неплохо рисовал). А вот стал кузнецом. В результате искусство, быть может, и потеряло приличного художника-прикладника, а вот хорошего кузнеца народное хозяйство не получило, хотя работать я всегда старался честно и, как это ни странно, профессию свою, в общем-то, даже любил. И тут ничего не поделаешь. Значит, как говорится, не дал бог таланта...

Так вот, в сравнении с этими событиями в моей жизни прочие разные случаи, в том числе и ранение,

которое я получил после войны в Красном Бору (любопытное совпадение: в Красном Бору перед войной жила семья моей жены), вроде бы не повлияли на мою биографию, но отчего же постоянно, всегда помнятся именно эти разные случаи, отчего не забываются они, напротив даже, оттесняют в памяти события куда вроде бы более важные, значительные...

Таково свойство нашей памяти? Не знаю, не знаю. Но вряд ли дело только в этом. Скорее, просто мы не умеем определить истинное значение событий...

Мне понадобилось прожить очень много лет, чтобы понять, например, какую огромную роль сыграл в моей жизни Ерема. Хотя, казалось бы, понять это я должен был сразу.

Но прежде необходимо рассказать о наших «веселых играх».

Где-то я уже упоминал о том, что мы ездили «трофейничать» в места, где еще недавно шли бои. В те первые послевоенные годы этим занимались не только мы, многие ленинградские мальчишки. (Непонятно, почему же нас не задерживали в поездах? Что-то не помню, чтобы кого-нибудь из наших задержали хоть раз. Но может, я и ошибаюсь. Может, повезло мне.) Мы, словно кладоискатели, рыскали по землянкам, блиндажам, обшаривали подбитые танки, разряжали, хотя саперов среди нас не было, снаряды, мины, устраивали настоящие стрельбища, благо оружия валялось сколько угодно. В основном это были ржавые уже винтовки, автоматы, но иногда попадались и вполне пригодные, почти новенькие. Свой ТТ я нашел в блиндаже, он мирно лежал на полочке, приспособленной над дощатыми нарами. Зачем мы все это делали? Отдавали ли мы себе отчет в том, что рискуем ежеминутно жизнью, разгуливая по минным полям и разряжая снаряды?..

Зачем — сказать трудно. Скорее всего, искали острых ощущений, таким вот дурацким путем самоутверждались, что ли, демонстрировали друг перед другом свое бесстрашие, свою лихость. Да, в общем-то, было это и интересно, увлекательно. Случались неожиданные находки. Однажды мы нашли капсулу, в которой лежала свернутая трубочкой бумажка с фамилией, именем-отчеством и... ленинградским адресом погибшего солдата. Мы побывали по этому адресу, и оказалось, что семья этого солдата получила известие о том, что он «пропал без вести». Вряд ли, конеч-

но, найденная нами капсула с бумажкой произвела впечатление на работников военкомата, если она не произвела особенного впечатления на вдову (может быть, к тому времени она успела выйти замуж?), но мы-то чувствовали себя героями-тимуровцами и очень гордились своим поступком.

Понимали ли мы, чем рискуем, демонстрируя свою лихость? Думаю, что понимали, хоть это и кажется странным. Ведь многие подрывались на минных полях, погибли двое и из нашего училища. У одного из них было смешное прозвище — Метелка. И все же мы ездили. Значит, страсть к приключениям и боязнь прослыть трусом, оказаться белой вороной были сильнее страха смерти. Да это и понятно, ибо кто же в пятнадцать лет задумывается о ней? В этом возрасте смерть воспринимается как нечто абстрактное, вовсе не имеющее к тебе отношения. Умирают всегда другие, в этом все дело...

В нашей группе учился тот самый Гуслей-Гуслея, о котором я уже упоминал. О нем я расскажу чуть подробнее, потому что именно благодаря его изобретательскому таланту мы порой рисковали больше других, но и благодаря ему же никто из нашей группы не пострадал слишком серьезно. Кажется, и ранен-то был только я.

Как тому и положено быть, Гуслей-Гуслея был худой и длинный. В то время на экранах с большим успехом шел фильм «Насреддин в Бухаре», и актер, который играл мудреца из Багдада, тоже был худой и длинный.

Был Гуслей-Гуслея малоразговорчив, замкнут и тих. В драки не ввязывался и вообще держался в стороне от конфликтов. Должно быть, из-за своего роста и худобы. Когда он шел, как-то неестественно переваливаясь с боку на бок, мы дразнили его: «Гуслей-Гуслея, тебя ветром качает». Но качало-то нас всех, — Бармалей добросовестно высасывал из нас жизненные соки. Впрочем, заодно приучал нас преодолевать и невзгоды, и трудности. Этого у него тоже не отнимешь.

Гуслей-Гуслея обладал не только выдающимся ростом и выдающейся худобой. Он был еще и выдающимся изобретателем по части наших не всегда безобидных проделок, оснащая, так сказать, их технически, и по части практической жизни. Выходить на улицу, чтобы прикурить у прохожего, лень. Да и не всегда выйдешь, — дверь-то запирается, а окна на зиму за-

клеиваются. И Гуслей-Гуслея нашел выход из положения. Нужно взять уголек из давно остывшей печки, наколоть его наподобие кусочка мяса на шампур, на лучину и вставить в патрон вместо лампочки. Уголек мгновенно раскаляется.

Гуслей-Гуслея, мудрец из Багдада...

Не знаю, что случилось с ним. От кого-то слышал, будто бы он в конце концов подорвался на mine в Поповке, но так ли это — понятия не имею. Хотя не верится что-то, не хочется верить. Да и уж кто-кто, а он умел обращаться и с минами, и со снарядами, и с гранатами. Он запросто мог обезвредить любую мину, любой системы, и с ним мы не боялись «трофейничать». Он же, разумеется, придумал и приспособление, с помощью которого мы устраивали уличные «фейерверки» не выходя из комнаты. Вот это и были наши «веселые игры».

В качестве «трофеев» мы привозили в город взрывчатку, патроны, артиллерийский порох (мы называли его «макаронны»), запалы. В потайном месте, во дворе, у нас был целый арсенал. Ночью — летом, разумеется, — мы вылезали в окно и раскладывали патроны, порох, запалы на трамвайных рельсах. Рано утром, когда проходил первый трамвай, начиналась пальба — это и были «фейерверки». Еще интереснее было устраивать особо громкие «фейерверки» весной, во время ледохода. Сооружалась «бомба» из нескольких пачек тола (обычно мы привозили пачки по двести граммов, извлекали их из противопехотных мин), вставлялся запал с бикфордовым шнуром, и шнур поджигался. Все это сооружение мы забрасывали подальше, насколько хватало силенок, а сами убегали и ждали в сторонке. И вот плывет по Неве льдина, как вдруг — взрыв, куда уж интереснее!

Возможно, не столь уж и далека была от истины комендантша, называя нас бандитами. Ведь ответственность ложилась на ее мужа. Случись несчастье, и кто знает, что было бы с ним. Можно только удивляться, как все обходилось и никто не пострадал от наших «игр»...

Рано или поздно это должно было кончиться. И кончилось. За нами стали следить и ночью, а у входа в общежитие поставили дежурить милиционера.

И тут Гуслей-Гуслея снова проявил свой талант.

Несколько килограммов тола мы с вечера опустили в Неву, под берегом. К запалу привязали длинный

шнур (за чеку) и спрятали его тут же, под камнем. Ночью, когда перестали ходить трамваи, кто-то из наших вылез во двор через окно в уборной (это окно выходило во двор), кружным путем, чтобы не увидел милиционер, пробрался на берег и, размотав шнур, затащил его в комнату. И надо же было найти такой длинный шнур, чтобы его хватило от берега до общезжития!

Гуслей-Гуслея, как автор изобретения, дернул за шнур — и раздался мощнейший взрыв. Из воды поднялся столб огня, а во втором этаже нашего общежития вылетели стекла. Слава богу, что рядом не было жилых домов, а на противоположной стороне проспекта, на берегу, домов не было вообще. Шнур, разумеется, порвался, и мы быстренько втащили его в комнату, смотали и спрятали в печке.

Когда из ближнего отделения милиции прибыл наряд, когда милиция и наш старший комендант ворвались к нам, мы все сладко спали...

Наш мирный сон, конечно, никого не обманул, однако и доказательств, что виновники взрыва мы, тоже не было. Нас тем не менее подняли, произвели обыск в комнате, но ничего не нашли. Хотя заглянули и в печку. Искали-то взрывчатку, а не какой-то там шнур. Двум-трем из нас, кто половчее подвернулся под руку, комендант всыпал «по шеям», на этом дело и кончилось. А мы на следующую ночь повторили взрыв. Вернее, хотели повторить. Но что-то не сработало, сколько ни дергали шнур. И тогда Гуслей-Гуслея пробрался на берег и обрезал шнур. А утром влез в воду (тут, у берега, было мелко) и извлек из «бомбы» запал.

Сейчас об этом и подумать страшно...

А в тот раз, когда меня ранило, мы «трофейничали» между Красным Бором и Поповкой. Там в то время не было ничего. То есть никто не жил — сплошные окопы, окопы, окопы и пепелища. Мы забрели на минное поле. Правильнее сказать, здесь было как бы сразу два минных поля. Стояли тщательно замаскированные немецкие «лягушки» (так мы называли соединённые проволокой мины, и стоило натянуть проволоку в одном месте, как начинали рваться мины в разных местах), и тут же, запрятанные во мху, стояли обыкновенные противопехотные мины, «наши». Попадались и противотанковые, также и немецкие «тарелки», и наши «кастрюли». Как мы оказались в центре этого

поля — не ясно. На наше счастье, Гуслей-Гуслея был с нами и в этот раз, он проложил обратную дорогу, и мы благополучно выбрались. Кто-то предложил устроить по этому поводу грандиозный салют. А повод действительно был, ибо это ведь чудо, что все мы остались живы. Сложили в кучу обезвреженные Гуслем-Гуслеей мины, добавили гранат, патронов, несколько разнокалиберных снарядов, приладили запал, бикфордов шнур и пошли назад, к станции. Не знаю, сколько было шнура. Может быть, сто метров. А может, пятьдесят. Мы отошли, сколько хватило длины шнура, подожгли его, а сами укрылись в воронке. Взрыв получился просто страшной силы.

Что-то обожгло мне бедро. Больно не было. Я почувствовал именно ожог, да и то на короткое время, вроде вспышки. Возможно, сразу и внимания не обратил, засмотревшись на мощнейший взрыв. Зрелище страшное, но и красивое. А когда хотел встать, острая боль пронзила ногу. Это не штамп — именно пронзила. Я посмотрел и увидел маленькую дырку в штанах, а вокруг дырки набухало темное пятно. Понял ли я тут же, что ранен?.. Не знаю, не помню. Я сел — стоять уже не мог, мне сделалось плохо от вида крови, — и спустил штаны. На левом бедре была такая аккуратная, наполненная кровью трехгранная дырка. Опять же Гуслей-Гуслея стащил с меня гимнастерку, нижнюю рубаху, сделал жгут, порвав рубаху, и перетянул мне бедро. Я скоро пришел в себя, боли по-прежнему не чувствовал. Мне помогли подняться. Ничего особенного не случилось, я даже мог ступать на левую ногу. Правда, осторожно, с опаской...

Гуслей-Гуслея отыскал мне подходящую палочку и с нею я самостоятельно, хоть и прихрамывая, добрал до станции. В Поповке мы долго ожидали поезда на Ленинград. (Вот подумал: значит, кто-то жил там, раз ходили поезда?..) Когда подъезжали к Колпину, ребята предложили выйти здесь и отправить меня в больницу. Я наотрез отказался. В Колпине жили мои родственники, и я боялся, что они немедленно узнают обо всем, если я окажусь в Колпинской больнице. Самое странное не то, что я боялся этого, а то, что дурацкий этот довод убедил и ребят. Выходит, никто из нас еще не сознавал того, что произошло. В Ленинграде мы сели в трамвай (остановка была близко, на площади Восстания) и поехали в общежитие. Обычно-то, возвращаясь «из походов», мы выходили на Фарфо-

ровской, но там идти довольно порядочно, и мы доехали до Московского вокзала. В общежитии никому ничего не сказали, в том числе и моему брату, и... спокойно легли спать.

А наутро я не смог подняться. Нога опухла, сделалась твердая, почти как каменная, болела голова (потом уж выяснилось, что у меня поднялась температура), и мы коллективно решили, что скажем, будто я просто заболел. Никому из нас и в голову не пришло, что это опасно. Главное — скрыть правду. Все ушли, я лежал один. Нога так и не болела, однако было мне худо. Мutilo, я сильно потел.

Так я пролежал два дня, по-прежнему боясь одного — чтобы никто ничего не узнал. Врач ко мне не приходил. Видимо, все решили, что у меня грипп, а грипп в те годы не считали за серьезную болезнь. Но на второй день, к вечеру, ребята притащили носилки (где они раздобыли их?) и насильно меня переложили с кровати на них. Я кричал, что не хочу в больницу, я даже пытался сопротивляться, однако Ерема действовал молча и решительно. Меня подняли и понесли.

В приемном покое врач мельком взглянул на ногу и, удивленно посмотрев на меня, спросил:

— У тебя что, лишняя нога?

— Почему лишняя? — не понял я.

— Придется ампутировать, началась гангрена.— И распорядился: — В операционную!

Помню, что обещание ампутировать ногу не произвело на меня никакого впечатления. То ли я был не в полном сознании, то ли не знал, что это значит. А меня даже не обмыли, положили прямо на стол.

Видимо, наркоз мне дали очень сильный, потому что я очнулся лишь на второй день. А может, на меня вообще так действует наркоз, потому что после операций я всегда долго не просыпаюсь.

Было тихо, как-то очень светло, в окно палаты густыми снопами било солнце.

Моя нога была на месте, ее не ампутировали. А на тумбочке, в изголовье кровати, стояла тарелка с кашей и рядом с нею лежал целый батон. Оказывается, в больнице всю дневную хлебную норму — шестьсот граммов — выдавали за один раз, утром.

Не помню теперь, сколько я пролежал. Наверно, около месяца. Врачи сохранили мне ногу. Я думаю, что они пожалели меня, пожалели мое детство. Спасибо им и низкий поклон за это. Правда, осколок из



бедрa не вытащили, он так и живет вместе со мной. Моя память о наших «веселых играх».

А в больнице, между прочим, было прекрасно. Здесь не было Бармалея, и я спокойно съедал все, что мне давали. Меня навещали ребята (передач, естественно, не приносили!), часто приходил брат. Он ничего не сказал родственникам, и они долго не знали, что я был ранен.

Вот тогда, пожалуй, закончилось мое детство. «Трофейничать» я больше не ездил, да и другие ребята как-то поостыли, поуспокоились и не устраивали «фейерверков». А о том, что Ерема спас мне жизнь и уж наверняка ногу, я не думал тогда. Ведь никто, кроме него, не осмелился бы раскрыть тайну моей «болезни». Те, кто был вместе со мною в тот раз, боялись признаться, другие — из мальчишеской солидарности, а кому-то и просто было наплевать на все, в том числе и на меня. А вот Ерема презрел мальчишескую солидарность, не побоялся сказать правду и тем спас мне жизнь. А я только теперь понял, что обязан ему жизнью.

Где он сейчас, Ерема?..

Надо найти, надо обязательно найти Ерему (хорошо, что я помню и его имя, и его отчество) и сказать ему запоздалое спасибо.

Многих надо бы найти.

А когда подрастет мой внук, когда он подрастет, чтобы понять, что есть жизнь, я непременно привезу его к старому кирпичному дому на проспекте Обуховской Обороны и скажу:

— Здесь твой дед начинал жить...